СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

Вадим Баранов

Горький без грима

Тайна смерти

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Документальный роман «Горький без грима» охватывает период жизни М. Горького после его возвращения из эмиграции в Советскую Россию.

Любовь и предательство, интриги и политические заговоры, фарс и трагедию — все вместили эти годы жизни, оборвавшиеся таинственной смертью…

Второе издание переработано и дополнено новыми фактами и документами, содержит большое количество фотографий, в том числе и не вошедших в предыдущее издание.

Книга рассчитана на всех, кто интересуется отечественной историей и культурой.

- В. И. Баранов
  - Предисловие автора ко второму изданию
  - От автора
  - ГЛАВА I
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
  - ГЛАВА V
  - ГЛАВА VI
  - ГЛАВА VII
  - ГЛАВА VIII
  - ГЛАВА IX
  - ГЛАВА X
  - ГЛАВА XI
  - ГЛАВА XII
  - ГЛАВА XIII
  - ГЛАВА XIV
  - ГЛАВА XV
  - ГЛАВА XVI
  - ГЛАВА XVII
  - ГЛАВА XVIII
  - ГЛАВА XIX
  - ГЛАВА XX
  - ГЛАВА XXI
  - ГЛАВА XXII
  - ГЛАВА XXIII
  - ГЛАВА XXIV
  - ГЛАВА XXV
  - ГЛАВА XXVI

- ГЛАВА XXVII
- ГЛАВА XXVIII
- ГЛАВА XXIX
- ГЛАВА XXX
- ГЛАВА XXXI
- ГЛАВА XXXII
- ГЛАВА XXXIII
- ГЛАВА XXXIV
- ГЛАВА XXXV
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32

- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76

○ 77
○ 78

В. И. Баранов
Горький без грима. Тайна смерти

Дорогая Наташа! Мысленно все время вел я беседу с тобой, работая над этой книгой о нашем писателе. Прими ее как светлую память о тебе.

Вадим

Предисловие автора ко второму изданию

Посвященная судьбе столь гигантской фигуры, как Горький, книга вызвала заинтересованное отношение не только в России, но и во многих зарубежных странах, особенно в США, и полностью переведена в Китае.

В новое издание дописано несколько фрагментов, углубляющих характеристику сталинского единовластия и подтверждающих версию о роли М. Будберг в смерти писателя.

Именно финальный эпизод вызвал вспышку ажиотажного интереса к Горькому (множество разнообразных и разноречивых выступлений в печати, по радио и ТВ).

Некоторые отклики отечественных авторов носили воинствующе некомпетентный и даже скандальный характер и преследовали цель продолжить кампанию 70-х — начала 80-х годов, направленную на компрометацию Горького как личности, а заодно и автора, пишущего о нем. Было бы соблазнительно воспользоваться возможностью устроить этакую публичную экзекуцию незадачливым оппонентам, но я решил не отяжелять книгу полемическими пассажами. Историограф же горьковедения найдет соответствующие, и порой весьма любопытные, материалы в прилагаемой библиографии.

Далее. Впервые в горьковедческой литературе используются лишь недавно обнародованные ценнейшие документы сверхсекретных архивов, содержащие сведения о противостоянии проводимой Горьким линии политике сталинского руководства. Они подкрепляют главную идею книги: от компромиссов с режимом, от иллюзий Горький постепенно переходил к все более последовательному проведению своей политики, которая не могла не вызывать резко отрицательного отношения вождя.

К сожалению, дилетанты не унимаются, и новейшим упражнениям, двигающимся «перпендикулярно» профессионализму и перепевающим старые «компроматы», приходится уделять некоторое внимание.

На этом, собственно говоря, можно было бы поставить точку. Но необходимо сказать и о том, чего в книге нет. А нет в ней многого, что содержит моя новая работа — повествование о той самой таинственной баронессе Будберг, агенте ОГПУ, ее жизни вместе с Горьким. «Беззаконная комета» выйдет в этом году. А за ней издательство АГРАФ планирует выпустить еще две мои горьковедческие работы, продукт многих лет труда. О всех трех

книгах любознательный читатель может узнать из развернутых аннотаций в конце «Горького без грима», открывающего эту своеобразную тетралогию.

От автора

Среди множества горьковских фотографий особый интерес представляет одна, сделанная в 1928 году (см. фото). Если не знать заранее, что это Горький, вряд ли кто-нибудь распознал бы в изображенном на фото человеке великого писателя. В низко надвинутой кепке, с окладистой бородой, он мало похож на себя.

Но в данном случае этого-то он как раз и добивался. Смертельно устал от официальных встреч, связанных с приездом в Россию, и решил прогуляться по Москве инкогнито.

Однако дело в том, что даже и тогда, когда Горькому не приходилось менять наружность, очень часто на его внутренний облик накладывали грим либо он сам, либо еще чья-то властная рука…

Благостная социальная гримировка стала непременным условием деятельности нашего идеологизированного литературоведения в течение полувека (Буревестник — основоположник — гений).

Позднее, вплоть до совсем недавнего времени, критика с вожделением стирала с облика писателя этот грим, торопливо накладывая другой (продававшийся властям придворный приспособленец).

Снять различного рода наслоения, нарисовать исторически достоверный духовный портрет писателя, портрет без ретуши, — в этом я вижу свою задачу.

Не сомневаюсь, одному человеку по силам справиться с ней лишь частично, и я с радостью буду приветствовать своих коллег-горьковедов, которые пойдут дальше (как и тех, чьи работы оказали мне существенную помощь).

В основу этой книги положен обширный фактический материал, большая часть которого неизвестна читателю. Особый интерес представляют архивные материалы, прежде всего материалы Архива А. М. Горького при Институте мировой литературы РАН, а также почти не тронутый пока пласт материалов эмигрантской периодики 20–30-х годов (не только журналы, но в первую очередь газеты, выходившие в Германии, Франции, Америке). Значительно обогащают представления о Горьком свидетельства мемуаристов, как опубликованные, так и не увидевшие еще свет в нашей стране.

Как говорят, факты — воздух ученого. Но не кто иной, как Горький, призывал к проникновению в «психологию факта». Задача исследователя не ограничивается введением в оборот новых фактов, «расстановкой» их по местам, подобно фигуркам

на клеточках доски. Необходимо анализировать не только факты, но и скрытые от поверхностного взгляда их взаимосвязи, таящие то, что не выразит ни одна самая пространная цитата, которые мы любим извлекать из разнообразных источников. Порой не в самих фактах, а именно на их стыке нас ожидает множество недоуменных вопросов и неожиданных ответов на них.

Какова эта книга по жанру? Мне кажется, лишь с небольшой долей условности ее можно назвать романом-исследованием. Чем оправдано столь необычное обозначение? Тем, что в центре внимания именно личность писателя, его судьба. А внутренние перипетии борьбы в его душе, вызванные обстоятельствами социальной жизни, отношением к Системе и ее лидеру, образуют своего рода сквозной сюжет.

В книге нет вымысла. Но в ряде случаев, сталкиваясь с фантасмагорическими сплетениями обстоятельств, обусловленными тоталитарным режимом, автор не может обойтись без гипотезы, как средства движения к истине.

ГЛАВА I
«С целью лишить жизни»

На пути к созданию исторически достоверного духовного портрета писателя — масса трудностей.

Казалось бы, кто не знает Горького — хотя бы в общих чертах? Ведь в школе его «проходили» все. Но вот в самое последнее время вдруг заговорили совсем по-другому. «М. Горький — человек, еще далеко не раскрытый в биографической литературе», — заявляет автор книги, выпущенной в 1996 году. Еще дальше идет другой современный исследователь: «…Горький — эта всемирная знаменитость — едва ли не самый неизвестный советский писатель, писатель „без биографии“…»

И действительно, мы не знаем многого из того, что составляет подлинную жизнь Горького. А если и знаем факты, то остаются для нас неведомыми побудительные стимулы, которыми руководствовался он, совершая те или иные поступки, те истинные цели, которые ставил перед собой этот «океанический человек» (используя выражение Б. Пастернака).

Не знаем мы и как прервалась его жизнь, а это составляет одну из главных тайн не только биографии писателя, но и загадок уходящего в даль времен двадцатого столетия.

Тайна смерти Горького… Попытка разгадать ее содержится в этой книге, которая появляется в год шестидесятилетия его кончины.

А ведь, оказывается, никакой тайны вообще могло не быть…

…14 декабря 1887 года в казанской газете «Волжский вестник» появилась заметка следующего содержания: «12 декабря, в 8 часов вечера, в Подлужной улице, на берегу реки Казанки, нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков… выстрелил из револьвера себе в левый бок, с целью лишить себя жизни. Пешков тотчас же отправлен в земскую больницу, где, при подании ему медицинской помощи, рана врачом признана опасной. В найденной записке Пешков просит никого не винить в его смерти».

Репортер не совсем точен в передаче содержания предсмертной записки вышеозначенного нижегородского цехового. «В смерти моей, — писал тот, — прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. Прилагаю при сем мой документ, специально для сего случая выправленный. Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой

черт сидел во мне за последнее время. Из приложенного документа видно, что я — А. Пешков, а из сей записки, надеюсь, ничего не видно. Нахожусь в здравом уме и полной памяти. А. Пешков. За доставленные хлопоты прошу извинить».

Итак, даже в последний миг, прежде чем направить в сердце дуло старого револьвера, купленного по дешевке специально для этой цели на базаре, Алексей Пешков позволил себе роскошь иронической усмешки над тем, что происходит в этой странной, совсем не так, как надо, устроенной жизни. Жизни, порождающей «зубную боль» в совсем молодом еще и крепком сердце, — не без помощи сочинителей вроде Генриха Гейне… И если б выстрел был более точен, никто бы в мире никогда не узнал, что покончил с жизнью не только Алексей Пешков, но что был убит человек феноменальной природной одаренности — писатель Максим Горький, автор гениальной пьесы «На дне»…

Разве мог он предположить тогда, что всего лишь через десять лет, сразу после выхода первой его книги рассказов и очерков в двух томах, начнет он стремительно набирать такую славу, какой не видывал еще ни один писатель во всем мире?!

Первые переводы Горького на иностранные языки последовали уже в 1899 году (восемь произведений на семи языках). А дальше переводы посыпались как из рога изобилия. С 1901 года хлынули издания на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, норвежском, шведском, чешском, словацком, венгерском, хорватском, польском, эстонском, грузинском, армянском и других языках.

Более того, стали выходить многотомники. Так, на немецком языке начинают издаваться избранные рассказы в шести томах (напомним, что автор вступил в возраст Христа, и по нынешним меркам неизвестно, дорос ли уже до права называться молодым писателем). Успех издания был столь ошеломляющим, что не просохла еще типографская краска шеститомника Дидерихса, как другое немецкое издательство в 1903 году начало выпускать избранные сочинения Горького в семи томах, в Чехии — в трех томах, во Франции — в пяти. В Болгарии предпринимают выпуск сочинений в двух томах, но уже в следующем году срочно допечатывают третий том…

Но все это будет позже. А пока на пути к фантастической славе, как ее предварение и, если угодно, условие ее рождения, начинают возникать первые произведения какой-то оглушающе-ярмарочной романтики, страстной апологетики Жизни, активного отношения к ней — во имя ее же усовершенствования.

Может быть, один из главных парадоксов всей горьковской биографии состоит в том, что, пожалуй, попытка самоубийства и

преодоление кризиса, толкнувшего на нее, пробудили и активнейшее, яростное противодействие «свинцовым мерзостям жизни», и утверждение ее величия и красоты. И — к столь же яростному отрицанию любых устремлений хоть как-то опоэтизировать Смерть.

В самом начале творчества, в 1892 году, вслед за первым рассказом «Макар Чудра» он пишет программное произведение «Девушка и Смерть», — сказку, которую не удалось напечатать «по цензурным условиям». Ту самую сказку, которую спустя почти сорок лет похвалит — да еще как! — сам великий вождь всех трудящихся, сказав, что эта «штука» сильнее, чем «Фауст» Гете. (Забегая вперед, заметим, что у Вождя были свои чисто индивидуальные представления не только о власти Смерти над человеком, но и о власти человека над смертью. Разумеется, подобным даром мог быть наделен только исключительный человек…)

Конечно же сказка дебютанта ни в какой мере не претендует на то, чтобы состязаться с замечательным созданием классика немецкой литературы. Но она очень важна для понимания горьковского мироощущения.

Между тем как раз в ту пору, на рубеже веков, в буржуазном обществе нарастали разочарование в жизни, пессимизм. В кругу рафинированной художественной интеллигенции рождается своего рода культ Смерти.

Страстным пером публициста написана статья «Поль Верлен и декаденты» (1896). Молодой журналист «Самарской газеты» обрушивает свой гнев на тех парижан, что идут в «Кабачок смерти», где, «сидя в гробах, заменяющих столы, и попивая пиво из черепов, играющих роль бокалов», предаются псевдофилософским разглагольствованиям, свидетельствующим о «крайнем отупении нравов».

Позднее, в 1912 году, живя на Капри, Горький напишет рассказ на тему «Юноша и смерть». Только назовет его «Случай из жизни Макара». Рассказ этот воспроизведет обстоятельства, толкнувшие его в восемнадцатилетнем возрасте на шаг, который он потом осудил решительно: «Покушался на самоубийство, мне очень стыдно вспоминать об этом, и оправдания этой глупости я не нахожу».

Признание такое возникло в пору реакции, о которой сейчас предпочитают не вспоминать. Между тем Россию тогда охватила буквально эпидемия самоубийств, о чем несмолкаемо говорила пресса. В статье «Издалека», написанной в том же 1912 году, Горький отмечал: «Эпидемия самоубийств среди молодежи — в тесной связи с теми настроениями, которые преобладают в

литературе, и часть вины за истребление молодой жизни современная литература должна взять на себя».

Не таков ли герой одной из «Русских сказок» поэт Смертяшкин, в котором современники без труда узнали Федора Сологуба? Он всячески стремился внушить читателю, что «жизнь — только миг, больной и краткий, а смысл ее — под крышкой гроба…»

Страстный жизнепоклонник, Горький активно протестует против любых форм насилия над личностью, и в первую очередь против таких, что ведут к гибели человека. В этом пафос цикла его статей «Несвоевременные мысли», опубликованных в 1917–1918 годах в газете «Новая жизнь», в которых он полемизирует с захватившими власть большевиками, выступает в защиту великих ценностей отечественной культуры.

С годами, уже как художник-философ, умудренный громадным жизненным опытом, он невольно все чаще задумывался о тайне небытия. Нет, он не боялся смерти — ни естественной, ни насильственной. Без всякого самолюбования признавался близким: «Страха я не знал никогда».

Не испытал он страха даже в момент покушения на него в родном Нижнем… В конце 1903 года анонимным письмом некто предложил встретиться на волжском откосе. Там к Горькому подошел неизвестный и, удостоверившись, что перед ним тот, кто нужен, ударил его ножом в грудь. Слава Богу, нож наткнулся на каповый портсигар. Но удар был такой силы, что свалил Горького на колени. После непродолжительной схватки писатель сбросил незадачливого террориста с откоса вниз…

В письме Пятницкому он недвусмысленно давал понять, что к покушению самое прямое касательство имеет полиция, с которой его как революционера связывают «совершенно определенные отношения». Потом он не любил вспоминать этот случай. А ведь жизнь его вновь (и опять на высоком берегу реки) висела на волоске: ежели б удар наймита был чуточку поточнее, чем его собственный выстрел, и нож не попал в портсигар… Как говаривал Джек Лондон, нет Бога, кроме случая…

Так что — еще раз — дело не в боязни смерти. Просто срок бытия на Земле несправедливо мал…

Значительно позже, в 30-е годы, Горький беседовал о проблемах жизни и смерти с профессором Н. Бурденко, интересовался возможностями медицины в области продления жизни, говорил о необходимости создания «биологической философии человека». Зависимость физического здоровья человека от состояния его духа для него была очевидна: «Врач должен уметь оздоровить больную, часто патологическую

психологию пациента. В этом залог успеха врача в борьбе с болезнью, которая должна уступить место здоровью, норме».

Эта проблема волновала его всегда, но особенно — в последние годы. Ведь в самом деле, не мог же он беспристрастно взирать на то, что происходило вокруг, оставаться бодрым, когда одолевают сомнения и посещают безрадостные мысли. Где уж тут взяться здоровому духу.

Здоровье уходило. Оставались тысячи дел, сотни взятых на себя обязательств. Справляться с ними Горькому помогал жадный интерес к жизни. Когда последняя болезнь все-таки приковала его к постели, он продолжал читать, думать. И с отстраненным любопытством наблюдать за собой — за тем, как уходит жизнь из тела. Не просто наблюдал — пытался слабеющей рукой записывать свои ощущения: «Вещи тяжелеют книги карандаш стакан и все кажется меньше чем было… Крайне сложное ощущение. Сопрягаются два процесса: вялость нервной жизни — как будто клетки нервов гаснут — покрываются пеплом и все мысли сереют.

В то же время — бурный натиск желания говорить, … чувствую что говорю бессвязно хотя фразы еще осмысленны…»

Натиск желания говорить — сообщать другим о том, что происходит с тобой, о процессах, которые, возможно, будут интересны для науки… А может, еще удастся встать со смертного одра и доосмыслить тот диалог со Смертью, в который довелось вступить самому?..

Певец активного противостояния человека природе, он старался вырвать у нее тайну старения, отодвинуть подальше, насколько можно, неизбежный финал… По его инициативе был даже создан Всесоюзный институт экспериментальной медицины (превратившийся позднее в Академию медицинских наук).

Увы, дела в стране вовсе не были нацелены на то, чтоб сберегать и продлевать жизнь. Временами казалось — напротив — на то, чтоб сокращать ее.

В нормальное воображение абсолютно не укладывается то, что станет известно годы и годы спустя. Власть санкционировала плановое уничтожение людей (под видом борьбы с враждебными элементами) во всех регионах страны согласно так называемым расстрельным спискам. Наиболее ретивые администраторы на местах порой «с целью лишить жизни» даже просили верхи увеличивать «плановые задания».

Страну охватывала атмосфера всеобщего страха…

Впрочем, и к нему в самые последние годы подступало порой на мгновение леденящее сердце ощущение какой-то опасности… Отгонял прочь эти мысли. А они возвращались вновь…

И вот — его собственная смерть 18 июня 1936 года.

Она сразу породила свидетельства разной степени достоверности, всевозможные толки, догадки.

Поскольку наступила смерть во время болезни, некоторые утверждают: ничего таинственного нет, просто организм исчерпал свои жизненные ресурсы, болезни давно подтачивали здоровье писателя. Отсюда и неизбежный финал: смерть естественная.

Другие говорят: да, смерть пришла во время болезни, но стала ли болезнь единственной причиной ухода? Уж слишком много обнаружено фактов и событий, крайне отягчавших горьковскую жизнь в последние полтора-два года, включая в первую очередь совершенно неожиданную смерть сына Максима. Сразу после 18 июня современники заговорили об отравлении Горького властью.

И наконец, третьи — люди, специально исследовавшие эту проблему. Подавляющее большинство из них убежденно заявляет: «Факт убийства Горького можно считать непреложно установленным».

Кто же прав?

Для того чтобы найти ответ, надо пройти вслед за Горьким путь, которым он прошел после Октября.

И последнее. Смерть приходит сама. Убийство совершает кто-то. Третью точку зрения нельзя считать обоснованной до конца, пока не названо конкретное лицо, вмешавшееся в ход событий…

Обо всем этом, читатель, нам и предстоит большой и трудный разговор.

ГЛАВА II
Лагерь особого назначения… Почему?

Летом 1929 года, во время второго приезда в Советский Союз, Горький посетил Соловецкие острова. Здесь находился лагерь, названный — не без элемента странной для подобных учреждений игривости — СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения). А в том, что игривость действительно имела место, убеждает изображение настоящего слона на лагерной печати.

Впрочем, уголовники казенному юмору противопоставляли свой, встречный. Они расшифровывали СЛОН как «смерть легавым от ножа»…

Обстоятельства, вызвавшие приезд Горького на острова, были таковы. Незадолго перед этим в Англии вышла книга «На Адском острове» некоего Малзагова, совершившего фантастический побег с Соловков.

С выходом книги разразился международный скандал. Репортажи журналистов коммунистической прессы (например, немецкой газеты «Роте фане»), равно как и альбомы, распространявшиеся советскими полпредствами в Европе, стали обвинять автора книги в фальсификации фактов. Чтобы основательнее опровергнуть буржуазных оппонентов, нужно было свидетельство авторитетной и независимой комиссии. Но комиссия ВЦИК на острова не попала. «Сочтено было благом послать — нет, просить поехать! — как раз недавно вернувшегося в пролетарское отечество великого пролетарского писателя Максима Горького. Уж его-то свидетельство будет лучшим опровержением той гнусной зарубежно фальшивки!» — не без сарказма пишет А. Солженицын в знаменитом «Архипелаге»[1].

«И напечаталось, и перепечаталось в большой вольной прессе, нашей и западной, от имени Сокола-Буревестника, что зря Соловками пугают, что живут здесь заключенные замечательно и исправляются замечательно», — заключает А. Солженицын изложение истории соловецкой поездки Горького.

Рассказывали, что «наверху» пришлось довольно долго уговаривать Горького выполнить это щекотливое поручение.

«…Глава литературы отнекивался, не хотел публиковать похвал УСЛОНу. Но как же так, Алексей Максимович?.. Но перед буржуазной Европой! Но именно сейчас, именно в этот момент, такой опасный и сложный!.. А режим? — Мы сменим, мы сменим

режим», — читаем в «Архипелаге».

Как известно, в очерке Горького о Соловках не содержится критики лагерной системы, и на этом делает упор А. Солженицын. Однако он ничего не пишет о другой комиссии, которая проверяла лагерь после отъезда Горького и которую возглавлял член коллегии ОГПУ А. М. Шанин. За произвол и самоуправство начальник лагеря Зарин сам получил «десятку», а наиболее крутые самодуры числом свыше десяти были приговорены к расстрелу. Среди них и колоритно описанный в «Архипелаге» Курилко, расстрелявший одного из арестованных. Различным формам наказания были подвергнуты еще около 60 человек.

Но это — только в Соловках. Да и то наказаны они были не слишком сурово. Визит же Горького сюда не мог (да и не должен был, по замыслу властей) изменить психологический климат всей остальной империи ГУЛАГа.

Разумеется, о результатах работы комиссии Шанина Горькому было доложено, и это укрепило в нем иллюзорное представление о лагерной системе в целом.

Зарубежная пресса не замедлила выступить с комментариями по поводу горьковской поездки. Вот один из них — стихотворный.

Письмо в Соловки

… Но ты не выиграл сраженья,
Как молот, «Наши достиженья»,
Интеллигентский дух дробя,
Не пощадили и тебя…
И вот уж «соррентийский пленник»
Слезоточит, как неврастеник,
От умиленья, чуть дыша,
Он славит царство Челкаша.
Там, далеко — на месте ссылки
Читая «горькие посылки»,
Ты, наконец, мой друг, поймешь,
Что нагло торжествует ложь.
Что «Правда» — только заголовок,
Газетный лист для упаковок,
И почему в тот день рябой
Я не согласен был с тобой[2].

Итак, горькой правды о Соловках читатель в очерке не нашел. Но, по мнению некоторых зрителей фильма «Власть соловецкая», и в нем тоже нет подлинной правды об этом лагере. Причем подобное убеждение авторы иных откликов высказывают в самой

решительной форме. «История Соловецкого лагеря, как она преподнесена в фильме, производит на информированного зрителя весьма слабое впечатление. Понять и почувствовать на этом материале весь ужас и беспросветность того времени совершенно невозможно… В том, что там было или, точнее, что нам показали, отсутствуют главные и самые страшные отличительные черты Большого Террора — его массовость, механическая бесстрастность, деловитость скотобойни».

Соловецкий лагерь особого назначения родился в 1923 году, когда на Север привезли первую партию заключенных, в основном «политических». По старинному, с непробиваемыми стенами монастырю недавно прошелся опустошающий пожар, и первым поселенцам пришлось немало потрудиться, чтоб наладить быт. Потом заключенных становилось больше и больше, для них строились бараки и землянки. Но многие так и продолжали жить в монашеских кельях.

Постепенно лагерь налаживал свое хозяйство, и вскоре оно стало таким разветвленным, что напоминало государство в государстве.

В музее А. М. Горького на родине писателя хранится переданный им сюда толстый альбом в коричневом кожаном переплете «Остров „Соловки“. СЛОН. ОГПУ. 19 июня 1929 года», который был подарен писателю во время его посещения Соловков, о чем напоминает серебряная монограмма: «Дорогому гостю и любимому писателю А. М. Пешкову (Горькому) от сотрудников УСЛОНа».

В альбоме свыше трехсот фотографий. Стадо коров. Амазонка, Дорофейка, Женя… Удой от четырех до семи тысяч литров молока в год. Кожевенный завод с огромными чанами, в которых дубят кожу. А вот уже на снимке закройщики, разделывающие эту кожу для пальто. А если б вдруг захотелось пальто снабдить меховым воротником, то, пожалуйста, — питомник черно-бурых лисиц, соболей — целая система вольеров с широкими, словно улица, проходами.

Листая альбом, Горький наверняка спрашивал себя: чего же здесь нет? И было вроде бы все. От опытной сельскохозяйственной станции и кирпичного завода до собственных катеров и парохода, на котором доставляли заключенных от Кемской пристани «Рабочеостровск» до бухты Благоденствия. В ее хрустально чистой, совсем как на Капри, воде отражались стены, башни, стройные колокольни монастыря. Что пароход! Был даже собственный самолет!

А пароход, привозивший в трюме и на прицепной барже сотни заключенных, назывался «Глеб Бокий» — по имени чекиста,

о котором кто-то сложил шуточный куплет:

Ура! «Параша» извещает:
Проверить соловецкий склеп,
На той неделе приезжает
На «Глебе Боком» Бокий Глеб!

Деталь в духе времени: лагерный пароход носит название… куратора лагеря…

Стихи эти были лишь малой частью художественной продукции обитателей Соловков.

В марте 1924 года начал выходить журнал «СЛОН». Правда, печатали его в количестве всего пятнадцати экземпляров на пишущей машинке. Но, как говорится, лиха беда начало. С ноября журнал стали издавать типографским способом. Тираж его все время возрастал и вскоре под названием «Соловецкие острова» стал распространяться по подписке для всех желающих в любом пункте страны.

В первом номере программа журнала определялась следующим образом: «…исправительно-трудовая политика Соловецких лагерей, воспитательно-просветительная работа, как метод этой политики, вопросы местной экономики и промышленности, изучение края, опыты ведения культурного сельского хозяйства на Севере, пути, приведшие в Соловки их невольных обитателей, их надежды, думы, чаяния и желания — вот содержание, определяющее вместе с тем цель и задачи журнала».

Тот, кому сегодня посчастливится перелистать номера этого журнала, давно ставшего библиографической редкостью, не сможет не подивиться разнообразию жанров опубликованных здесь произведений — от рассказов, повестей и романов, печатавшихся с продолжением, до литературных пародий.

Иные зэки позволяли себе нечто и не совсем уж безобидное, и ничего — все сходило с рук! Так, автор, все-таки пожелавший остаться неизвестным, опубликовал подборку пародий на тему «Что кто из поэтов написал бы по прибытии в Соловки». Вот одна из них: А. С. Пушкин. Новые строфы из «Онегина».

Мой дядя самых честных правил,
Когда внезапно «занемог»,
Москву он тотчас же оставил,
Чтоб в Соловках отбыть свой срок.

Он был помещик. Правил гладко,

Любил беспечное житье,
Читатель рифмы ждет: десятка[3] —
Так вот она — возьми ее!

Ему не милы те широты,
И вид Кремля ему не мил,
Сперва за ним ходил комроты,
Потом рукраб[4] его сменил.

Мы все учились понемногу,
Втыкали резво где-нибудь.
Баланов[5] сотней (слава богу!)
У нас немудрено блеснуть.
В бушлат услоновский одет,
Мой дядюшка невзвидел свет.

Согласимся, пародия любопытна не только тем, что умело использует чисто пушкинские — и очень важные для него! — стилистические обороты (вспомним: «И вот уже трещат морозы и серебрятся средь полей… Читатель ждет уж рифмы розы, На вот, возьми ее скорей»).

Пародия далеко не безобидна. Она рисует судьбу одного из тех, кто вынужден был сменить климатические условия в силу своего «неподходящего» происхождения и в конечном счете отправился в лучший мир, будучи облачен в услоновский бушлат (так называли гроб). Надо вообще отметить факт, еще не в полной мере оцененный нами. В 20-е годы не только Соловки, этот «лагерный Париж», как называли его нередко, имели свой печатный орган. Многие места лишения свободы располагали ими. По далеко не полным сведениям, более тридцати подобных газет и журналов поступали тогда в свободную продажу, осуществляя связь живущих по ту и другую стороны тюремной стены или лагерной проволоки. Приступая к выпуску «Голоса заключенного», органа учебно-воспитательной части Гомельского исправдома, редакция в передовой статье декларировала: «Издание этой газеты преследует цель освещения как положительных, так и отрицательных сторон современных мест заключения, жизни самих заключенных, их быта, стремлений, запросов и пр.…»

Во избежание подозрений в попытке обелить лагерь и идеализировать условия жизни в нем сошлюсь на воспоминания профессора Ю. Чиркова, доктора географических наук, опубликованные посмертно. В пятнадцатилетием возрасте он был

арестован по стандартно сфабрикованному обвинению в контрреволюционной деятельности.

Юре Чиркову удалось устроиться в одну из двух лагерных библиотек. Почему из двух? Потому что кроме лагерной была еще и старая, монастырская. Насчитывала она около двух тысяч томов и рукописей, включая уникальные издания первопечатников Федорова и Мстиславца. Рукописная летопись Соловецкого монастыря тщательно фиксировала все основные события его без малого пятивековой истории. Она содержала сведения об освоении дикой природы острова, о строительстве зданий и системы каналов, связывающих сотни озер, об урожаях и надоях… Внося записи о первых обитателях монастырской тюрьмы, начиная с игумена Артемия, присланного на смирение в 1554 году, или советника Ивана Грозного протопопа Сильвестра, мог ли знать тогдашний Пимен, что со временем Соловки целиком превратятся в гигантскую тюрьму и пропустят через себя десятки тысяч заключенных…

Ну а теперь о библиотеке лагерной. Насчитывала она около 30 тысяч томов и несколько тысяч ежегодных комплектов журналов по всем отраслям знаний. В основу библиотеки поначалу были положены многие личные собрания заключенных, пополняемые их родственниками по почте. Но комплектовалась библиотека и в централизованном порядке. Особенно много книг, журналов и газет стало поступать в нее с 1934 года. Выписывалось свыше 60 названий газет и около 40 названий журналов, многие из которых невольные читатели раньше и не видывали.

В начале 1936 года числилось свыше 1800 индивидуальных абонементов, а также свыше ста коллективных (обслуживавших отдаленные и маленькие лагпункты).

Немало было читателей совершенно особого характера. Когда сходились, к примеру, профессора Кикодзе, Яворский и Грушевский, да еще вернувшийся из-за границы сменовеховец Бобрищев-Пушкин, потомок декабристов, да еще Павел Александрович Флоренский, сам написавший без малого два десятка книг, их диалогу могла бы позавидовать самая интеллектуальная академическая аудитория.

Представляет интерес и состояние «культурно-воспитательной работы». Ее возглавляли не какие-нибудь клубные неудачники, — сам Лесь Курбас, которого называли украинским Мейерхольдом, руководил одним из театров. Он укомплектовал неплохую труппу, поставившую спектакли по таким разным пьесам, как «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина, «Интервенция» Л. Славина, погодинские

«Аристократы». Но существовал театр и до Курбаса, попавшего на Соловки в 1934 году, и Горький во время своего приезда видел афиши спектаклей «Декабристы», «Разлом» и даже «Троцкий за границей»…

Действовали и другие театры и сценические площадки (всего их было девять), и названия их вполне соответствовали духу названия самого лагеря: «Хлам» (художники, литераторы, актеры, музыканты), «Срам» (Союз работников Анзерской музы).

Кроме библиотеки и театра существовали в Соловках школа, музей и симфонический ансамбль, превосходно исполнявший Россини, Верди, Бетховена, хор уголовников «Свои», украинский национальный хор…

Так что же, выходит Соловки не лагерь, не тюрьма, а рай земной?

Один из внимательных читателей, опубликовавший свои заметки о горьковском очерке совсем недавно, вносит некоторые коррективы в традиционно утвердившиеся, резко критические оценки очерка. Обращается внимание на обширную сцену, описывающую концерт в лагере. Увертюра к «Севильскому цирюльнику» в исполнении симфонического ансамбля… Скрипач играет мазурку Венявского… Неплохо спет «Пролог» из «Паяцев»… Во время антрактов в фойе духовой оркестр превосходно играл Россини, Верди, увертюру Бетховена к «Эгмонту». «Дирижировал им человек бесспорно талантливый. Да и концерт показал немало талантливых людей». И — многозначительное добавление: «Все они, разумеется, заключенные».

По мысли читателя, весь этот отрывок имеет определенный негативный подтекст. Подробно перечисляя изысканный репертуар, подчеркивая талантливость исполнителей, Горький хотел показать, что в изоляции оказались представители высшего слоя художественной интеллигенции, а не так называемые социально опасные. И шутка, брошенная заключенными: «Слыхали? К нам едет Горький! На десять лет», — звучала не столь уж безобидно.

В 1929 году, когда на Соловки приехал Горький, лагерь выглядел далеко не таким, каким он был в момент основания и каким стал после смерти Горького. Известный историк С. Мельгунов, изгнанный из России, в 1923 году выпустил в Берлине книгу, снискавшую широкую известность, — «Красный террор в России. 1918–1923». Через год она вышла вторым, дополненным изданием.

О том, что собой представляли Соловки в момент организации лагеря, поначалу на Западе могли судить по

отдельным свидетельствам в периодической печати. С. Мельгунов обобщил опубликованные ранее, а также известные лишь ему материалы, и картина получилась устрашающая. Соловки — «самый настоящий рабовладельческий лагерь с полным бесправием заключенных, с самыми ужасными картинами быта, с голодом, с побоями, надругательствами» — к таким выводам приходил историк.

Из-под пера серьезного ученого и умелого повествователя вышел зловещий, сенсационно обличительный образ системы унижения и уничтожения человека.

Нет сомнения, что книга Мельгунова была не только замечена в России, но и тщательно изучена теми, кому следует. И тогда родилась идея организовать на базе тех же Соловков лагерь особого назначения, который можно было бы показать любому гостю, включая западных журналистов. Если угодно, в известном смысле — антилагерь.

При помощи этой уникальной модели можно было бы убедить общественность в том, что лагерная система нисколько не античеловечна, что она предоставляет каждому едва ли не все возможности для исправления пороков и для совершенствования. Это был, так сказать, выставочный образец лагеря, его сияющая витрина.

И совершенно другой характер носило то, что продолжало скрываться за ней и о чем не должны были знать посторонние. «Обменный политзаключенный» польский врач Липинский, прибывший в Варшаву с одного из соловецких островов, рассказывал следующее (его очерк был опубликован под названием «Ужасы советских тюрем»). На острове Конде из 900 человек за 6 месяцев умерло 200. Всего в Соловках насчитывалось тогда 16 тысяч заключенных, и врач считает, что они обречены на смерть, т. к. медицинская помощь отсутствует. Одна немаловажная «деталь», которая потребуется для нашего дальнейшего повествования. По свидетельству Липинского, среди заключенных находится «огромное число коммунистов, приехавших в Россию, здесь увидевших истинное лицо советского режима, перешедших в оппозицию и принявших участие в заговорах против Советской власти»[6].

Реальные, повседневные условия жизни и труда заключенных на Соловках оставались тяжелыми, можно сказать, невыносимыми. Но особенно унизительным для интеллигенции оказывалось дикое самоуправство местной власти, не подчинявшейся никому (потому и стали называть ее соловецкой). Заключенных в лютый мороз могли босиком выгнать из помещения и заставить подолгу стоять в строю. В

противоположность деклассированным элементам (воры, убийцы, проститутки) политические — представители партий эсеров, кадетов и т. д., то есть интеллигенция, имевшая представление о праве и условиях содержания в местах заключения, — пытались предъявлять администрации свои требования. Однажды после отказа выполнить нелепые придирки охраны по политическим открыли огонь. Пятеро были убиты, среди них — две женщины.

В другой раз политические объявили голодовку. Тогдашний начальник управления УСЛОНом А. Ногтев самодовольно рассмеялся им в лицо и предложил, чтоб понапрасну не тянуть время, сразу повеситься. Обо всем этом вряд ли рассказали Горькому.

В подаренном ему альбоме Горький не мог не обратить внимание на одну фотографию: щуплый низкорослый паренек перед лицом представительной комиссии. В общем, снимок как снимок. Бросалась в глаза подпись: «Отбор молодняка из соцвредэлемента». Резал ухо не только стиль — разные уродливые сокращения слов встречались на каждом шагу. Вопиющим был их смысл: отбирали молодняк, как скот, сортировали, прикидывали, словно породу, — «соцвред» или не «соцвред»…

Таким образом, за благоприличной агитвитриной Соловков скрывался своего рода испытательный полигон, на котором отрабатывалась последующая система унижения, а затем и массового уничтожения людей. Так, может быть, впервые — и не только в истории России — воедино слились, образовав прочнейший сплав, два начала — Насилие и Великая ложь.

Одно без другого они не имели бы такой мощи. Без конца угнетать людей, вытягивая из них все жилы в каторжном труде, было нельзя. Сталин понимал это, памятуя, как дружно поднялась деревня против продразверстки. Надо было убедить людей в необходимости этих нечеловеческих усилий, нарисовать манящую перспективу, в конце концов польстить им, сказав, что их труд — дело чести, доблести и геройства, наградив орденами тех из них, кого следовало…

Великая ложь начинала проникать повсюду, включая и государственное законодательство. В 1926 году был издан декрет ВЦИК, предусматривавший содержание преступников вне тюрем, без конвоя, перевоспитание их в трудовых лагерях. О перевоспитании ли заботился Сталин? Ему просто требовалась даровая рабочая сила, которую можно было пополнять без конца: и поставляя новых преступников, и продлевая сроки за уже отбытые провинности. Великая ложь легла и в основу Конституции, сразу же названной сталинской и принятой в 1936

году, накануне знаменитого 1937-го. Жить стало лучше, жить стало веселее…

Итак, Соловецкий лагерь, оставаясь островом обширного гулаговского архипелага, его неотъемлемой частью, все же не вполне укладывается в общую схему. Его специально превратили в лагерь ОСОБОГО назначения, призванный, насколько это было вообще возможно для лагеря, смягчить картину, даже как-то «опоэтизировать» ее. И чем больше Соловки соответствовали этой цели, тем большей, в конечном счете, становилась ЛОЖЬ, без которой не могла существовать система насилия.

К сожалению, А. Солженицын не проводит различия между Соловецким лагерем ОСОБОГО назначения и остальным ГУЛАГом. А ведь сами узники ГУЛАГа отмечают недостаточную объективность великого писателя в этом вопросе. (Например, М. Розанов, по выходе на волю ставший автором специального исследования «Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939. Факты — домыслы — „параши“. Обзор воспоминаний соловчан соловчанами»). Критические суждения о повествовании А. Солженицына высказывает известный писатель О. Волков, отмечая в нем «неугасшую озлобленность».

Соловки должны были прикрыть создаваемую Сталиным гигантскую систему ГУЛАГа. Вот там, где-нибудь на Колыме или в Воркуте, не требовались музеи и библиотеки с редкими книгами. Миской баланды можно было заменить все — и пищу физическую, и пищу духовную. Вот там можно было безболезненно пускать гигантский конвейер уничтожения.

Предваряя последующий сюжет об отношении Горького к фашизму, напомним читателю, что происходило в гитлеровской Германии. С приходом фашистов к власти в 1933 году и до 1945 года на ее территории, а также в оккупированных ею странах действовало 22 концентрационных лагеря с двумя тысячами филиалов. На фабриках смерти Освенцим, Майданек, Дахау, Маутхаузен и других было уничтожено свыше 11 миллионов человек. Сталин уничтожил гораздо больше, далеко опередив Гитлера. Но между их жертвами существовала не только количественная разница. Гитлер уничтожал коммунистов, евреев — вообще всех врагов рейха. Сталин уничтожал своих сподвижников, часто людей выдающихся, нередко лучших сынов родины.

Все это, однако, было еще впереди. Находившийся во власти самых радостных впечатлений от всего увиденного во время поездок по стране, Горький и на Соловках удивился размаху хозяйственной и культурной деятельности. Кто, как не он, старый заядлый книжник, мог по достоинству оценить, к примеру,

здешние библиотечные богатства! Нимало не обеляя Горького, согласимся, что Соловки в целом весьма далеки от других лагерей, тех, что рисуют в своих воспоминаниях вдова Бухарина А. Ларина или Л. Разгон, проходившие свои круги сталинско-бериевского ада.

Поведение Горького по возвращении в Советский Союз А. Солженицын объясняет стремлением укрепить мировую славу, которая начинала меркнуть. Не стоит забывать, однако, при этом об одной, присущей именно Горькому как личности, отличительной особенности: о полном отсутствии какого-либо самолюбования, переходящем в гипертрофированную самокритичность (порой он удивлял современников требованиями о перепечатке злых критических статей о себе). А юбилей 1928 года, — он со всей наглядностью убедил, сколь высок авторитет Горького в глазах мирового общественного мнения.

Горького восторженно приветствовали крупнейшие писатели и деятели культуры: Шервуд Андерсон, Я. Вассерман, Жорж Дюамель, Альберт Эйнштейн, Лион Фейхтвангер, Леонгард Франк, Джон Голсуорси, Кнут Гамсун, Арнольд Цвейг, Эптон Синклер и многие, многие другие.

Каждый из этих замечательных людей прислал свое приветствие, вошедшее в коллективный «Альбом-адрес». Но каждый из них без колебания подписался бы под теми словами, которые шли от сердца Стефана Цвейга: «Как будто весь народ из своей огромной… массы выслал Вас вперед как свидетеля, чтобы Вы дали образ его сущности, высказали его сокровеннейшие мысли и желания, и Вы честно и блистательно выполнили эту великую миссию. Если мы сегодня много знаем о русском народе, если мы его любим и верим в силу его духа, то этим в огромной степени обязаны Вам, Максим Горький…»[7].

Впрочем, по поводу очерков о Соловках стоит высказать еще одно соображение. Существует важное мемуарное свидетельство, опубликованное за рубежом и принадлежащее человеку, сопровождавшему Горького во время его поездки в 1929 году по южным районам страны. Подключаясь к критическим суждениям Горького о порядках в стране, собеседник спросил, как же объяснить появление очерка о Соловках, где никакой критики не содержится. Горький ответил: «Там карандаш редактора не коснулся только моей подписи — все остальное совершенно противоположно тому, что я написал, и неузнаваемо».

Резонно могут возразить: коль скоро писатель не опротестовал постороннее вмешательство в его текст, ответственность за содержание падает на него. Верно. Но все-таки

было бы немаловажно разобраться, имело ли место такое вмешательство или нет… Некоторые данные говорят за то, что какие-то «коррективы» (возможно, и существенные) не исключены. Например, не может не вызвать удивления следующий факт. Печально знаменитая статья о враге была опубликована в двух газетах — «Правде» и «Известиях», но имела не совсем одинаковые заголовки: «Если враг не сдается — его уничтожают» и «…его истребляют». Вряд ли подобная «разногласица» могла входить в намерения автора. Как видим, текстологам есть над чем поработать[8].

Возникает, впрочем, и другой, гораздо более широкий и существенный вопрос. Допустим, что ответственность за очерк и статью падает только на Горького. Достаточно ли, однако, таких фактов для вывода о полном «конформизме» Горького, о том, что он до конца жизни оставался верным прислужником сталинского режима, да еще руководствовался при этом корыстными побуждениями? Многие исследователи, как это ни странно, прежде всего зарубежные, включая и тех, кто настроен по отношению к Горькому далеко не апологетически, полагают, что позиции писателя были гораздо сложней.

Так, может быть, не стоит спешить с окончательным приговором, может, стоит произносить его уже после того, как нами будет мысленно проделан весь путь, пройденный писателем?

ГЛАВА III
«Максимушка, я хватаюсь за твои руки»

Наше мысленное путешествие на Соловки предостерегает от односторонности, торопливости в выводах… В этой связи одна история, происшедшая задолго до горьковской поездки по Союзу Советов, история весьма поучительная.

В конце 1918 года Зинаиде Гиппиус сказали, что Василий Розанов бедствует, подбирает окурки на вокзале. Гиппиус написала резкое письмо Горькому: одобряет ли он действия дружественного ему правительства большевиков по отношению к замечательному русскому писателю, если верен слух, что его расстреляли? Голодный, он не мог быть вреден «вашей власти». «Горький, конечно, мне не ответил», — заканчивает поэтесса.

По сведениям Гиппиус, Горький будто бы поручил кому-то из своих приспешников исследовать достоверность слуха, а потом послал Розанову «немного денег».

Как все происходило в действительности? Свидетельствует Владислав Ходасевич. Никаких приспешников не существовало. Обратиться к Горькому за помощью Розанову попросил Ходасевича Гершензон, так как лично с Горьким сам знаком не был. Деньги от Горького Ходасевич передавал дочери Розанова, причем их должно было хватить на три-четыре месяца. (Гиппиус называет это «подачкой»: «на картошку какую-то хватило». Очевидно — тоже с чужих слов. Гиппиус из писем Розанова к ней отлично знала, что тот очень благодарил Горького за поддержку.)

Какой же вывод делает из этой истории Ходасевич?

«Суд истории нелицеприятен, — говорит он. — Но для того, чтобы он был справедлив, одной воли к нелицеприятию мало. Чтобы судить верно, история должна опираться на документы и сведения, добываемые из современников данного лица или события. Без этого все ее оценки не стоят ничего. Только после того, как материал накоплен, начинается пресловутый „суд“. Дело его — разобраться в документах и показаниях, отделить правду от лжи, точное от неточного и проч. Тут и сами свидетели попадают под этот же суд».

Справедливые, замечательные слова, достойные пера настоящего ученого-исследователя! Такого, который способен подавить в себе желчность и ядовитость и любые другие личные качества, если этого требует истина. Смысл этих слов

В. Ходасевича стоило бы усвоить покрепче всем нам, и особенно писателям, в подходе к прошлому.

Годы Гражданской войны…

Откуда только не получал Горький писем в ту трудную пору! Вот и еще один конверт, доставленный почтой в Петроград, на Кронверкский проспект, из Сергиева Посада, что близ Троице-Сергиевой лавры, от Василия Розанова — того самого.

Еще не вскрыв конверта, вспомнил переписку с ним с острова Капри, присылаемые из России книги… И буквально каждое письмо порождало в душе что-то такое, чего не могло дать ни одно письмо иного корреспондента. Нет, дело вовсе не в том, что оба они мыслили родственно. Скорее наоборот. И вот уже после смерти Розанова на предложение написать очерк о нем Горький ответил: «…не решаюсь, ибо не уверен, что это мне по силам. Я считаю В.В. гениальным человеком, замечательнейшим мыслителем, в мыслях его много совершенно чуждого, а порою — даже враждебного моей душе, — и с тем вместе он любимейший писатель мой».

Много чуждого, а чужое-то порой ближе близкого!..

Разорвал конверт, и словно могильным холодом пахнуло. «Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния, — если уж и не с того света, то с самой окраины этого, с последней, пограничной черты взывал Василий Васильевич. — Квартира не топлена, и дров нету; дочки смотрят на последний кусочек сахару около холодного самовара; жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза… Максимушка, родной, как быть? Это уже многие письма я пишу тебе, но сейчас пошлю, кажется, а то все рвал. У меня же 20 книг, но „не идут“, какая-то забастовка книготорговцев. Максимушка, что же делать, чтобы „шли“… Максимушка, я хватаюсь за твои руки. Ты знаешь, что значит хвататься за руки? Я не понимаю, ни как жить, ни как быть. Гибну, гибну, гибну…»

И — погиб. А мог бы и выжить, обратись за помощью к Горькому чуть раньше.

Сколько еще было их, русских писателей, интеллигентов, не приспособленных к переломанному быту, которых надлежало спасать от гибели! И он делал это, делал изо всех сил.

Чего стоили, к примеру, хлопоты о том, чтобы выпустили Блока на лечение в Финляндию! Переговоры с Луначарским. Доклад Ленину. И тот и другой согласие дали. Бумаги пошли к Менжинскому, ведавшему вопросами выезда. Тот, не разобравшись, распорядился создать для поэта хорошие условия в каком-нибудь из отечественных санаториев. Совершенно не понял душевного состояния Блока, о котором А. Белый писал так: «Что

касается до трудности Блока дышать российским воздухом, то, по свидетельству всех лиц, видавших его за 2 ½ месяца его болезни, — он говорил, что не мог бы выйти даже на улицы Петрограда: не вынес бы чисто внешнего вида теперешней жизни: так резко обострилось за последние месяцы (и даже более году уже длилось это настроение) отношение к нашей действительности».

И тем не менее Политбюро поддержало предложение Менжинского о невыезде и 12 июля 1921 года приняло решение уже даже не о помощи с лечением, что было крайне необходимо, а просто об «улучшении продовольственного положения Блока».

В негодовании Горький вновь обращается к Луначарскому, подчеркивая, что запрет на выезд Блока тем более нелеп, что разрешение дано Ф. Сологубу, куда менее лояльно настроенному по отношению к революции. Луначарский пишет развернутый протест в ЦК РКП(б): Блок «вместе с Брюсовым и Горьким — главное украшение всей нашей литературы». Разрешение наконец было получено, но началась волокита по поводу выезда жены Блока. И вновь Горький телеграфирует из Петрограда наркому просвещения, а тот вновь обращается в ЦК: «Прилагая при сем срочную телеграмму Горького об отпущенном согласно решению ЦК А. Блоке, очень прошу…» и так далее… Наконец, и разрешение для Любови Дмитриевны получено, но кто-то в Москве потерял анкеты для оформления паспортов — обычное советско-расейское головотяпство. Короче, когда доверенное лицо собралось ехать в Москву за паспортами, 7 августа Блок скончался.

Отдавая должное Горькому, Ф. Шаляпин свидетельствует в одном из писем 1918 года: «Сколько народа через его просьбы сейчас освобождено от тюрьмы. Хороший он человек». Трагическое неумолимо надвигалось со всех сторон. Но жизнь есть жизнь, и тяжелое, невыносимое перемешивалось с комическим. Однажды ночью зазвонил телефон. Раздался сиплый бас какого-то матроса, делавшего обыск в подозрительной квартире. На стенах развешены всякие куклы, а хозяин, спокойно сидя за столом, вырезает из бумаги чертей. Матрос решил удостовериться у самого Горького, действительно ли есть такой писатель Ремизов Алексей Михайлович, а уже ежели это он, то в своем ли он уме.

Внимательно выслушав матроса, Горький сказал: «Понимаете ли, вы в самом деле в квартире писателя Ремизова». Помолчав, добавил: «И он действительно в своем уме».

Чтобы помочь людям, приходилось прибегать к различным уловкам. Как-то явилась плачущая женщина, потребовала встречи

с писателем. Оказалось, — начинающая поэтесса, мать грудного ребенка, которому нужно молоко. Горький написал соответствующую записку, а для большего успеха дела добавил, что это его незаконный ребенок и что он, естественно, подобное пикантное обстоятельство просит сохранить в тайне.

Благодарная поэтесса ушла, а сын ее, не без помощи Горького, выжил в голодном Петрограде. Однако с такими же просьбами обращались к Горькому и другие женщины-матери, и, хлопоча за их детей, он прибегал к таким же мотивировкам. Наконец распределитель продуктов не выдержал и заявил, что не в состоянии снабдить молоком такое количество «детей» Горького.

Подвижническая деятельность писателя не всегда встречала понимание, особенно со стороны людей, настроенных к революции непримиримо враждебно. В ноябре 1920 года Д. Мережковский опубликовал в газете «Последние новости» открытое письмо Г. Уэллсу. В нем доходил до утверждения, что Горький хуже большевиков, так как если те убивают тела, то этот убивает души.

Тогда же у Горького состоялся важный разговор с К. Чуковским, содержание которого критик прилежно занес в свой дневник. «Я знаю, — сказал Горький, — что меня не должны любить, не могут любить, — примирился с этим. Такая моя роль. Я ведь и в самом деле часто бываю двойствен. Никогда прежде я не лукавил, а теперь с нашей властью мне приходится лукавить, лгать, притворяться. Я знаю, что иначе нельзя». «Я сидел ошеломленный», — заканчивает мемуарист свою запись, сделанную 3 октября 1920 года.

Говоря так, Горький еще не мог знать, к какому куда более сложному лукавству в отношениях с новой властью ему придется прибегать потом, когда он после длительного отсутствия вернется на родину. А пока — решительно отложил в сторону перо художника и стал газетчиком. В газете «Новая жизнь», за редактирование которой взялся весной семнадцатого и которую большевики «прихлопнули» через год с небольшим, он постоянно печатал корреспонденции, которые потом объединил в книгу «Несвоевременные мысли», снабдив ее подзаголовком «Заметки о революции и культуре».

Все они, с начала до конца, были пронизаны тревогой и болью за то, что разрушительные силы, вызванные к жизни революцией, могут нанести непоправимый ущерб духовной культуре, главной общественной ценности, и ее творцу — интеллигенции.

Долгие годы цикл «Несвоевременные мысли» вообще не

упоминался в горьковедческой литературе, будто бы его и вовсе не было. Как же иначе? Разве вязался он с лучезарным обликом буревестника революции, мифом, рожденным в недрах хорошо налаженного идеологического механизма!

Не вижу нужды подробно касаться этого цикла. Прежде всего потому, что читатель может познакомиться с ним и по публикации в журнале «Литературное обозрение» (1988, № 9, 10, 12), и по отдельным изданиям. Среди них следует выделить книгу, выпущенную издательством «Советский писатель», с обстоятельной вступительной статьей одного из лучших знатоков Горького, И. Вайнберга, которому принадлежат и подробнейшие комментарии. Гадавшие в ту пору по поводу причин и сроков выезда Горького за границу в конце 1921 года и читавшие ранее те же «Несвоевременные мысли», читавшие и дивившиеся смелости писателя, резкости его обвинений, бросаемых большевикам, не могли знать тогда, что Горький временами в переписке с руководителями страны вел полемику и куда более резкую. Полемику на пределе возможного. А может, и за его пределами!

Лишь недавно увидели свет некоторые письма Горького руководителям страны. Так, сообщив в октябре 1919 года Дзержинскому о том, что написал Ленину по поводу «арестов представителей науки», Горький заключает: «…я смотрю на эти аресты как на варварство, как на истребление лучшего мозга страны и заявляю в конце письма, что Советская власть вызывает у меня враждебное отношение к ней»[9].

Зиновьеву в том же 1919 году было отправлено письмо, равного которому по резкости трудно отыскать в чьем-либо писательском эпистолярии. «На мой взгляд, — пишет М. Горький, — аресты ученых не могут быть оправданы никакими соображениями политики, если не подразумевается под ними безумный и животный страх за целость шкуры тех людей, которые производят аресты». Горький называет дикими безобразия, «которые за последние дни творятся в Петербурге, окончательно компрометируют власть, возбуждая всеобщую ненависть и презрение к ее трусости».

В одном из писем Н. Бухарину той же поры М. Горький с болью пишет о том, что вопрос о жестокости — его мучительнейший вопрос. И оснований для того, чтобы этот вопрос был «мучительнейшим», жизнь дала предостаточно.

В последнее время наша публицистика высказала по этому поводу немало соображений, привела немало ценных документальных данных. Важные факты приводит в своей статье «Поговорим о свободе» Вяч. Кондратьев. Он напоминает суждение

видного чекиста Лациса, который писал в газете со знаменательным названием «Красный террор» в ноябре 1919 года: «Мы не ведем войны против отдельных лиц, мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала и доказательства того, что обвиняемый действовал словом или делом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора».

Разве далеки от истины были наиболее трезво мыслившие представители большевизма, которые стремились нейтрализовать зловредное действие вкушенного многими «яда командирства» (Л. Сейфуллина) и полагали, подобно М. Ольминскому: «Можно быть разных мнений о красном терроре, но то, что сейчас творится в провинции, это вовсе не красный террор, а сплошная уголовщина…»

Подобно Горькому, с резкой бескомпромиссной критикой беззакония (бессудных расстрелов), жестокости, бросающей «омрачающую и заглушающую тень и на само социалистическое движение», против подавления свободы слова, мысли и воли выступал в ту пору и другой выдающийся русский писатель, В. Короленко. Не случайно широкий общественный резонанс получили его письма А. Луначарскому 1920 года.

Горький прилагал все силы, чтобы препятствовать разгулу беззаконий, хотя и понимал, что успехи его в этом деле имеют весьма ограниченный характер и, к сожалению, не меняют общего положения вещей. Тем не менее он продолжал считать: бездействие недопустимо. Что же переполнило чашу горьковского терпения? Что сыграло, возможно, определяющую роль в его решении выехать за границу?

Обычно подчеркивают: Горький отправился туда для лечения по настоянию Ленина. Но только ли и в первую ли очередь поэтому? Позже начали делать дополнение: виноват Зиновьев, диктаторствовавший в Петрограде. Отношения Горького с ним действительно были крайне натянутыми, о чем свидетельствует хотя бы цитировавшееся выше письмо. Отношения эти испортились вконец, когда Зиновьев учинил обыск на квартире Горького, на Кронверкском. Здесь, в этой многокомнатной квартире, находили приют и защиту многие представители интеллигенции, включая даже члена царской фамилии Великого князя Гавриила Константиновича, вызволенного из под ареста Горьким. Обыском Горький был разгневан настолько, что немедленно отправился в Москву, к Ленину, с требованием

принять меры…

Увы, картина после этого изменилась мало…

Действовал и еще целый ряд разных, куда менее значительных, но все же не столь уж маловажных чисто по-человечески причин. Называют и такую: недовольство М. Андреевой, как известно, в прошлом актрисы МХТ, назначением жены Л. Каменева на пост «куратора» театрального искусства… А та была в этом деле не слишком компетентна…

Но существовало и еще одно обстоятельство, которое долгое время недостаточно принималось во внимание и лишь недавно получило освещение в литературе. Исключительно ценные сведения на этот счет содержатся в книге «Долгий путь» всемирно известного ученого, основателя факультета социологии в Гарварде, президента Американской социологической ассоциации Питирима Сорокина (издана в переводе с английского в нашей стране в Сыктывкаре в 1991 году).

Вместе с сотрудниками и студентами, в тесном взаимодействии с академиками И. Павловым и В. Бехтеревым, Сорокин изучал положение в неурожайных районах и приходил к выводу, что умереть может до 25 миллионов, если мир не придет на помощь. «Мы говорили об этом задолго до того, как правительство и Максим Горький обратились ко всем нациям о помощи голодающим».

Однако исследования такого рода политикам были не нужны. Осенью 1921 года Сорокин, как и многие профессора, был отстранен от преподавания. Несмотря на это, он продолжал научную работу. Опубликовав два тома монографии «Системы социологии», Сорокин приступил к изданию книги «Голод как фактор. Влияние голода на человеческое поведение, социальную жизнь и организацию общества». Создавалась она в рамках Института мозга у академиков Павлова и Бехтерева. Удалось отпечатать 280 страниц (а должно было быть вдвое больше). Набор приказали рассыпать, а автора выдворить за границу в числе многих пассажиров печально знаменитого «философского парохода», составлявших цвет отечественной науки.

Сколь ни тяжко расставание с родиной, такое наказание не идет ни в какое сравнение с теми «санкциями», которые были применены по отношению к участникам так называемого дела «Петроградской боевой организации», руководимой якобы профессором Таганцевым: тогда были расстреляны многие ведущие представители интеллигенции, в том числе поэт Н. Гумилев, которого пытался спасти Горький…

Разразившийся летом 1921 года страшный голод поразил в первую очередь Поволжье. Президиум ВЦИК вынужден был

выступить 12 июля со специальным обращением «Ко всем гражданам РСФСР».

Руководство быстро убедилось, что в условиях внешнеполитической изоляции внутренних мер для борьбы с бедствием будет явно недостаточно.

28 июня 1921 года Ленин писал наркому продовольствия И. Теодоровичу: «От Горького поступил проект „Комиссии помощи голодающим“.

Возьмите у Рыкова через ¼ часа, когда он прочтет.

Завтра в Политбюро решим. Созвонитесь с Молотовым, чтобы завтра Вам дать 5 минут. Мне лично кажется, что можно соединить наш и горьковский проект».

Обратим внимание, с какой стремительностью двигалось дело: «¼ часа», «5 минут», «завтра».

И действительно, на другой день, 29 июня, Политбюро в принципе одобрило горьковский проект, а 21 июля ВЦИК принял постановление учредить «Всероссийский комитет помощи голодающим в целях борьбы с голодом и другими последствиями неурожая». Это непомерно громоздкое наименование очень быстро превратилось в быту в сокращенное «Помгол» (в духе времени).

Комитет имел весьма широкие полномочия на местах, а также своих представителей за рубежом. Стать почетным председателем комитета дал согласие Короленко, о котором еще в 1918 г. Горький сказал: в великой работе строения новой России «найдет должную оценку прекрасный труд честнейшего русского писателя В. Г. Короленко, человека с большим и сильным сердцем». (Увы, драматическая судьба Помгола ускорила уход Короленко из жизни в декабре 1921 года.)

Чтобы понять характер этого уникального учреждения, вспомним, каков был его состав. Председатель — Л. Каменев. Вошли в комитет и другие члены правительства: А. Рыков, Л. Красин, А. Луначарский, И. Теодорович, М. Литвинов (всего 12 человек). Наряду с ними в Помголе была широко представлена научная и культурная общественность (академики, писатели, артисты). Важно, что сочли возможным ввести в состав организации людей, в недалеком прошлом являвшихся видными представителями таких партий, как кадеты (С. Прокопович, Н. Кутлер, Ф. Головин, Н. Кишкин), эсеры (Е. Кускова).

Подобного рода союз многим в пору торжества политической конфронтации мог показаться неожиданным и даже противоестественным, и потому официальная печать поспешила заверить, что советская власть отлично понимает подлинное, оппозиционное умонастроение общественных деятелей подобного

рода, но «приветствует гуманные тенденции и не боится задних мыслей» (К. Радек).

Однако очень скоро ход событий показал, сколь обоснованными являются слова, будто бы власти не боятся «задних мыслей» в сознании интеллигенции. Интересные материалы на этот счет содержатся в книге воспоминаний «Москва» известного русского прозаика Б. Зайцева, выпущенной в 1960 году в Мюнхене.

Мемуарные свидетельства Зайцева, посвященные сложным событиям в общественной жизни страны, отличает ровный, спокойный тон, в них совершенно не чувствуется какой-либо обиды, не говоря уже об озлобленности или предвзятости (в отличие, к примеру, от желчных, часто крайне односторонних характеристик людей и событий, которые содержатся в воспоминаниях Бунина).

Примечательна, к примеру, в изображении Зайцева фигура Каменева, возглавившего Помгол, как чиновника, державшегося вполне корректно, достаточно либерального (он запретил издание чекистского бюллетеня, содержавшего призывы к пыткам во время допросов). Каменев с вниманием относился к просьбам об освобождении арестованных писателей и других представителей интеллигенции…

Зайцев рисует выразительную картину той внутренней напряженности, которая возникла в умонастроениях интеллигенции сразу с момента образования комитета. «На другой день уже весь город знал о комитете. Тогда еще считалось, что „они“ вот-вот падут. Поэтому комитет мгновенно разрисовали. Было целое течение, считавшее, что это — в замаскированном виде — будущее правительство. Другие ругали нас, среди них С. П. Мельгунов, за „соглашательство“: ведь мы должны были работать под покровительством Льва Борисовича (Каменева. — *В.Б.)*… На следующий день в газетах нас превозносили (очевидно, уже считали „своими“), а нашими именами уязвляли непошедших. Газеты эти были расклеены… Я наткнулся на такую „стенгазету“. Вокруг нее куча читателей. Безрадостно увидал я свое имя рядом с Максимом Горьким. Мрачный тип, прочитав, фукнул и сказал: „Персональный список идиотов“».

Зайцев подчеркивает особую трудность положения Прокоповича и Кусковой: «Все это они затеяли, предстояло найти линию и достойную, и осуществимую». Очень быстро обнаружилось, однако, что подобная цель недостижима…

Впрочем, на первых порах деятельность комитета оказалась достаточно эффективной. России большую помощь оказали

международный Красный крест, во главе которого стоял Фритьоф Нансен, американская благотворительная организация АРА.

Но социальное размежевание по принципу «мы» и «они» чувствовалось в работе комитета во всем. «„Наших“, — пишет Зайцев, — было числом гораздо больше: профессора, статистики, агрономы, общественные деятели — вроде парламента». Вот это-то «вроде парламента», т. е. органа, могущего претендовать на реальную власть, в первую очередь и не устраивало большевиков. Неприемлемость для руководства ориентаций комитета предельно обнажилась после того, как «мы» начали настаивать, «чтобы была послана в Европу делегация от комитета, чтобы можно было собрать там денег, раздобыть хлеба и двинуть в голодные места». Когда же осуществление подобного вполне разумного требования «общественности» было предъявлено как непременное условие дальнейшей деятельности комитета, он был немедленно распущен. Его ликвидировали по требованию Ленина, в категорической форме выраженному в письме на имя Сталина и всех членов Политбюро от 26 августа 1921 года.

Мало того, что Помгол распустили. Многих деятельных членов комитета, таких, как Прокопович, Кускова, Кишкин, тот же Зайцев, Осоргин и др., арестовали.

Для Горького все это было ударом колоссальной силы. Кускова, с которой он познакомился еще в Нижнем 90-х годов, вспоминает: узнав о готовящемся аресте, Горький поспешил к ней, чтоб предупредить о беде… На нем лица не было: ведь его могли счесть за провокатора, который заманил в ловушку людей, решивших в бедственной ситуации помочь своему народу, встав выше политических амбиций. А их арестовывают, причем над некоторыми возникла реальная угроза расстрела.

А Горький? Он оставался на свободе!

Горький знал, что Ленин и другие из его окружения называли комитет уничижительно «кукиш». По первому слогу от фамилий: Кускова, Кишкин. И вот теперь с самым настоящим кукишем, да еще каким, остается он, Горький!

Писатель все силы приложил к тому, чтобы члены комитета были освобождены. А в целом история Помгола убедила его, что художнику не преодолеть деспотизм политики, жесткое размежевание по принципу «или-или», не достичь того, что станет утверждаться в России как плюрализм лишь через годы и десятилетия.

Горький понял, что дальнейший диалог с руководством не сулит благоприятных результатов. 16 октября 1921 года он выезжает в Германию.

Мысленно восстанавливая вскоре недавние драматические

события, Горький не мог пройти мимо ленинского письмеца, написанного 9 августа, в разгар борьбы вокруг Помгола. В нем вождь упорно настаивал, чтобы Горький выехал за границу. «…У Вас кровохарканье, и Вы не едете! Это ей же ей и бессовестно и нерационально.

В Европе в хорошем санатории будете и лечиться и втрое больше дела делать… А у нас ни лечения, ни дела — одна суетня. Зряшная суетня.

Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас. Ваш Ленин».

Что значит «втрое больше делать дела»? Какого? И что — помощь умирающим от голода россиянам — тоже зряшная суетня?

Теперь, в октябре, покидая родину, Горький отлично понимал, что ленинское настояние о выезде именно тогда было не случайно. Вождь стремился изо всех сил отделить Горького от Помгола, прежде чем окончательно разгромить его…

ГЛАВА IV
«В роли противника всех и всего», или Вне политики

Прожив месяц в Берлине, в пансионе Штеллингера, на Аусбургерштрасс, 47, Горький вместе с сыном Максимом, его женой Н. Пешковой и А. Пинкевичем отправляется в Шварцвальд, где поселяется 4 декабря 1921 года в санатории, в дачной местности Санкт-Блазиен. Здесь и застало его страшное известие: 25 октября скончался Владимир Галактионович Короленко…

Весть эта потрясла Горького не намного меньше, чем в свое время весть об уходе Льва Толстого. Тогда он рыдал воистину как ребенок. А потом сам удивлялся: ведь Толстой-проповедник был совершенно чужд ему. «Не противься злу насилием», — учил один. «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться», — смолоду упрямо утверждал другой. С момента знакомства тяга к гению неизменно сочеталась с чувством духовного отталкивания. Совсем иное дело — Короленко. Смерть его всколыхнула целый рой дорогих сердцу воспоминаний. Возникло необоримое желание написать о нем.

Потребовались его письма. И тотчас Горький бомбит своих корреспондентов в России просьбами. 12 января 1922 года — А. Пинкевичу: срочно пойти в Государственную библиотеку, снять там копии писем Короленко и послать в Берлин, Гржебину. В тот же день — И. Ладыжникову: «Очень прошу Вас о следующем: в чемодане писем, отправленном в Дрезденский банк, есть пакет писем Короленко. Будьте добры взять этот пакет, снять с писем точные копии и передать их З. Гржебину»…

…Нижний Новгород, конец века. Сюда, на Канатную, в непритязательный двухэтажный дом, похожий на многие другие, пришел к маститому писателю начинающий литератор. Так началось знакомство, длившееся более четверти века. Об этом и напишет Горький вскоре в очерках «В. Г. Короленко» и «Время Короленко».

Но творческая мысль раздваивалась. Неумолимое и драматическое настоящее постоянно вторгалось в воспоминания о молодости. А из писем Короленко, которые были так нужны, естественно, в памяти оживали полученные совсем недавно. Особенно те два, что были написаны — одно, большое, в ночь на 9 августа 1921 года, а второе, краткое, вдогонку, на другой день. Ими Короленко откликнулся на призыв Горького написать

обращение к Европе о помощи голодающей России.

Память лихорадочно выхватывала из писем Короленко самое важное.

> …История сыграла над Россией очень скверную шутку… Прежний режим был слеп и не замечал со своей «диктатурой дворянства», что он растит только слепую вражду…
>
> …Но что из этого вышло? Лишенный политического смысла народ тотчас же подчинился первому, кто взял палку. Это были коммунисты. Они удовлетворяли долго назревавшей вражде и этим овладели настроением народа…
>
> …Нужно было внушить, что богачи и есть прежде всего бандиты. Все как будто столкнулось так, чтобы породить голод: самые трудоспособные элементы народа, самые разумные и знающие сельское хозяйство преследовались и убивались…
>
> …Мой вывод, к которому я пришел с несомненностью: настоящий голод не стихийный. Он порождение излишней торопливости: нарушен естественный порядок труда, вызваны вперед худшие элементы, самые нетрудоспособные…
>
> …От этой системы раскулачивания надо решительно отказаться. Нужна организация разумного кредита, а для кредита нужна зажиточность, а не равнение. Иначе сказать, нужно отказаться от внезапного коммунизма…
>
> …Нужно вернуться к свободе… Прежде всего к свободе торговли. Затем к свободе печати, свободе мнения…
>
> …Я, как и Уэльс, думаю, что если нынешнее правительство не будет вследствие голода постигнуто каким-нибудь катаклизмом, то ему суждено вывести Россию из нынешнего тупика…
>
> Большевики довели народ на край пропасти. Но мы видели и деникинцев и Врангеля. Они слишком тяготели к помещикам и царизму. А это еще хуже. Это значило бы ввергнуть страну в маразм. Но обращение к свободе есть условие, без которого я не мыслю даже первых шагов выхода…

А как кончалось второе письмо? Эти-то слова он запомнил наизусть, перечитывая много раз, ошеломленно, со смешанным чувством восторга за огромное доверие, выраженное ему, и непомерной тяжести, взваливаемой на его плечи. «Слышал, что

Вы уезжаете за границу. Желаю Вам от души успеха. Сделайте предварительно все, что можете, чтобы изменить систему. Иначе ничего не выйдет. А теперь еще раз желаю всяческого успеха. Россия погибает».

Звучал в короленковских словах затаенный мотив: я делаю все, что могу. Уезжать никуда не собираюсь. Но дней моих остается совсем мало.

Однако глубже всего, гвоздем, засела в сознание идея: надо изменить систему. Ничего себе, задачка! По силам ли она вообще одному человеку? Но главное в другом: художник ли должен заниматься изменением политических систем? И вскоре, в 1923 году, организуя журнал «Беседа», Горький станет настойчиво подчеркивать: журнал вне политики. Точно так же, как А. Толстой, приступая весной 1922 года к редактированию в Берлине литературного приложения к газете «Накануне».

В литературоведении так оценят потом, в 60-е годы, горьковскую «Беседу»: «…Горькому не удалось полностью осуществить все свои замыслы, связанные с „Беседой“, и, в частности, передать на ее страницах подлинное дыхание жизни Советской страны, показать ее основных героев. Дело в том, что в основу „Беседы“ лег ложный принцип аполитичного издания. Недостатки „Беседы“ были настолько серьезны, что в Советском Союзе она не получила распространения, не встретила ни сочувствия, ни поддержки».

Понимая неизбежность подобных характеристик-клише в ту пору, когда горьковедение было предельно идеологизировано, мы тем не менее отчетливо ощущаем сейчас исходную недостаточность подобных пассажей.

Было бы нелепо, однако, бросаться в обратную крайность и начисто отрицать всякую связь искусства и политики. Она конечно же есть, но отнюдь не сводится к диктату политики, превращающему художественное творчество в прилежного иллюстратора партийных лозунгов. Взаимодействие двух этих важнейших сфер общественного сознания прихотливо, динамично.

Что же касается опыта Горького в этом плане, он уникален и вместе с тем глубоко поучителен. Испытывая острейшее разочарование от своего участия в политике, он с эпатирующей бывших друзей-большевиков демонстративностью совершает одну за другой ряд акций, озадачивших всех своей «нерасчетливостью», надпартийностью, как бы содержавших дерзкий вызов политикам: ругайте, уничтожайте меня со своих партийных трибун, но я думаю так, а не иначе и не собираюсь подчинять свою мысль вашим доктринам.

Размышляя о бедствиях страны, о постигшем ее голоде, Горький приходил к выводам, которые вскоре ошеломили всех: и друзей его и врагов. В апреле 1922 года в датской газете «Politiken» были опубликованы его заметки «О русском крестьянстве».

Крайняя заостренность основной идеи, перерастающая в явную тенденциозность и предвзятость, была столь очевидна, что и годы спустя не открывала возможности для публикации заметок на родине. Они увидели свет, с сокращениями, лишь без малого через семьдесят лет, в 1991 году («Огонек», № 49).

По мысли автора заметок, любой народ — стихия анархическая. Он предпочитает иметь как можно больше прав и свести к минимуму количество обязанностей. Наиболее консервативная часть народа — крестьянство. Русская деревня долгое время зависела от города, но теперь, в годы Гражданской войны, поняла, что город зависит от нее. Деревне присуще «недоверие к поискам мысли», «скептицизм невежества»… И — жестокость, становящаяся порой патологической.

В сознании Горького далеко не лучшим образом соединились отрицательный личный опыт общения с мужиком в молодости и марксистские догмы о крестьянстве как классе буржуазном (пусть и с приставкой «мелко»), а следовательно — враждебном. Реакция на суждения Горького о крестьянстве была крайне отрицательной. Белоэмигранты возмутились: Горький все беды революции и Гражданской войны сваливает на народ и тем самым оправдывает этих кровавых палачей-большевиков. Большевики в свою очередь подвергли Горького резкой критике: как-никак народ — главная движущая сила истории.

Первый залп критическими статьями дали «Известия» сразу же, в апреле. Но это оказалось лишь разведкой боем. Опережая отечественную прессу и как бы пролагая ей дорогу (случайно ли?), коммунистическая «Rote Fahne» 15 июля, называя Горького (как и Франса) другом Советской России, упрекала его за излишнюю эмоциональность. Следом, 20 июля, выступил в «Правде» с фельетоном «Гнетучка» первый придворный поэт Демьян Бедный (не гримаса ли судьбы: подлинная фамилия Придворов!). А буквально на другой день и брошюру «О русском крестьянстве», и письмо Франсу в защиту эсеров (о нем — ниже) осудила «Красная газета». 8 августа собрание представителей культкомиссий заводов Замоскворецкого района столицы в своей резолюции предлагало Горькому немедленно вернуться в Россию, чтобы в пролетарской среде изжить свои ошибки…

Но Горький не то чтобы возвращаться с покаянием, но и оправдываться издалека что-то не торопился.

В начале сентября он выпустил отдельное издание очерка и вскоре сообщил Роллану: писать было трудно, но необходимо. Французский друг отвечал, что рассуждения о русском крестьянстве тронули его своей трагической силой… И все-таки, что бы там успокоительное ни писали друзья, поводов для критики взглядов Горького на мужика возникало предостаточно. Никто еще в русской (да и только ли в русской?) литературе не высказывался о своем народе столь резко и беспощадно. Так что и критические отповеди Горькому понять можно, а особенно если они рождены той болью, которая вызвана нашим нынешним знанием о трагедии крестьянства в годы сталинщины.

Чем же вызван столь односторонне пристрастный взгляд на мужика? Немного о традициях. Первой придет на память «Деревня» Бунина, встреченная Горьким восторженно. Бунина как будто никто не обвинял в клевете на русское крестьянство, а ведь картины деревенской жизни, нарисованные им, мягко говоря, далеко не идилличны. Бунин продолжил традицию, сложившуюся в отечественной литературе ранее. И тут в первую очередь надо назвать две вещи Чехова: «Мужики» и «В овраге», которые Горький сразу же по их появлении в печати расценил как правдивые свидетельства о жизни села, ее кричащих противоречиях, социальном расслоении. А дальше — Глеб Успенский, Решетников… Особое место занял бы в этом ряду Лев Толстой.

Апологетический взгляд на деревню преобладал у литераторов народнического направления, которое Горький отвергал в принципе за односторонность, перерастающую в умилительность.

Небольшой литературоведческий экскурс о деревне в литературе можно было бы повернуть из прошлого в наши дни и вспомнить сурово-трезвый (но именно потому глубоко патриотический) взгляд на крестьянство Ф. Абрамова, И. Мележа, В. Шукшина (чего стоит знаменитый рассказ «Срезал» с фигурой деревенского «эрудита» Глеба Капустина в центре).

Впрочем, рассуждая об истоках, питающих горьковскую концепцию, не впасть бы в ошибку литературоцентризма! В конце концов воздействие самой жизни на писателя сильнее воздействия книг.

Горького потрясла весть о зверской расправе над писателем Сергеем Терентьевичем Семеновым… Народные рассказы Л. Толстого побудили того к художественному творчеству, и первая книга начинающего автора «Крестьянские рассказы» еще в конце прошлого века вышла с предисловием знаменитого писателя. Семенов принимал участие в революционной

деятельности, вынужден был эмигрировать за границу. Верность деревне, однако, сохранил и после 1917 года вернулся к земле. Интеллигентный человек, повидавший мир, он искренне хотел нести культуру в отсталый деревенский быт, в сельскохозяйственное производство. Миссионер? Святой? Жертвенник?

Далеко не все принимали его усилия с благодарностью. Нашлись деревенские толстосумы, не без оснований почувствовавшие в нем опасного человека. Ведь чем меньше темноты и отсталости, тем меньше почвы для произвола! Они-то и учинили однажды над Семеновым дикий, кровавый самосуд.

И беда, и трагедия дореволюционной деревни были обусловлены ее изолированностью от достижений цивилизации. Размышляя над жизнью в глобальных масштабах, Горький испытывал невольный страх перед «огромностью всемирной русско-китайско-индусской деревни» и опасался, как бы она не погубила богатства культуры, поглотив, но не усвоив их.

Весь ушедший с головой в хлопоты и заботы об интеллигенции, мозге нации, он, конечно же, односторонне смотрел на мужика. Но, возможно, после сказанного будет немного понятнее причина такого отношения.

Деревня и город… Крестьянство и интеллигенция, ее выживание в условиях голода — все это было связано теснейшим образом. И вновь, как незаживающая рана, начинала зудеть мысль: почему большевики так боятся интеллигенции, что мгновенно разогнали Помгол? Почему вообще так опасаются мнений, не схожих с собственными, стремятся к огосударствлению общественной мысли и инициативы? Ведь боится чужого мнения только тот, кто не уверен в своей правоте. И потому прибегает к силе. А может быть, они хотят ограничить расход интеллектуальной энергии, которая уходит на дискуссии? И вправду, сколько бесплодных споров затевала интеллигенция на Руси! Иных хлебом не корми, дай поговорить. Но нет, дело, видимо, не в этом, не в стремлении к экономии энергии, а в тяге к политическому, духовному монополизму. Жизнь давала тому веские подтверждения. Еще в марте 1921 года состоялся X съезд партии большевиков. Советская историко-партийная наука неизменно подчеркивала первостепенное значение принятого на нем решения о переходе к новой экономической политике, пришедшей на смену военному коммунизму (тому, что Короленко называл «внезапным»). Иную концепцию выдвинул известный политолог А. Авторханов в книге «Происхождение партократии», изданной на Западе еще в 1973 году. Большевики шли к власти под лозунгом диктатуры пролетариата. Привыкнув к этому

термину, превратившемуся в идеологическое клише, мы перестали замечать изначально заложенный в нем алогизм. Как, каким путем неимущие, насильственно отторгнутые дотоле от участия в государственном строительстве и потому не обладающие соответствующим опытом, будут управлять обществом? Жизнь очень скоро убедила в практической неосуществимости этого принципа, и вот уже с 1919 года Ленин начинает подчеркивать, что «диктатуру осуществляет коммунистическая партия большевиков». Авторханов метко называет возникший механизм «надгосударственной партийной машиной». Чем дальше, тем больше партийная машина превращалась в аппаратно-бюрократическую, то есть на деле вся власть переходила в руки уже не партии, а ее верхушки. X съезд принял резолюцию «О единстве партии». Ленин резко порвал с предыдущим курсом, заявив: «Споров об уклонах мы не допустим». Сопротивление этому диктаторскому принципу со стороны тех, кто понял гигантскую опасность, заключенную в нем (Шляпников, Коллонтай), было подавлено. Теперь стал возможен переход к организованному ограничению и ликвидации инакомыслия уже вне партии. Метод дискуссий, воздействия на сознание был тут, по мнению большевиков, в принципе неприемлем.

Поспешная ликвидация Помгола и стала, очевидно, первым практическим действием большевиков по ликвидации гнезда интеллигентского инакомыслия. На очереди стоял вопрос об отношении к другим, все еще существовавшим революционным партиям.

В феврале 1922 года, незадолго до переезда Горького из Шварцвальда в Берлин, здесь вышла брошюра некоего Г. Семенова «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917–1918 гг.». Весьма показательно, что ее текст был немедленно перепечатан «Известиями». Автор изо всех сил старался убедить читателя в том, что лидеры эсеров причастны к попыткам покушения на руководство страны: Ленина, Троцкого, Зиновьева и других лиц. Однако тенденциозно-обвинительный, фальсификаторский характер опуса Семенова доказан был очень скоро. Тем не менее эсеры, в прошлом активные участники революционного движения, были арестованы, и их ждала самая суровая участь.

Как известно, между программами эсеров и меньшевиков имелись существенные разногласия. Тем примечательнее, что борьбу за спасение эсеров возглавил недавно оказавшийся в эмиграции меньшевик Ю. Мартов. Он прекрасно знал, что Горького и Ленина связывают тесные личные отношения. И тем

не менее через своего соратника по партии Б. Николаевского, только недавно освободившегося из заключения и выехавшего в Европу, он обратился к Горькому с просьбой поднять голос протеста против готовящейся расправы над социалистами-революционерами.

Раздумывая над этим предложением, Горький мог вспомнить еще один фрагмент из недавнего письма Короленко и еще раз поразиться прозорливости Владимира Галактионовича. «История когда-нибудь отметит, что с искренними революционерами и социалистами большевистская революция расправлялась теми же методами, что и царский режим».

В мае 1922 года Горький в газете «Манчестер гардиен» пишет: «Ошибкой всей русской интеллигенции является партийный раскол внутри ее…».

По поводу процесса над эсерами Горький сначала обратился за поддержкой к Анатолю Франсу, чей авторитет среди европейской интеллигенции был чрезвычайно высок. Горький не мог не учитывать при этом конкретного участия Франса в русских делах: полученную в 1921 году Нобелевскую премию он пожертвовал в пользу голодающих России. (Ленин, проявлявший повышенную подозрительность к участию культурных сил Запада в преодолении Россией ее трудностей, назвал «наглейшим» предложение Нансена об участии иностранных представителей в контроле за распределением зарубежной помощи. Предложение Нансена стало одной из причин разгона Помгола.) Однако, чтобы обращение к Франсу не выглядело слишком демонстративным и оппозиционным (почти разрывом с большевиками), Горький одновременно послал письмо аналогичного содержания Рыкову, заменявшему Ленина в связи с его болезнью[10].

В России никак не ожидали подобных шагов со стороны Горького. «Правда» высказывалась без обиняков: «Своими политическими заграничными выступлениями Максим Горький вредит нашей революции. И вредит сильно». Ленин назвал письмо Горького Франсу «поганым», но от публичного осуждения его все же решил воздержаться.

А разочарование Ленина по поводу «защитительных действий» Горького было велико. Ведь согласно их договоренности, писатель выезжал на Запад не только для лечения, но и для налаживания связей советской власти с западной интеллигенцией, и в первую очередь ради сбора средств для борьбы с голодом.

В письме Горькому от 6 декабря 1921 года Ленин напоминает о договоренности, но примечательно при этом, что просьбу обратиться с соответствующими предложениями к Б. Шоу и

Г. Уэллсу сам он адресует не от себя лично: «меня просят написать Вам…» Кто именно просит — неизвестно. Может быть, те, с кем отношения Горького были более стабильны, чем с Лениным в ту пору?

Между тем Ленин отлично понимал, сколь велик авторитет Горького в Европе и за ее пределами. Свои разногласия с писателем он хотел смягчить заботой о его положении. 12 декабря 1921 года Ленин пишет Молотову, что Горький выехал совсем без денег, рассчитывая получить гонорар за издание своих книг. Ленин же полагал, что необходимо провести через Политбюро решение о выделении необходимых средств партией и государством.

Однако Горький не счел возможным связывать себя с советским правительством какими-либо обязательствами, и М. Андреева, вероятно, по его просьбе писала Ленину о том, что следовало бы побыстрее решать вопрос об издании книг Алексея Максимовича: хотя уехал он, «не взяв ни копейки», «но пособия или ссуды Алексей не возьмет».

…Пожелал сохранить свою независимость, предполагал Ленин. Уж не для того ли, чтобы иметь право на публикацию сочинений, подобных «поганому» письму Франсу? А ведь в конце прошлого года прислал длинное письмо-«отчет»: о письме Уэллсу, в котором просил английского друга провести переговоры с Комитетом Карнеги и Рокфеллером, и и письме к президенту США Гардингу, где подробно сообщал о связях с Международной ассоциацией помощи голодающим в России. «Вообще, я делаю все, что могу».

Действительно, значение помощи извне, в том числе и из Америки, было довольно велико. Об этом красноречиво свидетельствует совсем недавно опубликованное в нашей стране письмо Горького американке Джейн Адамс от 10 июля 1922 года по поводу голода, продолжавшегося в стране. Горький исключительно высоко оценивает миссию Гувера: «Америка вправе гордиться детьми своими, которые так бесстрашно и прекрасно работают на огромном поле смерти, в атмосфере эпидемии, одиночества и людоедства.

Эта работа кроме своей прямой задачи — спасения миллионов людей от голодной смерти имеет еще и другое, на мой взгляд, более важное значение: она возрождает в русском народе убитое войной чувство человечности, воскрешает уничтоженную мечту о возможности братства народов, реализует идею совместного, дружеского труда наций».

Как современно звучит эта мысль, пронизанная пафосом торжества общечеловеческих ценностей, не правда ли? А

высказана она тогда, когда власти в стране, вынуждаемые безысходными обстоятельствами, использовали гуманитарную помощь Запада, но в конечном-то счете стремились к победе над тем же «проклятым миром капитализма». Знай Ленин об этом письме, он и его мог бы назвать «поганым».

А то, конца декабря 1921 года, письмо — «отчет» Ленину Горький заканчивал в общем вполне дружески: о лечении, о природе Шварцвальда, необходимости и Ленину непременно отдохнуть… И можно было как будто не придавать значения последней, несколько неожиданной фразе: «Помните, что российский житель суть человек самых неожиданных поступков — сделает пакость и сам удивляется: как это меня угораздило?»

И вот письмо Франсу, поддерживающее сразу и эсеров, и меньшевиков, хлопочущих о них! Разве не та же самая «пакость», о которой изволил обмолвиться Алексей Максимович в конце своей эпистолы?..

Дальнейшие события, развернувшиеся все в том же 1922 году, дали новые доказательства того, что большевистская власть намерена допускать к выходу на общественную арену в стране только такие взгляды, которые соответствуют ее стратегии и тактике. Осенью в принудительном порядке была выслана за рубеж группа крупных философов, экономистов, социологов, публицистов: Н. Бердяев, С. Франк, Л. Карсавин, Ф. Степун, И. Ильин, Д. Лутохин, П. Сорокин, С. Мельгунов… На прямую связь этой акции с судьбой Помгола указывает тот факт, что среди высланных было несколько активных участников комитета: председатель Общества сельского хозяйства А. Угрюмов, председатель его студенческой секции Л. Головачев, писатель М. Осоргин, философ С. Булгаков.

Эта печально известная акция получила наименование «философский пароход». Да, лишение родины — тяжкое наказание. Но все же оно не было, слава Богу, лишением жизни, и многие «пассажиры» парохода получили возможность продолжить за рубежом маршруты своих творческих исканий. И уже в наши дни страна возвращает на родину наследие выдающихся мыслителей. Кстати сказать, их впечатления о драматических событиях в России очень часто совершенно лишены присущего нашим отечественным писаниям чувства личной ущемленности и содержат глубокие, объективные размышления о времени и о себе (достаточно, например, перечитать сочинения Н. Бердяева).

Не попади эти люди за границу, нетрудно представить себе их судьбу. В пору, когда Россия после генуэзской конференции в апреле 1922 года прорубала если не окно, то хотя бы форточку в Европу, массовые репрессии среди интеллигенции такого уровня

имели бы слишком широкий резонанс на Западе и крайне осложнили бы положение Советской республики на международной арене.

Среди пассажиров «философского парохода» было немало тех, кого Горький знал лично. Сопоставляя себя с ними, он мог думать, что оснований и для его высылки имелось ничуть не меньше. Пожалуй, даже и больше, если учесть критику действий большевиков и Ленина еще в «Несвоевременных мыслях». И все-таки ощущал: не очень было бы ему уютно в этой компании. Все равно бы его считали другом Ленина, красным, несмотря на все разногласия с большевиками. Да ведь так оно и было в действительности. Расходясь с властями в оценке роли интеллигенции, отрицая непомерно великую роль насилия в строительстве нового общества, Горький полагал саму эту переделку мира, за которую взялся пролетариат, неизбежной. Потому он даже в самые трудные времена не раз высоко оценивал энергию большевиков, решившихся на великий эксперимент в стране, которая далеко еще не готова к нему, а потому побуждала инициаторов эксперимента к особенно активным действиям. 7 декабря 1922 года он писал Роллану: «И все-таки меня восхищает изумительное напряжение воли вождей русского коммунизма…» Чуть раньше в известном письме в редакцию газеты «Накануне» он опровергал слухи об изменении своего отношения к советской власти.

И тем не менее — поддержал эсеров и меньшевиков! Чем это можно объяснить? Не в последнюю очередь причинами нравственными. В Мартове его привлекло то, чем он покорял всех, в том числе и Ленина: обостренная этическая чуткость и чистота… Пожалуй, Мартов не был типичным политиком. Политика и нравственность крайне редко совпадают полностью, а уж расходятся они постоянно, иной раз даже полярно. Нравственный поступок внеутилитарен. Добро всегда есть добро. Оно не может быть подчинено сиюминутной выгоде. Политик же, напротив, стремится достичь поставленной — именно вот этой! — цели любой ценой. А оправданием служит возможность следующего шага к цели. И коль скоро следующий шаг оказался успешен, значит, оправдан и шаг предыдущий, даже если цена была непомерно высокой, даже если пришлось пролить кровь.

Ленин по-своему любил Мартова. Ему часто недоставало общения с этим другом-врагом. Нередко человека в ком-то привлекает то, чего недостает самому. Втайне Ленин даже завидовал Мартову, его внутренней цельности. Сам усвоивший умом этические нормы и старавшийся придерживаться их в обычных условиях (воспитание в семье сказывалось), Ленин

полагал, что в обстоятельствах экстремальных для достижения цели политической хороши все средства. Он был до мозга костей политик. В этом заключались и его колоссальная сила, и слабость. Сила помогала одерживать победы в ситуациях, казалось бы, безвыходных. Притаившаяся слабость вызревала, чтоб с годами обернуться болезнью, для дела неисцелимой.

Соотношение политики и нравственности становилось предметом напряженнейших раздумий лучших умов человечества. К их числу, безусловно, принадлежал Роллан, с которым Горького в течение многих лет связывала интенсивная переписка, оказавшая на него большое и плодотворное воздействие. Как раз в ту пору, о которой у нас идет речь, Роллан вынужден был вступить в спор с Анри Барбюсом. Прошедший через горнило мировой войны, куда он ушел добровольцем, Барбюс стал убежденным критиком капиталистической системы. Уже в 1921 году он утверждал, что возникновение СССР — «крупнейшее и прекраснейшее явление в мировой истории. Этот факт вводит человечество в новую фазу его развития». Двумя годами раньше о его романе «Огонь» высоко отозвался в печати Ленин. А в 1923 году Барбюс вступает в коммунистическую партию.

Охваченный максималистскими настроениями, Барбюс упрекал Роллана в том, что тот хочет встать над схваткой, уклониться от немедленного претворения в жизнь программы нового строя. Не есть ли это выражение принципиальной антипатии ко всему, что связано с политикой? — спрашивал Барбюс.

Он не мог знать, что в содрогающейся от социальных мук России родились слова, выражающие противоположную точку зрения. Полемически заостренные, они были прямо адресованы автором своим недругам. «В мире должна произойти великая реакция против власти и господства политики, против похоти политической власти, против ярости политических страстей. Политика должна занять свое подчиненное, второстепенное место, должна перестать определять критерии добра и зла, должна покориться духу и духовным целям… Должна быть в мире преодолена диктатура политики, от которой мир задыхается и исходит кровью». Это писал Н. Бердяев в книге «Философия неравенства» в 1918 году.

Как же отреагировал Роллан на письмо Барбюса? Ответ его в высшей мере знаменателен. «Неверно думать, будто цель оправдывает средства. Для истинного прогресса средства еще важнее, чем цель. Средства воспитывают человеческое сознание или в духе справедливости, или в духе насилия. И если в духе

насилия, то никакой образ правления не устранит угнетения сильных слабыми. Вот почему я считаю, что защищать моральные ценности необходимо и в период революции — еще больше, чем в обыкновенное время».

В прекрасных словах французского писателя сформулирована едва ли не идеальная программа поведения личности в условиях революционной переделки мира. Увы, как убеждает опыт, последовательно реализовать ее не удается никому, хотя она и должна служить в конечном счете и ориентиром и критерием действий личности.

Горький разделил позицию Роллана, о чем сообщал в своем письме. В словах французского друга он находил ключ и к поведению Мартова.

Между тем преследованием эсеров и меньшевиков, высылкой интеллигенции за рубеж не исчерпываются решительные действия большевиков, направленные на утверждение единовластия. Весной все того же 1922 года началось массированное наступление на духовенство. Повод нашли благой: в связи с невиданным голодом необходимо реквизировать церковные ценности.

Расчет оказался довольно точным. Как могли служители Всевышнего, пекущиеся о благе рабов Божьих, не пойти на жертвы, когда речь зашла о жизнях тысяч и тысяч, включая детей и стариков! Однако расчет был не только точным, но и коварным. Типично политическим расчетом!

Петроградский митрополит Вениамин изъявил готовность пойти на жертвы во имя спасения человеческих жизней и собирался вот-вот собственноручно снять драгоценный оклад с иконы Казанской Богоматери, являвшейся главной святыней Петрограда. Он поставил перед властями только одно условие. Вы хотите получить драгоценности? Пожалуйста, мы идем на это! Но все должны знать, что действия наши совершенно добровольны. В Петросовете сочли, что решается все наилучшим образом, без каких-либо конфликтов. Доложили об этом в центр с радостью. И… получили нагоняй! А следом — урок Большой Политики.

19 марта 1922 года Ленин направил Молотову строго секретное письмо для членов Политбюро: «На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов… Провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу

расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».

Вот она, высшая «мудрость» политики: материальные средства получить и одновременно скомпрометировать поверженного противника в глазах народа, подавить его еще и морально. «Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена нам полностью», — торжествовал Ленин. Начиналось великое наступление на Веру. Одну религию, существовавшую века, предстояло заменить другой — «религией» научного коммунизма.

Но и этим не ограничивались меры советского руководства по утверждению единовластия. Пока у нас шла речь об отрицании (доходящем до запрета) каких-то тенденций в общественной жизни, неугодных большевикам. Теперь предстоит коснуться момента, связанного, так сказать, с конструктивно-созидательными планами их деятельности в области культурного строительства. Нам предстоит бросить взор на не прочитанную еще и совершенно не осмысленную страницу политики партии в этой сфере.

Весной все того же 1922 года под руководством заместителя заведующего агитационно-пропагандистским отделом ЦК РКП(б) Я. Яковлева стала формироваться комиссия по организации писателей и поэтов в самостоятельное общество. Решением Политбюро за подписью Сталина ее состав был утвержден 6 июля. Кроме Яковлева в нее входили такие видные в ту пору критики, как Н. Мещеряков, П. Лебедев-Полянский и др. Но особо следует выделить среди них наиболее талантливого и наименее приверженного партийным догмам А. Воронского.

11 июля состоялось первое заседание комиссии, которая постановила: «При организации беспартийного общества использовать фактически существующую группу при „Красной нови“»[11], первом толстом литературно-художественном журнале, родившемся после Октября (его редактором был тот же Воронский, а у его истоков стоял Горький, возглавивший поначалу отдел прозы).

Кто же должен был войти в состав общества? «В общество привлечь: а) старых писателей, примкнувших к нам в первый период революции (Брюсов, Городецкий, Горький и т. д.); б) пролетарских писателей (Ассоциация пролетарских писателей — Петербургский и Московский Пролеткульт); в) футуристов (Маяковский, Асеев, Бобров и т. д.); г) имажинистов (Мариенгоф, Есенин, Шершеневич, Кусиков и т. д.); д) Серапионовых братьев (Всеволод Иванов, Шагинян, Никитин, Тихонов, Полонская и

т. д.); е) группу колеблющихся, политически не оформленных из талантливой молодежи (Борис Пильняк, Зощенко); ж) сменовеховцев (А. Толстой, Андрианов и проч.)» [12].

Как видим, состав общества предполагается достаточно пестрый. И примечательно, что включали в него и представителей тех течений или группировок, которые уже были подвергнуты партией суровой критике (это и Пролеткульт, и футуризм, и даже «Серапионовы братья»).

Но может быть, наибольшее удивление вызывает включение в список сменовеховцев, и прежде всего бывшего графа А. Толстого, пребывавшего в эмиграции. (Правда, к этому времени он уже порвал с наиболее крайними кругами эмиграции своим «Открытым письмом Н. В. Чайковскому».)

Своеобразное было время! В Берлине, куда Горький приехал в апреле 1922 года и где уже находился А. Толстой, переехавший из Франции, и завязались самые дружеские отношения между «основоположником соцреализма» и «красным графом». Сошлись они настолько, что даже поселились неподалеку — на одной улице, центральной магистрали немецкой столицы Курфюрстендамм, наискосок. Между прочим, здесь, на квартире Горького, в доме 203, был подписан А. Толстым договор с представителем Госиздата на право издания в Советской России романа «Аэлита», журнальная редакция которого была опубликована на рубеже 1922–1923 годов в «Красной нови» у Воронского еще до возвращения писателя домой.

Летом оба, с семьями поехали отдыхать на балтийское взморье. Горький — в Герингсдорф, А. Толстой — в Миздрой. Опять же поблизости.

И это — при всем том, что Горький неодобрительно относился к сменовеховству, левоэмигрантскому течению, призывавшему к поддержке большевиков во имя возрождения русской государственности. (Опять по формуле «в роли противника всех и всего»?) Относился с неодобрением, хотя и знал из разговоров с Лениным, что тот заинтересованно изучает поведение этой части интеллигенции, среди которой было немало одаренных специалистов. Однажды Ленин даже обругал «глупых» редакторов «Правды», велев им учиться у газеты «Накануне» (главного органа сменовеховцев) освещению международных вопросов.

Трудно пока с точностью сказать, чем объясняется скептицизм Горького по отношению к сменовеховству. То ли он не верил в перестройку видных буржуазных экономистов и политиков, иные из которых еще совсем недавно служили министрами у Колчака. То ли не верил в то, что союз

большевиков — при их стремлении к идеологическому пуризму — с такими спецами может быть прочным… Если справедливо второе предположение, то Горький был прав. Многие сменовеховцы, вернувшиеся в Россию и успешно трудившиеся на крупных постах в государственных учреждениях, были репрессированы позднее, в годы сталинских беззаконий.

Как мы помним, редактором «Красной нови» был Воронский, с которым Горького связывали добрые отношения и талант которого он высоко ценил. Так что невозможно допустить, чтоб включение Горького в состав комиссии происходило без ведома писателя.

В сущности говоря, комиссия Яковлева (так стали называть ее в быту) становилась первым, робким еще прообразом будущего писательского союза, который потом, спустя более чем десятилетие, возглавит Горький. А не состоялось это объединение раньше по многим причинам. Все же линия таких влиятельных критиков, как Воронский, оказалась слишком либеральной, а художественные критерии слишком высокими. Прикрываясь тогой партийной ортодоксальности, напостовцы и рапповцы, в подавляющем большинстве своем люди мало одаренные, повели с Воронским беспощадную войну. И реальное объединение писателей-профессионалов стало возможным лишь после роспуска РАППа.

И опять же — Горький. Как можно было организовать Союз без него? Кто бы такой Союз мог возглавить? Но суть в том, что тот Горький, каким он был в 1922 году, по его собственному выражению — противник всех и всего, — еще вовсе не думал о такого рода объединении. Весь он был поглощен мыслями о спасении России, ее интеллигенции, о большевиках, их воле и целеустремленности и вместе с тем узости, кастовости в подходе к явлениям духовной жизни.

Опыт Горького убеждает: в эти трудные, трагические годы художественное сознание продемонстрировало свое преимущество перед политикой — всеохватность, универсальность, свободу от жесткой директивности. И в пору революционной ломки эстетическое сознание опиралось на богатейшие гуманистические традиции классики с ее гигантским опытом разработки общечеловеческой нравственной проблематики.

…В частном альбоме совсем забытого теперь литератора Ивана Васильевича Репина в пору Гражданской войны сделал Горький лаконичную запись: «Пути-дороги не знаем». Пожалуй, и сейчас, в 1922-м, мог бы он повторить то же самое.

В январе 1924 года он написал Роллану: «…я не возвращусь в

Россию, и я все сильнее и сильнее ощущаю себя человеком без родины. Я уже склонен думать, что в России мне пришлось бы играть странную роль — роль противника всех и всего».

Труднейшая пора в жизни Горького. Воистину трагический накал обретает его боль за Россию, ее будущее! Без былого оптимизма, как к чему-то фатально неизбежному идет Горький навстречу коллизиям, тугие узлы которых неумолимо затягивало время.

ГЛАВА V
Пещеры отшельничества и пространства истории

Герингсдорф. Курортное местечко, живописно раскинувшееся на холмах. Дома не прижимаются друг к другу, подобно ландскнехтам в строю, как в закованных в брусчатку старинных бургах неподалеку — Штральзунде или Грейфсвальде. Сосны окружают двух-, а то и трехэтажные виллы с колоннами или полуколоннами, с нависающими над резными дверями балкончиками, с выпуклыми фонарями застекленных террас, выходящих в цветники. И хотя ни один дом не похож на другой, хозяева как бы состязаются друг с другом в изобретательности в поисках наименований: «Дельфин», «Нептун», «Конкордия», «Эрна», «Анна»… А одна вилла — точнее, две ее половины — имеет два конкурирующих между собой названия: Sonnland (солнечная страна) и Lichtblick (вспышка света или, в переносном смысле, вспышка озарения).

Дом, в котором поселился Горький — двухэтажное здание с входом слева, — принадлежал юристу Бехеру и назывался «Ирмгарнд».

Интерьер арабской комнаты, где жил Горький, выдержан в восточном стиле. Пестрые ковры, мебель, выпуклый щит, скрещенные копья, кривые ятаганы в ножнах, отделанных серебром… О чем думал он, созерцая это оружие, выглядевшее безобидными игрушками в сравнении с теми усовершенствованными орудиями массового истребления людей, которые использовали люди в недавней бойне? Той, что началась как мировая, а потом в России переросла в братоубийственную гражданскую…

Работал — рядом, на обширной выносной веранде, где кинжалы и пики не мозолили глаза. Открывавшийся за окнами пейзаж действовал умиротворяюще. Здесь Горький написал один из самых удивительных своих рассказов. Но может быть, самое удивительное то, как он родился. Точнее — откуда взял свой исток.

Горький недолюбливал роман «Мать», много раз переделывал его. Последний раз — здесь, в Германии. Пробегая глазами привычный текст в сборнике «Знания», наткнулся как-то на одно место, которое пропустил было сначала, прочистив еще немало страниц… А мысль о том месте все сидела в сознании, как заноза,

не давая покоя. Снова раскрыл сборник. Вернувшийся после ареста озлобленный Николай Весовщиков восклицает: «Люди! Люди!.. Ежели они дают мне пинки, значит, и я имею право бить их по мордам… Не тронь меня, и я не трону. Дай мне жить… как я хочу, я буду жить тихо, я никого не задену, ей-богу. Я, может, желаю в лесу жить. Выстрою себе хижину в овраге, над ручьем и буду в ней сидеть… вообще — буду жить один…»

Жить одному… Кто иной раз, под настроение, не испытывал такого желания? Но, в конце-то концов, куда от людей денешься? И это говорит революционер? Но разве революцию делают лишь для того, чтобы лучшей стала только собственная жизнь? Человеческой ли будет жизнь, если каждый станет думать только о себе и о своей пещере?

Взял карандаш, вычеркнул эти рассуждения Весовщикова совсем. Напрочь. И — забыл.

Как-то гулял вдоль побережья по пустынному пляжу, где нога испытывает упругую плотность влажного песка, вдыхал живительный морской воздух, глядел в безбрежный пустынный простор, где ни паруса, ни пароходного дымка. Ну, словно один во всем мире. И вдруг — как молния мелькнула в сознании! Торопливо зашагал к дому, уже не обращая внимания на то, что сухой песок попадает в туфли.

«Отшельник» — вывел название рассказа. И начал: «Лесной овраг полого спускался к желтой Оке, по дну его бежал, прячась в травах, ручей; над оврагом — незаметно днем и трепетно по ночам текла голубая река небес, в ней играли звезды, как золотые ерши.

По юго-восточному берегу оврага спутанно и густо разросся кустарник, в чаще его, под крутым отвесом, вырыта пещера…» Описание места жилища отшельника почти буквально совпадает с тем, о котором в трудную минуту возмечтал один из героев «Матери».

А потом потекли, как два параллельных потока, текст «Матери», с его метафорами, пышной стилистикой, с излишествами которой он боролся от редакции к редакции, да так и не одержал полной победы, и этот рассказ — совсем иной и по стилю, и по всему. Сам удивлялся: как будто писали два совершенно разных человека.

Его захватил странный тип, в котором просматривалось нечто от Платона Каратаева. Савел по прозвищу Пильщик (так звали главного героя) — стихийный проповедник руссоистского слияния с природой. Он убежден: «Все — обман один, законы эти, приказы всякие, бумаги, ничего этого не надо, пускай всяк живет, как хочет».

Перед нами, так сказать, апология естественного образа жизни со стихийным отрицанием регулирующего государственного начала. И в этом стихийном отрицании неграмотного мужика находит свое отражение скептицизм крупнейшего писателя столетия, испытавшего горечь разочарования от попыток людей организовать жизнь общества на разумной основе.

Отшельничество — символ одиночества, в лесу ли, в монастырской келье, на необитаемом острове, в конце концов. Но давайте, читатель, представим на миг: вы живете в своей квартире на каком-нибудь одиннадцатом этаже, не общаясь ни с кем. Словом, отшельник. Но к вам, как к Савелу в пещеру, приходит за день «человек тридцать». Ничего себе, отшельничество! Скорее столпотворение вавилонское. А именно так обстоит дело у Савела. К нему идут и идут люди со скромными подношениями, а он выслушивает каждого, вникает во все беды и лечит тихим, участливым словом утешения. Ведь он ничем не может помочь практически. Только участием, лаской, утешением, особой интонацией, с которой он произносит «милая» или «милачок». Оказывается, и одного доброго слова бывает достаточно, чтобы изменилось к лучшему настроение, а потом и взгляд на мир. И не всегда к счастью приводит полное материальное благополучие. Может, и вправду царство Божие внутри нас?

Рассказ «Отшельник» поразил всех. Одним из первых, кто выслушал его в авторском чтении, был Алексей Толстой. Он отметил новый поворот души автора: «Выше всего над людьми, над делами, над событиями горит огонь любви, в ней раскрывается последняя свобода. В ней человек — человек». Искусство Горького — «ярость освобождения. И вот — путь от хриплого крика Буревестника к милому, у костра, у ручья, голосу отшельника: теперь ты свободен, освободись же от последних, самых страшных цепей, тех, что лежат на сердце, — возлюби. Путь Горького — путь человеческий».

Восторженно оценили «Отшельника» К. Федин, М. Пришвин. Причем положительный отзыв последнего надо отметить особо, так как высказанные им в дневниках оценки поведения Горького после возвращения писателя на Родину станут во многом иными.

Уже делалось мимолетное сопоставление Савела Пильщика с Платоном Каратаевым. Проводилась параллель с персонажем самого Горького — с Лукой. (Вряд ли случайно то, что в одном из спектаклей «На дне» за рубежом Лука был загримирован под Льва Толстого.)

Внешне рассказ построен по принципу «все наоборот». Лука

являлся в ночлежку, и его приход, его проповеди переворачивали весь ее уклад. Савел сам живет в своей индивидуальной ночлежке, и все приходят к нему добровольно. Но оба говорят людям примерно одно и то же. И смысл их речей — утешительство.

Отношение Горького к утешительству было сложным. В 1910 году он назвал Луку жуликом, который ни во что не верит. Но — видит, как страдают, мечутся люди, и говорит им разные слова — для утешения. В ответ на полемическое замечание собеседников о том, что Лука вызывает симпатии зрителя, Горький говорил с раздражением: «Подлый он старикашка!.. Обманывает сладкой ложью людей и этим кормится… С самого начала задумал я странника пройдохой, жуликом, да так хорошо вышло у Москвина, что я не стал ему перечить».

Замечательный актер понял образ глубже, чем автор, охваченный энтузиазмом революционных преобразований. И вот спустя ровно двадцать лет родился новый вариант Луки — совсем иной. Этот образ не отпускал создателя: в 20-е годы (когда именно, точно указать трудно) Горький приступил к работе над сценарием «По пути на дно», который начинался симптоматично — эпизодом «Лука». Горький предпринял попытку проследить предысторию героев пьесы, и, надо полагать, создание «Отшельника» было одной из ступеней писательского пути к истокам образов. К сожалению, сценарий не был закончен. Остановимся подробнее еще на одном произведении цикла 1922–1924 годов, замыкающем его, — «Рассказе о необыкновенном».

Даже среди произведений Горького, вызывавших наиболее активные дискуссии, рассказ этот занимает особое место. Одни критики относят его героя Зыкова к числу так называемых «положительных» (активный участник революции). Другие усматривают в нем разрушительную силу, взрастающую «на почве индивидуалистических стремлений и инстинктов». Идею «упрощения» жизни автор цитированных слов Б. Бялик в сущности приравнивает к идее «укрощения» жизни, идее, которую исповедует Макаров, главный персонаж еще одного произведения цикла — «Рассказа о герое». Между тем Макаров — человеконенавистник, провокатор, исполненный презрения к толпе. Так кто же такой Зыков?

Мысли Зыкова об излишествах господского быта, чуждых народному мировосприятию, вполне органичны для его жизненного опыта:

«Много он (доктор. — *В.Б.*) лишнего накопил: книг, мебели, одежи, разных необыкновенных штучек… А от этих разного рода земных бляшек — только вредное засорение жизни и каторга

мелкой работы». Но принципиально иное дело — «теоретические» построения Зыкова не о бытовом, а о духовном упрощении жизни, связанные со стремлением к нивелировке, господству стандарта. В этом проглядывает что-то от казарменной идеологии Пролеткульта. Однако, на наш взгляд, подобного рода теория выглядит по отношению к Зыкову все же как нечто чужеродное.

Последнее реальное практическое дело, которое завершает рассказ Зыкова о его судьбе и которое — подчеркнем это особо — опровергает его слова, — это убийство старика-отшельника.

Зыков руководствуется в своих действиях мотивами политическими (хотя нередко и говорит — опять-таки говорит! — неприязненно о политике вообще). Он убивает старика потому, что тот «с начала революции бубнил против ее». «Теперь стал на всю округу известен, к нему издали, верст за сто приходят, советы дает, рассказывает, что в Москве разбойники и неверы командуют, и всю чепуху, как заведено; сопротивляться велит». Содержание отшельнических проповедей, в данном случае, как видим, совсем иное, чем у Савела Пильщика.

Как бы должен был поступить Зыков и любой человек на его месте, если он действительно руководствовался теорией «упрощения»? Проще всего ему было сделать вид, что он не знает о вредоносной деятельности отшельника, и не брать на себя ответственности за убийство. Но убеждения заставляют его поступить иначе, а отстаивание убеждений, как известно, всегда подразумевает отнюдь не упрощение, а усложнение собственной жизни.

Если Савел Пильщик выступал против всякой государственности, то убитый старец из «Рассказа о необыкновенном» — против государственности революционной.

Чтобы лучше понять авторское отношение к Зыкову и его действиям, следует вспомнить одну существенную особенность композиции всего цикла рассказов 1922–1924 годов. «Отшельник» открывает книгу. «Рассказ о необыкновенном» замыкает ее. «Это совершенно необходимо, книга начинается „Отшельником“ и будет кончена убийством отшельника», — утверждал Горький в 1924 году. Подобная композиция отражает начало отхода писателя от той роли противника всех и всего, которую он брал на себя в пору, когда приступал к работе над циклом.

«Рассказ о необыкновенном» написан на рубеже 1923–1924 годов. Однако то повествование о собственной жизни, которое ведет Зыков, звучит скорее всего в 1919 году «в одном из княжеских дворцов на берегу Невы, в пестрой комнате „мавританского“ стиля, загрязненной, неуютной и холодной».

1919 год был крайне тяжелым для Горького, наполненным

очень сложными настроениями и переживаниями, год, о котором сам писатель сказал тогда же: «Ничего не пишу, не занимаюсь литературой. Не такое теперь время, чтоб этим заниматься…» Однако как публицист Горький своей деятельности не прекращал. В статьях первых лет революции он выражал беспокойство, как бы некоторые руководители не стали проповедовать недопустимую нивелировку людей. О таких он писал в «Несвоевременных мыслях»: они «проводят в жизнь нищенские идеи Прудона, а не Маркса, развивают пугачевщину, а не социализм, и всячески пропагандируют равнение на моральную и материальную бедность», то есть то, что в «Рассказе о необыкновенном» получило название «упрощения» жизни.

В эпистолярии Горького более позднего периода прямо употребляется этот термин: «Человек должен усложнять, а не упрощать себя». «Жизнь становится все интересней, сложней, а я — за сложность и против всяких „упрощений“, хотя бы они и сулили счастье всем ближним моим. Тревога — богаче покоя».

В художественном сознании автора «Рассказа о необыкновенном» шел очень сложный процесс. Теоретико-публицистический стержень будущего рассказа возник еще в 1917 году. В трудном 1919-м происходит беседа рассказчика с героем. Но написан рассказ спустя еще более четырех лет, на рубеже 1923–1924 годов, когда Горький выходил из состояния, близкого к кризису, и искал позитивные начала в революционных преобразованиях. В рассказе отражаются, сталкиваясь и противоборствуя, идеи трех этих временных пластов, порождая сложнейшую художественную комбинацию.

Теория упрощения значительно больше подходила к Торсуеву из «Рассказа о безответной любви», произведения все того же цикла, человеку, показанному вне сферы общественной практики и склонному к едкому самоанализу.

Но в полной мере она стала соответствовать духовному облику другого героя, уже рождавшегося в воображении Горького, — Клима Самгина. В письме Воронскому Горький так характеризовал связь цикла рассказов с «Климом»: «Вам показалось, что он смотрит на жизнь „простыми глазами“? Да, он хотел бы видеть ее упрощенной, елико возможно, однако это лишь потому, что он органически антиреволюционен и — особенно! — антисоциалистичен. Он будет „революционером onmebnke“ до 906 г., с тайной радостью встретит крушение первой революции и до 16 г. проживет в стремлении к „упрощению действительности“… Вот когда теория нашла достойное себе вместилище».

То, что концепция «упрощения жизни» становится звеном,

связывающим столь не похожие друг на друга образы, как Зыков и Самгин, не должно слишком удивлять нас, если мы попытаемся охватить художественный мир Горького в целом. В нем не столь уж редки случаи внутренних эстетических взаимосвязей образов, казалось бы не имеющих ничего общего друг с другом, например, того же Клима и Петра Артамонова. В конечном счете с полным правом можно говорить о родственности теории «укрощения», исповедуемой Макаровым («Рассказ о герое»), и теории «упрощения», исповедуемой Самгиным, — они одного поля ягоды. «Рассказ о необыкновенном» свидетельствует и о самокритичности художника, и об определенных усилиях, которые предпринимал писатель, стремясь найти какие-то позитивные начала в том, что происходит в России. Рассказ внутренне нацелен на эпичность, которая уже была свойственна некоторым из произведений Горького (повести «Мои университеты», роману «Мать») и которая в наибольшей степени проявится в романе «Дело Артамоновых».

Путь Горького к «Делу Артамоновых», опубликованному в 1925 году, как известно, был очень длительным, и, соответственно, существенные перемены происходили в горьковском миропонимании. Первоначальный замысел возник еще в самом начале века. Впоследствии писатель говорил, что больше всего знаний о хозяевах дал ему 1896 год, когда он работал фельетонистом, регулярно освещающим знаменитую Всероссийскую промышленную и художественную выставку.

В 1899–1900 годах в Нижнем Новгороде Горький создал книгу о купце, выламывающемся из своей среды («Фома Гордеев»), а немного спустя у него зародился замысел повествования об истории целого купеческого рода на протяжении ста лет. Делясь мыслями о будущем романе с Л. Толстым, Горький рассказывал и про горбуна, уходящего в монастырь. Патриарх пришел в восторг, и то, что представлялось будущему автору второстепенным, в его глазах выглядело основным: человек уходит от жизни, чтоб замаливать чужие грехи. Это был типично толстовский подход к жизни. Горький избирал другой путь.

К давней теме вернулся Горький лишь весной 1924 года. Он был глубоко потрясен преждевременной смертью Ленина, человека, огромную роль которого в истории признавал и с которым порой приходилось вести резкую полемику о цели и средствах, о революционном насилии и жестокости. Мучительно размышлял теперь Горький о путях развития современного мира, вспоминая и давние каприйские диалоги с Лениным, разговоры о династиях купцов…

Смерть Ленина от революции отделял срок более чем в шесть лет. Горький имел возможность основательно подумать над причинами победы революции в России и поражения ее на Западе, прежде всего в Германии, осмыслить своеобразный опыт нэпа, попытаться понять причудливую динамику капиталистической экономики, ее гибкость и динамизм. Вот эта сложность размышления над жизнью на последнем этапе формирования замысла не всегда принимается во внимание литературоведами. Роман просто возводится к «празамыслу» рубежа двух веков.

«Дело Артамоновых» убедительно опровергает упрощенное представление о природе художественного сознания. На первый взгляд можно было бы сделать такое допущение: коль скоро, согласно учению марксизма, решающую роль в историческом процессе играет народ, следовательно, он и должен быть главным героем книги о крахе капитализма. Но вся-то соль в том, что искусства нет вне индивидуальности художника, вне его судьбы.

Давно вошел в научную и учебную литературу тезис о том, что цель «Дела Артамоновых» — показать якобы неумолимый процесс вырождения буржуазии, приводящий к разложению и гибели всего капиталистического строя. Сюжетно эта идея будто бы реализуется у Горького через изображение постепенной деградации представителей трех сменяющих друг друга поколений рода Артамоновых (Ильи — Петра — Якова).

Итак, деградация капитализма… Однако вполне естествен вопрос: сколь был прав Горький, предрекая эту самую неумолимость? И как соотнести подобную концепцию с реальным состоянием современного «буржуазного» мира, даже если отвлечься на минуту от того глубокого кризиса, в котором оказалась страна «победившего социализма»? Не выглядит ли концепция «Дела» на таком фоне безнадежно устаревшей?

Попытаемся, однако, ответить сначала на другой вопрос: соответствует ли на самом деле эта концепция природе горьковского художественного мышления? Иными словами: горьковская ли это концепция?

Подчиняя жизнь романа априорно сложившемуся идеологическому тезису, процесс деградации рода Артамоновых начинают исчислять уже с его основоположника Ильи. «Созидательный размах все более заменяется у него хвастливой крикливостью, и сама гибель Ильи дает повод сказать, что его сила „хвастовством изошла“», — писал Б. Бялик. Таким образом, уже в самом родоначальнике «Дела» будто бы начинается тот процесс деградации артамоновского дела, который находит свое завершение в судьбе наследников Ильи, издавна утверждают

горьковеды.

Но так ли это? Ведь не случайно Горький постоянно подчеркивает увлеченность Ильи делом. «Все делайте, ничем не брезгуйте! — поучал он, и делал много такого, чего мог бы не делать, всюду обнаруживая звериную, зоркую ловкость, она позволяла ему точно определить, где сопротивление сил упрямее и как легче преодолеть его». Более того, и детей своих он стремился «воодушевить… страстью к труду».

Природа дела, по мысли Горького, оказалась, однако, такой, что оно не обнаружило способности к объединению людей вокруг себя. Стремясь привлечь детей к строительству фабрики, Илья силой своей кипучей натуры подавлял их. Чрезвычайно важными являются слова основоположника другой, рабочей династии «древнего ткача Бориса Морозова», сказанные именно в сцене гибели Артамонова-старшего: «Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить». В смерти Ильи немало случайного, неожиданного. Между тем элемент случайности глубже подчеркивает ее закономерность. Но суть вовсе не в деградации основателя артамоновского дела, не в спаде, движении вниз. Наоборот, суть скорее в перенапряжении при подъеме, как это происходит в сцене разгрузки котла. И вот тут сцена приобретает подлинную символику. Илья слишком жаден. Чувствуя, что чересчур много исторического времени потеряно, он весь отдается жажде наверстать то, что упущено его классом. Отсюда — спешка, горячка, азарт. Илья, кажется, хочет обогнать самое время.

Совсем, совсем иначе строит Горький образ Петра! С отцом сын связан не мотивом преемственности (деградация), а логикой композиционного контраста. И в этом тоже заключен свой глубокий смысл. Отношение героя к делу, которое облапило и держит, как медведь, не давая свободно вздохнуть, достаточно хорошо изложено в работах горьковедов. Но стоит внимательно присмотреться к изображению внутренней жизни Петра; сам этот человек весьма зауряден, но образ его, созданный Горьким, достаточно сложен.

На первый взгляд может показаться странным, что в изображении сумятицы внутренней жизни своего героя Горький предвосхищает некоторые приемы композиционной взаимосвязи характеров и психоанализа, которые вскоре применит в «Жизни Клима Самгина». Так, задумываясь о жизни, Петр нередко ловит себя на том, что наиболее важные выводы принадлежат не ему. («Это была мысль Алексея, своих же не оказалось. Артамонов обиженно хмурится».) Причем важно подчеркнуть, что в голову Петра настойчиво лезут мысли именно тех людей, к которым он

испытывает чувство зависти, неприязни, настороженности (Алексей, Тихон Вялов). Личность отталкивает, а принадлежащая ей мысль незаметно проникает в сознание Петра, становясь одним из источников его внутренней раздвоенности.

Мысль героя оказывается чьей-то чужой мыслью… Уже здесь намечается тот мотив двойничества, который также используется при характеристике Петра и делает этот образ родственным поэтике «Жизни Клима Самгина». Перед нами конкретные проявления сложного процесса, который можно определить как взаимодействие смежных замыслов в творческой лаборатории художника. Да еще надо учесть: окончание «Дела Артамоновых» и начало написания «Клима» хронологически совпадают. «Дело» завершено в апреле 1925 года, а уже в конце 1924-го Горький готовился писать новый роман «о тех русских людях, которые, как никто иной, умеют выдумывать свою жизнь, выдумывать самих себя». Совершенно неожиданное для нас родство Петра и Клима Самгина помогает еще лучше понять, что образы Ильи-старшего и ушедшего в себя Петра связывает никак не преемственность, а именно логика контраста. Совсем иначе соотносятся Петр и представитель третьего поколения Яков. В данном случае сын действительно унаследовал худшие черты своего отца, и прежде всего нежелание и бессилие руководить делом.

Прав С. Касторский, еще в 60-е годы критиковавший схематизм многих горьковедческих работ. Говоря о теме перерождения рода буржуазных предпринимателей в романе «Дело Артамоновых», исследователь полагал, что этот мотив не расширяется до философской концепции всей книги. «Если в раскрытии структуры „Дела Артамоновых“ ограничиться тремя поколениями артамоновского рода по одной линии: Илья-старший — Петр — Яков, то тем самым будет затушевана другая весьма примечательная артамоновская ветвь: Илья-старший — Алексей — Мирон, в результате чего сильно исказится композиция книги. Ведь сюжет повести идет так: ослабляется одна ветвь артамоновской династии — Петр — Яков… Зато крепнет, развивается другая — Алексей — Мирон»[13]. Недооценка этой второй ветви вольно или невольно порождает одностороннюю трактовку концепции всей книги: из рода в род происходит этакий фаталистически неумолимый процесс деградации капитализма. Жизнь давно убедила: мысли о том, что капитализм «вымрет» сам собой, оказались глубоко иллюзорными. Скорее всего, еще не осознавая в должной мере всей социально-исторической значимости проблемы, мудрым инстинктом художника Горький откликнулся на те социальные процессы, которые уже начинались, но значение которых можно

было вполне оценить лишь впоследствии.

Не случайно Алексея Артамонова он рисует как новый тип буржуа, в котором вырабатывается социальная ловкость, умение пользоваться обстоятельствами, чутко реагировать на происходящие в них изменения. Никак невозможно согласиться с мнением, будто «печатью крайней духовной скудости, исторического бессилия отмечены в равной мере (?) и представители наиболее активных слоев вырождающегося класса»[14].

В действительности объективный смысл горьковского романа оказался гораздо глубже. Писатель отразил не какие-то фаталистически необратимые процессы, а полную противоречий динамику развития буржуазного мира, который на смену одним хозяевам «дела» спешит призвать других, более отвечающих требованиям времени.

В литературоведении можно встретить такое утверждение: линии Артамоновых (Илья — Петр — Яков) — неумолимому скатыванию вниз, угасанию, обессиливанию — противостоит линия пролетариата — неуклонный подъем вверх, созревание крепнувших сил. Но о какой линии Артамоновых заводят речь? Ведь их две. Силу поднимающегося пролетариата надо противопоставлять не слабости капитализма (Петр), а его силе (Алексей, Мирон, Митя). Роман не успокаивал: история-де за нас, она, матушка, сама сделает свое дело. Роман Горького заставлял задуматься. Ведь история — в конце концов не что иное, как люди, творящие ее. Стремясь разоблачить эксплуататорскую природу капитализма, роман содержал призыв к активному действию. Увы, это не было понято. На долгие годы воцарялся период не раздумий, а веры тем, кто стоит у кормила власти.

Для понимания образа Алексея, а равно и для понимания идейной сущности книги в целом чрезвычайно важна композиционная взаимосвязь образов братьев Петр — Алексей. Конфликт между ними все более углубляется, и вскоре Петр вынужден признать полное превосходство Алексея во всех отношениях: «Умен, бес»; «все умнеет, бес…»

Алексей стремится к крупной политической карьере, хочет попасть в Государственную думу. «…Ради этого он жадно питается газетами, стал фальшиво ласков со всеми и заигрывает с рабочими точно старая, распутная баба». Сын его Мирон метит еще дальше, «он видит себя в будущем министром… Он также старается притереться к рабочим, устраивает для них различные забавы, организовал команды футболистов, завел библиотеку, он хочет прокормить волков морковью». Правда, обо всем этом лишь кратко упоминается, но, очевидно, рисовать сюжетно развернутую

целостную картину не входило в намерение писателя.

Будучи закономерным порождением русской действительности, Алексей и Мирон в то же время интегрируют международный опыт капитала, пытаются поступать подобно наиболее оборотистым собратьям по классу за рубежом. Всей деятельностью Алексея и Мирона движет желание искусственно сгладить остроту социального конфликта, задобрить рабочих, пойти на частичные уступки им.

Изображая своего рода прогресс капитализма, Горький делает акцент на его внутренней противоречивости. И даже тогда, когда на основе выросшей предприимчивости продолжает развиваться дело, это вовсе не исключает, по мысли писателя, обеднения духа его господ. В ответ на сетования Петра по поводу того, что народ будто бы портится, Алексей с циничной откровенностью заявляет, что народ для него товар, а он покупатель.

«Дело Артамоновых» — книга вовсе не о судьбах капитализма. Никакого дела в книге под названием «Дело Артамоновых», в сущности, нет. Разумеется, мы далеки от прямолинейных требований к писателю во что бы то ни стало ввести в текст изображение производственного процесса. (Его, кстати, совершенно нет и в «Матери».) Заметим попутно, что именно в это время на Западе и в переводах в России широкое распространение получили книги основоположника производственного романа Пьера Ампа, где едва ли не главным героем становился сам производственный процесс (характерны названия типа «Рельсы»).

Горького это совершенно не интересует. Да, в романе дело отсутствует. А если и присутствует, то как некий фантом, как нечто самоуправляющееся, как своего рода перпетуум мобиле. Огромную долю художественного пространства писатель отдает Петру, герою, который ничего не делает. Отдает, властно оттесняя на периферию сюжета других, куда более ярких и социально значимых людей.

Так что же для автора главное? Душа человека. Он мучительно хочет понять, что же там, в темной пещере человеческой души. И подводит читателя к парадоксальному выводу: пещера эта вмещает целый мир. Хитросплетения комбинаций сознания и подсознания таковы, что порой образуют загадку воистину головоломную.

Давно замыслив писать об одном, Горький уже в ходе работы над рукописью попадает под власть другого. Истоки трагедии мира он ищет в тайниках человеческой души. Производя такую переориентацию на ходу, он как художник подвергал себя немалому риску. Потери оказались неизбежны, и на это не могло

не прореагировать профессиональное чутье коллег. Федин даже подсчитал, что основание дела заняло лет семь, но на изображение этого ушло полкниги. А вторая половина повествования вмещает 47 лет, причем здесь происходит, по мысли Федина, самое важное. Проницательно и его суждение о недостаточной прописанности Алексея: «к концу Алексей как будто туманнее, его превращение в либеральствующего дельца воспринимается сухо, как головное».

И Пришвин выражал недовольство концом книги («как будто вам надоело, все пошло прыжками, и кончаешь неудовлетворенный»). Вспомним, кстати, что оба писателя-критика восторгались «Отшельником».

Горький был совершенно согласен с замечаниями коллег. Но его давно уже захватили мысли о другом произведении. И в сущности — может быть, неведомо для него самого — во время работы над «Артамоновыми» происходило включение тех источников творческой энергии, которые были предназначены для «Клима». Результатом этого явились многие особенности характеристики Петра, роднящие его с Климом.

Но обратимся к стилистике. «…Не разберешься в этих думах. Враждебные, они пугали обилием своим, казалось, они возникают не в нем, а вторгаются извне, из ночного сумрака, мелькают в нем летучими мышами. Они так быстро сменяли одна другую, что Петр не успевал поймать и заключить их в слова, улавливая только хитрые узоры, петли, узлы, опутывающие его, Наталью, Алексея, Никиту, Тихона, связывая всех в запутанный хоровод, который вращался неразличимо быстро, а он — в центре этого круга, один». Вряд ли нужны пространные комментарии, доказывающие «вторжение» стилистики будущей «Жизни Клима Самгина» в повествование о жизни Петра Артамонова.

Совершенно изумительную чуткость и прозорливость обнаружил Пришвин, который в конструктивном воплощении «Дела Артамоновых» почувствовал контуры еще только задуманного Горьким романа. «Досадно, что вы не доносили дитя… Я думаю, что вы по своей широте задумали во время писания этого романа какой-нибудь другой, самый большой, и это стало вам не интересно».

И действительно, замышлялся самый большой роман. Не только по объему. Горький задумал его как своего рода энциклопедию жизни русской интеллигенции на рубеже веков, вплоть до революции. Но он не мог знать, какое влияние окажут на работу последние события.

Наверное, справедливо выражение о художнике: «Ты сам свой высший суд». Это — об итоге. Но не всегда создатель в полной

мере хозяин замысла. Слишком многое вторгается извне. И писательскую-то душу, ее вряд ли уподобишь пещере, куда можно перекрыть доступ голосу современности.

Произведения, о которых шла речь в этой главе, питала энергия того народного моря, которое нашло удивительное воплощение в автобиографической трилогии Горького. Именно в эту пору, в 1922 году, заканчивал писатель завершающую часть цикла — «Мои университеты».

Эпический характер горьковского замысла критика оценила еще до революции. Весьма далекий от Горького, а в годы эмиграции откровенно враждебный по отношению к нему, Д. Мережковский в 1916 году опубликовал статью «Не святая Русь (религия Горького)». Усмотрев в «Детстве» одну из «лучших, одну из вечных русских книг», Мережковский счел ее и в религиозном смысле наиболее значительной: на вопрос, как ищут Бога простые русские люди, «Детство» отвечает основательнее, чем даже книги Толстого и Достоевского. У тех — сознание, идущее к стихии народной. У него — народная стихия, идущая к сознанию. По мнению Мережковского, уже в «Детстве» происходит разрыв с традиционными представлениями о «святой Руси».

> «Нет, не святая, а грешная, — сказал Горький так, как еще никто никогда не говорил»… «Вот какое „отечество“ надо полюбить Горькому… „Святая Русь“… Горький не умиляется. Да будь она проклята, эта „святость“, если от нее все наши мерзости!» Правда о свинцовых мерзостях жизни — «это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же выдрать ее из памяти», — цитирует критик писателя и продолжает: «Никто никогда не говорил об этой правде так, как Горький, потому что все говорили со стороны, извне, а он — изнутри».
>
> «По-нашему; по Толстому и Достоевскому, — „смирение“, „терпение“, „неделание“, а по Горькому, возмущение, восстание, делание — „страшно верное, страшно русское“. И если Россия не только откуда-то пришла, по и куда-то идет, то в этом Горький правее Толстого и Достоевского. В этом Россия грешная святее „святой“».
>
> «Да, не в святую, смиренную, рабскую, а в грешную, восстающую, освобождающуюся Россию верит Горький. Знает, что „Святой Руси“ нет; верит, что святая Россия будет».

Какие бы поправки ни вносила в эти прогнозы потом история,

само по себе появление их глубоко показательно. Актуальность подобных мыслей весьма неожиданно дополняется рассуждениями классика армянской литературы А. Ширванзаде, расширяющего национальный диапазон рассуждений критика. Он увидел в повести «Детство» символ не только русской народной жизни, но и всех народов вообще. «Посмотрите, ведь я не русский, а армянин, родившийся и живший вдали от русской жизни, а между тем все описанное Вами так родственно, как жизнь того народа, от которого я происхожу. И, поверьте, то же самое скажет Вам и французский, и английский, и иной другой писатель, вышедший из народа или знающий жизнь своего народа. В этой общечеловечности главное достоинство Вашей великой книги».

ГЛАВА VI
Сладость и муки любви

Герой рассказа «Отшельник» Савел Пильщик, как могли мы убедиться, ведет, в сущности, далеко не отшельнический образ жизни, всячески стремясь помочь ближнему. Но мы бы впали в упрощение, обратив внимание только на эту сторону его поведения. Перед нами еще и рассказ просто о любви, хотя этот мотив оттеснен на задний план. О любви и ее таинствах. Если угодно — аномалиях.

Савел — вовсе не пуританин, не аскет. Он с удовольствием вспоминает утехи своей молодости и с особой гордостью заявляет, что и теперь, в свои шестьдесят семь лет, может «всякую женщину добрать до самого конца». В его отношении к чувственной стороне любви есть даже что-то животное. Страсть порой требовала удовлетворения во что бы то ни стало, и тут годилась любая женщина. «Где какая баба поласковее — той и пользуюсь. Дело обыкновенное».

На читателя может произвести шокирующее впечатление та воистину детская откровенность, с которой поведал Савел рассказчику историю потери невинности собственной дочерью-красавицей, затуманив, впрочем, рассказ об этом разного рода многозначительными недомолвками. На вопрос, жил ли он с дочерью, Савел, задумавшись, отвечает: зимними, скучными ночами «играл с ней»…

В «Отшельнике» Горький как бы делает первые пробные шаги, ступая на зыбкую почву крайностей любовных отношений, которые всегда и притягивали литераторов и отпугивали своей пикантностью.

Проповедовавший тогда максималистский принцип «Человек — это звучит гордо», он с течением времени все больше убеждался, до чего сложно устроен этот самый человек. И идет он жизненной дорогой вовсе не по формуле «вперед и — выше!», как провозглашал сам же в ранней поэме, а … черт его знает, как он идет! Спотыкаясь, падая, проваливаясь в какие-то ямы, счищая налипающую грязь и все-таки двигаясь действительно вперед. И — выше. Но только в конечном счете! Да и то не всегда!..

Вот и тот же Савел Пильщик… Писал его Горький, испытывая к герою смешанное чувство симпатии, любопытства, несогласия с какими-то его действиями. Но наиболее уязвляющим было ощущение не такой уж, в сущности, случайной внутренней своей связи с героем в самой рискованно-интимной сфере…

Начало — середина 20-х — важная и мало еще осмысленная нами пора творчества Горького. С одной стороны, он работает над «Делом Артамоновых», приступает к «Жизни Клима Самгина». Они повествуют о проблемах социального бытия, о том, как человек стремится переделать обстоятельства. Но жизнь подбрасывала все больше пищи для размышлений об иллюзорности чисто социальной переделки действительности. И вот он бросается в сферу совсем иную, прямо противоположную — в анализ мира чисто интимных отношений, о чем пишет в рассказах о любви. Никогда еще диапазон его поисков не был столь всеохватно широк.

Размышления о превратностях и парадоксах любви рождаются у Горького в то время, когда его собственная интимная жизнь изменилась и стала несколько необычной. Началось это еще в Петрограде, в Гражданскую войну, во время жизни на Кронверкском. Тогда в его дом неожиданно заглянула Мария Игнатьевна Закревская-Будберг в поисках защиты в трудную минуту, заглянула, чтобы … задержаться на полтора десятилетия. В сущности, Мария Игнатьевна, или, как ее звали близкие, Мура, стала третьей женой Горького после того, как они с Марией Федоровной решили еще в 1913 году расстаться…

Союз с Марией Федоровной Андреевой в 1904 году удивил многих. Уезжая из Нижнего ненадолго в Москву, Горький еще не знал, что едет в другую жизнь насовсем…

До сих пор все было благополучно. Женившись в 1895 году на Екатерине Волжиной, служившей корректором в «Самарской газете», где он сотрудничал постоянно, Горький обрел любящую жену и доброго друга. Недурная собой, прекрасно воспитанная, интеллигентная, она дала ему, репортеру-газетчику и начинающему писателю, бродяге без кола и двора, ощущение прочности дома, семейного очага. Неважно, что своего дома у них не было. Во время жизни в Нижнем они сменили множество квартир, начиная с тесноватых комнатенок, уставленных купленной по дешевке разномастной мебелью в низеньком доме Гузеевой в Вознесенском переулке, и кончая шикарной по тем временам многокомнатной квартирой в доме Лемке на Мартыновской: к этому времени он уже стал знаменит. Но к концу жизни здесь, в 1904-м, в душе начало рождаться ощущение тесноты окружающей обстановки. Что из того, что за обеденный стол садилось до полутора десятка домашних и гостей, постоянно обитавших в доме, но, слава богу, не мешавших работать, потому что у него был прекрасный кабинет, изолированный от шумных игр сына Максима или голосов взрослых?

Естественно, он был центром этого дома. Нельзя сказать, что

знаки внимания и почитания были неприятны. Но ему все больше не хватало понимания. Прекрасный дом, семья, друзья, а все-таки мелькало порой пугающее сравнение с клеткой… Все чаще вспоминались слова Антона Павловича, перед которым он испытывал чувство искреннейшего преклонения: «Что вам в этом Нижнем?»

Как что! Многое! Всего и не перечислить. Но, впрочем, все это в нем, внутри, навсегда. Многое уже перешло, а еще больше перейдет в книги. Но Антон Павлович прав в главном. Нужна новая среда, дающая новые заряды творчеству, нужен постоянный новый уровень духовного общения. Такой, где поменьше преклонения перед ним, но больше возможности брать от новых друзей и знакомых. Недоучка, он все время корил себя за то, что знает мало, хотя уже прочитал прорву книг. Ну, а про недостатки воспитания в доме деда и в людях и говорить нечего.

И вот в это-то время нарастания в нем потребности в переменах в его жизнь вошла — нет! ворвалась, как комета, — Она. Про таких-то и говорят: писаная красавица. Каковой она и выглядит на портрете Репина. Принадлежа к высшему слою интеллигенции и даже аристократии (жена статского советника А. Желябужского), она, мало того, была актрисой Московского художественного театра, на сцене которого с триумфальным успехом прошла его пьеса «На дне». Мария Федоровна играла в ней Наташу.

Так что знакомство их было как бы предопределено этим обстоятельством. Впрочем, в действительности произошло оно несколько раньше, в Севастополе, где гастролировал театр. За кулисы во время спектакля «Эдда Габлер» по пьесе Ибсена и привел Чехов Горького… В высоких сапогах, в какой-то странной разлетайке с пелериной на плечах, в широкополой шляпе, которую так и не догадался снять при входе в артистическую уборную, он был явно смущен. Хваля игру актрисы, чертыхался и с такой силой тряс ее руку, словно хотел оторвать и прихватить себе на память.

А «прихватил» всю! В начале 1904 года Мария Федоровна покинула дом и Москву. Сделать это было не так уж сложно, тем более что супружеские отношения с Андреем Алексеевичем фактически прекратились еще восемь лет назад.

Горького никто не считал красавцем. Но было в нем такое человеческое обаяние, что его голубые глаза неумолимо завораживали собеседниц. Да и, к слову, был ли красавцем Пушкин? Но кто же не знает о его ошеломляющем успехе у женщин, о чем свидетельствует знаменитый донжуанский список поэта? Покоряла феерическая одаренность пушкинской личности,

ум, юмор, бесподобный дар импровизатора…

Помимо всего прочего Горького и Андрееву соединило и еще одно обстоятельство. И если б это было изображено в литературном произведении, а не порождено самой жизнью, критика с ехидством подтрунивала бы над авторской данью железным догмам социалистического реализма.

Мария Федоровна не только внесла в жизнь Горького атмосферу большого искусства, но и подогрела ее огнем революционной деятельности. Она принадлежала к социал-демократической партии, ее левому крылу. Восхищаясь красотой и духовным богатством натуры Андреевой, Ленин дал ей партийную кличку «Феномен».

В момент декабрьского вооруженного восстания в квартире Андреевой и Горького на углу Воздвиженки и Моховой базировалась дружина вооруженных студентов и находилась лаборатория, где изготавливались бомбы.

Вскоре же после знакомства с Горьким жизнь поставила перед Андреевой неумолимую проблему выбора: любовь или театр. В самом деле: соединяясь узами брака, пусть и не зарегистрированного официально, с крамольным литератором, она вынуждала себя кочевать вместе с ним по стране и по заграницам, сначала ближним, а потом дальним. Ведь не повезешь за собой театр! И она пошла на эту жертву, оставив сцену и сделавшись женщиной при писателе. Пошла, потому что понимала масштаб его дарования и деятельности. Пошла, потому что была нужна ему не только как женщина, как хозяйка дома — в конце концов подобную роль с не меньшим успехом могли выполнить другие. Поняла, что нужна ему и как человек искусства, способный понять и оценить его работу и оказать помощь в этой работе сначала как первый слушатель, а потом и как тактичный, добрый советчик. Не говоря уже, само собой, о технической помощи секретаря и переводчицы.

Так или иначе, союз с Андреевой породил совершенно иной, нежели прежде, образ его жизни, преодолевающий налет, пусть и милой и очаровательной, провинциальности и отвечающий размаху пришедшей к нему мировой славы.

Мария Игнатьевна Будберг совершенно не была похожа на Екатерину Павловну (которую, кстати, с Горьким до конца его дней связывали добрые отношения — она сумела встать выше обиды). Мария Игнатьевна совершенно не была похожа и на Марию Федоровну с ее уравновешенностью, тактом, светскостью в высшем смысле этого понятия и — может быть, это главное — с ее преданностью своему долгу, взятым на себя обязательствам.

Муру с ног до головы овеивал дух исканий, стремления к

чему-то, что и сама-то она не всегда могла четко определить, желания неожиданно сорваться с места, броситься куда-то, сочинив версию о поездке «к детям в Эстонию», далеко не всегда отвечающую действительности. Казалось, больше всего она боялась скуки, которая, по ее мнению, неизбежно возникает при уравновешенно-стабильном, установившемся раз и навсегда образе жизни. Избранный же ею образ жизни был чем-то родствен его молодости, с бродяжничеством, кострами в степи, радостью и риском новых знакомств. Мура как бы омолаживала его. Авантюры, приключения были ее стихией. Необычная жизнь этой удивительной женщины была окутана покровом какой-то тайны, над которой Горький не раз задумывался поневоле. Но он все же не подозревал, что таит в своей душе Мария Игнатьевна. И уж, конечно, ни он, ни кто-либо другой представить не могли, какую роль суждено ей еще сыграть в его жизни после того, как они расстанутся…

Обсуждая с Горьким характер сложившихся между ними отношений, Мария Игнатьевна довольно решительно возражала против оформления брака, поскольку превыше всего ценила свободу. Но вероятно, при всей склонности к приключениям, она была не прочь обеспечить себе резервный вариант. Начав интимные отношения с Г. Уэллсом еще в Петрограде, на Кронверкском, когда английский гость случайно перепутал дверь своей спальни, она держала его «на прицеле» и позже, так как понимала, что в случае возвращения Горького в Россию пути туда ей, с ее-то прошлым любовницы английского разведчика Локкарта, заказаны…

Заняв положение жены Горького, Мура все же в большей мере оставалась любовницей, нежели супругой. И дело опять-таки не в отсутствии официального оформления брака. Дело в ней самой, в ее характере, привычках, образе жизни. Наверное, впервые Горький в свои зрелые годы с такой силой испытал мучения, которые приносит женщина и без которых тем не менее его собственная жизнь становится беднее. Мура не только не вносила умиротворения в эту трудную пору. Она в пределах дома как бы олицетворяла время с его неустойчивостью, духом исканий, борьбы с препятствиями, обостряющими инстинкт самосохранения и заставляющими, что называется, держать форму.

Добрый, по-человечески очень отзывчивый на чужую нужду и особенно несчастье, Алексей Максимович от Будберг более, чем от кого бы то ни было из женщин, набирался опыта психологического самоутверждения вопреки обстоятельствам. Той дипломатии, которую проницательно заметил в нем

Е. Замятин, о чем мы вспомним еще не раз…

Да, конечно, Мария Игнатьевна была грешной женщиной, как говорится, с прошлым. Ну а сам-то он разве без греха?

Мария Игнатьевна активнее, чем другие, подталкивала Горького на размышления о превратностях любви, о ее аномалиях. И более чем когда-либо раньше или позже, это нашло отражение в горьковском творчестве, в его удивительных рассказах 1922–1924 годов. Конечно, огромную роль играли в жизни Горького и Екатерина Павловна и Мария Федоровна. Но все же трудно с уверенностью говорить о том, что какая-то из них оказала прямое влияние на его писательский труд. Не обязательно в роли прототипа. Просто хотя бы воздействием на выбор тематики и ее трактовку, на направление движения сюжета… А вот про Марию Игнатьевну сказать это можно.

Как известно, роман «Жизнь Клима Самгина» он посвятил ей. Пожалуй, с еще большим основанием, чем историю пустой души, он мог посвятить ей написанные в эти годы рассказы о любви…

По утверждению Берберовой, именно в 1922 году Горький и Мура выработали общую линию поведения, оставляющую за ней немалую степень свободы. Было Муре в это время тридцать. Цветущий женский возраст. Ему — на 24 года больше. Пятьдесят четыре… Возраст не критический, но все же… В самый раз спешить взять от жизни то, что может дать она в своей наиболее сокровенной, интимной сфере…

«Она любила мужчин, — пишет автор „Железной женщины“, — не только своих трех любовников, но вообще мужчин и не скрывала этого, хоть и понимала, что эта правда коробит и раздражает женщин и возбуждает смущение мужчин. Она пользовалась сексом, она искала новизны и знала, где найти ее, и мужчины это знали, чувствовали это в ней и пользовались этим, влюблялись в нее страстно и преданно. Ее увлечения не были изувечены ни нравственными соображениями, ни притворным целомудрием, ни бытовыми табу. Секс шел к ней естественно, и в сексе ей не нужно было ни учиться, ни копировать, ни притворяться».

…Перед Горьким открывалась величайшая в своей простоте истина. Он полюбил ее. Она ответила взаимностью. (Или, наоборот, — не ответила, предпочтя другого.) Всегда в жизни одно и то же, из тысячелетия в тысячелетие. И — всегда по-разному. И уловить вот эти различия, показать живую динамику обычного человеческого чувства, динамику, обусловленную возрастом, физическим состоянием персонажа, в какой-то мере его профессией, местом действия, погодой и бог знает сколько еще количеством факторов, постоянно меняющихся местами, —

вот что главное для писателя, вот что принесет подлинный успех. Новаторство не в приеме. Прием — лишь следствие проникновения в духовный мир личности.

И раньше, на Кронверкском, Горький много говорил о женщине, но подчеркивал в ней пробужденное революцией и войной «железное» начало. Теперь, в начале 20-х, его интересует совсем другое, поскольку и сам-то он стал другим.

Живя в Германии и постоянно думая о России, Горький вспоминал и свое прошлое, не только недавнее. Вспоминал и о первой любви. Не о том случае, который описан в рассказе «Однажды осенью», опубликованном еще в 1895 году в Самаре, но перерабатывавшемся в 1922-м (когда и создавался рассказ «О первой любви»). Одному из своих корреспондентов Горький характеризовал рассказ как автобиографический. «Впервые я „познал женщину“, когда мне было 18 лет; случилось это при условиях, совершенно правдиво изложенных в рассказе „Однажды осенью“».

Случайное знакомство молодого бродяги на речном берегу с Наташей, по ее собственному признанию, «девицей из гулящих». …Проливной дождь, заставивший их вместе лезть под перевернутую лодку… «Сколько было иронии надо мной в этом факте! Ведь я в то время был серьезно озабочен судьбами человечества, мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах, читал разные дьявольски мудрые книги… И меня-то согревала своим телом продажная женщина, несчастное, избитое, загнанное существо, которому нет места в жизни…»

Повествователь не именует происшедшее любовью. Для него это слово имеет другой, гораздо более глубокий смысл.

Образы проституток встречаются и в других рассказах молодого Горького о босяках, и автора даже упрекали в «несдержанности» «при изображении женщин и любовных сцен» (например, в «Мальве»). Вряд ли такой упрек мог быть безразличен автору, ибо принадлежал самому Чехову. Но, думается, замечания такого рода не вполне справедливы и исходили из норм, сложившихся в прошлом. Прежде всего, молодой автор вовсе не злоупотреблял количеством сцен с изображением падших женщин. К примеру, образ Капитолины в «Коновалове» вообще начисто лишен не только намека на какую-нибудь скабрезность, но герой не допускает в разговоре о ней ни малейшего мужского цинизма, полностью сочувствуя ее намерению вырваться из публичного дома на волю.

«Без любви какой-нибудь жить человеку невозможно; затем ему и душа дана, чтобы он мог любить…» — убежден Коновалов,

склонный, несмотря на свое босяцкое положение, к философскому осмыслению действительности (что, впрочем, вообще присуще героям Горького).

Любопытно следующее наблюдение Горького над жизнью босяков. В их сознании реальность прозаических отношений с женщинами, как правило, соседствует с красивой выдумкой. Изложив рассказ Коновалова о его «романе» с купчихой, повествователь заключает: «Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босяка есть в прошлом „купчиха“ или „одна барыня из благородных“. Кому же не хочется самому быть из благородных?»

Вернемся, впрочем, в 20-е годы, откуда Горький решил бросить взор на времена своей молодости, и обратимся к рассказу «О первой любви». Сделать это тем более необходимо, что, с моей точки зрения, горьковские истории о любви явно недооцениваются в литературоведении и заслоняются другими, создававшимися параллельно. Причина ясна: в тех, других, на первый план выводится социальная проблематика, так или иначе они связаны с проблемами революционного сознания и его противоречиями. А тут — просто любовь!.. К примеру, даже в такой солидной монографии, как «М. Горький и литературные искания XX столетия» А. Овчаренко, два интересующих нас рассказа даже не упоминаются, хотя в ней есть глава о рассказах и повестях 1922–1925 годов.

Между тем выдающиеся современники Горького оценивали его произведения чрезвычайно высоко, а иные из них даже восторженно. Так, Стефан Цвейг писал Горькому из Зальцбурга 29 августа 1923 года: «Я люблю Ваше творчество бесконечно, уже много лет меня ничто так не потрясало, как описание Вашего первого брака в „Воспоминаниях“. В немецкой литературе нет никого, в чьих произведениях была бы эта непосредственность правды, — я знаю, ее можно достигнуть также с помощью искусства, может быть, даже с помощью искусных приемов. Но Ваша непосредственность является для меня единственной: даже у Толстого не было такой естественности повествования».

Мы еще обратимся к тому, что вызвало наибольшее восхищение такого блистательного стилиста, как С. Цвейг, — естественности повествовательной манеры Горького. Но сначала — о фактической, автобиографической основе рассказа. В нем описывается история далеко не простых отношений Горького с Ольгой Юльевной Каминской (урожденной Гюнтер), родившейся на 11 лет раньше писателя в Нижнем Новгороде. С мужем Ф. Каминским она рассталась очень скоро и вышла замуж за Болеслава Петровича Корсака, вернувшегося из сибирской

ссылки. Познакомился с ней Горький в июне 1889 года. Прожили они вместе немногим более двух лет.

Поселились молодожены в «поповой бане», которая в рассказе описывается так: «Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане, которая служила и гостиной. Особнячок был не совсем пригоден для семейной жизни, он промерзал в углах и по пазам. По ночам, работая, я окутывался всей одеждой, какая была у меня, а сверх ее — ковром и все-таки приобрел серьезнейший ревматизм… В бане теплее, но, когда я топил печь, все наше жилище наполнялось удушливым запахом гнили, мыла и пареных веников… А весной баню начинали во множестве посещать пауки и мокрицы, — мать и дочка до судорог боялись их, и я должен был убивать их резиновой галошей».

Колоритная картина, не правда ли? В действительности все было, мягко говоря, несколько иначе. Вот как описывает Каминская жилище в своих воспоминаниях[15]. «Приискали мы себе квартиру в три комнаты с кухней. Дом стоял в саду, изолированный от уличного шума, что было большим плюсом для нас. Одна комната, побольше, была столовой и гостиной, и мой мольберт стоял тут же. Вторая — средняя комната — была моей спальней с Лелей (дочерью от первого брака. — *В.Б.),* а третья, маленькая, принадлежала Алексею Максимовичу». О пауках, мокрицах и вениках — ни слова.

Если мы пойдем дальше по пути сопоставления фактов жизни прототипов и литературных героев, нас ждет немало неожиданного. В рассказе говорится о «проклятой, хронической нищете», которую герою приходилось преодолевать, проклиная «себя, людей, судьбу, любовь». В действительности у молодых служила кухарка, муж которой, повар одного из лучших ресторанов, во время запоев, когда его удаляли со службы, как пишет Каминская, «удивлял тогда всех нас чудесами своего кулинарного искусства». Будем, впрочем, справедливы. Нужда тоже заглядывала во флигель: на одежду и обувь денег не хватало.

Нетрудно догадаться, почему Горький рисует картину не совсем так, как было на самом деле. Он создает не автобиографический очерк, а художественное произведение, рассказ, отличающийся самостоятельной концепцией. Баня, нужда — средство для усиления контраста между суровой действительностью и романтическими представлениями героя, которому исполнился всего 21 год, о женщине, о любви…

Еще более любопытно, однако, другое: отношение писателя к фактам биографии героини, к тому, какими из них он воспользовался, а от каких воздержался в повествовании.

Возлюбленная рассказывает молодому супругу о том, как сам царь Александр II «посещал белостокский институт, оделял благородных девиц конфектами, от них некоторые девицы чудесным образом беременели»…

Откуда стали известны нижегородке столь пикантные подробности из жизни августейшей особы, для читателя остается загадкой. Слух? Сплетня? Не совсем. Оказывается, О. Ю. Каминская сама воспитывалась в Белостокском институте благородных девиц, располагавшемся в бывшем дворце польских королей. Ее, как выражаются сейчас, устроил туда родственник Николаев, в прошлом боевой офицер при генерале Тотлебене. Каждое лето Ольга проводила в Страдле вместе с подругой Юльцей, родители которой занимали дворец польского магната: изысканная мебель и посуда, картинная галерея с портретами предков — закованных в латы сурово-надменных шляхтичей и утонченно-томных красавиц с завораживающими взглядами… Так хотелось походить на них, прогуливаясь в тишине по аллеям старинного парка и прислушиваясь к пению птиц…

Что же касается императора, то одной из лучших воспитанниц института Ольге, преуспевавшей в любительских спектаклях и умевшей превосходно держаться в рамках любой роли, было однажды поручено приветствовать высочайшего гостя на французском языке.

Судьбой было предназначено так, чтобы эта девушка, получившая изысканное воспитание, потом, во время зарубежных скитаний (Париж, Лондон, Болгария, Румыния), познакомится с крупнейшими революционерами П. Лавровым, П. Кропоткиным, с семьей революционера-писателя С. Степняка-Кравчинского. В Нижнем, в той квартире, рядом с ковалихинским оврагом, где и произошло знакомство с Горьким, она занималась подделкой паспортов, изготовлением париков, устанавливала конспиративные связи. Это уже после того, как отсидела месяц вместе с малолетней дочерью в Метехском замке, в Тифлисе, откуда была по этапу отконвоирована во владикавказскую тюрьму, где отбыла еще около месяца. А когда Ольга Юльевна, завершая очередной виток своей одиссеи, приехала в Нижний и прямо с пристани пришла к матери, та, прокляв родную дочь, не пустила ее на порог.

Воистину феерически пестрой была жизнь этой удивительной женщины — садись и пиши с нее роман! Ничего и выдумывать не надо!

Читатель рассказа Горького помнит, что все столь экзотические факты биографии героини в нем отсутствуют, хотя, разумеется, молодой супруг знал об этих и других колоритных

подробностях жизни своей подруги из ее обстоятельных рассказов. Знал — и не воспользовался. Почему?

Ключ — в горьковском мироощущении 20-х годов, в его явном разочаровании революционными методами воздействия на действительность. А параллельно нарастала убежденность в том, что сама по себе душа отдельного человека, никак не связанная ни с какими революциями, — это чудо, это целый мир, вселенная, и процесс познания ее бесконечен.

Примечательно, что Алексей ни разу не называет столь близкого ему человека по имени. Жена. Женщина. Она… А временами даже сравнивает с матерью. («Женщина держалась великодушно, точно мать, когда она не хочет, чтобы сын видел, как трудно ей».)

Рассказ Горького даже не столько о любви к женщине, сколько о женщине в любви.

Каминская, безусловно, человек разносторонне одаренный. Она зарабатывала деньги картографией, писала портреты маслом, великолепно шила, изготавливала дамские шляпки по последней моде… Но главным в ней было не это. Основное ее призвание — любовь. И не только в ее высших, наиболее одухотворенных проявлениях. Пожалуй, даже не столько в них. Утверждая, что красиво умеют любить только французы, она заявляет, что не всегда у них найдешь страстную нежность сердца, но они прекрасно заменяют ее тонко разработанной чувственностью — любовь для них искусство.

Для нее же самой — даже нечто большее, чем искусство, — искусство все же лишь какая-то часть жизни. Кроме него есть в жизни еще что-то. Для Ольги любовь — это сама жизнь. Все подчинено ей, ее законам, во власти которых находятся и душа человека и его тело. «Она любила тело свое и, нагая, перед зеркалом восхищалась: „Как это славно сделано — женщина! Как все в ней гармонично!“»

Гармонично, значит, прежде всего, естественно. Для того чтобы усилить впечатление этой гармоничности, Горький использует прием контраста. Муж Ольги Болеслав нарисован в подчеркнуто комических тонах. Комичны и наружность его (борода, в которой постоянно обитают крошки), и речь, в которой книжность концентрирована до такой степени, что для собеседников уже даже не является предметом насмешек, потому что ее трудно воспринимать (завершив обед, который он называл «приемом пищи», Болеслав говорит: «Подвоз пищевой кашицы из желудка клеткам организма требует абсолютного покоя»). Похоже, он, в противоположность жене, вообще стремился к абсолютному покою (отсюда постоянное желание погрузиться в

сон).

Жена же, напротив, была воплощением динамизма, возмутительницей спокойствия, особенно спокойствия мужчин. О ней говорили: магнитная женщина. И она знала это и умело пользовалась своим магнетизмом, чтобы привлекать внимание представителей сильного пола. Она вела себя как экспериментатор, стремясь пробудить к себе интерес даже со стороны самого инертного и скучного человека («хочется заглянуть в него, как в коробочку, — вдруг там хранится что-то никому не заметное»). «И порой она действительно зажигала в тусклых глазах безнадежно скучного человека острый блеск напряженной мысли, — но — более часто вызывала упрямое желание обладать ею». Она столь естественно и свободно рассказывала о романах, пережитых ею, что именно эти истории больше всего нравились герою, хотя он не мог не чувствовать: в ситуациях прошлого содержится возможность возрождения чего-то подобного в будущем.

Ольга чувствовала недостаточную прочность их союза и, говоря о том, что никогда не любила так ласково и нежно, в то же время первая заключила, что они оба ошиблись.

Эта женщина высосет из вас всю кровь, предрекла как-то Алексею знакомая фельдшерица. Но нарастающий конфликт имел и более серьезную основу. Разрастался конфликт пусть и поэтического, но все же хаоса, богемы, дилетантства — с целеустремленностью формирующегося профессионализма. В герое рождается писатель, он уже завоевал первый успех, но обстановка постоянного многолюдства в доме и непрерывный «галоп кокетства» жены (как выразился когда-то Л. Толстой) все чаще выбивали начинающего автора из колеи.

Особенно обижен был он, когда жена уснула во время чтения только что написанного им рассказа «Старуха Изергиль». «Эта женщина была принята сердцем моим вместо матери. Я ожидал и верил, что она способна напоить меня пьяным медом, возбуждающим творческие силы, ждал, что ее влияние смягчит грубость, привитую мне на путях жизни. Это было тридцать лет тому назад, и я вспоминаю об этом с улыбкой в душе. Но в ту пору неоспоримое право человека спать, когда ему хочется, — очень огорчило меня».

В высшей мере характерна для стилевой манеры Горького, столь восхитившей С. Цвейга, эта последняя фраза с ее спокойной ироничностью, в основе которой — накопленная за три десятилетия умиротворяющая мудрость.

Кстати, подлинное отношение Каминской к творческим попыткам Горького выглядело несколько иначе. Ольга Юльевна

была женщиной достаточно образованной и поначалу являлась не только слушательницей или читательницей сочинений Горького, но отчасти и их редактором. Именно она направила начинающего поэта (да, да, поэта!) к В. Короленко, с которым свела знакомство ранее на политической почве и который, кстати, жил в каких-то двух шагах от «поповой бани», на Канатной. Горький опять заостряет взаимоотношения персонажей, медленно, но неуклонно ведя сюжет к неумолимой развязке.

Ольга воплощает своего рода культ любви, но всякий культ требует чрезвычайной концентрации энергии (общественной, духовной, физической) и всегда деформирует какие-то иные, смежные жизненные сферы.

Алексей же становится рыцарем другого культа — творчества, в основе которого вечное беспокойство познания мира. А два разных культа мирно сосуществовать под одной крышей не могут.

После очередной попытки Корсака вернуть Ольгу Алексей не выдержал. В феврале 1895 года он уехал в Самару, навстречу своей профессиональной судьбе газетчика и судьбе мужа Екатерины Павловны Волжиной. Он знал, что Ольга Юльевна болезненно переживает разрыв, но решил в рассказе этого мотива избежать. Да и в одном из писем он высказывался о бесперспективности их дальнейших отношений вполне определенно: «Мы уже достаточно много задали трепок друг другу — кончим! Я… не виню тебя ни в чем и ни в чем не оправдываю себя, я только убежден, что из дальнейших отношений у нас не выйдет ничего <…> Кончим».

Когда Горький писал вдали от родины свой рассказ, он думал, что Каминской нет в живых, может быть, потому и допустил такую свободу домысла, но — ошибся. Позднее, через тридцать лет после разрыва, в один из его приездов в Россию, они встретились. Свидание было коротким, но трогательным. Над каждым из них время поработало беспощадно. «Передо мной сидел старик с густыми опущенными усами; волосы на голове стояли ежиком… Ничего похожего на моего нижегородского Алексея с его блузой и длинными волосами…» Так писала Каминская в воспоминаниях сразу после смерти Горького.

Встреча оказалась единственной. А к гробу первую любовь даже не допустили. Не вышла рангом. Что из того, что без нее вряд ли родился бы рассказ о старухе Изергиль, вдохновленный ею и перипетиями ее судьбы.

В цикле 1922–1924 годов сразу вслед за «Отшельником» идет «Рассказ о безответной любви». Первый весь пронизан пафосом любви-сочувствия ко всем людям. В письме к Роллану от 7

декабря 1922 года Горький сообщал, что пишет «О любви» — «три рассказа на темы о любви к людям, к женщине, о любви женщины к миру», и подчеркивал, что начальные два («Отшельник» и «О первой любви») уже готовы.

С первых же страниц, вопреки авторской заявке, рассказ начинается как повествование о любви к женщине — странной, самоотверженной любви на всю жизнь. И даже за пределами жизни возлюбленной.

В центре — образ провинциальной драматической актрисы Ларисы Добрыниной. Будучи женой помещика, она оставила дом и семью во имя сцены (что за семья, были дети или нет — о том в рассказе ни слова). Женщина выдающейся красоты, она знала, что обрекает себя на трудную жизнь, но летела к цели, как бабочка на огонь. Однако насколько трудно будет ей, знать не могла.

Разумеется, внешние данные для актера, особенно если это женщина, имеют огромное значение. И все-таки сколько знает театр случаев, когда именно актрисы, которых нельзя назвать красавицами, потрясали сердца зрителей, — от Стрепетовой до Комиссаржевской и Ермоловой.

Увы, Добрынина, с ее замечательной красотой, талант имела достаточно скромный, и успех, сопутствующий ей, никак не соответствовал ее ожиданиям. «Женщина оригинальной красоты, ведь она не умеет играть, ходит по сцене для себя и точно ищет потерянную ею брошку…» — говорит один из персонажей. «Человек для себя, а не для театра», — с удовольствием заключает другой, которому она дорога не как актриса, а как женщина, не подозревая, что косвенно воспроизводит формулу знаменитого режиссера: любить не себя в искусстве, а искусство в себе.

На спектаклях Торсуеву «никакого дела не было… до ее игры. Когда она выходила на сцену, я ничего не видел, кроме ее, слышал только ее ленивенький голос, следил, как двигается, точно по воздуху, ее великолепная фигура. Легко она ходила и так, знаете, царственно, оказывая милость земле и людям. Восхищала меня гордая стройность ног ее. И груди… небольшие, расставленные далеко одна от другой».

Образ Ларисы противоположен образу Алексея из предшествующего рассказа. Там — становление профессионализма, все более крепнущее перо, а потому необходимость привести образ жизни в соответствие со своими возможностями. Тут — все более нарастающая неудовлетворенность сделанным, сопровождаемая самоуспокоением и верой в то, что удача еще возможна, и тщетными попытками добиться ее.

В сущности, судьба уготовила Добрыниной особую роль в совсем другом театре, условно говоря, театре одного актера. В каждом городе она имела ошеломляющий успех у мужчин и с удовольствием пользовалась этим. Изысканные и обильные ужины под выстрелы откупориваемых бутылок шампанского, изобилие пышных букетов, комплименты — все это довольно долго кружило ей голову и требовало значительных расходов. Меценаты? Но бывают ли таковые совсем бескорыстными?

В трагическую минуту самоубийства Коли Торсуева, брата главного героя, сочувствующая ему и признающая свою причастность к его гибели, Лариса не без панической откровенности в сердцах заявляет: «Но — что же мне делать? Неужели я должна покорно отдаваться в руки всех, кто меня хочет?..»

Горький вовсе не злоупотребляет чувственными сценами, но и избегать их в отдельных случаях не стремится. «Удивительно одевалась она, — говорит рассказчик. — И в узком платье, закрытом до горла, и в широком все равно — точно голая. Понимаете? Да. Нагая. Такое гордое тело».

Написанный сочными реалистическими красками, портрет Ларисы таит в себе все же традиционные черты некоей инфернальной светской львицы, у которой игра в любой момент могла превратиться в охоту, и рассказчик начало охоты безошибочно улавливает по ее «обнимающему взгляду». А сам он «полюбил ее с первого удара глаз» (!) Заметим: не просто «с первого взгляда». Сразу. «Это — бывает в несчастных случаях».

Таким несчастным случаем и стала для Торсуева-старшего вся его жизнь. Человек состоятельный, наследник дела, он бросил все и главным содержанием своей жизни сделал быть при ней. Не мужем, даже не любовником… Про высших особ в официальных сообщениях пишут: «и сопровождающие его лица». Вот таким постоянно сопровождающим Добрынину по жизни лицом и стал добровольно Торсуев. Ее памяти он остался верен и после ее смерти, наверняка до собственной гробовой доски.

Чудак? Но именно он дал повод для знаменитого горьковского афоризма: «Чудаки украшают мир».

Надо ли говорить, что Торсуев превратил свою жизнь в постоянную муку? Он стал не только свидетелем, но и соучастником ее многочисленных романов, способствуя их течению и вызывая постоянные насмешки окружающих. Когда у Ларисы возникла связь с появившимся в городе английским предпринимателем Вильямом Проктором, Торсуев снабдил Ларису пятьюдесятью тысячами, зная, что они пойдут на погашение карточного долга англичанина. Он признается себе:

«Если б она приказала: „Приготовьте постель, у меня Проктор ночует“, — так я бы, вероятно, приготовил и постель».

Торсуев словно бы шагнул в рассказ Горького из романов Достоевского, и вместе с тем это как раз один из типичных его образов начала 20-х годов. Впрочем, влияние великого предшественника, с коим Горький спорил в связи с постановкой на сцене «Бесов» лет десять назад, тоже отрицать нельзя.

Добрынина с обескураживающей откровенностью лишает Торсуева всякой надежды, тут же добавляя, что без него ей «неудобно» (предварение самгинского словечка).

«Видите, каков я зверь?

В тот день была она в белом кружевном платье, и сквозь кружево сияет ее тело, — смотреть больно. Все на ней белое, чулки, туфельки, каштановые волосы коронуют ее голову, и сердито-насмешливо улыбаются ее глаза. Лежит на кушетке, туфля с ноги упала, пятка круглая, точно яблоко. В комнате солнце, цветы, — невыразимо великолепна была она в цветах и солнце. Страшная сила красота женщины, сударь мой!..»

«Зверь»… «Страшная сила» красоты… А еще при характеристике героини возникает мотив огня, костра. Здесь любимый Горьким поэтический образ костра (вспомним хотя бы автобиографический рассказ «В степи») обретает совсем иной смысл. Будущий самоубийца, Коля говорил: «Зажег человек костер, смотрит, как в нем сгорают люди в пепел, а самому одиноко и холодно». Это заключение подтверждается и деталями портретной характеристики: «Лариса Антоновна сидела в центре общего внимания, в переднем углу под образом, одета в темно-красное платье, украшена цветами, пышная и волшебная, вся точно в огне». Она и есть огонь, но не тот, что пробуждает «пламенную страсть», ведущую на подвиги, а сжигающий дотла. Герой признается, передавая состояние вызревшего в нем кризиса: «В душе, знаете, эдакое черное пепелище и разрушение всех сил».

Сознавала ли Добрынина (фамилия-то какая!) губительную силу своей красоты? Сознавала прекрасно. Не сказать, чтоб она испытывала садистское наслаждение от мучений, причиняемых ею другим людям. В первую очередь по-собачьи преданному ей Торсуеву. Но считала такое положение в порядке вещей.

А Торсуев? Казалось бы, в конце концов в один прекрасный момент он мог попросту бросить ее… Была убеждена: не бросит. И не боялась говорить ему такое, что вытерпеть мог только он. А как-то бросила даже верному рабу своему: «Едва ли вы человек». «Изо всех насмешек судьбы над человеком — нет убийственнее безответной любви».

И все-таки Торсуев дождался своего часа. И наступил он тогда, когда что-то дрогнуло наконец в ее душе в минуту тоски и одиночества, и произнесла она слова благодарности, жалости и как будто покаяния в том, что испортила ему жизнь. «Испортила, да…» — Гладит она голову мне, шепчет: «Непоправимо?» — Горячо капают на шею мне слезы ее. И тут, знаете, впервые овладел я ею, в углубление несчастья моего. Опомнился, — вижу: сидит она полуобнаженная на постели, укладывает груди в лиф, лицо у нее спокойное, слышу задумчивый голос: «Ну, вот мы и поженились. Хорошо со мной? Теперь давайте чай пить. И — шампанского спросим…»

— Просто, знаете, смертным холодом обожгло меня, бросился на пол, к ее ногам, рычу, реву: «Не любите вы меня, не нравлюсь я вам…»

А в ответ: «Из жалости — не любят, это оскорбительно, когда из жалости. Вы — добрый, чудесный друг, но со мной вы погибнете, изломаю я вас…». И говорится это спустя многие годы после того, как завершился в душе человека этот слом…

Звучит старый горьковский мотив: не унижать человека жалостью… Мотив, который для самого писателя со времен Гражданской войны вовсе уже не кажется бесспорным.

Возникает вопрос: как же сам Горький оценивал свой рассказ?

Существует свидетельство И. Шкапы, содержащее любопытную авторскую характеристику произведения. В 1934 году, весной, он говорил: «Да, рассказец мой против вакханалии сердца… Я хотел сделать эпиграфом к нему слова Ларисы Добрыниной: „Изо всех насмешек судьбы над человеком — нет убийственнее безответной любви“… Не вредно их помнить и мужчинам, чтобы из человека не превращаться в раба. Эта мысль — основная в рассказе… „Рассказ о безответной любви“ — моя полемика с „Браслетом“ Куприна».

Интересно, в чем же конкретно проявляется эта полемика?

Рассказ Куприна — о трагической судьбе бедного чиновника Желткова, жертве несчастной любви к аристократке княгине Вере Николаевне Шеиной. Это — в конечном счете. Но до последних страниц главный герой не появляется на сцене. Повествование изобилует описаниями быта Шеиных, их привычек, одежды, превосходной природы, окружающей дом, многочисленных гостей, их наружности и т. д. Рассказ несколько тяжеловесен в своей описательности и отдает дочеховскими традициями XIX века.

Главный герой вводится в действие сначала косвенно. О нем в подчеркнуто пародийно-иронической манере, как о беспочвенном и в какой-то мере даже примитивном романтике,

вот уже много лет присылающем княгине пылкие признания в любви, рассказывает гостям ее муж. Он абсолютно уверен в том, что жена относится к проявляемым к ней знакам внимания как к чудачеству, заслуживающему лишь насмешки…

Но вот в сюжете наступает резкий перелом. Влюбленный незнакомец переступил черту приличия, как небезосновательно полагают Шеины: он прислал Вере гранатовый браслет… Кто его знает, что он может себе позволить еще?

Так думают все, не исключая Веру. Кроме наиболее умудренного жизненным опытом генерала Аносова. «Да-а, — протянул генерал наконец. — Может быть, это просто ненормальный малый, маньяк, — а почем знать? — может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины».

Но это лишь гипотеза. И решение принимается суровое: отыскать незнакомца, скрывающегося за инициалами Г.С.Ж., и объясниться с ним.

Скромная, темноватая комната. Бедное убранство. Оробевший при виде неожиданных гостей хозяин, человек лет тридцати пяти, «с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине». Все упреки энергично начавшего разговор брата Веры, товарища прокурора Булат-Тугановского, он принимает, не пытаясь оправдаться. Казалось бы, одна из сторон уже потерпела поражение. Но тут с трудом сдерживавший в аристократической душе раздражение и презрение к какому-то ничтожеству, Булат-Тугановский, как говорится, допускает «перебор». Он заявляет, что в случае необходимости они обратятся к властям.

И вдруг происходит чудо! Бессловесный жалкий чиновник преображается! Меняется все его поведение. Перед нами другой человек. Читаем: «— Простите. Как вы сказали? — спросил вдруг Желтков внимательно и рассмеялся. — Вы хотите обратиться к властям?.. Именно так вы сказали?

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил».

Для Желткова агрессивный аристократ больше не существует. Он выключает его из разговора, обращаясь целиком к мужу Веры Николаевны. «— Трудно выговорить такую… фразу, что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это… Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно, скажите, — что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно и там так же я буду любить Веру

Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть… вы хотите, я приму ее в какой угодно форме».

Так в чем же конкретно проявляется полемика Горького с Куприным? Внимательное сопоставление двух текстов не дает никаких оснований для разговоров о полемике. У каждого автора свой настрой, своя концепция. А в кульминационной сцене купринский герой поднимается на такую высоту духовной свободы, на которую ни разу не удается подняться ни Торсуеву, ни его младшему брату, кончившему самоубийством так же, как и Желтков.

Горький словно бы забыл (это с его-то феноменальной памятью!) свой же отзыв о «Гранатовом браслете», сделанный сразу после его прочтения. «А какая превосходная вещь „Гранатовый браслет“! — восклицал он в одном из писем. — Чудесно! И я рад — с праздником! Начинается хорошая литература!..» Отзыв не назовешь иначе, как восторженным. Но еще важнее его воистину программный характер. Рассказ Куприна был опубликован в 1911 году, в шестой книжке альманаха «Земля», уже после того, как появилось в печати довольно много сочинений, в которых любовь в собственном смысле заменялась в лучшем случае свободой полового общения. Мотив вседозволенности коснулся и Куприна, который в рассказе «Морская болезнь» (1908) изобразил насилие пароходной прислуги над социал-демократкой. Рассказ получил суровое осуждение прогрессивной критики, и Горького — тоже.

Вряд ли Горький мог знать к тому же, что работа над «Гранатовым браслетом» шла одновременно с работой над второй частью большой повести «Яма». «Браслет» сиял как символ чистоты, возвышенной любви на фоне той физической и нравственной нечистоплотности, которые неизбежно сопровождают мир проституции, изображенный в «Яме».

Так почему же все-таки автор «Рассказа о безответной любви» сделал упор на полемике с «Браслетом»? На мой взгляд, мы имеем дело далеко не с единственным случаем деформации горьковских суждений о своем творчестве, происшедшим в 30-е годы под влиянием окружавших его обстоятельств. В 1922 году ни о какой полемике с Куприным он и не помышлял. Это потом, став правоверным соцреалистом, уверовавшим в возможность полного перевоспитания личности и превращения ее в преисполненное целеустремленной социальной активности существо, стал он смотреть на свои произведения иными глазами, вероятно вполне искренне делая упор на те ноты и мотивы,

которые в полифонии текста отнюдь не определяли его общее звучание. (Нечто подобное происходило, к примеру, с изменением взгляда Горького на Луку из пьесы «На дне».)

Слава Богу, объективный смысл рассказа не страдает от подобного субъективного толкования его автором спустя годы. Но если уж завершать параллель Горький — Куприн, то напрашивается и еще один далеко идущий вывод. Можно ли согласиться с классиком пролетлитературы в том, что герой купринского рассказа раб любви? Конечно же, нет! Желтков — уже не тот маленький человек, с которого начинается линия этого образа в русской литературе (Евгений из «Медного всадника», Вырин из «Станционного смотрителя» и, конечно же, Башмачкин из гоголевской «Шинели»). Да разве могли те позволить себе такую любовь? Желтков — позволил. Для него любовь не просто выражение состояния души этого человека. Она — высшая ценность духовного бытия вообще. И оказавшийся весь в ее безраздельной власти, он все же не заслуживает именоваться рабом. Скорее это слово можно отнести к герою горьковского произведения.

А дальше нас ждет еще более важный и, конечно же, парадоксальный вывод. Если б, сопоставляя рассказы, не знать времени их написания, то можно было бы предположить, что не Горький спорит с Куприным, а Куприн с Горьким! «Гранатовый браслет» утверждает: безответной любви не существует. Энергия любви Желткова, ушедшего из жизни, как бы переходит к другому человеку — Вере. Придя проститься с погибшим, она «вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев — Пушкина и Наполеона». (Какое же тут рабство?) «В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее». Ценой гибели любившего ее человека Вера поняла, что такое любовь. А для этого ей пришлось переоценивать многое. И кончается рассказ сценой, в которой 2-я соната Бетховена звучит и как реквием, и как величественный гимн любви, которая сильнее смерти.

Чрезвычайно примечательна и другая литературная параллель. Уже завершив свой «Рассказ о безответной любви», Горький прочитал новеллу С. Цвейга «Улица в лунном свете» и поразился внутреннему сходству изображенных в них ситуаций. Цвейг развертывает трагическую историю попыток человека вернуть любовь женщины, гордость которой он унизил своей скаредностью, а теперь понял, насколько любит ее. Любит так сильно, что отыскал не только в другом городе, но и на другом континенте. Теперь, найдя ее в сомнительном заведении, вульгарную, пьяную, он полон к ней прежнего чувства и

терпеливо выносит все унижения, бродя по близлежащим улицам, залитым холодным лунным светом.

С. Цвейг мог бы поставить эпиграфом к своей новелле слова горьковского Торсуева: «Тяжело в лунные ночи одинокому человеку таскать по земле свою тень». Удивительное совпадение, не правда ли?

Горький прочитал рассказ Цвейга 5 ноября 1923 года, а на другой день писал автору: «Посылаю Вам корректуру перевода Вашего прелестного „Переулка лунного света“… Любопытно, что Ваша тема похожа на мой рассказ о любви, который тоже будет напечатан в этом журнале».

Тогда же об удивительном совпадении сообщил Горький и Роллану.

Да, можно свершить грандиозную революцию, переделывать жизнь, чтоб жилось людям лучше (пока получалось это довольно плохо). Но, допустим, получится. Станут люди жить хорошо. Однако зависит ли от этого сила и глубина любви, ее духовная наполненность? И где тот таинственный фермент, который соединит души двоих навеки? А впрочем, нужен ли такой фермент — навеки-то? Ведь жизнь, она не стоит на месте…

ГЛАВА VII
Дорога из эмиграции

Живя за границей, в Германии, потом в Италии, Горький получал из России множество газет и журналов. В доме постоянно обитали люди, приезжавшие оттуда, и он внимательно вчитывался и еще более жадно вслушивался в вести с Родины, откуда уехал с тяжким, мучительным грузом на душе: что будет со страной, и вообще — выживет ли она?

Страна выжила, строилась, крепла. И тянуло туда все сильней.

Собственно говоря, выезжая, он и сам не мог определить более или менее точных сроков своего пребывания за рубежом. Менее чем через год из Берлина писал Н. Бухарину: «Здоровье трещит по всем швам. Скоро поеду в Герингсдорф, на берег моря, поживу там до конца июня и — в Россию».

Как известно, первая поездка домой состоялась лишь в 1928 году. Но мысль о возвращении возрождалась в сознании постоянно, борясь с мыслью о невозможности возвращения. М. Андреевой писал в 1923 году из Фрейбурга в связи с предстоящей поездкой в Италию: «Пережив там зиму, можно было бы ехать в Крым…»

Еще позже: «Наверное, поеду в Россию весною 1926 года, если к тому времени кончу книгу…»

Во всяком случае задерживаться за границей надолго он не собирался. Анастасия Цветаева, гостившая у него в Сорренто, свидетельствует, что вообще у Горького не было желания обзаводиться своим домом, хозяйством, пускать на одном месте глубокие корни.

Не следует слишком преувеличивать и значение факторов, тормозивших возвращение на Родину (расхождение с большевиками, о котором говорилось выше, было решающим). Так вот, уже в 1922-м, столь трудном для Горького году находим у него восхищение «изумительным напряжением воли вождей русского коммунизма». По мысли писателя, Россия не имела таких волевых руководителей ни в эпоху Ивана Грозного, ни в эпоху Петра. Подобных вождей — ничтожная кучка, но все-таки они убеждены, что найдут архимедову точку опоры и перевернут весь мир. Свое письмо Горький кончает, впрочем, несколько неожиданно: положительно отзываясь о них, он выражает сожаление, что ему приходится не соглашаться с ними в деле истребления культурных людей.

«Никогда не соглашусь на это», — заверяет он одного из своих адресатов, и в этом пункте, т. е. в отношении к культуре, он более всего продолжал расходиться с новой властью. Так, несогласие, переходящее прямо-таки в негодование, вызывало у него решение Наркомпроса об изъятии из библиотек философской литературы идеалистического направления. Гнев был столь велик, что в какой-то момент Горький хотел в знак протеста снять с себя советское подданство, о чем сообщал В. Ходасевичу в письме, до сих пор не опубликованном у нас (как, впрочем, и вся интереснейшая переписка с ним, давно увидевшая свет в США).

Только сейчас, когда к нам возвращаются В. Соловьев и В. Розанов, С. Булгаков и Н. Бердяев, П. Флоренский и К. Леонтьев, мы можем понять, насколько прав был Горький в своем протесте. Характеризуя обычно не включаемого в этот ряд как социал-демократа основоположника эмпириомонизма А. Богданова, с которым Горький поддерживал тесные контакты на Капри, несмотря на жестокую ленинскую критику этого направления, писатель называл его «еретиком», из тех, что будят мысль. Мы поняли теперь наконец (хотя вряд ли в полной мере) значение основанной Богдановым тектологии — всеобщей организационной науки. Философские словари долгие годы твердили о ней как о выражении недопустимого механизма, уравнивающего якобы абсолютно не сопоставимые ни с чем процессы, протекающие в природе и обществе. А в действительности это было удивительное предвосхищение главных принципов кибернетики.

…И все-таки положительные сдвиги в жизни страны становились все очевиднее. Об этом говорили вести из газет. То же подтверждали письма, в изобилии поступавшие из России — по его собственному свидетельству — «штук по 40, 50 ежедневно».

Приезжавшие из России поражались, насколько Горький осведомлен обо всем, что происходит в стране. Писатель В. Лидин свидетельствует: «Он знает много, удивительно много, — то, что в газетной заметке пробежало мимо нашего, привычного к огромным масштабам взгляда, то Горький запомнил вплоть до малости, где это происходило, до имен изобретателей, до первых героев труда…»

Тем более показательно, что тот же мемуарист продолжает: «…он хочет слушать много, обо всем сразу — как выглядят сейчас города на Волге, что делают советские литераторы, как изменилась за эти годы жизнь… Ему мало часов, мало целого дня, столько надо расспросить, узнать, проверить, прощупать…»

Отпадали теперь и некоторые давние препятствия на пути домой — из тех, что и привели к отъезду тогда, в 1921-м (отношения с Зиновьевым). А что и в каком тоне писал Троцкий чуть позже о нем, о его очерке про Ленина! «Статьи, написанные Горьким, не удовлетворили меня совсем. Горький не понимал Ильича и подходил к нему с той интеллигентской слащавостью, которая свойственна Горькому в последние годы» («Известия», апрель 1924 г.).

Конечно, тому, кто готов был превратить страну в гигантскую казарму, «интеллигентская слащавость» не угрожает. Не лишенный литературного дарования, Троцкий держался высокомерно, всячески подчеркивая, что знает себе цену и что эту цену должны хорошо усвоить другие.

Теперь Зиновьев был одернут в ходе партийных дискуссий, а Троцкий, тот вообще потерпел сокрушительное политическое поражение. В декабре 1927 года его исключили из партии и затем выдворили из страны. Говорят, оказался он где-то на берегу Мраморного моря. Но мысль о том, что и Троцкого и его самого кто-то мог воспринимать как изгнанников, рождала неприятное ощущение…

Не только отдельные пылкие почитатели его революционного таланта звали поскорее вернуться домой. Подумать только, специальные обращения, резолюции принимали собрания, митинги, съезды. Вот, к примеру, Первый всесоюзный съезд учителей, 17 января 1925 года: «Съезд надеется, что Вы сможете в ближайшем будущем вернуться на свою родину, родину величайшей революции…»

Ну, учителя — ладно, для них литература — школьный предмет. Но ведь просят о том же и реальные прототипы написанных им книг. Вспомнил, как еще раньше обращение к нему приняли собравшиеся на митинг сормовские рабочие и работницы. Наверное, были в их числе и участники знаменитых событий, которые он положил в основу романа «Мать». Того, первые торопливые строки которого легли на бумагу еще в мае 1902 года, в Нижнем, в гостинице «Россия», по горячим следам политической демонстрации, получившей отзвук по всей России. Петр Заломов… Его огненная речь на суде… Анна Кирилловна… Какие люди, какое славное было время! Время решительного наступления рабочих на самодержавие. Что и говорить, земляки в свержение царского режима внесли вклад преогромнейший. И мучительно захотелось вдруг, вот сейчас, немедленно, хоть одним глазком взглянуть, как живут и трудятся они, узнать, с каким настроением преодолевают трудности, неизбежные на пути строительства нового…

Чьи настояния касательно возвращения действовали всего сильней? Наверное, все-таки старых революционеров, поддерживавших непосредственную связь с Горьким.

Одним из таких был Яков Станиславович Ганецкий. Помнится, еще в 1921 году Горький обращался к нему с кратким письмом-рекомендацией по поводу Ивана Павловича Ладыжникова, выезжающего в Берлин в качестве заведующего книгоиздательской деятельностью Внешторга. Горький аттестовал тогда Ладыжникова как старого друга (тот был еще членом Нижегородского комитета РСДРП в пору подготовки первой революции и той самой, памятной первомайской демонстрации), «хорошо известным Ильичу и другим партийцам»[16].

Переписка Горького с Ганецким возобновилась спустя несколько лет по поводу совершенно неожиданному. Литературный заработок Горького обычно был достаточно велик, чтобы обеспечить всем необходимым семью, близких и бесконечное количество гостей, постоянно наезжавших к нему. Возможно, будущий биограф напишет специальное исследование на тему «Горький и деньги». Вряд ли мы найдем другого писателя, который бы с такой щедростью помогал бесконечному количеству людей. И единовременно — просто на жизнь неожиданно объявившемуся босяку, или на организацию побега революционера из ссылки, или на издание журнала, или на нужды благотворительного общества… К. Пятницкий сравнил его как-то с доменной печью, пожирающей деньги (и вовсе не для личных нужд, разумеется).

Впрочем, зачем ходить за примерами так далеко, чтобы охарактеризовать горьковскую чуткость и щедрость. Обратимся к интересующему нас периоду. Незадолго перед поездкой домой, в 1928 году, Горький получил оттуда от неведомого ему юноши-рабкора Хапаева письмо, из которого следовало, что тот оказался в очень затруднительном положении. Горький немедленно пишет директору Госиздата, чтоб из гонорара, причитающегося ему за публикацию в газете «Читатель и писатель», выслали юноше рублей двести. И добавляет: «А затем — убедительно прошу: не окажется ли возможным дать Хапаеву этому работу в Москве, в ГИЗе? Для таких людей, как он, перемена обстановки много значит. Да и учиться надобно ему. Рабкор он хороший, грамотный, это видно и по письму».[17].

А скольким людям еще оказывал Горький помощь всякого рода! Несть им числа! Собери фамилии всех — получится справочник толщиной в телефонную книгу. Тем большее недоумение вызывает полемическое суждение Б. Васильева, будто Горький после революции не помог никому. Логика воистину

удивительная: я не знаю подобных фактов, следовательно, их не существует!

Но вернемся вновь к переписке с Ганецким. В Италии в 1926 году, когда Горький приступил к осуществлению грандиозного замысла — эпопеи о жизни России за 40 лет и, следовательно, не мог отвлекаться на другие дела ради заработка, случилась беда. Обанкротился немецкий издатель, вследствие чего пропало шесть тысяч долларов. Горький был вынужден обратиться на родину, в Госиздат, чтобы авансом взять часть суммы, которую должен был получить в июне 1927 г. (22 634 доллара). Ганецкому он сообщает, что в Госиздат писал дважды. Не ответили. Писал еще ранее и Ганецкому и Рыкову. И вот теперь вынужден обратиться повторно. «Вы знаете, что я не обременяю советскую власть личными просьбами. Это случилось впервые»[18], — заключает Горький.

В конечном счете просьба писателя была удовлетворена, но западная печать не преминула подчеркнуть, что советская власть поставила Горького в исключительное положение. Русская газета «Рассвет» опубликовала следующую заметку под названием «Договор Горького с Госиздатом»: «Максим Горький продал Госиздату право на издание полного собрания своих сочинений за 362 000 долларов. Это первый случай в истории Госиздата, когда договор на приобретение права на издание сочинений русского писателя заключается в иностранной валюте»[19].

22 ноября 1926 года Ганецкий пишет Горькому: «…я часто беседую о Вас с Алексеем Ивановичем (Рыковым, председателем Совнаркома. — *В.Б.)*. Он искренне любит Вас, все расспрашивает про Вас, и тепло, по-товарищески заботится… Так хотелось бы, — продолжает Ганецкий, — видеть Вас здесь у нас. Хотелось бы, чтобы Вы убедились лично, какая громадная работа проводится здесь во всех областях».

Да, история с возвращением действительно затягивалась. И конечно же, этим не могла не воспользоваться эмигрантская пресса. Так, Ю. Айхенвальд в своих «Литературных заметках», опубликованных в газете «Руль» 11 апреля 1928 года, пересказывал содержание посвященного Горькому стихотворения: если головой России считать Ленина, то Горький стал ее сердцем. «…Не оттого ли, благодаря ленинской голове и горьковскому сердцу, пришлось на нашу благополучную страну так много слез и крови». (Это Россия-то была благополучной страной?!) «Ему, — продолжал автор, имея в виду Горького, — очень нравится Советская Россия, но сам он живет в фашистской Италии. Конечно, это было бы его частным делом, если б его адрес не имел общественного значения. „Язык России“ болтается и болтает

не в России».

Поддерживая прямые или косвенные контакты с руководителями России — Бухариным, Рыковым, Ганецким и другими, Горький, наверное, догадывался, что о его возвращении в последнее время начал размышлять еще один человек, приобретавший в политической жизни страны все больший вес.

Сталин…

Вот уж с ним-то не было пока никакой близости. Трудно с точностью сказать, виделись ли они до горьковского отъезда в Германию после памятной встречи на праздновании 50-летия со дня рождения Ленина, когда Сталин произнес речь, показавшуюся всем несколько странной.

1920 год… Генеральным секретарем ЦК Сталин, вопреки ленинскому политическому завещанию, станет спустя два года. Но и в эту пору, да и еще раньше, он достаточно ярко раскрыл себя, и, может быть, прежде всего отношением к колебаниям Горького, выраженным совсем иначе, чем это делал Ленин.

Полемизируя с «Несвоевременными мыслями», Ленин временами критиковал горьковские заметки довольно резко и по существу, но никогда не переходил на личность и предпочитал вообще не упоминать имени Горького.

Не то Сталин. Все чаще задумываясь о Горьком и по необходимости восстанавливая в памяти тот, теперь уже довольно давний эпизод 1917 года, Сталин приходил к твердому убеждению, что Ленин слишком либерально отнесся к политическим ошибкам Горького. Что из того, что он крупнейший пролетарский писатель? Революция никому не делает поблажек. И потому он-то, Сталин, в отличие от тех, кто не находит в себе подлинной твердости в кризисных ситуациях, должен был сказать все без обиняков, по-большевистски.

«Русская революция ниспровергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед „громкими именами“, брала их на службу либо отбрасывала их в небытие, если они не хотели у нее учиться». <Из статьи И. Сталина «Окружили мя тельцы мнози тучны» (газета «Рабочий путь» («Правда»), 20 октября 1917 г.)>.

Хорошо, что Ленин тогда был в подполье. А то он вряд ли согласился бы с такой постановкой вопроса. Как это он писал весной того же семнадцатого? «Горький — громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению».

Возможно, возможно… Но было написано еще и вот что.

Ленин: «Пишущему эти строки случалось, при свиданиях на острове Капри с Горьким, предупреждать его и упрекать за его

политические ошибки. Горький парировал эти упреки своей неподражаемо милой улыбкой и прямодушным заявлением: „Я знаю, что я плохой марксист. И потом, все мы, художники, немного невменяемые люди“. Нелегко спорить против этого». (Цюрих, 12 (25) марта 1917 года.)

Нелегко спорить… Но если ясно, что человек совершает ошибку, зачем же спорить с ним? Лучший способ исправления ошибки — суровая критика. Суровая критика, решительно преодолевающая эти прекраснодушные разговоры о «невменяемости». Либо с революцией, либо — против нее. Третьего не дано.

Ленин писал издалека. Он, Сталин, и тогда видел всю картину вблизи. А теперь-то — тем более.

Все больше возможностей возникало у Сталина для гигантского плана преобразования жизни страны, все меньше оставалось оппонентов. К индустриализации государство, собственно, уже приступило. Новые огромные капиталовложения для этого может дать только мужик. Точнее, их, эти средства, нужно будет взять у него. А для этого деревню надо преобразовать в корне, коллективизировать ее. Это будет великий перелом, равный по своим последствиям Октябрю 1917 года. И если ту революцию возглавил Ленин, то эту осуществит он, Сталин.

Сейчас, как никогда раньше, нужна была помощь. Помощь от влиятельных людей, не входящих в партию, но своим авторитетом осеняющих его, Сталина, начинания. Среди таких людей Горький был, безусловно, фигурой номер один.

Как мог он отнестись к великому плану преобразования деревни, встречающему такое сопротивление со стороны Бухарина?

Вот уже в который раз Сталин листает нашумевшую в свое время брошюру Горького «О русском крестьянстве», которую выпустил Иван Ладыжников в Берлине в 1922 году. Да, мягко говоря, не очень симпатичен Горькому русский мужик, если писатель так старательно подчеркивает в жизни деревни дикость, жестокость, отсутствие созидательного начала. Такую деревню Горький защищать не будет.

Сложнее с интеллигенцией. В годы Гражданской войны Горький все время опекал ее и договаривался бог знает до чего. Но если он столкнется с неправильными действиями самой интеллигенции, скажем, с фактами вредительства, он сможет изменить отношение к ней. И почему бы не помочь Горькому выработать верную точку зрения?..

Пожалуй, пришла пора возвращать Горького. И не надо здесь

отдавать инициативу тем, кто уже носится с этой идеей, щеголяя личными контактами с писателем. Пусть люди скажут потом: «Когда уехал Горький? Горький уехал при Ленине. Уехал, потому что не мог оставаться. Когда вернулся Горький? Горький вернулся при Сталине. Вернулся, потому что не мог не вернуться!»

Горьковский юбилей 1928 года приближался как нельзя более кстати!

Однако всякое дело требует организации. Так сказать, кадрового обеспечения. Но кому персонально можно поручить это дело огромной важности?

Он мысленно перебирал гигантскую картотеку своей памяти. Да, и в свои 48 лет пожаловаться на память он не мог. Хранила она тысячи и тысячи биографий. Словно по мановению волшебной палочки извлекала такие подробности, которые даже его самого удивляли порой, лишний раз убеждая, впрочем, в том, что среди людей он — явление особого рода…

Так кто же? Кто?

Прежде всего надо определить, какими свойствами должен обладать этот человек.

Лучше, если он будет знакомым Горького. Тогда все сведения, исходящие от него, Алексей Максимович станет воспринимать с большим доверием. Неплохо, если он из тех, кто общался с Лениным… Партийный или советский работник мало подходит — слишком официальный оборот все может принять. Лучше, если это будет кто-то из работающих среди интеллигенции. Но разумеется, не этот эстет и либерал Луначарский, которому вообще пора покидать авансцену. Ну, скажем, издатель… Ведь Горький любит издавать книжки, журналы, газеты. Ну и конечно, это должен быть человек, которому может доверять Он сам.

Такого, кто обладал бы всеми этими данными, так и не вспомнилось. Но ведь подтянуть до нужной должности подходящего человека всегда можно.

Позвонил секретарю.

— Подготовьте-ка мне личное дело Халатова!

Итак, Халатов Артемий Багратович. Год рождения 1896-й. Год вступления в партию — 1917-й. После революции — член коллегии Народного комиссариата по продовольствию. Потом — начальник продовольственного снабжения Красной Армии. Это не то… А вот и то, что нужно. Осенью 1921 года Ленин создает Цекубу и делает ее председателем Халатова! Вот здесь-то, очевидно, он и познакомился с Горьким…

Позднее, в 1929 году, Горький писал одному из корреспондентов: «В ту пору — 19–21 год — я работал в Комиссии улучшения быта ученых, комиссия уже возникла по

инициативе В. И. Ленина и Л. Б. Красина; в дальнейшем Ильич и А. Б. Халатов развили ее в Цекубу…»

Халатов — это именно то, что надо.

В июле 1927 года решением Совнаркома Халатов был назначен председателем правления Государственного издательства (Госиздата).

Как отнесся Халатов к своему назначению? В большом письме Горькому от 19 августа 1927 года Халатов писал: «Теперь вот — уже второй месяц, как Совнарком назначил меня руководителем Государственного издательства… — для укрепления ГИЗа».

По-видимому, укрепляют учреждение людьми, превосходящими по своей компетентности предшественников и сотрудников. Одним из предшественников Халатова был, например, Вацлав Вацлавович Воровский — не только профессиональный революционер, но и профессиональный критик. Однако он погиб от пули белогвардейца Конради в Лозанне в 1923-м. Впрочем, еще неизвестно, как вел бы он себя в запланированной Сталиным ситуации. А люди были нужны надежные и, прежде всего, исполнительные. Что же касается компетентности, то хорош старый афоризм: не боги горшки обжигают.

В том же письме, словно бы подтверждая истину, все более приходившуюся к сталинскому «двору» и предшествовавшую великой кадровой революции, Халатов продолжал: «Дело для меня совершенно новое, незнакомое, имею беспрерывный 10-летний опыт по организационно-хозяйственной руководящей линии, но не к издательски-книжной, придется перенести свой опыт на эту работу…»[20] А «дело это труднейшее, сложное, многообразное, не налаженное…»[21].

В конце письма Халатов взывает к Горькому о помощи. Пока еще мало что смысля в издательском деле, он тем не менее прекрасно понимал одно: Горький — не только великий писатель, но и великий издатель.

Впрочем, как мы еще сможем убедиться, в переписке Халатова с Горьким начал обозначаться, а потом развиваться все уверенней и активней и куда более важный «сюжет»…

ГЛАВА VIII
«Юбилей? Это очень мешает работать»

…Странные желания возникают у человека порой… Ни с того ни с сего вспомнилось вдруг давнее и захотелось получить фотографию времен арзамасской ссылки, аж еще 1901 года. Казалось бы, прошло с тех пор более четверти века, подбирается он к концу шестого десятка, живет в благословенной Италии, на берегу Неаполитанского залива — один вид из окна чего стоит!

А вспомнилась забавная сцена: фасад дома арзамасской купчихи Подсосовой, а на этом фоне — полицейский с «селедкой» на боку. Сторожат крамольного писателя. Смешно, право! Ведь писатель — это его мысль, а можно ли мысль арестовать, приставив к ней полицейского с шашкой!..

Накануне своего 59-летия, 26 марта 1927 года, Горький и отправил на Родину письмо с такой неожиданной просьбой.

Вскоре, в августе 1927 года, в Сорренто, на виллу «Il Sorito» почта доставила из России небольшую бандероль. Получал Горький всякую корреспонденцию в изобилии, но эта бандероль оказалась и неожиданной и приятной. Небольшая книжечка, названная весьма непритязательно, чисто по-деловому: «Отчет о деятельности Цекубу за 5 лет (1921–1926 гг.)». Прислал тот же Халатов.

Сколько воспоминаний всколыхнула она! Воспоминаний, вышибающих слезу… Он тогда почти ничего не писал. Разве что прошения в разные инстанции. Чтоб выделяли писателям и ученым пшено и воду, дрова, чтоб не притесняли с жильем…

Тяжкое было время, но теперь он мог вспомнить о нем с чувством выполненного долга. Интеллигенция — мозг нации, и он тогда делал все, чтоб помочь ей выжить…

Отнюдь не исключено, что отчет о работе комиссии был по указанию Сталина подготовлен специально для того, чтобы начать психологическую подготовку писателя к возвращению на Родину.

19 октября 1927 года Горький отвечал Халатову: «Лично Вы, дорогой друг, в эти героические годы были неутомимым пестуном и „кормильцем“ ученых. Вы навсегда связали Ваше имя с Цекубу… Так как я знаю эту Вашу работу, я уверен, что говорю о ней безошибочно… Какой Вы, А<ртемий> Б<агратович>, прекрасный работник, хороший человек».

Еще раньше, 1 сентября, Халатов пустил «пробный зонд» относительно исполняющегося «в эти дни» 35-летия творческой деятельности Горького. Выразил свое восхищение писателем, пожалел: «В эти дни нет Вас здесь у нас, в Москве, чтобы иметь возможность в близко товарищеской обстановке (торжественная обстановка Вам всегда была чужда) провести эти дни».

12 октября 1927 года под заголовком «Привет Горькому» в «Известиях» была опубликована телеграмма по случаю юбилея, выражающая «твердую уверенность», что это не только дата, итожащая пройденный путь, «но и связующее звено между ним и дальнейшим сотрудничеством с ГИЗом и „Известиями“ в деле служения трудящимся массам СССР». Телеграмму подписали Халатов и Скворцов-Степанов, редактор «Известий».

Спустя еще месяц Халатов сообщал, что создана комиссия для чествования писателя в связи с 35-летием литературной деятельности и 60-летием со дня рождения. Почему-то получилось так, что тотчас вслед за письмом Халатова в Неаполь прибыл один из членов комиссии — Ганецкий и имел с Горьким продолжительные беседы…

Вспомнил Горький во время разговора с Ганецким, что о юбилее речь завел именно он, аж еще в 1926 году. Тогда из Италии ответ послан был такой: «на кой черт» нужен этот юбилей! Предстоит другой, десятилетний (Горький имел в виду юбилей Октября). А еще Горького потрясла неожиданная смерть Дзержинского: «Очень тревожно за всех вас, дорогие товарищи… На душе — беспокойно и тяжело. Писать не хочется ни о чем, а надо вот писать о 35-летнем юбилее…»

Еще до ноябрьского, 1927 года, приезда в Неаполь, летом, Ганецкий вновь вернулся в письме к вопросу о юбилее. «Неужели Вы, дорогой Алексей Максимович, надолго хотите нас осиротить! (Правильно ли это выражение, но Вы понимаете, в чем дело.) Ведь в этом году исполняется 35 лет Вашей работы. Номер этот даром пройти не может. Ни в коем случае! Мы хотим и будем радоваться, очень, очень радоваться! Но мы ни в коем случае не согласимся, чтобы в это время не было с нами возлюбленного Алексея Максимовича!

Так и знайте, что мы решили организовать против Вас заговор и попросить Вас, извиняюсь, заставить Вас приехать на наше торжество и дать возможность крепко обнять Вас! Я уже все обмозговал в своей голове, в своих мечтах, и только нужна мне Ваша санкция.

Вот что я придумал. Создается специальный комитет. В комитет входят партийные товарищи и другие. Из партийных намечены: Алексей Иванович Рыков, Николай Иванович Бухарин,

Енукидзе Авель Софронович, Смилга и др. С указанными я говорил, и все с большой радостью предложение мое приняли. С другими поговорю по получении Вашего ответа.

Ради бога (прекрасного бога в Вашем и моем понимании), умоляю Вас, дайте мне скоро ответ!» Особо подчеркивает Ганецкий расположение к Горькому Рыкова, который, однако, «адски занят» и пока не может написать Горькому. «Хочу Вас, однако, заверить, что он Вас глубоко любит, очень рад Вашему приезду и настаивает на торжественном праздновании Вашего 35-летия»[22].

Горький не сомневался в искренности своих партийных друзей, но за всей этой предъюбилейной суетой поначалу не придал значения тому обстоятельству, что в итоге состав юбилейной комиссии стал несколько иным, о чем ему сообщил уже Халатов в ноябре 1927 года. Теперь комиссия выглядела так: Н. Бухарин, Н. Томский, И. Скворцов-Степанов, А. Луначарский, Я. Ганецкий, П. Смидович, М. Покровский, А. Халатов. Из первоначального состава не вошли Рыков, Енукидзе, Смилга… Потом он поймет, что подобные персональные изменения были далеко не случайны, что вокруг идеи его окончательного возвращения (а юбилей был лишь малой частью задуманной грандиозной кампании) шла какая-то недоступная глазу, скрытая борьба во имя укрепления сталинского влияния.

Юбилей… Такой уж у людей сложился обычай: если человек прожил на свете несколько десятилетий и сделал за это время что-то мало-мальски полезное — сооружают пышные адреса, шлют восторженные письма и телеграммы, волокут подарки, которые потом неизвестно куда девать. И все это называется «юбилей». В одном из писем Вс. Иванову он писал: «Юбилей? Это очень мешает работать».

Он терпеть не мог славословия. Уклонялся от чествований… Как-то весь свой день рождения запоем читал Сергеева-Ценского.

Что удивляло на этот раз? 35-летие литературной деятельности, собственно, уже отмечалось месяц назад, в октябре 1927 года! Поздравления тогда прислали — кто? Станиславский и президент Академии наук А. Карпинский, артистка О. Гзовская-Гайдарова и литературный кружок «Утро»… Да ведь и «Известия» вместе с правлением Госиздата, помнится, еще числа 12 приветствовали его!

Но, похоже, теперь, подключая 35-летие работы к предстоящему в марте следующего, 1928 года 60-летию со дня рождения, хотят поднять этот второй юбилей на какой-то новый, совсем иной уровень…

Предчувствие не обмануло Горького. Уже в феврале 1928

года коллегии Наркомпроса и Главполитпросвета вынесли специальные решения по поводу проведения юбилея. Подготовка к нему началась по всей стране. В марте она приобретает еще больший размах. Президиум ВЦСПС обращается ко всем профсоюзным организациям с призывом принять активное участие в подготовке и проведении юбилея писателя.

С письмом о необходимости популяризации творчества Горького обращается к рабочей и крестьянской молодежи МК ВЛКСМ.

Специальные юбилейные комиссии создаются повсеместно: в Минске и Хабаровске, Пскове и Грозном, Твери и Тбилиси, Ереване и Иваново-Вознесенске, Перми и Полторацке, Минске и Ульяновске…

23 февраля «Известия» опубликовали сообщение о том, что Наркомпрос ходатайствует перед руководством о присвоении звания заслуженного деятеля искусств М. Горькому, а также Д. Бедному, А. Серафимовичу, С. Подъячеву. Итальянская газета «Трибуна» не замедлила перепечатать это сообщение, снабдив его многозначительным заголовком: «Русское правительство Максиму Горькому».

В письме Халатову от 5 марта 1928 года Горький писал: «… итальянские газеты печатают, что мне дано звание „заслуженного писателя“ или что-то в этом роде. Сим извещаю юбилейный комитет, что я решительно отказываюсь от всяких чинов и наград, в какой бы форме они ни были предложены мне. Я имею уже высшую награду, о которой может мечтать литератор, — награду непосредственного общения с моим читателем…»

В связи с 60-летием Горький получил несметное количество поздравлений от учреждений, организаций, от трудящихся, от друзей. По всей стране газеты и журналы опубликовали статьи и очерки о его жизни и творчестве. Юбилей Горького праздновала вся Европа. Свыше 50 зарубежных писателей составили коллективный «Альбом-адрес». В него вошли приветствия и поздравления таких писателей, как Ромен Роллан и Бернард Шоу, Арнольд Цвейг и Томас Манн, Лион Фейхтвангер и Джон Голсуорси, Кнут Гамсун и Леонгард Франк, Якоб Вассерман и Жорж Дюамель, Шервуд Андерсон и Сельма Лагерлеф, Генрих Манн и Герберт Уэллс, Стефан Цвейг и Эптон Синклер…

Лион Фейхтвангер: «Если верно, что приближающееся слияние народов означает переход всего хорошего, что есть в каждом отдельном народе, в новую, общую сущность людей, то именно Вы, Максим Горький, сделали больше всех для этого перехода, чтобы выявить в русской сущности наиболее важное миру».

Шервуд Андерсон: «Уже тогда (в 1906 г., время приезда писателя в Америку. — *В.Б.)* Ваша сила наполнила наши сердца — мы почувствовали Вашу способность любить, Ваше глубокое и пылкое понимание жизни. Еще наступит большее понимание между Америкой и Россией».

Стефан Цвейг: «Мой дорогой и великий Горький, в эти дни… волны благодарности хлынут в Сорренто. Поток писем, подобный извержению Везувия, принесет горячую лаву любви в Ваш дом… Берегите Ваши физические силы, и пусть будет благословенна сила Вашего вдохновения и творчества. Сохраняйте Ваш пламень для человечества».

Среди всех приветствий было одно, имевшее совершенно особый, можно сказать, директивный характер. Да и называлось оно не как-нибудь, а «Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29 марта».

«Максим Горький не только как писатель, но и как революционный деятель принимал личное участие в революционном движении, неоднократно оказывал большую помощь рабочему классу и коммунистической партии и в настоящее время продолжает со всей страстностью борьбу против врагов первой в мире рабоче-крестьянской республики.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет ознаменовать настоящим актом огромные заслуги Алексея Максимовича Пешкова перед рабочим классом и перед Союзом Советских Социалистических Республик» («Правда», 30 марта 1928 г.).

Огромные заслуги… Слава богу, хоть обошлось без чинов, званий и наград! Ну, а бороться с врагами рабочих и крестьян уговаривать его не надо. Он этим, собственно, занимается всю жизнь. Всю жизнь он, в сущности, доказывает одно: право каждого человека на безграничные возможности духовного и физического развития.

60-летие Горького подробно комментировала вся печать. Особый интерес представляет для нас пресса русского зарубежья. Так, в подборке «Чествование Горького» издававшаяся А. Керенским в Париже газета «Дни» сообщала, что писатель восстановлен в звании академика, что «Рыков и Бухарин в своих приветствиях подчеркивают огромное влияние, оказанное Горьким на культуру»[23], что советский посол в Риме Курский поручил консулу в Неаполе лично приветствовать Максима Горького от собственного лица и от лица полпредства… Печать не забывала упоминать даже о таких, казалось бы, не столь уж значительных событиях, как открытие, при содействии Наркомпроса, в Канавине (район Нижнего Новгорода) рабочего

факультета имени Горького…

Но разумеется, эмигрантская пресса не могла ограничиться заметками чисто информационными. Были здесь и злые выпады фельетонного характера, и оскорбительные заявления… И все-таки сегодня, когда мы стремимся постичь истину во всей ее полноте, не исключая и фактов, неприятных нам, имеет смысл подумать и над публикациями полемического характера, поразмышлять над ними.

Прежде всего следует отметить один совершенно очевидный факт. Горький как личность, как мыслитель и художник был оппозиционен, временами враждебен миру русской эмиграции. Правда, иные и в России называли его эмигрантом. Маяковский так и писал в нашумевшем «Письме писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому»: «Горько думать нам о Горьком-эмигранте».

Но почему же в таком случае его травила белогвардейская пресса? Яблоновский, к примеру, провозгласил очерк о Ленине величайшим преступлением в истории русской печати. Ни больше, ни меньше!

Приведем характерное свидетельство современника, писателя Далмата Лутохина, встречавшегося со всеми крупнейшими представителями русской эмиграции: «Навещаю Горького. — Вот первый действительно сильный человек, с которым сталкиваюсь за рубежом. — Интересуется Западом, в курсе и литературных, и научных, и политических дел. Отсутствует интерес к дрязгам, нет желания играть роль, поражает безмерная любовь к культуре и стремление сделать, что в силах, для родного народа. Гулливер среди пигмеев»[24].

Во многом именно противостоянием «Горький — эмигранты» и обусловлен характер публикаций прессы русского зарубежья. Этим, но не только этим… Оставаясь выразителем судеб и интересов народа, Горький поднялся в своем развитии на огромную духовно-интеллектуальную высоту, стал образованнейшим писателем планеты. Между тем во время юбилея наряду с вполне естественными формами выражения народной любви к писателю имели место и такие, в которых проявлялось несколько упрощенное, скажем так — простонародное представление о нем (как же, Максимыч, наш, человек из низов!). Грузчики Царицына избрали Горького почетным членом своей артели и послали в Сорренто членский билет и расчетную книжку.

Очевидно вспомнив еще одну из профессий писателя, Президиум ВЦСПС принял решение присвоить имя Горького пекарням в Ленинграде и Казани.

И вот за подписью Жана Нуаре появляются за границей такие куплеты:

Огорошен обыватель.
Хлещет, плещет гул молвы:
— Горький Максимум писатель
Избран пекарем Москвы!
Да утихнет гул полемик!
Ах, ужель вам невдомек:
То, что было академик,
Стало нынче — хлебопек.
Ибо это пролет-званье
Слаще меда и любви:
Можно жить и без писанья,
Вот без хлеба проживи!
Коль дырявые карманы,
Велика ли ваша честь?
Можно также печь романы,
Но попробуй-ка их есть!
Долго ль действовать намеком:
Так-то, братцы! А засим —
Будь московским хлебопеком,
Горький Максимум Максим![25]

Стишки, разумеется, не бог весть какие, но нельзя не отдать автору должного по крайней мере в одном отношении: в Советской России, откуда еще при Ленине было изгнано немало представителей научной интеллигенции, началась явная девальвация представлений о звании ученого, приводившая к гибели гениальных Вавиловых и торжеству «народных академиков» типа Лысенко.

Содержалась в печати и полемика более серьезная, и поводы для нее отыскивались самые разнообразные.

Весной 1928 года мировая общественность отмечала столетие со дня рождения Л. Толстого. Пресса не преминула воспользоваться случаем, чтобы противопоставить двух классиков, и сделать это, так сказать, по горячим следам горьковского шестидесятилетия.

«Юбилей Максима Горького — хоть и в его отсутствие, отпразднован был честь честью, и ему воздано было всей „советской общественностью“ с академиком Ольденбургом во главе — в меру его заслуг. Заслуги эти, правда, происхождения весьма недавнего, до последнего времени Горький оставался в сильном подозрении. Но он горячо взялся за работу, и в короткий

срок его заслуги образовали раствор перенасыщенный, только луженая советская совесть может переварить Демьянову уху, которую Максим Горький заварил так густо. По заслугам воздано было Горькому, даже десятилетний юбилей Красной Армии, да и самого ОГПУ не блистали такой торжественностью, не разыграны были без сучка и задоринки, как по нотам. Очевидно, в поведении Горького колеблющийся Кремль ищет хоть какую-нибудь опору, и Горький не по силам усердствует, чтоб этих ожиданий не обмануть»[26].

Нельзя сказать, что в заметке присутствовал слишком большой «перебор», если вычесть некоторые чисто «полемические красоты». Острые отклики на горьковский юбилей публиковались и на страницах газет, придерживавшихся демократических ориентаций, и к подобным материалам нам еще предстоит обратиться.

ГЛАВА IX
Написать о новой России

«Бывают у меня люди из России, люди разных настроений, но рассказы всех будят только зависть к ним, к тому, что они живут в России», — сообщал Горький в одном из писем в июле 1927 года. А в октябре, как о решенном, писал: «Приеду же в мае на все лето, чтоб хорошенько посмотреть, что сделано за 10 лет, и написать об этом книгу». Вот и зарубежные друзья считают, что его долг — создать образ нового русского народа. Так пишет 20 мая 1927 года Стефан Цвейг из Зальцбурга, присылая статью о «Деле Артамоновых». Но если приниматься за эту задачу, то — прав тот же Цвейг — надобно пожить в России…

Первый раз Горький приехал в Советскую Россию из Италии в мае 1928 года. Потом — в 1929, 1931, 1932, 1933 годах будет приезжать в мае, примерно в одни и те же дни, и уезжать обратно, прожив пять месяцев плюс-минус несколько дней. (Поэтому не совсем точны утверждения о том, что Горький окончательно вернулся на Родину в 1928 году.)

Когда встал вопрос о месте постоянного жительства Горького, он был очень обеспокоен дошедшими слухами и писал своему секретарю из Сорренто: «Приехала Милиция и сообщила, что для Горького ремонтируется какой-то дворец или Храм на берегу Москвы-реки, точно она не знает. Но я совершенно точно знаю, что мое поселение во дворце или храме произведет справедливо отвратительное впечатление на людей, которые, адски работая, обитают в хлевах. Это будет нехорошо не только для меня. По сей причине я убедительно прошу: вопроса о вселении моем во дворец не решать до моего приезда».

Собираясь в Россию и задумывая книгу о ней, писал 10 октября 1927 года Халатову о том, что хочет проехать по местам своих былых путешествий. «Мне необходимо побывать — невидимым — на фабриках, в клубах, в деревнях, в пивных, на стройках, у комсомольцев, вузовцев, в школах на уроках, в колониях для социально опасных детей, у рабкоров и селькоров, посмотреть на женщин-делегаток, на мусульманок и т. д., и т. д.».

Сколь существенными Горький считал именно такие условия путешествия, подтверждает и его письмо Рыкову, написанное два месяца спустя. «Предположено устроить „юбилей Горького“. Я уже писал И. И. Скворцову, что сие чествование может вдребезги испортить мою поездку по Советскому Союзу, ибо я хотел бы поездить скромно, для того чтобы видеть больше. А ездить мне

нужно много. Что же я увижу, если меня везде будут встречать и провожать, как архиерея?»

Увы, даже обращение к председателю Совнаркома не помогло. Побывать-то Горький побывал везде, но… не в том качестве, в каком ему хотелось…

Задолго до приезда Горького в Россию, собственно, сразу по получении письма Халатовым, отрывок из него — и именно о намерении побывать дома «невидимкой»… был опубликован в «Известиях» (2 ноября 1927 г.)! Таким образом, «конспиративный» замысел поездки сразу раскрылся (не этим ли обусловлено обращение к Рыкову?).

Естественно, публикация письма не могла не удивить друзей Горького. Пришвин в письме от 2–3 ноября 1927 г. интересовался: «Думаете ли по окончании романа („Жизнь Клима Самгина“. — *В.Б.)* побывать в России?..» Но не успел он письмо отправить, как пришла газета, и Пришвин делает многозначительную приписку: «После этого письма прочитал в „Известиях“ выдержки вашего письма к Халатову, которые отвечают на поставленные мной вопросы.

Считаю ваше намерение явиться „невидимкой“ на родину и сказать всю правду по всей совести большого человека за великий подвиг.

Смеюсь над собой: робел вам предложить в письме „невидимку“, а между тем это публикуют в газетах!»

Когда Горький читал это письмо друга, ему-то было вовсе не до смеха. И потом, в России, он не раз будет вспоминать слова, которыми заканчивалось пришвинское послание: «Но мне по секрету Вы все-таки напишите, около какого времени вы думаете быть у нас: мне очень хочется пройтись с Вами в Посад за баранками: по-моему, сразу все тут и увидите. У меня приятельские отношения с одним литературным комсомольским кружком, тут же по пути за баранками и завернем к ним и тоже зараз посмотрим на Андрея Рублева, расчищенного и без оклада, — это чудо русского искусства. Все без парада увидите, без автомобиля, только один раз пройдемся за баранками. Завернем к Сергею Тимофеевичу Григорьеву, спустимся вниз к постройке электростанции и т. д.».

И дались же Михаилу Михайловичу эти баранки!

Тогда, в Италии, перечитывая письмо Пришвина, Горький еще не мог знать, что вскоре его ожидает еще один сюрприз, который и вовсе приведет его в негодование.

Тот же отрывок — о путешествии «невидимым» — спустя месяцы, ближе к приезду, но как бы воспользовавшись «благоприятным» поводом — днем рождения, 29 марта 1928 года

— вновь опубликовала «Правда». Это уже выглядело прямо как призыв: люди, озирайтесь вокруг, а вдруг да и увидите самого Горького!

Нечего сказать, «невидимка»!

Не исключено, что Горький каким-то образом выразил свое естественное недовольство по этому поводу (проще всего это было сделать через дипломатические каналы). Во всяком случае вскоре, 9 апреля 1928 года, Халатов пишет Горькому весьма встревоженное письмо — и уже не о том, «видимым» или «невидимым» станет появляться Горький в различных пунктах своих путешествий, а приедет ли он вообще.

«Если бы опубликовали письмо о времени приезда, сообщив об этом мне, это бы имело огромное значение. Уже сейчас „недовольные“ элементы потихоньку стараются пустить слух: „Не приедет Горький“. Ваш приезд в мае — это факт, имеющий исключительно большой общественный смысл»[27].

Ну конечно, Халатов сообщал отнюдь не свое личное мнение. Приезд Горького был крайне необходим кому-то, стоявшему гораздо выше. Тому, кто не был заинтересован, чтоб писатель появлялся где угодно и когда ему заблагорассудится. «Без парада, без машины…» Но ведь если окружить его не ослабевающим ни на миг вниманием любящего народа? Народа!.. Кто станет отрицать, что масса и сама шагу не дает ступить своим кумирам…

Еще до того, как поезд «Берлин — Москва» прибыл на станцию Негорелое, у пограничной арки его приветствовали пограничники. В 10 часов вечера на самой станции состоялся митинг. Приветствовали правительственные делегации Белоруссии и Москвы — во главе с И. Скворцовым-Степановым. Пришлось выступать с ответной речью.

То же и в Минске, куда поезд прибыл ночью. Вокзал и все прилегающие улицы были заполнены толпами возбужденных людей. Опять речь…

Горький не считал себя оратором, но он и предположить не мог, сколько раз ему, совершенно отвыкшему за время жизни в Италии от официальных церемоний, придется выступать на митингах, собраниях, заседаниях… Без счету! Везде, где приходилось появляться!

В Москве 28 мая на перроне Белорусского вокзала в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Прибыли руководители партии и правительства — Н. Бухарин, К. Ворошилов, С. Орджоникидзе, А. Луначарский, Ем. Ярославский, М. Литвинов, А. Бубнов, писатели, ученые, деятели искусства, бесчисленные делегации фабрик и заводов.

Похоже, встречали не человека, даже не писателя, а — Юбиляра. Можно ли было кого-то осуждать за это: ведь он отмечал свое 60-летие за границей, а народ — у себя на Родине, без него. И вот теперь они воссоединились.

Горький проделал большое путешествие по стране: побывал в Курске, на Украине, в Азербайджане, Грузии, Крыму, совершил поездку вверх по Волге от Сталинграда до родного Нижнего… Обилие интереснейших впечатлений. Встречи. И речи!

В следующем 1929 году Горький путешествует по стране вновь — от Соловков на севере до абхазских селений на юге. Посещает фабрики и заводы, железнодорожные мастерские и детские колонии, совхоз «Гигант»…

Общее впечатление: контраст с прошлым — разителен. Вспоминая старый Баку, он назвал его гениально выполненной картиной мрачного ада. Теперь сюда пришла могучая техника. А какие гигантские бумагоделательные машины соорудили в Балахне (откуда родом была, кстати, его бабушка Акулина Ивановна)!

Более всего впечатляли картины технического перевооружения России, молодежь, которая с энтузиазмом включилась в этот процесс.

Жадность Горького ко всему новому была воистину неуемна. Нагрузка, которую он взваливал на свои костлявые плечи, — столь велика, что в сентябре по пути из Тифлиса во Владикавказ у него горлом хлынула кровь. Путешествие по настоянию врачей пришлось прервать…

Еще в 1928 году в Москве он почувствовал: встречи приобретают такой характер, что не дают возможности узнавать жизнь вне ее официального обличья. Спустя месяц после возвращения, устав от митингов и приветствий, переоделся, надел парик, загримировался и так ходил по Москве, заглядывал в чайные, обедал на вокзале.

Но что грим? Он еще не предполагал, что работу над его подлинным монументальным портретом идеолога и руководителя литературной жизни начала совсем другая Рука.

В 1928 году Горький выехал в Ленинград. Чтобы избежать помпезных встреч и надоевших речей, пересел в Любани в пригородный поезд. Спокойно занял номер в гостинице «Европейская». Не успел перевести дух и расположиться — визитеры! Один за другим…

И так — везде.

Иной раз возникало непреодолимое желание — отрешиться от всего, взять в руки палку, за спину — котомку и — пешком, куда глаза глядят! Как когда-то в молодости — голодный, порой

без гроша в кармане… Тогда-то и родилась в нем страсть жечь костры. Сколько раз где-нибудь в степи, погруженной в беспросветную могильную тьму, он сидел, протянув ладони к огню, и смотрел на пламя, как завороженный, забыв о своем случайном спутнике, который удивленно глядел на него и боялся спугнуть его раздумье. Лишь потом, вспоминая прошлое, он понял, что тогда, в пламени костра, свежие жизненные впечатления словно бы переплавлялись в образы, которые оставалось только перенести на бумагу.

Спустя годы, став известным писателем, и дома, в России, и за границей — в саду ли виллы Серафина на Капри, или на лесистом мрачноватом берегу озера в Бад-Саарове, под Берлином, — он продолжал жечь эти костры.

Любил топить камин. Любил поджигать спички и окурки в пепельнице, глядя, как огонь, меняя окраску, постепенно поедает все, оставляя слой легкого серого пепла…

Какие тогда, в молодости, автомобили, митинги и речи! Он был счастлив чудом свободного общения с миром, общения, не обремененного и не ограниченного ничем. Так родилась книга «По Руси».

Теперь же будет «По Союзу Советов». Иные времена… Молодость не вернешь. Ну а бремя славы — в этом в конце концов «виноват» сам…

Любопытно все-таки устроен человек. Обилие встреч утомляло, но как только они прекращались совсем, он начинал испытывать острую нехватку общения с людьми новой России, необходимость подышать ее воздухом.

Из Италии писал Е. Пешковой: «Все чаще заглядывают ко мне люди из Союза, люди разных профессий. От них пахнет, как от чертей, огнем и дымом, запах — оздоровляющий!»

26 ноября 1930 года в гавани Неаполя бросил якорь теплоход «Абхазия». На нем прибыли триста рабочих-ударников, совершавших рейс, или, как бы мы сказали теперь, круиз, вокруг Европы. Представим, каким чудом была тогда такая поездка. Когда это рабочему человеку, выходцу из той же слободки, что описана в «Матери», не видавшему, в сущности, ничего дальше границ той же слободки, показывали с десяток стран? Ну разве можно было себе представить, чтоб о рабочем человеке написали нечто похвальное, к примеру, какие-нибудь «Русские ведомости»! Сама постановка этого вопроса показалась бы абсурдной. И вот человек труда, сработавший великую революцию, завоевал себе такое право!

«Абхазия» стояла на неаполитанском рейде три дня. И все эти три дня он прожил здесь, в гостинице «Континенталь», не уезжая

в Сорренто. Помогал рабочим составить маршрут, растолковывал, какие скульптуры надо непременно посмотреть в неаполитанском музее, а что — в Помпее. И тут он не мог удержаться от размышлений на любимую тему: о безграничных созидательных возможностях человека и разрушительных силах слепой стихии, способной в одночасье погубить все творения рук человеческих и унести тысячи и тысячи жизней. А вся-то извлеченная из-под пепла Помпея с ее колоннадами, полукружьем театра, остатками аристократических вилл с их удивительными мозаичными фресками и фонтанами становилась уникальной материально-вещественной иллюстрацией к его словам.

Среди путешествовавших на «Абхазии» оказалась землячка из Нижнего, Базарнова. Долго и жадно расспрашивал ее, что нового в городе. А на память подарил ей шикарно изданный альбом с изображением развалин храма Аполлона на обложке. На обороте почти каждого снимка, сопровождаемого иностранными надписями, заботливо сделал карандашом пояснения по-русски: «1. Общий вид Помпеи. Помпеи погибли после Р.Х. в 79 г. Первые раскопки начаты королем Карлом 3 в 1755 г. 2. Амфитеатр. До 20 000 мест. 3. Музей. 4. Улица Саллюстия…» И так далее.

Пусть в Нижнем полюбуются на красоты далекой Италии и другие земляки. Как бы он хотел, чтобы все люди труда могли испытать радость приобщения к тем изумительным сокровищам духа, которыми обогатило себя человечество…

Приезжая на лето в Россию, он, вдумчивый аналитик жизненных явлений, тончайших движений человеческой души, в какой-то момент «терял нить», переставал различать ту едва уловимую грань, которая отделяет подлинное от мнимого. И не хотелось думать, что между тем, о чем рассказывали люди во время теперешних организованных встреч, и тем, что могли бы сказать они же в разговоре наедине, по душам, были немалые и все нарастающие несовпадения.

Путешествия превращались в демонстрацию того, что значилось на обложке редактируемого им журнала: «Наши достижения…»

Монументальный «пейзаж» преобразуемой страны в его сознании рисовала та же опытная Рука.

Между тем в партии сразу нашлись силы, которые стремились к тому, чтобы Горький имел возможность познакомиться с подлинным положением вещей на родине. Уже в середине июня 1928 года западная печать сообщила, что Бухарин выразил пожелание оставить Горького в покое «и дать ему возможность присмотреться к тому, что творится в России, а присмотреться можно, выражаясь фигурально, не с помощью

усердных дворников, посыпающих песком все грязные дорожки». «В кого это метил Бухарин и в кого он попал?» — задавала вопрос пресса[28]. Теперь мы с исчерпывающей полнотой представляем — в кого.

Поднимала западная печать и другой, более существенный вопрос: какую из сложившихся в партии «группировок» поддержит писатель? Считалось, что в руководстве страны оформилась так называемая «русская группа» (Рыков — Калинин), которую рассматривали как оппозицию Сталину. Одна из газет опубликовала статью со знаменательным названием: «Надежда на Горького». «В обстановке унылой безнадежности, охватившей советские „сферы“, приезд Максима Горького превратился в очень крупное событие, уже приобретающее политический оттенок. Так называемая „русская группа“, явно враждебная Сталину, рассчитывает использовать широкую рекламную популярность Горького для усиления своего влияния. Настоящий момент считается для этого весьма благоприятным, так как Сталин сделал ставку на Шахтинский процесс, который сразу скандально провалился[29]. Сейчас уже обсуждается вопрос, как бы его сократить, если ликвидировать невозможно. Мысль о том, что процесс должен еще целый месяц тянуться, всех пугает, потому что и сейчас гибельные его последствия слишком ясны. Иностранные инженеры массами покидают СССР… Провал этой лубянско-сталинской провокации окрыляет поэтому русскую группу Рыкова — Калинина, надеющуюся найти в популярности Горького мощную поддержку. Однако Горький пока держится совершенно нейтрально и весь отдается помпезному приему, устроенному в Москве»[30].

Содержание этой заметки проясняет, почему Рыков был устранен из горьковской юбилейной комиссии, как это намечалось первоначально, и о чем сообщал Горькому Ганецкий.

Освещая общие итоги горьковского путешествия по стране в 1928 году, эмигрантская пресса сообщала, что «вопреки пророчествам пессимистов и скептиков, путешествие Максима Горького в Россию и по России заканчивается благополучно. Триумфальный характер поездки несколько нарушен был внезапным серьезным недомоганием, которое за последнее время все чаще фигурирует как помеха осуществлению планов советских сановников и прихлебателей. Но нет худа без добра. Заболевание Горького ликвидировало щекотливый вопрос об избрании СССР постоянным местом жительства… Только такой горячий патриот, как Горький, мог решиться на столь утомительное путешествие, пренебрегая опасностью заболевания».

Но дальше автор «Руля» решительно меняет направление и тональность заметки, саркастически подчеркивая, что «эта жертва Горького тем выше должна цениться, что в сущности поездка его была совершенно излишняя». Единственный «положительный» момент, который подчеркивает верный своей последовательно антикоммунистической программе «Руль», усматривается в отношении Горького к ОГПУ. «Действительно, единственно новое, что Горькому бросилось в глаза и о чем он поспешил и нам поведать, — это было оригинальное освещение роли ОГПУ, знаменитой Лубянки. До сих пор общеизвестно было, что это организация убийц, палачей-садистов, известно было, в частности, что сам Горький в первые годы пользовался своими связями (иногда совершенно бескорыстно), чтобы вырвать ту или другую жертву из кровавых рук… Теперь же… работа ОГПУ представилась ему в другом виде. Под руководством прославленного убийцы Ягоды Горький осмотрел колонию для несовершеннолетних преступников и убедился, что это исключительное достижение, единственный питомник честных людей, приобретающий сугубо важное значение, когда чуть не ежегодно то тот, то другой нарком уличаются в воровстве и садятся на скамью подсудимых.

Все остальные достижения оказались значительно менее яркими, так что предложенный Горьким проект издания нового специального журнала „Наши достижения“, несмотря на всю гениальную простоту, несмотря на многочисленные и многолюдные литературные совещания, так и остался неосуществленным. А так как только этот один проект Горький и предложил, то очевидно, что его приезд духовно так же мало дал России, как сам он немного нового приобрел»[31].

Нет, поездка Горького вовсе не была излишней. И язвительное замечание «Руля» касательно невыхода журнала «Наши достижения» оказалось явно преждевременным. В марте 1928 года, еще накануне поездки на родину, в письме земляку В. Т. Илларионову Горький сообщал о намерении заняться журналистикой, «чтобы встать теснее к жизни». И первым из созданных им журналов были именно «Наши достижения» (1929–1936).

Вскоре стало выходить фотоприложение к нему «СССР на стройке» (1931–1941), выпускавшееся не только на русском, но также еще и на английском, немецком и французском языках. Однако все это лишь капля в море, образующем, как теперь принято говорить и как недавно высказался один журналист применительно именно к Горькому, медиаимперию Максима Горького: журналы «Колхозник», «На стройке МТС и совхозов»,

«За рубежом», «Литературная учеба», альманах «Год XVI» (ставший ежегодником; вышло 9 книг). Руководящую роль играл Горький в целом ряде издательств, таких, как «Academia», Госиздат, Издательство писателей в Ленинграде, «Молодая гвардия» и др. Можно ли забыть огромную организационную работу по руководству такими основанными писателем знаменитыми сериями, как «История фабрик и заводов», «История гражданской войны», «Библиотека поэта», «Библиотека романов», «Жизнь замечательных людей», «История молодого человека XIX века» и др. Всего в годы советской власти Горький принимал живейшее участие в редактировании более 30 журналов, газет, сборников, альманахов.

Таков первый комментарий к поспешному выводу «Руля». Что касается печально известной госструктуры ОГПУ, то ничуть не пытаясь приуменьшить ее негативно-репрессивной роли в жизни страны, не забудем и о тех людях, которые, подобно Г. Бокию и его соратникам, пытались в меру своих сил и возможностей вносить конструктивный вклад в строительство новых отношений в стране (о чем говорил и описанный выше опыт Соловков, скомпрометированный впоследствии другими людьми и, кстати, во многом сразу после смерти Горького). А о том, что опыт этот не был уникальным исключением, — в следующей главе, о Макаренко.

ГЛАВА X
«Эксперимент мирового значения»

…Рукопись пролежала без движения в издательстве два с лишним года и вдруг все-таки была опубликована. Странная судьба ожидала книгу. «Я не встретил ее ни в одном магазине, — вспоминает автор, — я не прочитал о ней ни одной строчки в журналах или газетах, я не видел ее в руках читателя, вообще эта книжонка как-то незаметно провалилась в небытие».

Каково же было изумление дебютанта, когда он получил письмо — откуда бы? — из Сорренто. Начиналось оно словами: «Вчера прочитал Вашу книжку… Читал с волнением и радостью…» И подпись: М. Горький, 12.XII.34.

Автором книги «Марш 30 года» — о ней речь — был Антон Семенович Макаренко. В этом, скажем прямо, не столь уж заурядном с точки зрения характера существующих между писателями профессиональных контактов факте — весь Горький с его неуемной влюбленностью в литературу, с его воистину фантастической способностью отыскать никому не ведомого автора, а для этого — постоянно поглощать бездну книг. Их Горький вроде бы даже не читал, а просто глотал разом (свидетели его чтения вспоминают, что глазами он водил не по строчкам — туда и обратно, а словно бы по странице сверху вниз). И улавливал решительно все, вплоть до деталей!.. Сразу и надолго. А то и навсегда. Такого читателя-писателя литература еще не знала.

Впрочем, не станем скрывать, что случай с Макаренко имеет свои особенности. С этим дебютантом Горький был знаком, и возникли их отношения еще в далеком 1914 году. Тогда начинающий преподаватель двухклассного железнодорожного училища на станции Долинская Херсонской губернии послал возвратившемуся недавно в Россию знаменитому писателю свой первый рассказ «Глупый день».

Ответил Горький кратко: рассказ, дескать, интересен по теме, но написан слабо, и предложил написать что-нибудь еще. Автор сделал из этого свой вывод: попытки писательства он оставил, с головой уйдя в педагогическую деятельность. Ни тот, ни другой корреспондент не могли предвидеть, каким огромным содержанием наполнит их жизни настоящая, искренняя дружба, которой суждено будет завязаться между ними впоследствии.

В 1920 году Макаренко основал Колонию для несовершеннолетних правонарушителей, дав ей имя Горького.

Заметим, что к моменту начала работы колонии писатель и ее заведующий лично еще знакомы не были. Но Горький давно стал кумиром Макаренко. В образе гордого человека, воспетого писателем, вышедшим из низов, провинциальный учитель увидел тот идеал, на который надо ориентировать всю воспитательную работу с детьми. Он не мог не знать о сложном отношении писателя к революции, о той критике, которой подвергали его тогда на страницах большевистских газет. Но это не поколебало его общего представления о классике.

Получив колонию, Макаренко стал теряться в догадках, с чего начинать. «Старый опыт колоний малолетних преступников для меня не годился, — писал он позднее, — нового опыта не было…»

Не было опыта, но в изобилии хватало беспризорников, мотавшихся по стране, оборванных, чумазых, имеющих кусок хлеба лишь от случая к случаю, без крыши над головой и с неизбежным намерением прибрать к рукам то, что «плохо лежит».

«Я не мог найти никаких „научных“ выходов, — продолжает Макаренко. — Я принужден был непосредственно обратиться к своим общим представлениям о человеке, а для меня это значило обратиться к Горькому». Он читал и снова перечитывал Горького, не пытаясь найти, естественно, так называемых методических рекомендаций в готовом виде, но обретая нечто гораздо более важное: концепцию личности, существующей в данной социальной среде и преодолевающей сопротивление этой среды.

В повседневной, будничной обстановке, где столько трудностей, различить хорошее в человеке нелегко. В чем же задача педагога? «Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обязан сделать. Он обязан подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с некоторым риском ошибиться. И вот этому умению проектировать в человеке лучшее, более сильное, более интересное нужно учиться у Горького… Горький умеет видеть в человеке положительные силы, но он никогда не умиляется перед ними, никогда не понижает своего требования к человеку и никогда не остановится перед самым суровым осуждением».

…Переписка их началась летом 1925 года и продолжалась до конца жизни Горького. Писатель оказал неоценимую помощь Макаренко в формировании замысла и в работе над «Педагогической поэмой» — главным трудом, обеспечившим Макаренко прочное место в литературе, книгой, которая просто не могла бы родиться без прямого воздействия, советов и редакторских поправок Горького. Но тем более показательно, что всякий раз, как они встречались лично, разговор очень быстро переключался на другую, куда более важную для собеседников

тему — о детях.

Совершенно особую страницу в жизни Горького составила переписка с ним колонистов. Он чувствовал, что для них, потерявших отцов и матерей, бабушек, дедушек, стал чем-то большим, чем знаменитым писателем, с которым в высшей мере лестно под держать контакт любому. Макаренко писал в одном из писем, что потребность любви ближнего нашла у ребят выход, «и вот теперь такое неожиданное и великое счастье — можно любить Вас», — писали они ему в 1925 году.

Величайшим праздником для колонистов, памятным на всю жизнь, был приезд Горького в колонию в 1928 году, где он прожил три — нет, целых три! — дня. Вникал в мельчайшие подробности организации жизни воспитанников, совершенно ошеломив тем, что помнил имена командиров всех отрядов, которые писали ему пространные письма (Макаренко приходилось притормаживать ребячью активность, чтоб не слишком обременяли писателя). Помнил Горький даже имена многих рядовых колонистов, о которых заходила речь в письмах.

Нет, этот визит не был парадно-показным. Великий писатель ел с ними за одним столом, выходил в поле, чтоб хоть немного потрудиться с новыми друзьями на сенокосе.

Он замечал, что с годами становится все более чувствителен. Немного надо было в последнее время, чтоб на глаза навернулись слезы. Вот и здесь душа его ликовала. Ведь перед ним не в сладком сне, а наяву представали вчерашние воры, девчата, занимавшиеся проституцией, — существа с изломанными судьбами, которые постепенно становились людьми в высоком, гордом значении этого слова.

Их никто не конвоировал, не охранял, не сторожил. И за редчайшими исключениями никто не убегал на «свободу» из колонии, где царила жесткая дисциплина. А и убежав — возвращались обратно. В сущности, это было чудо, осуществляемое в массовом масштабе.

Позже, уже не на основе эмоциональных впечатлений, а глубоко продумав все, что знал раньше о колонии Макаренко и чему потом сам стал недолгим свидетелем, Горький писал: «Огромнейшего значения и поразительно удачный педагогический эксперимент Ваш имеет мировое значение, на мой взгляд».

Эксперимент мирового значения. Вдумаемся в эти слова!..

Какую главную задачу ставил перед собой Макаренко? Изжить потребительскую психологию своих питомцев. Их предстояло приучить к труду. К труду в коллективе. И вот эти-то два столь традиционных и очевидных понятия должны были стать

главным средством воспитания новой личности.

Бывшие беспризорники с увлечением обрабатывали землю, получая хорошие урожаи, разводили свиней, коров, лошадей. Это было настоящее большое дело, осуществляемое, как бы мы подчеркнули сегодня, на хозрасчетной основе. И ведь никто не командовал ими! Только они сами. Ребята были разбиты на отряды по десять-пятнадцать человек. Сами выбирали командиров. Выбирали тех, кого считали нужным, а поскольку надо было заниматься делом, дающим конкретные практические результаты, выбирались наиболее толковые и инициативные. Командиры отрядов объединялись в совет, которому и принадлежала в колонии вся власть. А как же педагог? А он уходил куда-то в тень, словно бы переставал существовать. И в этом была его высшая мудрость! Потому что он все время был с ребятами, знал все их нужды, заботы, радости и печали — знал гораздо больше, чем самый осведомленный из командиров, все осмыслял и вовремя, незаметно, как бы походя, давал советы, без которых обойтись просто невозможно. Антон, он был свой человек. Можно ли не доверять такому!

Макаренко отлично понимал, что у настоящего дела всегда есть главный, страшный враг — бумага. «Нужно создавать новую педагогику, совсем новую, — утверждал он. — Но первое, что нам нужно, — это свобода от делопроизводителей, свобода от всякого хлама, которым мы завалены…»

И этот худощавый человек в очках, в котором было что-то добролюбовское, от семинариста-шестидесятника, как Геракл, титаническими усилиями сдерживал нарастающее давление лавины всяких инструкций, директив, указаний, распоряжений… Он не давал им превратиться в завал, загромождающий русло животворной ребячьей инициативы.

…Труд настоящего педагога… Это же добровольная каторга. Переходя на возвышенный «штиль» — подвиг самоотречения. Говорят, режиссер должен умереть в актере. Не так ли педагог должен умереть в ученике? Умереть, т. е. отдать, вместить в него весь собственный опыт. До писательства ли тут?

Поглощенный обилием текущих дел, Макаренко никак не мог выкроить время, чтобы приступить к работе над «Педагогической поэмой». Немало сил и энергии отнимала у него и борьба с догматиками от педагогики, которых оказалось предостаточно. Горький сразу понял значение его педагогической системы. Один из очерков цикла «По Союзу Советов» он посвятил Макаренко и его колонии, а уже потом включил раздел о Соловках (два этих очерка обычно не связывают, рассматривая порознь).

Портрет Макаренко Горький рисует так: «Он — суровый по

внешности, малословный человек лет за сорок, с большим носом, с умными и зоркими глазами, он похож на военного и на сельского учителя из „идейных“. Говорит хрипло, сорванным или простуженным голосом, двигается медленно и всюду поспевает, все видит, знает каждого колониста, характеризует его пятью словами и так, как будто делает моментальный фотографический снимок с его характера. У него, видимо, развита потребность мимоходом, незаметно приласкать малыша, сказать каждому из них ласковое слово, улыбнуться, погладить по стриженой голове».

В ходе личных контактов главные усилия великий писатель направил на то, чтобы побудить наконец педагога выкроить время и сесть за письменный стол. Он настойчиво басил об этом во время встреч в Куряже, напирал на свое волжское «о»: «Да Вы поймите наконец, Антон Семенович, не мне, не Вам, всем необходима такая книга. Необходима крайне!»

Макаренко начинал, откладывал рукопись, возвращался вновь… А потом — погрузил в задрипанный портфель и забросил подальше. Но когда появился в печати «Марш 30 года» и Горький убедился, что Макаренко все-таки находит время для писательства, он телеграфно потребовал от него начать работу над куда более важной книгой — о колонии 20-х годов. Потребовал взять отпуск и поехать в Гагры, для чего прислал пять тысяч рублей.

Как говорится, отрезал все пути к отступлению. Через год, осенью 1933 года, рукопись легла на стол Горького.

Не надо напрягать воображение, чтобы представить горьковский письменный стол, ежели ему каждодневно почта доставляла до полусотни писем. Сколько времени потребовалось бы обыкновенному «нормальному» литератору, чтобы добраться до очередной бандероли?

Горький прочитал рукопись сразу, в течение одного дня! Прочитал и направил в журнал.

Это был Горький!

Кого можно представить на его месте? Решительно некого!

В том же 1933 году первая часть «Педагогической поэмы» увидела свет в альманахе «Год XVII». Макаренко назвал это важнейшим событием в своей жизни. Под неусыпным побудительным наблюдением Горького, с учетом его критических замечаний рождались вторая и третья книги «Поэмы».

…Как-то Макаренко оказался в одном поезде с Горьким, ехавшим в Крым. Глядя на пробегавшие мимо колхозные поля и пуская папиросный дым в открытое окно, Горький вдруг надолго замолчал, а потом задумчиво и, как показалось Макаренко, даже с оттенком грусти, вымолвил: «Вот главный вопрос: соединить

стремление человека к свободе с дисциплиной — вот такая нужна педагогика».

И Макаренко понял, что вовсе не только о перевоспитании малолетних правонарушителей говорит великий писатель.

В конечном счете в человековедческо-педагогической системе Горький — Макаренко сложилась уникальная ситуация, которую можно назвать обратной реакцией и аналога которой в творческой судьбе Горького мы более не сыщем. Макаренко положил в основу своей системы горьковскую концепцию социально активного человека. В свою очередь, ознакомившись с опытом Макаренко (и меньше всего думая о своей роли в судьбе этого человека), Горький укреплялся в представлениях о том, какими способами формировать новую личность в условиях послеоктябрьской действительности. Восторг от успехов Макаренко оказался столь велик, что Горький невольно перенес его и на другие учреждения ОГПУ, наподобие Соловков, где побывал в 1929 году. Хозяйство на островах было поставлено неплохо. Но разница с макаренковской колонией оказалась колоссальной: добровольность подменялась насилием, труд стал принудительным, наказанием, и человек мечтал только об одном — как бы вырваться из этого «рая» с его театром, двумя библиотеками и журналом…

Увы, Горький обратил тогда на Соловках внимание лишь на парадную сторону медали… Но, поддерживая Макаренко, он утверждал идеи, прямо противоположные идеям власти соловецкой (хотя тогда, в пору головокружительной круговерти событий, связанных с ломкой старого и лихорадочным возведением нового, все расставить по своим местам было не так просто).

Свой блистательный педагогический эксперимент Макаренко осуществлял в пору зарождения и формирования того, что потом получило наименование административно-командной системы. Детские колонии возникали в системе учреждения, одно название которого вводило в трепет: ОГПУ. Недобрая слава его была вполне обеспечена столь же недобрыми делами. Но не будем все же и упрощать картину. Жизнь всегда богаче и сложней доминирующей в конечном счете однолинейной истины. У реки есть притоки, ручьи, ручейки, где «режим обитания» может быть несколько иным, чем в ее главном течении.

В рамках страшной системы ОГПУ Макаренко создал коллектив, основанный на уважении к человеку, его нравственному достоинству, поднимавший его вперед и выше! Не раз говорил, что его педагогическая система есть просто повторение педагогики всего нашего социалистического

общества. Того, каким оно должно было быть в идеале. И которое все более переориентировалось на совсем другие принципы. Решающим среди них стал антимакаренковский принцип — диктат сверху. Диктат, подрубающий на корню всякую инициативу, всякую заинтересованность в труде. И если в те же 30-е годы властный голос приказа сверху как бы перекрывался поначалу шумным энтузиазмом масс, участвовавших в социалистическом строительстве, искренне веривших в необходимость временных жертв на пути в прекрасное будущее, то с течением времени этот голос сверху заглушил и подавил все звуки народной жизни. А люди перешли на шепот.

Но это будет потом. Когда Горький приехал в колонию своего имени, он увидел картину, которая привела его в восторг. В какой-то мере он приписал успех макаренковского эксперимента той системе ОГПУ, в которой осуществлялся опыт вопреки ее карательно-репрессивной направленности. Этим хотя бы отчасти объясняется его отношение к Соловкам, к чекистам, возглавлявшим показушный лагерь. Право же, пренебрегать подобными «подробностями» не следует, если мы не хотим — вольно или невольно — исказить внутренний смысл всей картины.

Помимо всего прочего, огромная заслуга таких деятелей педагогики и культуры, как Макаренко, состояла в том, что они сумели преодолеть шокирующее воздействие на интеллигенцию догм пролеткультовской идеологии с ее кошмаром гипертрофированного коллективизма (вспомним сатирический памфлет Е. Замятина «Мы» и последующие антиутопии вплоть до «1984» Д. Оруэлла). Преодолеть и упрочить представление о животворной роли подлинного коллективизма для развития личности! Но вот именно в этом-то пункте таилось зерно противоречия, которое начало довольно быстро прорастать в условиях меняющегося в стране идеологического климата.

Не умаляя значения личности и рассматривая коллектив как среду и условие ее правильного воспитания, Макаренко постепенно начал делать все больший крен в одну сторону — в пользу коллектива, нарушая принцип гармонического равновесия двух начал. В письме Горькому от 18 сентября 1934 года он утверждал: «Переделка одного, отдельного человека мне представляется темой второстепенной, так как нам нужно массовое новое воспитание». Впрочем, мысль о воспитании «в огромных коллективах», организованном как «массовое производство», приходила ему в голову и ранее, а теперь, в новых условиях, она лишь стала активнее набирать силу.

Опираясь на свой практический опыт, Макаренко

одновременно исходил из успешной деятельности и других коммун, подведомственных теперь НКВД, заменившему ОГПУ и возглавляемому Ягодой, — Болшевской, Люберецкой, Томской…

Как отнесся к подобной идее Горький? Он горячо одобрил организацию крупных детских трудкоммун. Не только одобрил. Образовал весной 1934 года коллектив авторов для работы над книгой о Болшевской коммуне и сам написал предисловие к ней, словно бы не замечая, что массово-роевое начало, сколь бы ни было оно идеально «организовано», на каком-то этапе начинает сковывать развитие личностно-индивидуальных начал в человеке.

В 1935 году Макаренко перевели в Киев на работу в должности помощника начальника Отдела трудовых колоний НКВД. В непривычных и трудных условиях он заканчивал третью часть «Педагогической поэмы», а Горький уже благословлял прозаика-педагога на новый замысел. «Напоминаю Вам в „Поэме“ сказанное о чекистах. Так же, как и Вы, я высоко ценю и уважаю товарищей этого ряда. У нас писали о них мало и плохо, и писали не от удивления пред героями, а, кажется, „страха ради иудейска“. Сами они, к сожалению, скромны и говорят о себе молча. Было бы очень хорошо, если б, присмотревшись к наркомвнудельцам, Вы написали очерк или рассказ „Чекист“. Попробуйте. Героическое Вы любите и умеете изобразить».

Писал это Горький, уже потеряв сына при странных обстоятельствах, когда в доме его начал господствовать главный «наркомвнуделец» Ягода. Так можно ли думать, что «сложивший крылья буревестник» (как именуют его иные нынешние литераторы) призывал к апологетике сталинских беззаконий? Или он хотел обратить внимание на ту сторону деятельности НКВД, которая носила наиболее конструктивный характер и противостояла его репрессивно-насильственным функциям? И Горький, и Макаренко не были свободны от складывавшихся в условиях культа личности доктрин и в пору, когда культ еще не утвердился окончательно, искали в жизни то позитивное, на что можно опереться.

С письмом о новой повести Горький обращался к Макаренко менее чем за год до своей смерти. А Макаренко не сумел (или не захотел) выполнить горьковское пожелание.

1 апреля 1939 года он скоропостижно скончался на станции Голицыно Белорусско-Балтийской железной дороги в вагоне электрички… В ту пору он едва перевалил порог пятидесятилетия.

Объясняли так: отказало сердце… Давняя болезнь. Ну, к примеру, как недавно у товарища Серго. Но надо ли сомневаться, что политические процессы 1936, 1938 годов, а между ними

знаменитый 1937-й с его массовыми репрессиями, унесшими жизни и многих работников НКВД, отнюдь не способствовали укреплению здоровья педагога-писателя.

ГЛАВА XI
О литературе — с высоты коня?

Сталин все чаще задумывался о роли литературы в жизни общества. Сколько неграмотных было в царской России? Три четверти. А теперь развертывалась настоящая культурная революция. Неграмотность ликвидируется. В деревню приходят печать, радио. Важно, какую духовную пищу получит народ. Значит, пора позаботиться о том, чтобы открыть дорогу произведениям, которые помогают в осуществлении Его планов, и, соответственно, ограничить, а затем и совсем прекратить появление на свет произведений вредных.

Подумать только, что они пишут, эти писатели!

Пильняк напечатал в журнале «Повесть непогашенной луны». Каков сюжет! Некий руководитель отправляет под хирургический нож здорового человека, полководца, который словно бы мог стать конкурентом руководителя. Пошли слухи, что в жестком лидере что-то от него, Сталина, а в его жертве — от Фрунзе!..

А что написала эта «сволочь» — Платонов о коллективизации — великом историческом деянии, которое спасет страну? «Впрок» — хроника, которую не назовешь иначе, как кулацкой! Пусть теперь Фадеев расхлебывает эту кашу, раз заварил ее в своей «Красной нови» (видно, не выветрился еще оттуда дух связавшегося с троцкистами Воронского).

Что пишет Булгаков? Как изображает эту самую белую гвардию, эмигрантов? (Вот если б кто-нибудь о красных написал так, как он о белых!) Приходится ходить в МХАТ, изучать психологию классового врага… Жалуется, что запрещают его пьесы, жить нечем… Просится за границу… Замятина вот уже пришлось отпустить. Уговорил Горький… В чем-то надо и уступать. Но только в том случае, если эта уступка вскоре окупится сторицей…

А группировки? Кто в лес, кто по дрова! Даже правоверные рапповцы, борющиеся за чистоту партийной идеологии, не радуют: пишут плохо. Учились бы у беспартийных.

Ну, в общем, с этой вакханалией надо кончать! Литература в России всегда была носительницей крамолы.

Надо объединять писателей в единый союз.

Он вспомнил первую, не доведенную до конца попытку подобного рода, которая предпринята была еще при Ленине, весной 1922 года. Тогда по решению Политбюро от 6 июля, подписанному им, Сталиным, была создана уже упоминавшаяся

выше так называемая комиссия Я. Яковлева (по фамилии заместителя заведующего Агитпропом ЦК, которого теперь Сталин бросил на сельское хозяйство). Перед комиссией стояла задача объединить писателей в самостоятельное общество. Но главную роль в оргкомитете играли такие, как тот же Воронский, которые включили в оргкомитет и Горького, и пролеткультовцев, и Маяковского, и того же Пильняка, и даже сменовеховцев, из которых один, правда, вскоре вернулся домой…[32]

Тогда объединить писателей не удалось, а теперь это сделать надо во что бы то ни стало. И во главе организации мог стать только один человек — Горький.

Через своих людей Сталин знал, сколь многообразны были контакты Горького с советскими писателями даже и в пору пребывания того за границей: переписка, личные встречи в Сорренто. Туда к нему приезжали многие: Леонов, Катаев, Алексей Толстой, Афиногенов, Безыменский… Так что Горького не надо было «вводить в курс дела…».

Но никто, включая и Сталина с его осведомленностью и способностью держать в памяти гигантскую информацию, не мог в полной мере оценить уникальность, беспрецедентность Горького как творческой личности, если иметь в виду обилие его связей с литературным окружением.

Достаточно взять в руки хотя бы вышедший уже давно семидесятый том «Литературного наследства», включающий только переписку Горького с советскими писателями (да и то далеко не всю), чтобы поразиться и ее объему, и бесконечному обилию поднимаемых в ней вопросов, и, главное, тому, что к каждому Горький подходит как к неповторимой личности, с ее особенностями, со своеобразным мироощущением, сугубо индивидуальным кругом литературных интересов.

Впрочем, последнее обстоятельство Сталина не очень-то интересовало. Он-то полагал, что чем дальше, тем больше будет возрастать значение факторов, сближающих писателей, объединяющих их вокруг идеи государственного строительства. Важно не то, что придумает каждый за своим столом, как кустарь-одиночка. Важно Единство.

Как это говорил Ленин когда-то о «невменяемости писателей»? «Нелегко спорить против этого»? С писателями надо не спорить. Писателями надо руководить.

Горький тоже считал, что раздробленность писателей по группировкам нежелательна. Это сначала она была неизбежна, так как позволила литераторам сконцентрироваться по творческим интересам.

Но чем дальше, тем отчетливее проступали отрицательные

черты разъединения писателей. Вместо того чтобы устраивать соревнование книг, они стали состязаться в сочинении полемических деклараций.

Затевают бесконечные словесные потасовки. Обмениваются зуботычинами, а то и вовсе запрещенными ударами ниже пояса. И все рвутся к власти, хотят командовать: о чем писать, как писать, для кого писать… Лефовцы договорились до отрицания художественной литературы, все сводят к репортажу и очерку.

Но самыми правоверными, самыми партийными считают себя рапповцы. Без конца козыряют чистотой своего пролетарского происхождения. Напрочь отрицают классику. А не мешало бы у нее-то как раз и поучиться. Не хотят. Потому что внутренне сами осознают: бесполезно.

Никакая политическая ортодоксальность не может заменить таланта.

Полагая, что размежевание по группировкам приносит отрицательные результаты, так как оборачивается кастовостью, Горький менее всего хотел, чтоб сближение литераторов приводило к нивелировке их индивидуальных художественных манер, к однообразию понимания жизни и происходящих в ней событий.

Писатель не тот, кто овладел секретами стилистики. Тот, кто по-своему видит мир. Так, как никто другой. Этим он и обогащает жизнь…

«Серапионов» в начале 20-х годов он поддерживал вопреки разносной газетной критике. Они считали, что искусству мешает идеология. Какой шум поднялся тогда! Но он и сам, издавая за границей «Беседу», подчеркивал: журнал вне политики.

Конечно, ударялись в крайность. Куда от нее, политики, денешься? Но одно дело — органическая связь художника с идеями времени, поддержка тех тенденций, которые близки ему духовно, и совсем другое дело, когда искусство объявляют служанкой политики, превращают в иллюстратора политических лозунгов. Искусство — явление святое, самоценное, может быть, именно в нем (да еще разве в науке) проявляется все величие человеческого духа.

Ни политика, ни философия, ни этика не могут соревноваться с искусством в создании вечных духовных ценностей. В этом смысле искусство превосходит даже науку. Может быть, потому, что оно свободнее науки, индивидуальнее в своем подходе к жизни?..

Вот, к примеру, Бабель. Какой своеобразный мастер, какой неповторимый язык! Но Буденный считает, что «Конармия» — поклеп на Первую конную. Нельзя же, однако, так прямолинейно

подходить к литературе! В гневе Горький пишет письмо в защиту Бабеля.

Горькому сообщили, что письмо т. Буденным получено. «Мы немедленно его опубликуем по получении от Вас ответа на следующий наш вопрос. Нам казалось бы, что последняя фраза в Вашем письме: „Въехав в литературу на коне и с высоты коня критикуя ее, Вы уподобляете себя тем бесшабашным и безответственным критикам, которые разъезжают по литературе в телегах плохо усвоенных теорий, а для правильной и полезной критики необходимо, чтобы критик был или культурно выше литератора, или по крайней мере — стоял на одном уровне культуры с ним“, — будет воспринята как личное оскорбление. Те товарищи, с которыми мы советовались, придерживаются такого же мнения»[33].

Можно догадываться, с какими «товарищами» советовались Г. Крумин и А. Халатов, но Горький своей точки зрения в принципе не изменил. В статье «О том, как я учился писать», опубликованной ГИЗом отдельной брошюрой (а отрывок из нее одновременно, 30 сентября 1928 г., напечатали «Правда» и «Известия»), читаем: «Товарищ Буденный охаял „Конармию“ Бабеля, — мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев».

Пришлось Горькому защищать Бабеля от нападок и по совсем уж внелитературному поводу. Некто сообщал, что в настоящее время «при общем взгляде на литературу, как будто и нет талантов. Печатаются евреи, кричат о них, редактируют их. Просто тошно».

Как и все подлинные русские интеллигенты, Горький решительно отвергал антисемитизм. Отметив, что большинство периодических изданий редактируют русские и перечислив их имена (Бухарин, Раскольников, Скворцов-Степанов, Луначарский и др.), Горький саркастически замечает: «Но — если б и евреи? Вы, гражданин-поэт, думаете, что, например, Бабель и другие талантливые евреи хуже такого христианского гуся, как вы? Ошибаетесь, гражданин, ошибаетесь по малограмотности вашей!».

Вообще, надо сказать, что в массовом сознании до сих пор господствует упрощенное представление о литературных интересах и привязанностях Горького. Собственно, его индивидуальные склонности в этом отношении долгое время не только не принимались во внимание, но попросту игнорировались, причиной чему — господствовавший в нашей

науке догматизм. Литературоведение не только не было исключением, но, как наука гуманитарно-общественная, несло на себе отчетливо выраженную печать зависимости от официально спускаемых сверху канонов.

Как строился историко-литературный курс? Вытягивалась этакая кильватерная колонна классиков. Естественно, во главе флагман — сам Горький. Дальше — линкоры: Маяковский, Шолохов, Толстой, Леонов и т. д. То есть классики. Перемена общественной погоды дала возможность увеличить «флотилию» за счет тех, кто долгие годы был вообще где-то на горизонте или даже за его чертой: Булгаков, Платонов, Пастернак, Ахматова…

Существовал строго канонизированный ряд, и литературоведы тщательно подыскивали у Горького цитаты — высказывания об этих классиках. Что из того, что Горький сдержанно похвалил «Разгром»? Что из того, что внимание к Фадееву не сопоставимо с вниманием — ну, к кому? Например, к А. Чапыгину! Горького, как в прокрустово ложе, втискивали в рамки официальной концепции развития советской литературы. И — втиснули. Но не реального Горького, «еретика», каким он называл себя. А загримированного двойника, придуманного в угоду схеме.

По этому принципу построены многие труды, и прежде всего три обширные монографии: А. Волкова «А. М. Горький и литературное движение советской эпохи», Е. Наумова «М. Горький в борьбе за идейность и мастерство советских писателей» и К. Муратовой «М. Горький в борьбе за развитие советской литературы». Разумеется, нет никакой закономерности в том, что вышли все они одновременно, в 1958 году. Но так и кажется ныне, что какая-то сила торопилась утвердить устаревающие на глазах представления: ведь уже позади был знаменательный 1956 год.

Не хотел бы, чтоб у читателя сложилось превратное представление о моем отношении ко всем положениям этих книг и к их авторам. Они, особенно К. Муратова, собрали богатый материал, у них можно встретить немало конкретных соображений, не утративших своего значения и по сию пору. Но ведь монография — это прежде всего общая идея, концепция, вытекающая из фактов, взятых во всей их полноте, без каких-либо изъятий, в их внутренних сцеплениях и взаимозависимостях.

Так кого же более всего ценил Горький в 20-е — начале 30-х годов? Он сам не раз говорил об этом, но писателей выбирал все каких-то неподходящих. Ими были: Сергеев-Ценский, Пришвин и Чапыгин. «…Сейчас на Руси трое „первоклассных“ литераторов, — писал он в 1926 году Сергееву-Ценскому: — Вы,

Михаил Пришвин и Алексей Чапыгин… Кроме этих троих есть еще Горький, но этот будет послабее и — значительно. Так думать о себе побуждает меня отнюдь не „ложная скромность“, а — самосознание и сознание, что быть четвертым в конце этого ряда вполне достойное место».

Впервые загадочный парадокс горьковской историко-литературной концепции объяснила молодой литературовед Наталья Абкина (Баранова) в своей кандидатской диссертации о литературно-критических взглядах Горького в 20-е годы, не без затруднений защищенной в Казани в 1961 году, то есть вскоре после выхода названных выше монографий трех авторов. В 1974 году Барановой удалось в Москве опубликовать книгу «М. Горький и советские писатели в 20-е годы». В ней симпатии Горького и его взгляды объясняются изнутри. Например, доказывается, что Пришвина Горький высоко ценил не как «природоведа», а за то, что ему удавалось раскрыть философию активного восприятия природы человеком, приступающим к созданию «второй природы». Таким образом, Пришвин вдруг оказывался не неким отшельником, ушедшим в лесные чащи от шумов и ритмов социалистического строительства, а художником-философом, помогающим лучше постичь природу как феномен и предостерегающим тем самым от прямолинейно-утилитарного, как бы сказали теперь, потребительского отношения к ней.

Сергеева-Ценского Горький ценил за его интерес к проблеме гуманизма, причем многие стороны суждений Горького о гуманистическом содержании произведений Сергеева-Ценского никак не укладывались в сложившуюся схему так называемого пролетарского гуманизма и оказывались ближе к тому, что с оттенком явного пренебрежения называли гуманизмом «абстрактным», а по нынешним представлениям — отвечающим общечеловеческим нормам нравственности.

Так нетрадиционно, неожиданно оценивал Горький состояние дел литературных издалека.

Надо ли говорить, с каким воодушевлением ожидали писатели его возвращения из-за рубежа! Весной 1928 года журнал «Прожектор» опубликовал дружеский шарж по поводу предстоящей встречи Горького. Длинную очередь приветствующих возглавлял Луначарский, тогдашний нарком просвещения. За ним следовали Серафимович, Вересаев, Д. Бедный, Тренев, Пришвин, Маяковский, С. Третьяков, Асеев, Зозуля, Бабель, Леонов, Пильняк, Вс. Иванов, Авербах, Кольцов, А. Толстой, Либединский, Сейфуллина, Фадеев, Подъячев, Деев-Хомяковский, Гладков, Ляшко, Никифоров, П. Романов, Касаткин,

Сельвинский, Инбер, Евдокимов, П. Коган, Эфрос, Фриче, Раскольников.

Естественно, список этот мог быть расширен за счет многих и многих имен. В первую очередь это, разумеется, «серапионы»: К. Федин, М. Зощенко, М. Слонимский, Н. Тихонов, В. Каверин, а также О. Форш, М. Козаков, А. Платонов, М. Булгаков, М. Чумандрин, Ф. Панферов, И. Макарьев, И. Вольнов и другие.

Однако возвращению и возвеличиванию М. Горького радовались отнюдь не все. Руководители Российской ассоциации пролетарских писателей вообще не считали Горького писателем пролетарским, упорно напоминали о его «ошибках» в 1917–1918 годах, указывали, что в своем творчестве он не пропагандирует новое, а уходит в прошлое («Рассказы 1922–1924 годов», «Заметки из дневника. Воспоминания», портрет Л. Толстого, «Дело Артамоновых»).

В докладе на Первом Всесоюзном съезде писателей в мае 1928 года (месяц приезда Горького в страну!) рапповцы преподнесли гостю юбилейный подарок. Критик В. Ермилов заявил, что «Горький — пролетарский писатель в той степени и постольку, в какой степени и поскольку пролетариат осуществляет задачи буржуазно-демократической революции, то есть задачи, которые должны были быть осуществлены русской буржуазией, если б она не была у нас столь бездарна и бессильна»[34].

Другой рапповский критик высказывался еще более решительно, причислив Горького к носителям мировоззрения «мелкобуржуазного социализма»[35].

Дальше всех, однако, пошли рапповцы — представители сибирской группы «Настоящее». Они объявили Горького ни много ни мало «изворотливым, маскирующимся врагом». «Настоященцы» выступили, таким образом, в жанре самого откровенного и гнусного политического доноса.

Вот в каких неординарных обстоятельствах приходилось Горькому утверждать свои принципы подхода к явлениям литературы. С одной стороны, непомерное его возвеличивание, всячески поощряемое властями. С другой — совершенно неожиданное в обстановке железного партийного единомыслия поношение и попытка политической дискредитации.

Как мы сможем скоро убедиться, парадоксальное сочетание несопоставимого было не случайно и отражало сложные подспудные процессы, протекавшие в духовной жизни страны на рубеже 20-х — 30-х годов.

ГЛАВА XII
Великий перелом

Очерк о поездке на Соловки очень подрывал авторитет Горького в глазах интеллигенции, всех мыслящих людей. Тем более неожиданно прозвучала мысль о том, что тогда же, в 1929 году, Горький дал Сталину весьма основательные поводы для недовольства…

Как густо был насыщен событиями этот год! И какими! Ведь сам Он, великий вождь и лучший друг трудящихся, нарек его годом великого перелома.

Статью под таким заголовком Сталин опубликовал в конце года, как бы подводя его итоги. Опубликовал накануне пленума ЦК партии, посвященного проблемам колхозного строительства. А выступая затем на конференции аграрников-марксистов, впервые, с присущей ему чеканностью формулировок, провозгласил переход «от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса».

Если вспоминать другие важнейшие события года, происшедшие раньше, то это прежде всего первый пятилетний план индустриализации страны, который окончательно утвердил V съезд Советов в мае… А как продуманно, мудро был начат год! Его, Сталина, год! Публикацией в «Правде», по специальному решению ЦК, статьи Ленина «Как организовать соревнование», написанной еще в 1918 году. Для Сталина важнее всего были те моменты статьи, которые характеризовали острое социальное противоборство рабочего класса и буржуазии: «Задача организационная сплетается в одно неразрывное целое с задачей беспощадного военного подавления вчерашних рабовладельцев (капиталистов) и своры их лакеев — господ буржуазных интеллигентов».

Внимательно вчитываясь в одно место ленинской статьи, Сталин не раз возвращался мыслью к Горькому. «Рабочие и крестьяне, — говорилось в статье, — нисколько не заражены сентиментальными иллюзиями господ интеллигентиков, всей этой новожизненской и прочей слякоти, которые „кричали“ против капиталистов до хрипоты, „жестикулировали“ против них, „громили“ их с тем, чтобы расплакаться и вести себя подобно побитому щенку, когда дошло до дела, до реализации угроз, до выполнения на практике дела смещения капиталистов».

Кто-кто, а Горький не мог теперь, в 1929-м, не обратить

внимания на этот острый полемический пассаж, направленный Лениным тогда прямо в него, в редактируемую им «Новую жизнь» (хорошо, крепко сказал вождь: «новожизненская слякоть»), С другой стороны, в отличие от него, Сталина, еще в 1917-м резко одернувшего Горького и прямо назвавшего его фамилию, Ленин ограничился намеком. Но потом «Новую жизнь» все равно пришлось закрыть.

По прошествии стольких лет возвращаясь на родину, Горький должен из всего этого сделать соответствующие выводы. Интеллигенция должна помогать Его политике.

Горький съездил на Соловки. Отрывок из очерка он опубликовал в «Известиях» вскоре же, в начале июля. Отрывок, направленный на то, чтобы прекратить «шумиху», поднятую в западной прессе. Но никто, абсолютно никто, не исключая и Его самого, не мог предполагать, что будет потом. Совсем скоро!

…Еще в 1926 году в шестой книжке журнала «Новый мир» Пильняк напечатал пресловутую «Повесть непогашенной луны». Книжку журнала, конечно, распорядились конфисковать. Пильняк был в ту пору довольно популярен и даже возглавлял Всероссийский союз писателей. (Нашли кому доверить!)

Пильняк… Сталин завязал крепкий узелок на память. И вот теперь, в 1929 году, — наконец-то! — пришла пора развязать его.

За границей, в эмигрантском издательстве «Петрополис», была опубликована крайне сомнительная вещица того же Пильняка «Красное дерево» — сплошная апология старины, которую надо ломать беспощадно. К «Дереву» подключили и пресловутый роман Е. Замятина «Мы», отвергнутый в стране как клевета на социализм. Дело тут было не только в содержании, но и в самом факте публикации в стане классового врага.

Организуя политическую кампанию, полагал вождь, можно не считаться с «мелочами». С тем, например, что роман «Мы» был написан еще в 1920 году и рукопись отправлена автором в Берлин в издательство Гржебина, действовавшего с разрешения советской власти, при участии Горького, и имевшего отделения в Москве и Петрограде. Можно было опустить и другую «мелочь», ту, что в 20-е годы вообще многие советские писатели печатались в русских издательствах, находившихся в Берлине. (В том же «Петрополисе», к примеру, выходили книги А. Толстого, Федина, Шолохова, Каверина и других.)

Наступали новые времена, и пора было кончать с такой «самодеятельностью»! И вот 26 августа 1929 года «Литературная газета» публикует статью Б. Волина «Недопустимейшее явление». Это была сигнальная ракета для атаки. 2 сентября та же газета напечатала уже целую подборку критических материалов о

Пильняке. В заметке «Наше отношение» Маяковский, провозгласив, что к литературному произведению относится, как к оружию, заключил: «В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене». При этом Маяковский демонстративно признавался, что ни «Красное дерево» «(так, что ли?)», ни «другие его повести и многих других не читал».

В том же номере «Литературной газеты» была опубликована заметка следующего содержания: «Для всякого честного советского писателя нет двух мнений по поводу того, что двурушничество недопустимо. Советский писатель не может печататься в эмигрантских изданиях. И советская общественность весьма своевременно, в связи с данным случаем, поставила общий, принципиальный вопрос и подняла кампанию за оздоровление литературных нравов».

И кто же автор этой гневной заметки, приветствующей «кампанию»? Федор Раскольников! Тот самый, который через несколько лет обратится к Сталину с обличительным письмом по поводу творящихся в стране невиданных преступлений!

Еще через неделю «единодушно» осудили Пильняка многие писатели. Выступили: Вс. Иванов, Н. Огнев, К. Зелинский, В. Катаев, И. Гроссман-Рощин… Были опубликованы постановления правления Союза писателей и письма протеста от объединений «Кузница», «Перевал», от Федерации объединений советских писателей (ФОСП), Всесоюзного общества крестьянских писателей (ВОКП), ЦК работников искусств…

Интеллигенцию начали — и весьма успешно — приучать учинять расправу над ее же представителями, которые были неугодны власти.

Еще через неделю, 15 сентября, состоялось экстренное собрание Всероссийского Союза писателей. Организацию решено было переименовать в Союз советских писателей, а Пильняка сместить с председательского поста. Не забыло собрание послать и приветствие Первой московской областной партконференции.

Итак, все шло как нельзя лучше!..

И вдруг — кто бы мог ожидать! Гром средь ясного неба! Горький публикует в «Известиях» статью с многозначительным заголовком: «О трате энергии».

Горький писал в ней: «Я всю жизнь боролся за осторожное отношение к человеку, и мне кажется, что борьба эта должна быть усилена в наше время и в нашей обстановке, когда и где начинает перерабатывать действительность новый человек, выдвиженец из массы… Достаточно ли осторожно относимся мы к этим людям, достаточно ли умело ценим их работу, способности и не слишком ли сурово относимся к их ошибкам, к их поступкам?.. Умеем ли

мы воспитывать помощников, вести за собой попутчиков? Мне кажется, не умеем. Хвастливые заявления о том, что „обойдемся и без попутчиков“, неубедительны. У нас образовалась дурацкая привычка втаскивать людей на колокольню славы и через некоторое время сбрасывать их оттуда в прах и грязь».

Горький возражает тем, кто мог бы обвинить его в примиренчестве и либерализме, и утверждает: более всего беспокоит неразумная трата духовной энергии. Ортодоксально-официозные критики встретили его статью в штыки. Наиболее крайние из них утверждали даже: «Статья в защиту Пильняка… дает лишнее орудие в руки врагов пролетарского государства».

Следует заметить: вступаясь за Пильняка, Горький делал это вовсе не потому, что тот был ему очень уж близок как литератор. Ничуть не бывало! Можно привести сколько угодно критических и даже резко отрицательных отзывов о манере Пильняка, содержащихся в переписке Горького: «… кажется, что Пильняк разболтал себя в словесных фокусах» (1925 г.).

Возникали у Горького серьезные претензии и к концептуальной направленности ряда произведений Пильняка, не исключая и его сенсационной «Повести непогашенной луны», к которой он отнесся резко отрицательно. «Прочитал скандальный рассказ Пильняка „Повесть непогашенной луны“ — каково заглавице? Этот господин мне противен, хотя, в начале его писательства, я его весьма похваливал. Но теперь он пишет так, как будто мелкий сыщик: хочет донести, а — кому? — не решает. И доносит одновременно направо, налево. Очень скверно. И — каким уродливым языком все это доносится!»

Что лежало в основе столь резкого и, как мы понимаем сегодня, несправедливого отзыва о повести?

Пильняк посвятил свое сочинение Воронскому, критику, поддерживавшему так называемых «попутчиков», исключительно много сделавшему для утверждения высокого профессионализма в молодой советской литературе в пору, когда в нее начинали в изобилии устремляться люди «от станка» и «от сохи». Как известно, позиции Воронского вызывали яростную неприязнь со стороны рапповцев.

Чем руководствовался Пильняк, снабжая повесть подобным посвящением? Дело в том, что, по свидетельству дочери Воронского, Галины Александровны, первоначально «Повесть непогашенной луны» была предложена в «Красную новь», но Воронский отклонил ее. «Новый мир» опубликовал ее как бы «в пику» редактору «Красной нови», но, сопровождая появление вещи в журнале посвящением отклонившему ее первоначально редактору, Пильняк словно бы хотел подчеркнуть, что не в обиде

на него. А может быть, чувствуя остроту повести, он хотел как бы «заслониться» именем маститого критика, не вполне задумываясь о двусмысленности такого шага, о том, что тем самым он ставит Воронского под удар? Надо сказать, Воронский ничего не знал о посвящении, и «сюрприз» этот привел его в негодование. Отношения с Пильняком были порваны и восстановились далеко не сразу. А удара долго ждать не пришлось. В 1927 году создатель лучшего журнала 20-х годов был отстранен от редактирования «Красной нови», а за «принадлежность» к так называемой троцкистской оппозиции исключен из партии.

Уже после того, как случилось все это, Горький продолжал называть Воронского «самым талантливым» из критиков, активно работавших в 20-е годы.

Так почему же Горький все-таки стал так круто защищать Пильняка, который не был «героем его романа»? В данном случае он выступал не «за» или «против» личности или манеры. Он выступал за самое право писать свободно. И делал он это сейчас энергично, резко — так, словно боялся упустить последний шанс. Он чувствовал, что от нападок на писателей перешли к нападкам на литературу.

Особенно грубым выпадам подвергся сам Горький со стороны представителей сибирской группы пролеткультовско-рапповского толка «Настоящее». Антигорьковская направленность их «энергии» была подготовлена той полемикой, которая началась еще до публикации статьи в «Известиях» (Горький еще раньше подверг критике явно упрощенческие, вульгаризаторские взгляды «настоященцев» на природу художественного творчества и его общественное значение).

И вот теперь, щедро подливая в огонь полемики новую дозу масла, газета «Советская Сибирь» 22 сентября 1929 г. печатает статью с саркастическим названием «Затраченная энергия М. Горького». В ней особенно важен один момент. Словно упреждая своих оппонентов, Горький в статье пишет, что он вовсе не проповедует либерализм, примиренчество. «Это будет ложь». Некто, предусмотрительно скрывшийся за псевдонимом «Журналист», немедленно парировал: «Нет, Горький, — сказать, что вы проповедуете примиренчество, не будет ложью… Вы, Алексей Максимович, убежденный и сознательный примиренец. Примиренец, так сказать, в международном масштабе».

Стоп! Воздадим должное горьковскому оппоненту! Как все-таки Время расставляет все по своим местам! И как неплохо было бы, чтобы в эти слова вдумались многочисленные нынешние оппоненты Горького, видящие в нем последовательного сталиниста. Между тем во всей развертывающейся истории — а

мы далеко еще не добрались до ее конца, — Горький выступает как сторонник консолидации сил художественной интеллигенции, т. е. в определенном смысле действительно как «примиренец». Он призывает покончить с утверждавшейся жестокой традицией за каждой ошибкой, неточным поступком искать злой умысел, враждебное намерение. Он явно против гипертрофированного отношения к понятию «классовая борьба» и против механического перенесения его на культуру, против ее огульной политизации.

С критикой Горького выступили отнюдь не только вульгаризаторы-«настоященцы». 18 сентября «Правда» публикует статью И. Беспалова «Литература и политика». Отмечая полемические крайности (требования выслать Пильняка из Советского Союза), «Правда» поддерживала критику Пильняка. «Известия», опубликовавшие статью Горького, в сущности тоже вскоре отмежевались от нее.

Итак, осуждают Пильняка, а с ним и Замятина, решительно все. На Горького же навешены опасные ярлыки. Что оставалось делать?

Прежде чем ответить на этот вопрос, задержимся на минутку, чтоб вспомнить еще об одном «крамольном» писателе, внесшем свой вклад в осложнение и без того напряженной ситуации. В сентябрьской книжке «Октября» за 1929 год появился рассказ Платонова «Усомнившийся Макар», отличавшийся острейшей антибюрократической направленностью. Протестуя против нараставших злоупотреблений, мужик Макар отправляется искать правду и находит ее в работах Ленина. Макар вычитывает у Ленина мысль о том, что «наши учреждения — дерьмо», такие могли замучить и самого Ленина. И Макар говорит своему единомышленнику: «Завтра мы с тобой пойдем в любую контору и скажем, что мы рабочие и крестьяне. Сядем с тобой в учреждение и будем думать для государства».

Вот только этого как раз Сталину и не хватало! Чтоб какие-то «винтики» брали на себя право «думать для государства». За всех думает Он. А их дело — исполнять. И восторгаться его мудрыми указаниями.

Естественно, рассказ Платонова немедленно был подвергнут разгрому. Одна из статей («Вечерняя Москва», 28 сентября 1929 г.) называлась «„Разоблачители“ социализма. О подпильнячниках».

Разгром «Усомнившегося Макара» на фоне невероятно шумной кампании против Пильняка и Замятина как-то меньше обратил на себя внимание. Но связь между писателями существовала, и не только идейная («подпильнячничество» было

упомянуто не случайно). Еще в самом конце 1928 года Пильняк и Платонов выступают в качестве соавторов (очерки «Че-Че-О»).

Получилось так, что именно в то же самое время, в августе 1929 года, Платонов обратился к Горькому за помощью в связи с трудностью продвижения в печать романа «Чевенгур». Горький отвечал Платонову 18 сентября 1929 года: «Человек вы — талантливый, это бесспорно, бесспорно и то, что вы обладаете своеобразным языком». Указав на «чрезмерную растянутость» рукописи, Горький заметил, что своеобразное освещение действительности, свойственное манере Платонова, «неприемлемо для нашей цензуры» и что нет редактора, который мог бы оценить роман по достоинству. «Это мог бы сделать А. К. Воронский, но он, как вы знаете, „не у дел“». Не имея возможности оказать Платонову реальную помощь, Горький поддерживал его морально, рекомендовал попробовать свои силы в драматургии (и Платонов внял этому совету).

Ну а теперь, после этого отступления, еще более осложняющего картину, вернемся к вопросу, вставшему перед Горьким: что делать в связи с началом травли, теперь уже его, Горького?

Ясное дело — смириться, пойти со всеми! Плетью обуха не перешибешь, один в поле не воин, и так далее. Так подсказывал здравый смысл.

Горький поступает вопреки ему. Он пишет новую статью. Новую, но — «Все о том же». С самого начала тон взят решительный, бескомпромиссный: скандалом обрадованы различные бойкие ребята. Они рассматривают его как трамплин, при помощи которого можно прыгнуть повыше и обратить на себя внимание. Среди таковых «немало неопаразитов рабочего класса: демагогов, прихвостней, рвачей и страдающих чесоткой честолюбия. Таких, после революции 905–6 гг., называли „обозной сволочью“. Для таких лозунг культурной революции — пустые слова, смысла которых они не понимают. А если и понимают, то как предвестие своей гибели». «Я нахожу, — продолжает Горький, — что у нас чрезмерно злоупотребляют понятиями „классовый враг“, „контрреволюционер“ и что чаще всего это делают люди бездарные, люди сомнительной социальной ценности, авантюристы и рвачи».

В первом варианте статьи Горький персонифицировал картину состояния литературных дел, указав, кого именно подвергают остракизму «бойкие люди». «Кроме Пильняка есть немало других литераторов, на чьих головах „единодушные“ люди публично пробуют силу своих кулаков, стремясь убедить начальство в том, что именно они знают, как надобно охранять

идеологическую чистоту рабочего класса и девственность молодежи. Например, Евгений Замятин, этот страшный враг действительности, творимой силами воли и разума рабочего класса… Насколько я знаю Замятина, Булгакова, а также всех других проклинаемых и проклятых, они, на мой взгляд, не стараются помешать истории делать ее дело, прекрасное и великое дело, и у них нет слепой органической вражды к честным делателям этого великого и необходимого дела».

Сопротивляясь стремительно нараставшей политизации, диктату политики над культурой, Горький пишет о том, что «новый хозяин жизни недооценивает значение старой культуры, общечеловеческую ценность ее науки, искусства, мучительную работу ее мысли».

Можно себе представить, какой вой подняли бы рапповцы, появись горьковская статья в печати! Увы, она не была опубликована. Да, как мы понимаем сейчас, и не могла быть опубликована. Ведь в ней демонстративно брались под защиту как раз все те писатели, по которым велся огонь на уничтожение из окопов вульгаризаторской рапповской критики.

В 1928–1929 годах Горький ведет настойчивую борьбу за постановку пьесы Замятина «Атилла». В июне 1929 года встречается с наркомом юстиции Крыленко. В октябре 1929 года — со Сталиным. И говорит с ним о возможности удовлетворить желание Замятина выехать за границу. (После ряда отказов, письменного обращения Замятина лично к Сталину в июне 1931 года и опять-таки только при настойчивом участии Горького просьба Замятина была наконец удовлетворена. Замятин умер своей смертью за рубежом, в отличие от Пильняка, до которого карающая рука вождя дотянулась в 1937-м, сразу после смерти Горького.)

С протестом против запрещения пьесы «Атилла» Горький обращается к предсовнаркома Рыкову. Факт запрещения пьесы Горький считает «совершенно скандальным» и полагает, что он «будет всячески использован врагами рабочего класса». Готовясь к отъезду, Горький еще не знал, что все в том же 1929-м была запрещена публикация шестой части «Тихого Дона», за которую предстоит нелегкая борьба.

Встреча со Сталиным завершала литературные дела Горького (о ней Замятин сообщал жене 24 октября), а накануне, 23-го, Горький выехал на зиму в Италию.

Итак, Горький покинул Россию… Но всеми помыслами он был на родине. Чувствуя, что в стране уже происходят крайне опасные для ее духовного развития процессы — процессы, далеко выходящие за рамки судеб литературы, — он прямо включается в

дела чисто политические.

27 ноября 1929 года он пишет из Италии Сталину обстоятельное письмо. Опубликованное лишь в 1989 году, оно имеет воистину неоценимое значение для характеристики политической позиции Горького. Писатель верен себе. Вождю он пишет «все о том же», что не дает ему ни минуты покоя. Среди молодежи распространяются настроения пессимизма и скептицизма. Поддается им молодежь наиболее вдумчивая, «та, которая училась на опыте, на книгах и речах старых большевиков. Теперь она видит, что учители ее один за другим отпадают от партии, объявляются еретиками…». Авторитет партии в глазах молодежи падает, что объясняется «трениями» в ее рядах. «В прошлом эти трения создавали „отбор лучших“, создали большевиков, в настоящем они создают весьма заметное количество двуногого хлама и в его числе „махаевцев“. Последние довольно успешно ведут поход против старой партийной интеллигенции, против культурных сил, которыми партия не богата до того, что все чаще ставит на боевые позиции культуры людей явно бездарных. Видя бездарность чиновников, молодежь наиболее энергичная, эгоистичная и „жадная к власти“ стремится пролезть вперед, занять видные места. Революционная фраза и лисья ловкость — ее единственное оружие. Вам, разумеется, понятно, что при наличии таких условий большевики не создадут себе смены, равноценной им по энергии и целеустремленности»[36].

Даже недоброжелатели Горького, сохраняя элементарную беспристрастность, должны признать: смелое, честное предостережение, пронизанное болью за судьбу культуры. Но мог ли в это время авторитетный знаток человеческих душ предполагать, что Сталину не только не нужна равноценная смена, но и подлинный-то смысл великой кадровой революции состоит в том, чтобы на место творчески мыслящих личностей поставить послушных чиновников-исполнителей, исповедующих беспредельную личную преданность вождю?.. И уж тем более не мог Горький предполагать, что в этой «революции» ему самому загодя уже отведена весьма важная роль…

Кого же конкретно имел в виду Горький, говоря об учителях, отпадающих от партии и объявляемых «еретиками»?

Сталин давно расправился с Троцким, который 11 февраля все того же 1929 года был выдворен за рубеж. Зиновьев и Каменев перестали играть существенную роль в политической жизни страны. В июне 1929 года с поста руководителя профсоюзов был смещен Томский. В июне из Исполкома Коминтерна вывели Бухарина. 21 и 24 августа в «Правде» были опубликованы статьи с

крайне резкими нападками на него. Но это было лишь начало «систематической кампании политической травли, не знавшей себе равных в истории партии», как пишет известный зарубежный биограф Бухарина Стивен Коэн. К ноябрю, выражаясь словами того же исследователя, критика Бухарина, «правого уклона» и «примиренчества» (а Горького тоже объявляли примиренцем, да еще в международном масштабе! — *В.Б.)* превратилась в идеологический террор, направленный против политической умеренности в целом. В ноябре решением пленума ЦК Бухарин был выведен из состава Политбюро. Сильно пошатнулись позиции Рыкова, Томского, Угланова — ведущих представителей последней оппозиции надвигающемуся сталинскому единовластию. После смещения Бухарина Горький пишет свое письмо Сталину.

В очередную годовщину Октябрьской революции Сталин впервые выдвинул формулу «год великого перелома». И он начался, этот воистину великий перелом. И не только в деревне или в индустрии.

Началась чистка в партии: выметали всех неугодных, на их места в изобилии устремлялись те, кого Горький назвал «двуногим хламом». В результате в начале 1930 года в партии было три четверти новых членов. Начались «сдвиги» в кадровой политике: 12 сентября Луначарский лишился поста наркома просвещения, а у нового наркома появился великолепный заместитель — А. Вышинский. 30 октября главой ОГПУ был назначен Ягода. Весной началась кампания борьбы с «аполитизмом» в Академии наук: академики С. Ф. Платонов и С. Ф. Ольденбург (кстати, человек, близкий Горькому) были обвинены во вредительстве, причем первый из них арестован за связи с заграницей, а второй лишился поста секретаря АН, который занимал четверть века. Сменено правление Московского художественного театра. Реорганизации подверглась Государственная Академия Художественных Наук (причем началась стремительная активизация «пролетарского» направления в музыке и изобразительном искусстве). В конце года была разгромлена так называемая формальная школа. Ее представителями или учеными, тесно связанными с ее идеями, являлись такие выдающиеся филологи, как Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, В. Шкловский, Р. Якобсон, М. Бахтин. Выход сборников «Поэтика» был прекращен.

Ломать — так ломать все! В мае публикуется предложение о введении нового календаря — не от рождества Христова, а от Октябрьской революции. Весной по всей стране ретивые безбожники сбрасывают церковные колокола на землю, и весной

следующего года — впервые в своей истории — страна встретит Пасху без малинового звона. Отныне его заменят громы «рукоплесканий в честь отца», как потом скажет А. Твардовский, чья семья станет одной из бесчисленных жертв сталинского произвола…

Итак, политика, деревня, индустрия, культура, наука, религия, кадры, быт — не было такой сферы, в которую бы не вторгся великий, воистину всесокрушающий перелом. Надо ли говорить, что и малой части приведенных фактов было вполне достаточно, чтоб вызвать крайнюю обеспокоенность Горького судьбой страны, и прежде всего — нарастанием крутого административно-политического диктата в области культуры.

Письмо Сталину было написано, как уже говорилось, 27 ноября, а спустя два дня Горький пишет вождю еще одно письмо. Писатель развивает идеи предыдущего послания: следовало бы за встречающимися в изобилии отрицательными фактами, пагубно влияющими на умонастроения молодежи, не забывать и фактов положительных, свидетельствующих о том, что в стране «все более сознательно и энергично действует воля рабочего класса, направленная к творчеству новых форм жизни».

Сталин ответил не сразу. В известном смысле понять вождя можно. Дел в год великого перелома было у него по горло. Некоторого внимания требовало и обстоятельство личного характера: 21 декабря ему исполнилось пятьдесят.

Возникал прекрасный повод подкрепить расправу над инакомыслящими процедурой самовозвышения. И вот уже выходит юбилейный номер «Правды», заголовки статей которого сами говорят за себя: «Рулевой большевизма» Калинина, «Стальной солдат большевистской партии» Микояна, «Твердокаменный большевик» Орджоникидзе. В приветствии ЦК и ЦКК ВКП(б) Сталин был назван лучшим ленинцем.

Однако главный подарок к юбилею вождь решил преподнести себе сам — положить к своим ногам гигантскую державу и прочно утвердиться на ее покорном теле своим мягким кавказским сапогом.

Среди праздничных поздравлений и приветствий, полученных им лично, не могло не озадачить одно, может быть, самое лаконичное и официально-суховатое: «Поздравляю. Крепко жму руку. Горький».

Вот тут было над чем подумать… Вождя изначально совершенно не могла удовлетворить вся позиция Горького, проникнутая недопустимым либерализмом и полностью противоречившая стратегии и тактике года великого перелома. Если б на месте Горького был кто-либо другой, у Сталина не было

бы ни малейших сомнений, как следует поступить. Но ничего не поделаешь, с Горьким приходилось считаться; что же, мудрая политика допускает временные компромиссы. Так или иначе, но рождающийся в Его сознании план руководства культурой трудно, практически невозможно было бы осуществить в дальнейшем без участия Горького.

Вождь еще долго и тщательно будет обдумывать ответ, а потом напишет:

«Мы не можем без самокритики. Никак не можем, Алексей Максимович. Без нее неминуемы застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина рабочего класса. Конечно, самокритика дает материал врагам… Но она же дает материал (и толчок) для нашего продвижения вперед, для развития строительной энергии трудящихся… Отрицательная сторона покрывается и перекрывается положительной». «…Не у всякого, — продолжал Сталин, — хватает нервов, силы, характера, понимания воспринять картину грандиозной ломки старого и лихорадочной стройки нового, как картину должного и, значит, желательного, мало похожую к тому же на райскую идиллию „всеобщего благополучия“, долженствующую дать возможность „отдохнуть“, „насладиться счастьем“. Понятно, что при такой „головоломной сутолоке“ у нас не может не быть усталых, издерганных, изношенных, отчаявшихся, отходящих, наконец — перебегающих в лагерь врагов. Неизбежные „издержки“ революции».

Избиение партийных кадров Сталин называл «самокритикой». (В статье «Все о том же» Горький забирает это слово в кавычки.) Историки сравнивали такую «самокритику» с еврейскими погромами.

Осмысляя сегодня диалог политика и художника, мы начинаем осознавать, что в одни и те же понятия они вкладывали не совсем одинаковое содержание. Казалось бы, кто, как не Сталин, был заинтересован в том, чтобы демонстрировать своему народу и всему миру достижения страны (прямое следствие Его мудрого руководства).

Увеличить поток положительной информации, полагал Сталин, не составляет труда. Гораздо важнее привить людям мысль о том, что «грандиозная ломка старого» неизбежно влечет за собой трудности, издержки, и нечего настраиваться на райскую идиллию. Народ должен быть готов к разоблачению нытиков и «перебегающих в лагерь врагов». Ну а уж к разоблачению самих врагов — тем более.

Он-то, Сталин, знал, какие предстоят разоблачения, на каких этажах государственного здания будут обнаружены враги!

В интеллектуальном «поединке» со Сталиным, осторожно начатом Горьким, позиция Сталина, как говорится, оказалась предпочтительнее. Добился ли Горький чего-либо своим письмом? Разве что одного: как будто кто-то накинул петлю на его мысль и осторожно, но неумолимо начал затягивать ее. Но Горький этого пока не почувствовал…

Сталинское письмо будет отправлено 17 января 1930 года. Но перед этим мудрый вождь вознамерился осуществить некую акцию. Совершенно неожиданная для Горького, она призвана была не оттолкнуть великого писателя от власти, а, наоборот, приблизить к ней. Главное — подчеркнуть, что расхождения с руководством имеют преходящий характер, а то, что объединяет Горького с ним, куда важней и прочней. В разыгрывающейся шахматной партии это будет гроссмейстерский ход.

Как мы помним, еще до начала кампании вокруг Пильняка и Замятина резко выступила против Горького сибирская группа «Настоящее». С началом кампании группа тотчас подключилась к ней, и ее исходные позиции, в сущности, ничем не отличались от официальных. Редакционная статья в «Известиях» называлась «Советская общественность против пильняковщины». Ну, а Горький — он был «за». Правда, тон «настоященцев» груб. Но сам по себе такой тон в дискуссиях никого не удивлял. «Разоблачать чуждую, враждебную тенденцию, выявлять врага и обрушиться на контрреволюционера, да ведь это почетнейший долг перед лицом рабочего класса!» — восклицал писатель Чумандрин в статье, опубликованной 2 сентября. А «настоященцы»? Они как раз и занимались этим!

И вдруг на страницах «Правды» 26 декабря 1929 года публикуется специальное постановление ЦК ВКП(б) «О выступлении части сибирских литераторов и литературных организаций против Максима Горького». Постановление?! Об этом в конце концов частном — на фоне великих-то преобразований в индустрии и в деревне — литературном явлении? Ну, выступил бы какой-нибудь журналист или писатель. Ну, опубликовала бы «Правда» редакционную статью.

А тут о событиях трехмесячной давности — постановление ЦК!

Как и полагалось документу той поры и того ранга, было оно совершенно недвусмысленным по характеру и тону. «…Подобные выступления части сибирских литераторов… в корне расходятся с отношением партии рабочего класса к великому революционному писателю тов. М. Горькому». Выпады против Горького были названы «хулиганскими». За сим следовали оргвыводы: выговор всей партийной фракции Сибирского Пролеткульта (не

беспрецедентный ли в истории партии случай: выговор организации?). Отстранение редактора журнала от должности. Требование «усилить руководство…».

Вряд ли кто-нибудь ожидал появления такого документа. Но случилось необычное: Сталин получил от Горького ответ, которого ожидать не мог никак.

Казалось бы, Горький должен быть доволен осуждением тех, кто вел себя по отношению к нему более чем оскорбительно (он будто бы «все чаще и чаще становится рупором и прикрытием для всей реакционной части советской литературы»).

А Горький? «…Брань на вороту не виснет, — пишет он из Италии Сталину 8 января 1930 года. — Мне она жить не мешает, а в работе — поощряет. Человек я, как Вы знаете, беспартийный, значит: все, что по моему адресу, — партию и руководящих членов ее не задевает. Пускай ругаются… Многие торопятся заявить о своей ортодоксальности, надеясь кое-что выиграть этим — и выигрывают. А в общем, все идет отлично… Так что не наказывайте ругателей, Иосиф Виссарионович, очень Вас прошу».

Горький оказался игроком более опытным, чем можно было подумать. Подчеркивая свою беспартийность, он словно бы ставит под сомнение право партии на вмешательство в литературные дела. Сталин не мог не чувствовать, что впереди далеко не простое продолжение «шахматного поединка».

Так и получилось. Горький в принципе поддерживал политику коллективизации, полагал, что наступает пора освобождения деревни от издавна присущих ей «пороков» (низкий уровень культуры — и не только сельскохозяйственной, — «зоологические инстинкты» мужика). Но существуют мемуарные свидетельства о том, что Горький считал необходимым проводить коллективизацию только на сугубо добровольных началах. Он оказывал сдерживающее влияние на Сталина, протестуя против «перегибов», и не без его влияния были написаны сталинские статьи «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозникам».

Заметим, что западная историография, памятуя, что были и Соловки и Беломорканал, полагает: общее направление горьковского влияния на Сталина было в сторону умиротворения, либерализации. (Другое дело, что осуществлять подобные намерения удавалось ему далеко не всегда.)

Несмотря на то, что Сталин, как мы могли убедиться, старался смягчить ситуацию, сложившуюся вокруг Горького в литературе, он никак не мог ожидать шага, который сделает писатель. А, может быть, лучше сказать «не сделает»: В 1930 году на родину не приедет, чем весьма озадачит вождя… Так, может

быть, он больше не приедет совсем?

ГЛАВА XIII
«Если враг не сдается…»

Размышляя о значении органов ОГПУ в жизни страны, Горький уделял внимание не только их воспитательной роли. Он полагал, что в условиях абсолютного идеологического противостояния двух миров, решающая схватка между которыми неизбежна, в условиях, когда не выкорчеваны из жизни пережитки прошлого, важна и функция действенного подавления классового врага.

В горьковском эпистолярии переписка с Халатовым, которая началась в 1927 году и к которой мы так часто прибегали ранее, по своей обширности, разнообразию поднимаемых в ней вопросов о работе издательства, целого ряда печатных органов занимает ведущее место.

По характеру своей деятельности Халатов часто общался со Сталиным, и через него вождь внимательно следил за всем, что отражало изменения в настроениях писателя. И вот 8 июля 1930 года Халатов пишет Горькому: «Мне на днях тов. Сталин посоветовал послать Вам материал „К отчету ЦКК ВКП(б)“, составленный ОГПУ — о работе вредителей, так как, по его словам, Вы сейчас работаете по этому вопросу».

Недавно состоялось «шахтинское дело» (начало 1928 г.), в 1930 году была разоблачена «Промпартия»…

Как отнесся Горький ко всем этим «материалам»? Подобно большинству, он верил им. А поверив, как писатель и человек, ненавидевший ложь и предательство, — негодовал. «Отчеты о процессе подлецов читаю и задыхаюсь от бешенства», — сообщал он Леонову 11 декабря 1930 года.

Опираясь на материалы, опубликованные в печати и присланные по указанию Сталина, Горький начал писать пьесу «Сомов и другие», разоблачающую претензии технической интеллигенции на руководящую роль в обществе.

Работа над пьесой шла туго, а жизнь двигалась стремительно. «Вредителей» в стране становилось почему-то все больше.

Халатов Горькому 8 марта 1931 года: «Процесс меньшевиков близится к концу. Судебное следствие вскрыло отвратительную, гнусную картину вредительской, интервенционистской работы так называемых специалистов… Вслед за этим, видимо, настает очередь за группой Кондратьева-Чаянова, лицо которых в достаточной степени выявилось на двух последних процессах. Не используете ли Вы этот богатый материал о вредительстве для

Вашей пьесы?»

Как об очередной акции о деле Чаянова-Кондратьева Халатов пишет в разгар процесса над меньшевиками, протекавшего 2–9 марта 1931 года, не случайно. В это время Чаянов уже находился под арестом. Однако открытого процесса по делу так называемой Трудовой крестьянской партии Сталин решил вообще не проводить. Приговор по делу ТКП был вынесен Коллегией ОГПУ 26 января 1932 года. Впоследствии выяснилось, что никакой Трудовой крестьянской партии не существовало вообще, а свыше 1000 человек, арестованных за принадлежность к ней, были реабилитированы «за отсутствием события и состава преступления».

Известно, что при комплектовании Госплана Ленин в числе других ученых включил в него и А. Чаянова. А когда начал обдумывать статью «О кооперации», то по запросу Крупской ему была доставлена работа ученого «Основные идеи и формы крестьянской кооперации».

Впоследствии, посмертно, Чаянов стяжал своими трудами всемирную славу (во Франции было издано 8-томное собрание его сочинений). Но он был еще и одаренный литератор, и вряд ли Горький, с его энциклопедической осведомленностью, совсем не знал, кто такой Чаянов. Вот в этих-то обстоятельствах Горький пишет статью, которой суждено было стать едва ли не самым известным его публицистическим выступлением 30-х годов, — «Если враг не сдается, — его уничтожают» (опубликована в один и тот же день, 15 ноября 1930 года, в газетах «Правда» и «Известия»).

В идеологизированном литературоведении 40-х годов она была безоговорочно признана «шедевром горьковской публицистики» (равно как и статьи «К рабочим и крестьянам», «С кем вы, мастера культуры?» и др.). Процесс «шахтинцев», а также процесс «Промпартии» вызвали ряд страстных откликов Горького, призывавшего трудящихся Страны Советов раздавить врагов безжалостно и беспощадно. Горький требовал от советских писателей внимательного изучения материалов судебных процессов, извлечения из них всех необходимых уроков. Он сердился на то, что «на процессах вредителей литераторы замечались единицами», и подчеркивал: «Вредительство — тоже действительность, чрезвычайно поучительная гнусностью. — Товарищи! Держи ухо остро! Гляди в оба: — учит она»[37]. Автор обильно оснащает текст своей статьи ссылками на пьесы и статьи Горького, на другие материалы, включая далеко не в последнюю очередь пресловутый «Краткий курс»…

Между тем статья стала объектом ожесточенной полемики

современников. Полемики, не утихающей, впрочем, вплоть до наших дней.

Как уже говорилось, имя Горького, его творчество в 80-е годы вообще стали мишенью для весьма острых критических суждений. И вот, как бы отвечая им и протестуя против крайностей в полемике, автор статьи с характерным названием «Хватит точить пики» пишет: «Одним не дает покоя тень гениев, и они „долбают“ Ф. Достоевского за „Бесов“ и прочие вещи, другие цепляются к выражению М. Горького „Если враг не сдается, его уничтожают“, хотя столетиями во всех войнах говорилось и выполнялось подобное».

Значительно раньше, словно бы упреждая появление подобной «оправдательной» точки зрения, Б. Слуцкий в стихотворении, опубликованном посмертно и составляющем лишь малую, но очень важную часть его замечательного наследия, писал:

Если враг не сдается,
Его не уничтожают,
Его пленяют.
Его сажают
в большой и чистый лагерь.
Его заставляют работать
восемь часов в день — не больше.
Его кормят. Его обучают:
врага обучают на друга.

Две точки зрения диаметрально противоположны, и, полагаю, не надобно долго доказывать предпочтительность второй концепции. Поэт-фронтовик выражает общечеловеческий взгляд на войну и участие человека в ней, протестуя против бессмысленной жестокости.

Попытаемся, однако, минуя полемические крайности, рассмотреть содержание горьковской статьи в контексте тех обстоятельств, в которых рождалась она, постараемся понять, как отражается в ней общественная позиция писателя.

Конечную цель социалистического строительства в России М. Горький формулирует в статье с масштабностью человека, безгранично верящего в огромные созидательные возможности народных масс: «Создать для всех людей и для каждой единицы свободные условия развития своих сил и способностей, создать равную для всех возможность достижения той высоты, до которой поднимаются, излишне затрачивая множество энергии, только исключительные, так называемые „великие люди“».

Убежденный народопоклонник, вырвавшийся в прошлом из затхлой атмосферы провинциального мещанства и ставший к этому времени едва ли не первым писателем века, Горький отвергает элитарные концепции культуры, идеи о том, что создание культуры — удел немногих «высокоодаренных людей». В буднях социалистического строительства Горький видит конкретное, вполне вещественное подтверждение жизненной силы провозглашаемых им идей.

Но больше в статье говорится все же о препятствиях на пути реализации этой положительной программы. Писатель рассуждает о великой битве идей, порождаемых миром капитала и миром пролетариата, и призывает к бдительности, готовности к грядущей схватке двух систем («мы живем в условиях непрерывной войны со всей буржуазией мира»).

Выражением противоборства двух систем писатель считает и ту борьбу, которая развертывается также внутри страны, поскольку разделяет распространенное мнение: силы старого оказывают ожесточенное сопротивление новому. При этом, явно подпадая под власть все более набиравших силу социально-политических стереотипов, утверждаемых свыше, Горький словно не замечает, что начинает впадать в опасную односторонность. «Внутри страны, — пишет он, — против нас хитрейшие враги организуют пищевой голод, кулаки терроризируют крестьян-коллективистов убийствами, поджогами, различными подлостями, против нас все, что отжило свои сроки, отведенные ему историей, и это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод: если враг не сдается, — его истребляют».

Ну, что касается естественности вывода об истреблении врага в войне, мы об этом говорили, обращаясь к стихотворению Слуцкого. И уж совсем противоестественным выглядит вывод о том, что нормы братоубийственной гражданской войны, в которой обе стороны понесли неисчислимые потери и откуда вышли с долгим запасом озлобленности и ожесточения, — что нормы эти надо исповедовать и спустя более чем десятилетие после того, как смолкло эхо последнего выстрела…

Как уже упоминалось, Горький писал свою статью в атмосфере шахтинского процесса и дела так называемой Промпартии. Все издержки и провалы индустриализации, последствия технической безграмотности сталинская верхушка решила «списать» на происки вредителей.

Вероятно, Горький не располагал достаточным материалом личных встреч с людьми (после длительных летних поездок на родину в 1928 и 1929 годах он не ездил туда в 1930 году, в год

написания статьи, и исходил только из сообщений печати и отчетов, специально присылаемых из России). А этим материалам он верил и гневно возмущался поведением «множества гнусных предателей, которые отвратительно компрометируют и своих товарищей и даже самую науку».

Он не мог тогда еще предполагать, что многие «признания» обвиняемых имеют вынужденный характер, что иные «чистосердечно раскаявшиеся», как профессор Рамзин, демонстрирующий плодотворность «перековки» интеллигенции, являются просто провокаторами. Писатель, носитель не только удивительного художественного таланта, но и дара изощренного интеллектуализма, он не мог предполагать, до какого коварства может дойти политика — сфера в своем собственном последовательном самовыражении ему всегда чуждая.

Статья Горького вызвала множество полемических откликов в западной прессе. И как бы ни было для нас дорого имя великого писателя, мы не можем сказать, что в выступлениях западных журналистов было неприемлемо решительно все, поскольку пресса — «буржуазная». Слишком часто мы отвергали *a priori* то, что шло «оттуда», только на том основании, что все родившееся «там» изначально неприемлемо для нас. «Gazette de Lausanne» 27 декабря 1930 года опубликовала статью «Максим Горький против Эйнштейна и Р. Роллана», в которой утверждалось, что Горький стал «сторонником насилия в публичной и научной жизни».

Как всегда в подобных случаях, власть организовала кампанию в защиту Горького. Л. Леонов в газете «Вечерняя Москва» писал о том, что «травля самого крупного нашего писателя Максима Горького — только один из участков той зловещей блокады, которую империализм воздвигает вокруг Советского Союза…» «Не последнюю роль в этом деле сыграл процесс вредителей, где Горький выступал заочным обвинителем, одним из миллионов обвинителей».

М. Горький в это время, в пору начала политических процессов, еще настолько верил всему наговоренному в стране о вредителях, что, обращаясь к сознанию рабочих Франции и Англии, предупреждал: им «со временем придется иметь дело с такими же изменниками и предателями, каких судят в Москве».

Как Горький относился к Сталину в это время? Даже в публикациях, имеющих строго научный характер и рассчитанных на специалистов, наше литературоведение долгие годы избегало касаться фактов, если они имели «неприятный» характер (и при этом с трибун научных форумов звучали призывы к конкретному историзму). В таких случаях на месте слов и фраз возникали зияющие загадочные многоточия. Так, при публикации письма

Горького Халатову от 16 марта 1931 года была снята завершающая фраза: «Как великолепно развертывается Сталин!»[38] Как видим, ожидания тех, кто поддерживал «русскую группу» Рыкова и Калинина, не оправдались.

Горький еще не мог предугадать, к каким последствиям — для партии и страны, да и для него лично тоже! — приведет вскоре это «развертывание».

Каким образом произошел этот невероятный сдвиг в сознании Горького после того противостояния, которое он оказывал Сталину совсем недавно, в конце 1929 года? Почему он стал теперь так поддерживать Сталина? Все это пока остается загадкой.

Отчасти это можно объяснить, правда, известной импульсивностью, непоследовательностью, присущей именно художественному сознанию. Вероятно, Горький сам почувствовал (или ему дали это понять), что написанные издалека, из Италии, письма конца 1929 года носят слишком резкий характер, а налаживать отношения с вождем необходимо — никуда не денешься.

В пору сталинских репрессий наиболее честные коммунисты стремились с риском для жизни противодействовать распространению тоталитарного произвола. Одним из них был М. М. Ишов, военный прокурор Западно-Сибирского военного округа. В июле 1938 года он добился приема у Вышинского и проинформировал его о недопустимых методах получения показаний у заключенных. Ответ Вышинского запомнился Ишову на всю жизнь: «Врагов народа гладить по голове мы не намерены. Ничего плохого нет, что врагам народа бьем морду. И не забывайте, что великий пролетарский писатель Максим Горький сказал, что если враг не сдается, его надо уничтожить».[39]

Впоследствии писателям не требовалось особенно напрягать воображение, чтобы ввести в художественные произведения сцены с упоминанием горьковской статьи.

Василий Гроссман. «Жизнь и судьба». «Над ним (Крымовым. — *В.Б.*) снова появилось лицо следователя, он показывал на портрет Горького, висевший над столом, и спрашивал:

— Что сказал великий пролетарский писатель Максим Горький?

И вразумляюще, по-учительски ответил:

— Если враг не сдается, его уничтожают».

Владимир Тендряков. «Хлеб для собаки». «Истощенных — кожа и кости — у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой — слонами.

И вот березовый сквер возле вокзала…

Я кой к чему успел привыкнуть, не сходил с ума.

Не сходил с ума я еще и потому, что знал: те, кто в нашем привокзальном березнячке умирал среди бела дня, — враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал: „Если враг не сдается, его уничтожают“. Они не сдавались. Что ж… попали в березняк».

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». «Я как старый хрипучий граммофон. В меня заложили семь или десять пластинок, и вот я хриплю, как только ткнут пальцем.

— Какие еще пластинки? — спросила она сердито.

Он усмехнулся.

— Я их все могу пересчитать по пальцам. Вот, пожалуйста: „Если враг не сдается — его уничтожают“, „Под знаменем Ленина, под водительством Сталина“, „Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее“».

Означает ли это, что Горький «сдался» совсем, стал именитым проводником сталинской политики? Вопрос не столь прост, как кажется многим, и в этом мы еще не раз сможем убедиться.

Так, шла туго и не приносила удовлетворения работа над пьесой о вредителях. При жизни Горького она не была ни поставлена, ни опубликована, а в беседе с драматургом Афиногеновым, гостившим у него в Сорренто весной 1932 года, он признался: «Пьеса моя о вредителях не вышла…» Так же, как не вышла пьеса о кулаке… Как не вышла и еще одна книга…

В пору, когда Горький возвращался на зиму в Италию, контакты с ним Сталин в основном продолжал поддерживать через Халатова, который не только вел с Горьким интенсивную переписку, но и приезжал в Сорренто. И вот наконец настал момент для включения Горького в осуществление главной цели Сталина. В январе 1932 года, коснувшись основного для писателя — издания его книг в связи с приближающимся 40-летием творческой деятельности, Халатов сразу переходит к главному для Сталина: «Материалы для биографии И<осифа> В<иссарионовича> мы Вам послали, напишите мне — не нужны ли Вам какие-либо еще материалы и когда думаете нам ее дать». Книгу эту Горький так и не «дал».

Но он был теперь так крепко связан с СССР обилием самых разнообразных культурно-издательских дел, что вопрос о его возвращении на родину, в сущности, был решен.

Ну а Халатов — Сталину он больше был не нужен.

«Мой уход из ОГИЗа, — сообщал Халатов Горькому 3 апреля 1932 года, — дело решенное. На днях соответствующее постановление будет опубликовано в газетах. Переход мой на

другую работу в данный момент кажется мне совершенно правильным и целесообразным и вполне совпадает с моими личными желаниями».

Сообщив, что новым заведующим ОГИЗа будет Михаил Павлович Томский, Халатов добавляет, что о его собственной дальнейшей работе вопрос вообще еще не решен, что ему нужен длительный отдых и лечение в течение месяцев двух-трех. «Должен теперь Вам признаться, что состояние мое за последний год, в связи с систематической перегрузкой и отсутствием отдыха (отпуск я не имел уже более двух лет), было крайне тяжелым»[40].

11 апреля печать сообщила о назначении Томского. В 1937 году Халатов был репрессирован. Покончил самоубийством и его преемник…

Обстоятельства вынуждают меня в заключение сказать о Халатове еще несколько слов. После публикации моей статьи «„Да“ и „нет“ Максима Горького» в «Советской культуре» (1 апреля 1989 г.) в редакцию прислала письмо дочь Халатова С. Ковалева-Халатова. Ее письмо под заголовком «Он ничем не запятнал себя» опубликовано в той же газете 29 июля.

Полностью сочувствуя С. Ковалевой-Халатовой в связи с трагедией, постигшей ее отца, упреков ее принять все же не могу. То, что написано в этой книге, лишь подробнее, чем в статье, раскрывает деятельность Халатова, но никак не меняет каких-либо акцентов. Люди, подобные Артемию Багратовичу, как правило, были работниками честными, полностью отдававшимися порученному делу, как мы видели, отказывавшими себе нередко и в отдыхе, и в сне. Двигалось дело ценой страшного перенапряжения сил, что в ту пору было в порядке вещей. «Гореть на работе» считалось признаком хорошего тона. Так что в субъективно-нравственном отношении те, кто закладывал основы нашей государственности, дают нам, так сказать, сто очков вперед.

Но что же все-таки, с точки зрения Сталина, было главным достоинством работника? Нет, конечно, не инициатива, компетентность, профессионализм… А что же? Исполнительность. Дисциплинированность. Способность добиваться выполнения приказа свыше любой ценой. А что в работнике становилось большим минусом? Если он знал слишком много. И для того, чтобы ликвидировать «сгусток» избыточной информации, могущей поступить нежелательным лицам, вполне можно было пожертвовать и исполнительностью, и чем угодно. Ведь незаменимых работников не существует!

Халатов отдавался делу настолько, насколько мог и насколько позволял ему уровень его развития и образования. Как

и любой работник в ту пору, неукоснительно руководствовался в своей деятельности указаниями вождя, о чем, как о само собой разумеющемся, с готовностью сообщал Горькому: «Письмо тов. Сталина в редакцию „Пролетарская революция“ остро поставило перед нами вопрос о дальнейшем развертывании решительной борьбы за повышение качества литературы, за поднятие ее на научно большевистскую высоту»[41].

По характеру своей деятельности, как руководитель государственного издательства, он просто не мог не способствовать укреплению авторитета Сталина путем хотя бы тиражирования его работ. В письме Горькому от 8 марта 1931 года он сообщал, что для вооружения командного состава Красной Армии «Вопросы ленинизма» Сталина изданы стотысячным тиражом. «Полагаю, что это нужное дело ОГИЗ предпринял своевременно. Ваше мнение, Алексей Максимович?»[42]

Стотысячный тираж политической книги по тем временам не так уж мал. Но вот еще новость, сообщаемая Горькому Халатовым опять-таки не без гордости: одну из речей Сталина ОГИЗ выпустил тиражом 7 миллионов экземпляров (не считая 20 миллионов газет)[43].

Никакого «криминала» в подобного рода деятельности Халатова не вижу. Любой другой, находясь в той же должности, делал бы то же самое. Уже мало что зависело от индивидуальных свойств и намерений людей. Они были элементами Системы. Создатели и слуги культа, они были и его жертвами.

После освобождения Халатова от руководства ОГИЗом ему было поручено совсем другое дело, никак с издательской деятельностью не связанное. Роллан записывал в своем дневнике не без иронии: «В доме Горького в Москве… нас посещает Халатов — нынешний председатель Комиссии по научным открытиями. Он рассказывает об охватившей всех, и даже простых рабочих, лихорадке изобретений… До этих своих обязанностей Халатов входил в руководство транспортом и еще раньше в правление ВОКСа… Так готовят руководителей для управления всеми системами винтиков государства».

Даже иностранный гость не мог не заметить особенности осуществляемой Сталиным кадровой политики: стремления постоянно «тасовать» кадры (пример с тем же Томским). Вождь хотел сделать наркомом внутренних дел… Чкалова! Примеров такого рода — предостаточно.

Обратимся, однако, еще раз к главному вопросу: почему же Горький все-таки написал эту самую пресловутую статью о враге, столь снизившую его авторитет в глазах современников в момент

ее появления, а уж спустя десятилетия — тем более?

В зарубежной печати летом 1928 года появилась статья с многозначительным заголовком «Позиция Горького». Ее автор, настроенный к писателю недоброжелательно, отмечал, что выступления Горького вызывают раздражение у одних (у кого — неизвестно) и не внушают доверия другим (кому — тоже неизвестно). Ими, разумеется, довольны коммунисты, но они якобы уважать Горького за них не стали.

Далее в корреспонденции говорится: «В своих беседах свою теперешнюю позицию Горький объясняет боязнью перед победой русской деревни — некультурной и грубой. Он говорит, что эта победа грозит опасностью всей культуре — и большевиков считает той единственной силой, которая способна держать деревню в железных рукавицах»[44].

Нам придется еще раз вернуться на несколько лет назад, в трудный для писателя 1922 год, первый год пребывания за рубежом. Мы уже обращались к тому письму Горького к Роллану, в котором он, как бы поостыв от полемики с руководителями страны, выражает восхищение изумительным напряжением их воли. Их, руководителей, — «ничтожная кучка», «искренних друзей они имеют сотни, непримиримых врагов — десятки миллионов русских крестьян» (а также европейскую буржуазию и социалистов Европы).

Борису Зайцеву говорил как-то, еще в пору гражданской войны: «Дело, знаете ли, простое. Коммунистов горсточка. А крестьян — миллионы… Мил-лионы! Все пред-решено. Это — непременно так будет. В мире не жить. Кого больше, те и вырежут. Пред-ре-ше-но… Коммунистов вырежут». Слова Горького приводит Е. Кускова в статье «Трагедия Максима Горького», опубликованной в «Новом журнале» (1954).

Итак, корень проблемы все-таки — в русском крестьянстве, о чем Горький писал тогда же в печально известной брошюре. Концепция писателя является крайне односторонней и сама по себе, и уже совсем невероятную окраску приобретает, если взглянуть на нее сквозь призму той трагедии, которая постигла крестьянство в годы сталинской коллективизации.

Достаточно показательна дневниковая запись Пришвина, к которому Горький относился наилучшим образом, причисляя его к трем наиболее выдающимся современным литераторам (и Пришвин знал, о подобном отношении Горького к нему). Запись эта относится к 1930 году, сделана 16 марта, т. е. за полгода до появления статьи «Если враг не сдается…».

«А. Н. Тихонов[45] (я говорю о нем, потому что он, Базаров[46] — имя им легион) все неразумное в политике презрительно

называет „головотяпством“. Это слово употребляют вообще и все высшие коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной, жестокой политики. Помню, еще Каменев на мое донесение о повседневных преступлениях ответил спокойно, что у них в правительстве все разумно и гуманно. „Кто же виноват?“ — спросил я. „Значит, народ такой“, — ответил Каменев».

Теперь то же самое ужасающее преступление этой зимы относят не к руководителям политики, а к «головотяпам». А такие люди, как Тихонов, Базаров, Горький, еще отвлеченнее, чем правительство, их руки чисты не только от крови, но даже от большевистских портфелей… Для них, высших бар марксизма, головотяпами являются уже и Сталины… Их вера, опорный пункт — разум и наука. Эти филистеры и не подозревают, что именно они, загородившие свое сердце стенами марксистского «разума» и научной классовой борьбы, являются истинными виновниками «головотяпства».

Заканчивает свою запись Пришвин несколько неожиданно. Заметив, что поименованные лица презирают существующее правительство, но сидят около него и ничего другого не желают, Пришвин заключает: «Вот Есенин повесился и тем спас многих поэтов: стали бояться их трогать».

Выходит, для того, чтобы не «трогали» других, кому-то, в поучение начальству, необходимо было покончить с собой?..

Запись Пришвина — болевая, честная, основанная на повседневных наблюдениях над тем, что происходило в деревне. Но его упреки Горькому и другим можно принять все же не на сто процентов — и вот почему. Если уже поднимается вопрос о личной ответственности литератора за происходящее в стране, то ведь этот вопрос в той или иной мере относится и к автору дневниковой записи. А открой мы том переписки Горького и Пришвина, и следов не найдем в ней подобных настроений: «Дорогой Алексей Максимович! Приветствую вас и жду хорошего, свойственного всему вашему прошлому, *заступничества* в деле искусства даже и в то время, когда людям не до него» (выделено мною. — *В.Б.)*. И т. д.

Горький и Пришвин состояли в переписке с 1911 года. Никто с такой глубиной не раскрыл философский смысл творчества Пришвина, как это сделал Горький. Так почему же Пришвин не поделился своими болями и сомнениями со старшим собратом по перу? Видимо, опасался, что его суждения могут прийтись тому не по сердцу… Скажем прямо, позиция не оптимальная.

Но дело в конце концов в самом Горьком. Мы до сих пор толком не представляем, в какой мере он знал о реальных процессах, протекавших в деревне. Но не в «деревне» вообще, не в

«колхозе», а в конкретном крестьянском дворе, в душе вот этого хозяина вот этого двора, именно вот этого Сидора Кузьмича…

Мог ли он получить такое знание, окруженный со всех сторон сопровождающими лицами?

Очень ценные материалы на этот счет содержат воспоминания П. Мороза. В 1929 году ему было поручено сопровождать Горького во время поездок по Крыму, и он имел возможность много беседовать с писателем. Позднее мемуары Мороза были опубликованы в эмигрантской печати.

Когда по радио сообщили о приезде Горького и просили земляков достойно встретить великого писателя, никто не мог предполагать, какой действительно бурный поток писем устремится к нему. А большую часть этой «приветственной» корреспонденции составят просьбы и мольбы о помощи против насилия и произвола.

Знакомясь с Морозом в кабинете первого секретаря Крымского крайкома А. Андреева, Горький испытал естественное желание получше узнать, что за человек «приставлен» к нему (он уже достаточно хорошо осознавал, к какой организации принадлежали лица, сопровождавшие его постоянно).

Бывший начальник военно-бронетанковых сил на Юго-Западном фронте в 1920 году, Мороз получил назначение руководителя «Севгрэсстроя» под Севастополем. Присмотревшись немного к новому знакомому, Горький неожиданно спросил его как-то, когда они остались наедине:

— А молчать вы умеете, когда надо?

— Научили, — мрачновато ответил собеседник. — Молчу уже вот седьмой год.

— Это замечательно! И где же научили?

— Сначала на Лубянке, потом в Читинской каторжной, под начальством Губельмана, брата Ярославского.

С готовностью подхватывая нить разговора, Горький решил узнать, а много ли вообще в стране молчальников-то…

Собеседник сник. Ушел в себя. Одно дело — беседа о твоих делах и судьбе, и другое дело… Спросил встречно: «А вы-то тайну, Алексей Максимович, хранить умеете? Знаете, что бывает за ее разглашение? Ну тогда слушайте. Почти уверен, что число молчальников в Советском Союзе в 1927 году доходило до 80 процентов населения. Но завтра… безмолвствовать будут все. Ну, кроме, конечно, пропагандистов-аллилуйщиков».

С грустью посмотрел Горький в лицо собеседника, глаза его словно присыпало пеплом. Отвернулся, протер глаза… Помолчав, сказал: «Да, пожалуй, вы правы. Но почему же это так?»

На следующее утро при посещении знаменитого совхоза

«Гигант», на строительстве сельского элеватора и электростанции Горький был сдержан, ушел в себя, ни с начальством, ни с рабочими в разговоры не вступал. На объяснения кивал головой рассеянно. «Но при посещении колхозов, — продолжает Мороз, — Горький был весьма любезен и внимателен. Знакомясь с колхозами, расположенными по направлению Ростов-на-Дону — станица Старо-Щербинская, Горький осматривал, вернее, знакомился с колхозами во всех деталях. При этом он особенно интересовался единоличными хозяевами… Он знакомился с каждым двором и его хозяином. Вел длительные беседы, но о чем он говорил, никто не мог ничего сказать. Такие же методы применял Горький и при осмотре колхозов в районе станции Екатерининская — Ростов-на-Дону».

В гостинице Горький начал беседу следующими словами: «Если вы думаете, что я что-нибудь понял из того, что делается в станицах, то вы глубоко ошибаетесь. И как я ни стараюсь, как ни напрягаю свой мозг, чтобы понять все эти дела, творящиеся и с крестьянами, и с рабочими, и с городским людом, я ничего понять не могу. Я прежде всего не вижу целесообразности. По-видимому, стар я стал. Но людей, сопротивляющихся этому, я понимаю. Единственное, что мне представляется отчетливо, это то, что все это вместе взятое возвращает нас к пятидесятым годам прошлого столетия, но в более свирепой форме. Да, формы проведения в жизнь мероприятий такого социализма будут, безусловно, очень свирепыми».

«В свое время, — продолжал Горький, — главная задача передовой литературы прошлого заключалась в том, чтобы показать подневольный характер труда и раскрыть противоречия между огромной созидательной силой труда и угнетенным положением трудящегося человека.

Тогда были люди, которые, несмотря на ограниченные возможности, создали прочную традицию уважения к труду и свободе трудящегося человека, посвятив немало красивых страниц воспеванию труда. Конечно, такие люди есть и будут, но будут ли у них в будущем хотя бы те ограниченные возможности прошлого, я очень и очень сомневаюсь. Будут ли у литератора будущего хотя бы ограниченные возможности, изображая труд в нашем „социализме“, поставить в центр внимания человека — радующегося труженика? Думаю — нет. В тумане всех событий представляются только или почти только страдания».

В день отъезда в честь Горького «хозяин» края устроил прощальный ужин. Писатель снова был как бы в ударе: рассказывал о детстве, о своих путешествиях по Руси и заграннице…

А. Андреев внутренне «закипал» все больше. Хитрец! Когда же наконец этот Алексей Максимович скажет что-нибудь о деле, великом деле, начатом партией! И потом — что можно будет доложить вождю об итогах путешествия великого писателя?

Отвечая на прямой вопрос, Горький сказал: «Все дело коллективизации, по моему глубокому убеждению, должно быть построено исключительно на добровольных началах, никакого принуждения не должно быть. При соблюдении этого условия коллективизация может дать весьма положительные результаты». (Увы, принцип добровольности, как мы знаем, отнюдь не стал одним из главенствующих.)

Тем более странно и неожиданно выглядит утверждение серьезного исследователя Б. Парамонова[47] о том, что именно Горькому, с его нелюбовью к крестьянству, принадлежит идея коллективизации. Утверждение, совершенно не подкрепляющееся никакими доказательствами, кроме того, что перелом в деревне хронологически совпадает с приездами Горького в Россию.

Вряд ли Горький ожидал, что лозунгу «Если враг не сдается…» будет придан столь широкий смысл, что им в любой момент ретивый администратор любого уровня сможет оправдать свои противозаконные действия. Лозунгом освятили любое насилие в пользу власти. Писатель явно не хотел этого. Но было поздно. Тогда он иным способом стремился повлиять на бесчеловечность сталинской политики коллективизации и прямо заявлял своему собеседнику: «Статьи Сталина „Головокружение от успехов“ и „Ответ товарищам колхозникам“, опубликованные в печати, явились результатом моих настояний о добровольности коллективизации».

Да, но тут возникает некая хронологическая неувязка. Сталинские «успокаивающие» статьи были опубликованы одна за другой 2 марта и 3 апреля 1930 года. Горьковская «Если враг не сдается…» — в конце года. Кто и какими аргументами воздействовал на Горького, какие факты приводили ему в пользу написания этой статьи — узнаем ли мы об этом когда-нибудь?.. Загадка…

Так или иначе, статья «Если враг не сдается…» появилась, и Сталину она была крайне нужна. Отвечая на один из вопросов «товарища колхозника» в апреле, вождь прямо сказал, что главная опасность остается — правая (то есть бухаринская). Вскоре все смогут убедиться, как он начнет бороться с ней.

«Все последующие беседы, — без всякого оптимизма заключает Мороз, — носили тот же характер огорчений. И ни разу Горький, кроме как по вопросу о народном просвещении, не сказал ни одного слова, одобряющего внутреннюю или внешнюю

политику Советской власти.

Даже в вопросах индустриализации, отзываясь с восхищением о растущих гигантах индустрии, Горький говорил: „Но сделать все это можно было бы со значительно меньшим напряжением сил“».

Немаловажная «деталь»! Не только «что», но и «какой ценой». А чем дальше, тем больше убеждался писатель, что цена человеческой жизни идет на понижение. И это не могло не тревожить, не волновать его. Но в еще большее уныние приводило то, что процесс зашел уже слишком далеко, был освещен авторитетом партии, причем всегда можно было доказать, что политику мудрой партии с энтузиазмом приветствует народ, готовый во имя светлого будущего идти на любые жертвы…

Любопытный и очень важный пример того, как идеолог в вопросе о крестьянстве и крестьянской литературе подавлял художника, являет собой история отношений Горького с Сергеем Клычковым (1889–1937).

Еще молодым поэтом при помощи М. Чайковского Клычков совершил заграничное путешествие, попал в Италию, где познакомился с Горьким.

Как ни странно, этот не столь уж заурядный в жизни начинающего литератора факт не нашел отражения в автобиографии, которой тот снабдил одну из своих книг, вышедшую в 1926 году. А может быть, это как раз и объяснимо и в основе такого «умолчания» лежит скромность и чувство независимости от именитых?

Дело в том, что несколько раньше, в 1925 году, между Горьким и Клычковым завязалась переписка, причем именитый-то как раз сам сделал первый шаг, обратившись (через третье лицо) к младшему собрату с просьбой прислать ему роман «Сахарный немец».

Вскоре Клычков получил развернутый отзыв о романе. «… Прочитал „Сах. немца“ с великим интересом, — писал Горький. — Большая затея, и начали Вы ее — удачно. Первые главы волнуют; сказка Пенкина „Ахламон“ — безукоризненно сделана. Всюду встречаешь отлично сделанные фразы, меткие, пахучие слова, везде звонкий, веселый и целомудренный, чистый великорусский язык. Злоупотребление „местными речениями“ — умеренное, что является тоже заслугой в наши дни эпидемического помешательства и красивого щегольства фольклором».

Надо ли говорить, как обрадовали эти слова автора, писавшего, посылая роман в Италию: «Чье-чье, а Ваше мнение мне

драгоценнее всего, ибо люблю Вас и верю, главное, в Вашу искренность…»

Но именно эта искренность заставила Горького высказать и критические замечания, не перечеркивавшие, впрочем, достоинств книги, и завершал свое письмо Горький не только оптимистично, но делал существенное обобщение о характере новой литературы в России в целом: «…размер, широта Вашего плана подкупает… Мне кажется, я знаю, чего это стоит Вам, и скажу прямо: меня радует, что вопреки всему русский писатель остается тем же смелым и независимым духовно, каким он был. Здесь эмигрантская критика злобно визжит, говоря о вас, работающих в России. Здесь никто не понимает, как трудна ваша жизнь и в какой героической позиции стоите вы. Говоря „вы“, я, разумеется, исключаю ряд людей, которые пишут не то, что могли бы, а лишь о том, что им приказано».

Согласимся, получить начинающему прозаику такое письмо от самого Горького — да это же подарок судьбы!

Но как неожиданно и скоро все обернулось совсем по-иному: художника с его непосредственностью эмоционального восприятия произведения почему-то вдруг властно подавил идеолог. Тот самый, которого не покидало чувство опасности, идущей от мужика. И вот уже спустя каких-то три месяца, 23 июня 1925 года Горький пишет Бухарину: «…когда представишь себе всю огромность всемирной русско-китайско-индусской деревни, а впереди ее небольшого, хотя и нашедшего Архимедову точку опоры, русского коммуниста, то, всматриваясь в соотношение сил, испытываешь некоторую тревогу». «И когда я вижу, — продолжает Горький, — что о деревне пишут — снова! — дифирамбы гекзаметром, создают во славу ея „поэмы“ в стиле Златовратского, — это меня не восхищает».

Роман Клычкова пока не назван, но нет никакого сомнения, что речь идет о нем: в цитированном выше, мартовском письме Горького как о недостатках говорилось и о гекзаметре, и о Златовратском, которому Горький противопоставляет теперь «солененькие рассказы о деревне Пантелеймона Романова».

В другом июньском письме Бухарину Горький с определенной озабоченностью пишет о том, что наряду с литературой, создаваемой рабочими, «уже возникает работа писателей-крестьян», т. е. «мужикопоклонников и деревнелюбов»… А поскольку, по мысли Горького, город и деревня должны встать «лоб в лоб», писатель-рабочий должен знать это, а таким деятелям партии, как адресат письма или Троцкий, стоило бы рассказать рабочему-литератору о своего рода «крестьянской опасности». В качестве примера ее фигурирует в письме как раз

«Сахарный немец».

Полагают, что печально известные «Злые заметки» Бухарина, написанные через полтора года, возникли не без прямого горьковского влияния. Причем дополнительным ковшом воды на мельницу этой односторонности явился и горьковский очерк о Есенине, написанный с несомненным сочувствием к трагической судьбе «великого русского поэта», но опять-таки прямолинейно сводивший его драму к проблеме «город — деревня»: «И жизнь и смерть его — крупнейшее художественное произведение, роман, созданный самой жизнью и крайне, как нельзя лучше характеризующий трагизм отношений города и деревни… Никогда еще деревня, столкнувшись с городом, не разбивала себе лоб так эффектно и так мучительно».

Трудно сказать, знал ли Сталин о содержании писем Горького Бухарину. Вполне мог знать: отношения двух политиков не обрели тогда еще последовательно конфликтного характера, как позднее, в 1928–1929 годы. И конечно же, получение письма от Горького было отнюдь не рядовым событием в жизни любого человека. И Бухарин с его непосредственностью вполне мог поделиться радостным событием с Кобой. Так или иначе, есть сведения о том, что именно Сталин попросил Бухарина написать статью о вреде «есенинщины», и тем самым он воспользовался возможностью опереться на горьковский авторитет, чтобы сделать дополнительный шаг к коренному «преобразованию» деревни. Разве не работали на сталинскую идею «преобразования» такие пассажи из «Злых заметок»: «Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого „национального характера“, — писал Бухарин, — мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм жизни, ту „широту“, которая есть, по сути дела, внутренняя расхлябанность и некультурность».

Не станем вовсе уж упрощать картину. К сожалению, в быту Есенин и в самом деле своим поведением давал поводы для упреков. По его собственному ироничному выражению, не так уж редко он появлялся в обществе «в черновом виде». Но разумеется, Бухарин делал из таких фактов слишком далеко идущие выводы. Сам того еще не подозревая, он становился популяризатором идеи «величайшей дисциплинированности», которая утвердится в обществе как следствие установления сталинского диктаторского единовластия.

Символом такой «дисциплины» вскоре сделают крестьянского подростка, донесшего властям на своего отца. Конечно же, ставший легендой сразу же после гибели Павлик Морозов не мог

не привлечь внимания Горького. Он полагал, что подвиг Павлика Морозова имеет огромное воспитательное значение, заслуживает всяческой популяризации, а сам он — увековечения. Идею возвести памятник пионеру-герою Горький высказывал на I съезде писателей (монумент был установлен в Москве, на Красной Пресне, в 1948 году).

Но соприкоснуться с попытками прославить Павлика Морозова Горькому довелось еще до съезда.

Поручение от комсомольского начальства срочно (в десятидневный срок!) написать книжку о Морозове получил Павел Соломеин, начинающий журналист из уральской детской газеты «Всходы коммуны».

Уже после того, как книга была — не за десять дней, конечно, а в месячный срок — написана, сверхоперативно напечатана (по практике Госиздата в пору руководства Халатова мы знаем, как это делалось в экстренных случаях), а ее автор успел не раз выступить с чтением отдельных глав перед пионерами, у Соломеина возникла необходимость потревожить великого писателя, чтобы обратиться к нему за советом.

«После одного костра, где я читал, — сообщал журналист 25 августа 1933 года, — подошла ко мне девчонка лет 12 и говорит:

— Почему их расстреляли?

— Кого?

— Данилку, стариков Морозовых, Куликанова?

— А что, тебе жалко их?

— Нет, — злобно сказала она. — Я бы сначала изрезала их помаленьку, маленьким ножичком, сначала бы нос, уши, губы обрезала, а потом на костре помаленьку изжарила их…

Алексей Максимович! Это значит, книга вызывает ненависть к классовым врагам! Но хорошо ли, что так сурово? А такие случаи были… несколько раз».

И что же ответил великий гуманист? Книжку он сурово раскритиковал, сказав, что написана она неумело, поверхностно, непродуманно, оговорив, правда, что еще более, чем автор, в неудаче повинны те, кто заставил журналиста испортить столь ценный материал.

Однако книжка книжкой, но ведь речь-то завел автор о вещах куда более значительных. Ребенок, девочка, которой, наверное, спустя годы суждено было стать матерью, проявляет жестокость, которую не назовешь иначе, как патологической. Ведь если некто совершил ужасное преступление, в цивилизованном обществе его казнят, но не подвергают сначала садистским истязаниям.

Великий гуманист как-то не обращает внимания на эту сторону вопроса. Он пишет: «Если „кровный“ родственник

является врагом народа, так он уже не родственник, а просто враг, и нет больше никаких причин щадить его». Воистину, если враг не сдается…

Появление таких суждений Горького объясняют тем, что «обласканный Сталиным Буревестник уже сложил крылья», по существу прямо потворствуя во всем Хозяину в ответ на его заботу (грандиозный юбилей 1932 года, о котором разговор впереди). Так сказать, «ты мне — я тебе». К таким выводам приходит Ю. Зерчанинов, автор использованного мною выше очерка о П. Морозове, озаглавленного «Кто приходил ночью в худом тулупе… К истории одного мифа» («Юность», 1989, № 5).

Тщательно изучив материалы о судьбе пионера, журналист не предавался размышлениям о позиции Горького. Тут для него все ясно.

Нимало не оправдывая заблуждений Горького, а тем более — явной слепоты в пропаганде недопустимых способов утверждения в жизни «нового», попытаемся все же разобраться в истоках горьковских взглядов.

Думается, есть в концепции Горького — художника и философа — некий внутренний слой, до которого чаще всего не добирается наша мысль, израсходовав свою энергию на опровержение очевидных и неприемлемых для нас крайностей. В глазах Горького гигантская Россия была страной мужицкой. Пролетариат и впрямь составлял ее малую часть, не говоря об интеллигенции. Крестьянство же в большинстве было неграмотным, хозяйство его технически слабо вооруженным, а уж в глубинке — тем более. Ни для одной страны не имела такого значения проблема бездорожья, когда в распутицу страна превращалась в систему изолированных друг от друга островов, лишенных всякой связи: не доходила почта, а элементарно привычное для нас радио отсутствовало полностью…

Разумеется, труд крестьянина имел и свои поэтические стороны, обусловленные непосредственным общением человека с природой. И все-таки чтобы прокормить себя и семью, человек должен был весь, с головой, уйти в этот труд, не касаясь мыслью своей мира, начинавшегося за околицей и простиравшегося в бесконечность.

Горький как интеллектуал и мыслитель не мог принять образ жизни деревни как нормальный (сколь бы ожесточенную и по-человечески понятную критическую атаку ни вызвала эта мысль у наших нынешних «деревенщиков», среди которых есть и прекрасные писатели). Процесс урбанизации села представлялся ему естественным и неизбежным. Но разве ему одному? И разве не такой чистокровный «деревенщик», как Есенин, пришел к

психологическому отторжению «бедности полей», восклицая: «Через каменное и стальное вижу мощь я родной страны»!

Общеизвестно, что во всех высокоразвитых странах население кормит ничтожно малая часть фермеров, имеющих на службе все, вплоть до компьютеров. Ну, а в личном быту они располагают всеми средствами цивилизации, и у них полностью сняты, скажем, проблемы досуга или медицинского обслуживания. Это уже не крестьянство в традиционном смысле слова.

Долгое время мы пребывали в плену гипнотических представлений о том, что в мире проклятого капитализма отношения строятся не только на нормах конкуренции, но и прямо-таки звериной вражды (человек человеку волк). Конкуренция никуда не исчезла. Общество без нее — ненормальное общество. Но именно конкуренция людей, умеющих вести дело, обладающих выработанными в течение десятилетий навыками и нормами деловых отношений друг с другом, делает эти отношения нормально человеческими. И наоборот, насильственная коллективизация сельскохозяйственного труда порождает незаинтересованность в эффективном ведении хозяйства, а отсюда — деградацию нравственности.

Горькому в глаза бросалось то, что прежде всего разъединяет людей села и отличает их от людей города. Он говорил даже об их зоологическом индивидуализме. Он видел то, о чем у нас нынче говорить не поворачивается язык, — что Маркс и Энгельс назвали «идиотизмом деревенской жизни». Понимая очевидную заостренность этого тезиса, стоит ли закрывать глаза на то, что в крайне преувеличенном виде он действительно отражает определенные недостатки деревенского образа жизни.

И уже спустя столетие мысль, родственную приведенной, развивал кое-кто и дальше — и это несмотря на то, что в технической вооруженности мира произошли колоссальные изменения.

Как и многие думающие «не в том направлении», в 60-е годы был выдворен из страны Андрей Амальрик (увы, по иронии судьбы погибший не от перенапряжения во время сельхозработ, которым он подвергался до депортации, а в Испании в автомобильной катастрофе).

В своих рассуждениях Амальрик смело развертывает некую суперметафору, заставляющую задуматься при всей ее очевидной небесспорности. Основные принципы современной науки понятны, в сущности, ничтожному меньшинству. Мао Цзэдун говорит об окружении «города» — экономически развитых стран — «деревней» — слаборазвитыми странами. Действительно,

экономически развитые страны составляют небольшую по численности населения часть мира. Далее, и в этих странах «город» окружен «деревней» — деревней в настоящем смысле этого слова или же вчерашними деревенскими жителями, лишь недавно переехавшими в город. Но и в городах люди, направляющие современную цивилизацию и нуждающиеся в ней, составляют ничтожное меньшинство. И наконец, в нашем внутреннем мире «город» также окружен «деревней» подсознательного — и при первом же потрясении привычных ценностей мы сразу это почувствуем. Не является ли именно такой разрыв величайшей потенциальной угрозой для цивилизации?

Угроза «городу» со стороны «деревни», продолжает Амальрик, тем более сильна, что в «городе» наблюдается тенденция ко все большей личной обособленности, в то время как «деревня» стремится к организации и единству. Мао Цзэдуна это радует, но жителей мирового «города» должно беспокоить их будущее…

Что же касается крестьянства русского, то Горький был особенно пристрастен к нему. В названной выше брошюре он, например, полагал, что русскому человеку (и крестьянину прежде всего) так же присуща жестокость, как англичанину — чувство юмора.

Брошюру Горького 1922 года критиковали все, включая и его сторонников, праздновавших в Германии тридцатилетие его литературной деятельности. Но если он был не прав во многих оценках и конкретных суждениях, то стоило бы прислушаться к его характеристике перспектив соотношения города и села, рабочего класса и интеллигенции, с одной стороны, и крестьянства — с другой. Парадоксально, но факт: часто ошибаясь в конкретном, он дальше других, включая и своих наиболее убедительных оппонентов, смотрел в будущее. В то будущее, которого в силу разных причин мы не достигли до сих пор, колоссально отстав от Запада… Но естественно, такого драматизма в развитии села в нашей стране не мог предвидеть никто.

В значительной мере всем сказанным выше объясняется жесткая позиция Горького по отношению к «мужику», признание суровых мер «перевоспитания», которые все более широко внедрялись в стране.

Другое дело, что теми же факторами некоторые люди пытались оправдать в своих глазах культивирование насильственных форм труда, превращавших советскую власть во власть «соловецкую». Увы, Горький не был среди таких людей исключением. Скорее даже наоборот. Он не только смирялся с

распространением принудительного труда как временной меры, но начинал пропагандировать его, восхвалять, словно бы впадал в состояние какого-то самогипноза. Так появлялся страшный тезис о хитрейших кулаках, которые сознательно организуют в стране «пищевой голод».

Декрет об учреждении политотделов в МТС, призванных усилить влияние власти на крестьянство в период коллективизации, Горький называл гениальным декретом, свидетельствующим о великой мудрости партии.

Вполне понятно, что Сталин испытывал огромное удовлетворение, рассматривая подобные заявления выдающегося писателя как поддержку в осуществлении его программы. Заявления, появившиеся очень вовремя! Да, ради только одной такой статьи, как «Если враг не сдается…», стоило поработать, чтоб вернуть Горького на родину.

ГЛАВА XIV
Прощай, Нижний!

Пять лет назад, в 1927-м, уже состоялось чествование по случаю 35-летия литературной деятельности Горького, предвосхитившее грандиозный юбилей 1928 года. Теперь, осенью 1932-го, задумали повторить то же в связи с 40-летием его работы. Может, где-то уже составлен и дальнейший план его пятилеток, как в народном хозяйстве? И сколько еще пятилеток в запасе у него?

А работать так хочется! Вот и сегодня, в день юбилея, Горький, как всегда, уединился в своем кабинете до обеда.

В столовой юбиляр появился мрачный.

— Вы здоровы? — с тревогой спросили его.

— Я зол, — ответил он коротко и решительно и тотчас выразил недвусмысленное неодобрение по поводу шквала почестей, обрушившихся на него. Словно Там дождались случая, чтоб наверстать упущенное четыре года назад, когда он предъявил ультиматум по поводу недопустимости каких-то почетных званий. Словно хотели щедро оплатить какие-то его услуги и обязать к услугам еще большим.

Каким? Уж не тем ли, что будут связаны с созданием Союза писателей, — делом, которое, кроме него, возглавить некому? О государственной же важности его говорить не приходится.

Таких почестей и публичных чествований не удостаивался еще ни один писатель в мире. Московскому художественному театру и Большому драматическому в Ленинграде присвоили его имя. В столице переименовали Тверскую. Учредили Литературный институт и стипендии его имени. Учинили торжественное заседание в Большом театре. Везде и всюду проводят собрания в его честь… Выпускают специальные номера газет, шлют приветствия… Есть приветствия от ЦК ВКП(б), СНК СССР. Есть и лично от Него.

«Дорогой Алексей Максимович! От души приветствую Вас и крепко жму руку. Желаю Вам долгих лет жизни и работы на радость всем трудящимся, на страх врагам рабочего класса…»

Вот и профсоюзы желают того же, что Сталин: «Пусть же долгие годы звучит твой голос грозой для врагов пролетариата…»

Страх… Враги…

Все-таки: почему у нас ни в чем не знают меры? Ну, неужели не ясно, что МХАТу, если уж присваивать чье-то имя, так имя Чехова! Милый Антон Павлович! Сколько дали ему,

неотесанному, грубому нижегородцу, встречи с этим предельно деликатным, обаятельным человеком! Вот уж кто был враг всяческой официальной шумихи, и какое это счастье, что в начале творческого пути одарила его судьба встречей и дружбой с этим изумительным художником…

Жизнь, конечно, надо переделывать, и переделывать круто. Но что получается, когда за это берется ретивый, но малокультурный чиновник с партийным билетом? Еще четыре года назад удосужились одарить столицу — чем? ЦПКиО им. Горького! Какое уродливое и непроизносимое сочетание! А смысл? Центральный парк культуры и отдыха… Что за нелепость! Парк Сокольники понятно. Гайд-парк, где он гулял в 1907 году, — тоже понятно. И понятно, что люди идут в парк отдыхать, а не ставить производственные рекорды. Но что же — культура должна гнездиться в парке, как в каком-то заповеднике, а дома и в трамвае можно обойтись без нее?

Но больше всего возмутила его история с переименованием родного города. Как станет он глядеть в глаза землякам! Ведь могут подумать, что это свершилось с его согласия…

Как он просил Сталина, как он умолял не делать этого! Прежде чем ответить, тот бессильно разводил руками: «Алексей Максимович, дорогой! Ну, конечно, мнение руководителей в нашей стране кое-что значит. Но главное все же — воля народных масс!»

Писатели, полагал Сталин, — очень капризный народ, Горький не исключение. Ему оказана такая честь, а он противится, ставит всех в неловкое положение. Всех, в том числе и Генерального секретаря ЦК.

К счастью, выросли новые кадры. В чем их достоинство? Их достоинство в том, что они все понимают с полуслова. Хватит дискуссий, хватит болтовни! Надо оперативно и последовательно выполнять установку центра. Секретарь Нижегородского — нет, теперь уже Горьковского крайкома! — Андрей Александрович Жданов, безусловно, принадлежит к числу таких работников. 26 сентября 1932 года он собрал торжественный пленум всех руководящих краевых и городских органов и выступил с речью, в которой четко выразил позицию большевиков: «Купеческий старый город с дикими нравами уйдет, родился новый советский социалистический город Горький… Этим самым мы поставили окончательно крест на старом Нижнем, Нижнем купцов Бугровых-Башкировых, этим самым мы поставили крест над всеми мелкобуржуазными пережитками в экономике и сознании людей, чтобы ускорить наш победный путь к бесклассовому социалистическому обществу».

Перспективный работник, этот Андрей Александрович…

…Только человек, который не заглядывал в богатейшее прошлое города, не имевший никакого отношения к нему по рождению, а прибывший сюда по указанию свыше — как он мог бы прибыть в любое другое место в качестве временщика, которому вообще безразлична отечественная история, — только такой человек мог походя налепить на старинный русский город, сыгравший выдающуюся роль в отечественной истории, тот уничижающий его достоинство ярлык — «купеческий».

Культурную политику начали сводить к тому, что история страны напоминала мрачный задник, на фоне которого развертывалась блистательная панорама созидания светлого будущего. Человек должен был всю энергию отдавать этому созиданию, не оглядываясь назад, слепо веря своим нынешним руководителям. Начинали формировать племя манкуртов, людей, лишенных исторической памяти. Жданов был в числе видных лидеров этого процесса. Вскоре судьба еще раз свела их, Горького и Жданова…

До недавних пор Горький вообще не очень-то задумывался над переименованиями. Просто не было повода. Ну, переименовывали Гатчину в Троцк. Появился Зиновьевск. Однако очень скоро по вполне понятным причинам названия эти с карты исчезли. А теперь серьезный повод возник. Когда имена политиков или деятелей культуры дают новым городам — куда ни шло. Но зачем же стирать из памяти поколений прошлое, откуда все и берет начало?.. Вот только что Новокузнецк превратился в Сталинск. Чуть раньше Душанбе — в Сталинабад (1929), Царицын — в Сталинград, Юзовка — в Сталино (1924). А теперь вот Нижний Новгород стал Горьким. Горький как бы оказался рядом со Сталиным.

Однако это было лишь начало эскалации переименований в стране. В 1934 году Вятка превратилась в Киров (появились еще и Кировоград и Кировабад). В 1935 году Луганск переименован в Ворошиловград, а Уссурийск — в Ворошилов, Тверь — в Калинин, Самара — в Куйбышев (тогда же родились еще два Куйбышева — вместо Каинска в Сибири и Спасск-Татарского). В 1938 году Оренбург — в Чкалов, в 1940 году Пермь — в Молотов, в 1948 году Мариуполь — в Жданов…

Если б Горький, будучи в Англии, зашел в парламент, ему бы охотно показали в одном из вестибюлей расположенные по кругу бюсты наиболее выдающихся премьер-министров. Есть здесь и свободные постаменты. Кому отвести почетное место, решается через 15 лет после смерти премьера, когда суд потомков может быть объективным и беспристрастным. Увы, в Советской России

многое делалось по принципу «мы впереди планеты всей…».

В той же Англии, к примеру, совершенно невозможно представить переименование города в честь какого-либо политического деятеля. А если бы кто-либо внес подобное предложение при жизни лидера, его попросту сочли бы за умалишенного, и в первую очередь тот, в честь кого была бы предпринята подобная попытка.

Впрочем, конечно же, у нас все переименования происходили по желанию народных масс, с невиданной силой полюбивших своих вождей.

Вернемся к Горькому. Были и другие причины, которые пробуждали в нем несогласие с началом кампании переименований.

Люди должны понять, что история отечества имеет воистину гигантское значение для воспитания новой личности. Он постоянно, неизменно, настойчиво подчеркивал это в бесчисленных письмах, в устных выступлениях, статьях. По его инициативе создаются «История фабрик и заводов», «История деревни», «История молодого человека», рождается серия «Жизнь замечательных людей».

«Знание прошлого, — подчеркивал он, — необходимо для того, чтоб молодежь научилась думать исторически. Исторически думать — это значит понимать жизнь как процесс непрерывного воплощения трудовой энергии в производство всего того, что называется материальной культурой… Исторически думать — это значит понимать, как вслед за работой создания материальной культуры и на ее почве возникла и развивается умственная, интеллектуальная культура…»

Художник-новатор, Горький глубже большинства современников осознавал необходимость сохранения преемственности историко-культурных национальных традиций.

Совершенно с иных позиций подходили к истории Сталин и его окружение. Новое надо строить вопреки проклятому прошлому. Прошлое — это средоточие пороков, насилия, зла… Россия — тюрьма народов. Горького до глубины души возмущало не только то, что навсегда исчезнет с карты России имя одного из ее славнейших городов. Чем больше задумывался он над самой процедурой подготовки этого «мероприятия», тем больше отвращения испытывал к ненавистным его сердцу художника закулисным играм.

Конечно, он прекрасно понимал, что за плотной народной массой, охваченной единодушным энтузиазмом, чуть поодаль стоит скромненький аппаратчик с циркуляром в руке. И в этом-то циркулярчике с точностью до запятой сформулировано, что

именно оная масса должна будет единодушно восславить либо, насупротив, гневно осудить. Аппаратчиков не очень смущали накладки, которые Горький отметил для себя уже потом, когда взвешивал весь ход событий.

Кто, так сказать, первым должен был произнести заветное «э»? Конечно, на том самом заседании 26 сентября, которое проводил Жданов в Нижнем, с предложением о переименовании должен был выступить сормовский рабочий (Овсянников была его фамилия).

«Громко грянула буря аплодисментов представителей доживавшего свои последние дни Нижнего», — восторженно вещала газета, для которой уже был отлит другой клишированный заголовок.

Буря аплодисментов… Предрекавший социальные бури в начале века, мог ли он предполагать, что «бурю» можно будет проводить в плановом порядке, абсолютно точно дозируя силу ее звучания, да и самый ее характер?

Возмущенный историей с переименованием, Горький внутренне порывался как-то выразить к этой процедуре свое отношение. Но как? Перебирая в памяти хронологию юбилейных событий, он убеждался, что ему не оставляли для этого никакой возможности. Ведь как обстояло дело? Поначалу шла масса подготовительных мероприятий, создавались всякие там комиссии, комитеты и так далее. Это, так сказать, первая фаза.

Вторая — сам юбилей. 17 сентября опубликовали постановление о награждении его орденом Ленина (свой первый рассказ, «Макар Чудра», он опубликовал в газете «Кавказ» в 1892 году, 12 сентября, — отсюда и пошло исчисление его литературного стажа).

25 сентября в «Правде» появляется приветствие ЦК ВКП(б), а вечером проводится торжественное заседание в Большом театре. Доклады А. Стецкого и А. Бубнова, приветствие А. Барбюса, стихи А. Безыменского…

Но кое-что озадачивало сразу. Открывший заседание от имени ЦК, ЦИК и Совнаркома Калинин огласил постановление о награждении орденом Ленина. Казалось бы, тут же его и вручить! Но почему-то не вручили… Вроде бы и заработал орден-то, да не вполне. И еще Постышев огласил предложение ЦК партии и нижегородских организаций о переименовании Нижнего Новгорода в Горький.

Оказывается, отголосок той «бури», которая прогремит еще только завтра в ждановском Нижнем, с какой-то непостижимой уму скоростью успел донестись сюда и в тот же день прозвучать со сцены Большого театра!

Однако централизованным путем трудно было предусмотреть все мелочи. И вот уже оказывается, что в сормовской газете не печатается вовсе ничего о торжественном собрании, на котором первым с предложением о переименовании выступил как раз сормович!..

С момента торжественного собрания (25 сентября) время ловко слизывало с календаря листок за листком, а Горький по поводу согласия на переименование высказываться и не думал. Благодарностей от него начальство так и не дождалось.

И вот лишь 7 октября, когда, собственно говоря, юбилей давно уже отгремел, принимается само постановление о переименовании… Так сказать, третья фаза, пост'юбилейная. И в тот же день Сталин со свитой приходит к нему как ни в чем не бывало, чтобы побеседовать об организации Всесоюзного института экспериментальной медицины, идею которого предложил Горький.

Уж не было ли это тоже своего рода «медицинским», точнее сказать, психологическим экспериментом? Твое категорическое нежелание принимать «подарок» — название города — уравновешивается высочайшим личным вниманием и осуществлением одной из твоих заветных идей?

Текст постановления был опубликован в «Правде» еще спустя три дня. «По ходатайству нижегородских местных общественных, партийных и профсоюзных организаций, в ознаменование 40-летия литературной и общественной деятельности М. Горького переименовать город Нижний Новгород в город Горький и Нижегородский край в Горьковский край».

Все-таки не послушали его! Переименовали-таки город «вдогонку» юбилею.

Горький вдруг особенно сильно ощутил какую-то тупую, каменную усталость. Больше всего выводило из равновесия то, что под видом чествования совершалось оскорбительное насилие над его волей. Разве могут соображения государственной необходимости утверждаться в жизни ценой унижения личности?

Уехать бы поскорей!

Но и уехать в Италию, оказывается, он пока не может: орден-то Ленина не вручен до сих пор! Не откладывать же получение до следующего приезда! Будет выглядеть как демонстрация…

А история с орденом почему-то принимала все более затяжной характер. Объясняли: то одно мешает, то другое… Продолжалась какая-то странная игра, которая, похоже, кому-то должна была доставить удовольствие.

Орден вручили спустя 20 дней после опубликования указа, 27 октября. И тотчас же, через день, Горький выехал за границу.

Выехал, несмотря на то, что в тот же день, 29 октября, открывался Пленум Оргкомитета Союза писателей. А ведь он являлся его почетным председателем…

Всего лишь за несколько дней до прощального дня он пишет землякам. Что? В газетах это было опубликовано как «Письмо рабочим и трудящимся города Горького». Скажем прямо, не только не очень выразительный, но и не очень грамотный заголовок: почему надобно как-то выделять рабочих среди остальных трудящихся? Но дело в том, что это не горьковский заголовок, а тот, которым снабдила текст редакция, и мы точно не знаем, согласовала ли она его с автором письма.

В этом не столь уж лаконичном послании нет ни слова о новом названии города, о благодарности землякам за оказанную честь и т. д. Вообще как будто бы ничего не произошло, все осталось по-старому. Да и адрес-то «письма» гораздо шире — оно, в сущности, обращено к рабочему классу страны.

Впрочем, был в тексте письма, вообще лишенного патетических славословий мудрому руководству, один пассаж, который мог заставить смекалистого читателя слегка призадуматься. Надеясь на то, что интеллектуальная энергия строителей социализма будет все более возрастать, Горький полагает, что «она поможет стальному организму нашей партии выбросить из него изработанные, стершиеся винтики, проржавевшие части»…

То Горький пишет Сталину, что в партию устремляется «двуногий хлам», то подпускает шпильку по поводу каких-то винтиков… А за Нижний — обиделся явно. Насмерть. Даже в заголовке не захотел своей рукой написать название города по-новому. Так и не сказал нужных слов, не выразил своей благодарности партии, не одобрил широко разворачивающейся кампании рождения новых названий, означающих разрыв с прошлым.

…Сталин не прощал ничего никому, и Горький при всей особости его положения не был исключением. Тут, как говорится, нашла коса на камень. И первый человек в государстве вовсе не намеревался уступать второму.

Горький жаловался многим (товарищ Сталин знает, кому именно: Фадееву, Бабелю, Зощенко, Катаеву, Толстому — товарищ Сталин знает все!), что недоволен переименованием Нижнего Новгорода. Видимо, Алексей Максимович не совсем понимает, что он тем самым предпринимает попытку ослабить авторитет партийного руководства, противопоставляет себя партии!

А потому вовсе не плохо, если в деле создания союзной

писательской организации примет участие как раз тот, кто проводил в жизнь партийное решение в Нижнем Новгороде. То есть товарищ Жданов. А Горький и все его окружающие должны хорошо усвоить, что нельзя оспаривать те решения, которые принимает Сталин. Нельзя быть недовольными ими. Во всяком случае, нельзя вслух выражать такое недовольство. Вслух можно выражать только одобрение.

ГЛАВА XV
Имени Сталина

Уезжал в Италию Горький со сложным, двойственным настроением. Не оставляло чувство жгучей обиды, нанесенной Сталиным в связи с переименованием Нижнего. И в принципе делать этого не следовало. И особое отвращение вызвало, как было сделано. Вот она, госпожа политика! Во всем ищи второй, скрытый смысл. Он все глубже убеждался, что в форме благодеяния совершается насилие. Насилие, ничуть не лучшее в нравственном отношении, чем то, против которого он восставал в Гражданскую. Только гораздо более изощренное! Пощечина в виде дружеского похлопывания по щеке…

Но с другой стороны, Сталин вроде оправдывался искренне: в истории с переименованием изменить он что-либо бессилен — голос массы, низов!

В последнее время Сталин терпеливо искал контактов с ним, все больше интересуясь делами писательскими, обещал всякого рода помощь. Больше спрашивал. Своего мнения не навязывал. Держался обходительно, деликатно давал понять, насколько нужен Горький стране для формирования в ней новой культуры. Ну просто — без Горького, как без рук!

Явно не хотел, чтоб уезжал Горький в плохом настроении. Уговорил накануне, за три дня, 26 октября 1932 года, встретиться с писателями в обширной гостиной дома на Малой Никитской, уставленной тяжелой, обитой кожей мебелью. Именно тогда и назвал он писателей инженерами человеческих душ…

Подводя итоги пребывания в России, Горький чувствовал, что связан с ней теперь накрепко, чем-то большим, нежели личное желание жить на Родине, каким бы сильным оно ни было. И какими бы ни были твои настроения по тем или иным поводам, никуда не денешься: надо служить новым людям, новому государству. Тем более, что задуманный им Союз писателей — идея получила горячую поддержку наверху — возглавлять вроде бы и в самом деле, кроме него, некому.

Да, защищать еретиков вроде Замятина надо непременно. И пусть Сталина удалось-таки уговорить отпустить его наконец за границу, надо непременно принять Замятина в рождающийся Союз. Но защищать не единолично, хотя и бескомпромиссно, как делал он сам в 1929-м. Ведь никто не поддержал его тогда, не вступился за «отщепенцев».

Писателей должен защищать не лидер-одиночка, а

организация. Литература, конечно, не может быть вне политики, как он пытался утверждать лет десять тому назад. Но она и не должна превращаться в служанку политики. Предстояло решить анафемски трудную задачу: связать писателей с идеей государственного строительства и одновременно оградить их от прямолинейно-некомпетентных вмешательств в выбор тематики, разработку замыслов — в святая святых — творческий процесс.

30-е годы… Мы пока еще далеко не до конца разобрались в том, какова итоговая равнодействующая, характеризующая умонастроения той исключительно противоречивой поры. По вполне понятным причинам в нашем сознании на первый план в последнее время вышла трагедия миллионов, вызванная вопиющими сталинскими беззакониями. И находятся даже последовательные борцы со сталинщиной, которые саркастически замечают: разве можно говорить о той поре по принципу «с одной стороны и с другой стороны». Дескать, с одной стороны, были беззакония, но, с другой стороны, был энтузиазм масс…

Приведем суждение нашей выдающейся современницы, филолога Лидии Яковлевны Гинзбург, чей творческий путь начался еще в 20-е годы и чьи труды получили наконец не только широкое общественное, но и официальное признание (государственная премия 1988 года за книги «О литературном герое» и «Литература в поисках реальности»). Заранее прошу прощения за длинную цитату из ее книги «Человек за письменным столом».

«Тридцатые — коллективизация, украинский голод, процессы, 1937-й — и притом вовсе не подавленность, но возбужденность, патетика, желание участвовать и прославлять. Интеллигенция заявила об этом и поездкой писателей по Беломорканалу, и писательским съездом 1934 года с речами Пастернака, Заболоцкого, Олеши и проч.

Нынешние все недоумевают — как это было возможно? Это было возможно и в силу исторических условий, и в силу общечеловеческих закономерностей поведения социального человека.

К основным закономерностям принадлежат: приспособляемость к обстоятельствам; оправдание необходимости (зла в том числе) при невозможности сопротивления; равнодушие человека к тому, что его не касается.

Напрасно люди представляют себе бедственные эпохи прошлого как занятые одними бедствиями. Они состоят и из многого другого — из чего вообще состоит жизнь, хотя и на определенном фоне. Тридцатые годы — это не только труд и страх, но еще и множество талантливых, с волей к реализации,

людей, и унаследованных от прошлого, и — еще больше — растормошенных революцией, поднятых на поверхность двадцатыми годами».

Л. Гинзбург уж никак не отнесешь к числу тех людей, которые объяты ностальгической тоской по старому. Ею руководит столь недостающее большинству из нас стремление освободиться из-под пресса эмоций и подняться на ту духовную высоту, которая позволяет в суждениях о времени сочетать достоинство гражданина, патриота и высшую объективность ученого.

И еще одно, простите, опять пространное суждение о 30-х другого нашего современника, представителя следующего поколения ученых, принужденного долгие годы публиковать свои труды за рубежом. Я имею в виду Роя Медведева.

«Конечно, в 30-е годы у нашего народа было немало поводов гордиться успехами, и не только в создании новых заводов, городов. Пропаганда превращала в подвиг народа, и в первую очередь Сталина, и коллективизацию, и разгром множества „вредительских“ и „шпионских“ организаций. Мы ведь не только Днепрогэс, но и Беломорско-Балтийский канал относили к великим подвигам, не подозревая, сколько десятков или даже сотен тысяч могил осталось на берегах этого канала или канала Москва — Волга. Но этого не знали, я думаю, и создатели фильма „Волга-Волга“… В это десятилетие были созданы и лучшие книги и фильмы о революции и Гражданской войне — „Как закалялась сталь“, 3-я и 4-я части „Тихого Дона“, „Чапаев“, „Мы из Кронштадта“, трилогия о Максиме — всего не перечесть. В жизни переплелись трагедия и пафос, тайные преступления, которые открылись нам только через 20 лет, и энтузиазм, с которым вступили в жизнь новые поколения. Лично я очень высоко оцениваю деятельность писателей и работников искусства 30-х годов. Они помогли сформировать те поколения советских людей, благодаря которым мы выиграли Великую Отечественную войну, на которые опиралась перестройка, начатая при Н. С. Хрущеве… Деятели культуры 30–40-х годов в своем большинстве были искренни, и это позволило создать им духовные ценности, большая часть которых и сегодня не потеряла своего значения. Это фундамент советской социалистической культуры. Писатели и режиссеры 30-х годов не обманывали нас — молодежь, они сами верили в ту картину, которую рисовали нам в своих произведениях. Их беда была нашей общей бедой — мы не понимали всей сложности и противоречивости происходящих событий, хорошее виделось нам гораздо лучше и ярче, чем плохое».

В суждениях Роя Медведева, в чем-то далеко не бесспорных, важны два момента. Нравственный аспект: субъективная честность людей 30-х, не знавших многого и потому заблуждавшихся, но не шедших на сознательную ложь (это получило широчайшее распространение в период брежневщины, что привело к нравственно катастрофическим последствиям). И второе: хорошее виделось гораздо лучше и ярче, чем плохое.

Вся страна была охвачена единым порывом гордости за спасение полярников-челюскинцев нашими летчиками, легендарным перелетом чкаловского экипажа через Северный полюс в Америку, вызвавшим невиданный энтузиазм и в этой заокеанской державе — цитадели империализма.

Только изнутри можно было распознать все коварство, изуверскую жестокость сталинского аппарата, выработавшего самые изощренные способы «устранения» неугодных, чтобы сделать несколько другой вывод относительно тех же героев-летчиков: «Шум, поднятый вокруг полярных летчиков, должен заглушить крики и стоны терзаемых в подвалах Лубянки, в Свободной, Минске, Киеве, Ленинграде и Тифлисе. Этому не бывать! Слово, слово правды все еще сильнее самого сильного самолетного мотора с любым количеством лошадиных сил. Верно, что летчикам-рекордсменам легче добиться расположения американских леди и отравленной спортом молодежи обоих континентов, чем нам завоевать мировое общественное мнение и потрясти мировую совесть! Но не надо себя обманывать, правда проложит себе дорогу, день суда ближе, гораздо ближе, чем думают господа из Кремля».

Это — отрывок из письма в ЦК ВКП(б), написанного выдающимся советским разведчиком «Людвигом» (Игнатием Рейсом) 17 июля 1937 года. Узнав о кровавых злодеяниях сталинской клики то, чего не могли знать массы, он нашел в себе силы порвать с воцарившимся в стране режимом тоталитарно-антисоциалистической диктатуры. «Людвиг» опередил Ф. Раскольникова и других, но быстро поплатился жизнью за свой шаг от руки ежовских агентов, систематически занимавшихся актами международного политического терроризма. (В структуре КГБ, оказывается, существовал специальный отдел по убийствам политических противников не только в стране, но и за рубежом.)

Нет слов, чтоб оценить героизм людей подобного рода, их нравственную чистоту. Но нельзя не сказать и об утопичности их представлений о сроках изменения сложившейся в стране ситуации. Режим единовластия начал меняться к лучшему гораздо позже, только после смерти его основателя…

Нельзя не учитывать, наконец, еще один чрезвычайно важный

фактор, определяющий мироощущение людей 30-х годов, — фактор международный. Первая мировая война, казалось бы кончившаяся давно, вдруг напомнила о себе: словно ее мощное запоздалое эхо по всему миру раскатился небывалый экономический кризис 1929–1933 годов, который до оснований потряс всю хозяйственную систему капитализма. Достаточно привести только три взаимосвязанные цифры. Общий объем промышленного производства сократился без малого на половину — на 44 процента. Объем мировой торговли — еще больше (на 61 процент). Сформировалась огромная армия безработных. От 30 до 40 миллионов людей штурмовали биржи труда в тщетной надежде получить хоть какую-то работу.

А что в одночасье произошло с самой процветающей в мире державой — США? 24 октября 1929 года на нью-йоркской бирже грянул обвал ценных бумаг. К 1933 году прогорели около 6000 банков. Разорилось 130 тысяч коммерческих кампаний. Четверть трудоспособного населения осталась без работы. От голодной смерти умерло две тысячи человек. И это — в Америке!

Беды в экономике породили и соответствующие процессы в политике. Процессы, которые, с моей точки зрения, явно недооцениваем мы, рассуждая об общественной атмосфере, окружающей внутрилитературные процессы в России.

Как известно, кризис капиталистической системы совпал с приходом к власти Гитлера в Германии. Многие представители западной демократии видели в СССР единственную альтернативу угрозе мировой фашистской экспансии. К концу 30-х годов (в Америке их называют «красными тридцатыми») ряды коммунистической партии выросли до 100 тысяч человек. Сторонники проводимых Рузвельтом либеральных реформ с социал-демократическим уклоном «Новый курс» считали коммунистов своими единомышленниками. В головах наиболее увлеченных апологетов свободы и демократии господствовал эйфорический туман, в котором начинали прорисовываться контуры едва ли не культа СССР. Дифирамбы успехам индустриализации (в которой, кстати, принимали активное участие американские специалисты) перерастали в дифирамбы Сталину. Ни о какой «охоте за ведьмами» тогда не могло быть и речи. В 1939 году 300 ведущих интеллектуалов Америки подписали заявление, «опровергающее» «фантастическую ложь» о сходстве Советской России с тоталитарными режимами. Политическое зрение американцев охватила удивительна слепота: они «не замечали» странных заигрываний Сталина с Гитлером (раздел Польши) и т. д. Наконец, именно историческая победа России над фашистским агрессором в ходе Великой

Отечественной войны подняла на невиданную высоту авторитет «дядюшки Джо», как стали называть вождя советской державы. Не только на соотечественников, но и на руководителей западных союзных держав Сталин мог оказывать воистину магическое воздействие. Как свидетельствует один из высокопоставленных советских дипломатов, при появлении Сталина какая-то неведомая сила поднимала с кресел участников тегеранской встречи, и даже сам Черчилль, к его собственному удивлению, вытягивал руки по швам…

Но мы несколько забежали вперед. С кризисных и «красных» 30-х пройдут еще годы и годы, когда тот же Черчилль произнесет в 1946 году в Фултоне свою историческую речь, послужившую стартовым сигналом к началу «холодной войны»…

Пока же даже западная пресса, занимавшая правые позиции, не только отмечала успехи Советского Союза, но в статьях порой сквозило смешанное чувство зависти и восторга по поводу невиданного «русского эксперимента».

В таких условиях, если вернуться к выражению историка, у желания замечать в своей стране скорее хорошее, чем плохое, возникала дополнительная мощная опора.

Горький не только не был исключением среди этого подавляющего большинства. Он полагал, что надо всячески пропагандировать хорошее, распространять его опыт, если угодно — даже несколько преувеличивать его, рисовать более яркими красками. Долго и тщательно осмысляя пути и способы создания писательского союза и благоприятной атмосферы для его деятельности с первых шагов, Горький придумал великолепное дело. По крайней мере так казалось ему тогда. Вдохновленный блистательным опытом Макаренко по воспитанию нового человека, Горький решил привлечь большую группу ведущих писателей для создания книги об одной из крупнейших строек, где происходила перековка личности. Выбор пал на Беломорканал.

17 августа 1933 года по инициативе Горького 120 писателей выезжают на канал, чтобы создать коллективный очерк об этом уникальном сооружении. И такая книга вышла.

Нет, Горький не был каким-то почетным редактором книги, так сказать, свадебным генералом. Он прошел с ней весь путь ее рождения, от начала до конца, хотя сам в поездке и не принимал участия. 25 августа, по горячим следам путешествия, он беседует с писателями, выясняет их впечатления и настроения…

Только один Горький мог поднять враз столько писателей на эту работу, говорил Лев Никулин.

3 сентября Горький произносит проникновенную речь на

слете ударников Беломорстроя. 6 сентября беседует о Болшевской коммуне, а 19 сентября его утверждают редактором книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. Под редакцией М. Горького, Л. Л. Авербаха, С. Г. Фирина».

На следующий день он выступает на заседании президиума Коммунистической академии с речью о значении канала, а уже к 17 октября утвержден план издания, приуроченного к XVII съезду партии.

До 20 декабря Горький написал предисловие к ней, а 5 января была опубликована информация об окончании работ.

В столь короткий срок никогда еще не создавалась такая объемистая книга (свыше 400 страниц большого формата, с иллюстрациями, схемами, толкователем непонятных слов и выражений). В производство она была сдана 12 декабря 1933 года, а из печати вышла через месяц с небольшим. Воистину нет таких крепостей, которых бы не брали большевики, особенно если надо было отрапортовать о достижениях к какой-нибудь знаменательной дате. В данном случае — к приближающемуся XVII съезду партии.

Авторами книги стали: Л. Авербах, Б. Агапов, С. Мальмов, А. Берзинь, С. Буданцев, С. Булатов, Е. Габрилович, Н. Гарнич, Г. Гаузнер, С. Гехт, И. Горбунов, М. Горький, С. Диковский, Г. Дмитриев, К. Зелинский, М. Зощенко, Вс. Иванов, Вера Инбер, В. Катаев, М. Козаков, Г. Корабельников, Б. Лапин, Д. Лебеденко, Д. Мирский, Л. Никулин, В. Перцов, Я. Рыкачев, Л. Славин, А. Тихонов, А. Толстой, К. Финн, З. Хацревин, В. Шкловский, А. Эрлих, Н. Юргин, Бруно Ясенский.

Как видим, в этом не таком уж коротком списке наряду с именами, мало что говорящими читателю спустя десятилетия, а порой подзабытыми несправедливо, есть и такие, что украшают нашу литературу.

Среди тех, кто принимал участие в поездке, но по той или иной причине не стал автором книги, следовало бы упомянуть Л. Леонова и Б. Пильняка, И. Ильфа и Е. Петрова, Л. Сейфуллину, М. Шагинян и Н. Погодина, М. Рыльского и Ю. Яновского, К. Тренева и Л. Соболева.

Открывалась книга статьей Горького «Правда социализма». С трудом укладывается в нашем сознании сегодня все то, о чем статья. В ней Горький приветствует процесс «массового превращения бывших врагов пролетариата-диктатора и советской общественности в квалифицированных сотрудников рабочего класса и даже в энтузиастов государственно необходимого труда». Пишет о покорении «враждебной людям природы», о том,

что введенная ГПУ исправительно-трудовая политика блестяще оправдывает себя, о мещанстве и профессиональном чванстве как препятствиях на пути воспитания нового человека… О чем угодно, но только не о реальных трагедиях тысяч и тысяч людей.

Писатель с гигантским жизненным и профессиональным опытом, он совершенно не замечает разительных противоречий в примерах человеческих судеб, которые приводит в статье. В одном случае это исповедь бывшего «кулака», чье хозяйство страдало и от белых, и от красных, и от немцев. Но в годы нэпа он все равно восстановил все хозяйство. «В 29 году оказалось, что я Советской власти противник, враг». Так попал он на строительство канала. Где русский человек не приживется? Плотник, он прижился и здесь, стал обучать ремеслу других. Вывод? «Плотничья работа — спокойнее, а к земле не вернусь, в колхозе я — не работник, а на какой-нибудь своей десятине — тоже радости не найдешь, лучше в носе пальцем ковырять».

Выразительнейший и горестный пример того, как происходило отчуждение крестьянина от земли, его раскрестьянивание. Но писатель, увлеченный построением своей концепции, не видит этого.

Считалось, что канал создан руками «преступных элементов» — воров, проституток, спекулянтов, перековывавшихся в процессе коллективного труда под уверенным и квалифицированным руководством. Только ли такими руками? Но об этом — дальше…

Горькому казалось, что коллективный труд на воздухе гораздо предпочтительнее в сравнении с пребыванием в условиях тюремного заключения. Может быть, в принципе это и так, но практика показывает, что совмещение в одном лагере уголовников и политических оборачивалось для интеллигенции самыми драматическими последствиями.

Вслед за статьей Горького в книге шли разделы, названия которых весьма характерны: «Страна и ее враги», «ГПУ, инженеры, проект», «Заключенные», «Чекисты», «Люди меняют профессию», «Добить классового врага», «История одной перековки», «Имени Сталина»…

Так или иначе, коллективная работа писателей по созданию летописи Белбалтлага явилась печальной и горестной страницей в истории нашей литературы. Она была шагом на пути к тому «сплочению» сил, которое вело к нивелировке индивидуально-личностного начала, а оно-то и составляет основу процесса литературного творчества.

Писателям были созданы все «условия» для работы. Прежде всего надлежало обеспечить бодрый, приподнятый настрой. Организовали поездку на «линкольнах» в Петергоф для осмотра

его дворцов и фонтанов, включенных в честь писателей и низвергавших водопады, сверкавшие на августовском солнце… После — невероятный обед в банкетном зале ленинградского ресторана «Астория».

Едва ли не самый молодой участник поездки, еще вчера бывший макеевский доменщик, ставший писателем, Александр Авдеенко буквально «ошалел от невиданного изобилия», как он напишет потом в повести «Отлучение». «Будто ожили картины, виденные в Эрмитаже. На огромных блюдах, с петрушкой в зубах, под прозрачной толщей заливного, растянулись осетровые рыбины и поросята. На узких и длинных тарелках розовеют ломтики истекающей жиром теши, семги, балыка. Бессчетное количество тарелок завалено пластинками колбасы, ветчины, сыра. Плавают в янтарном масле шпроты. Пламенеет свежая редиска. В серебряных ведерках, обложенные льдом и накрытые салфетками, охлаждаются водка, вино, шампанское, нарзан, боржом…» Это — только закуска…

Основательность заботы о них, проявляемой устроителями поездки — органами ОГПУ, писатели чувствовали постоянно. В спецпоезде, отправлявшемся к Медвежьей горе, месту отплытия парохода «Анохин», в четырехместном купе располагались по три человека. Четвертое место занимал… ящик с вином, коньяком, копченой колбасой… Разве плохо, если молодые, в большинстве своем, люди, собравшись воедино — не так уж часто писатели собираются вместе, — пообщаются, повеселятся, отвлекутся от каких-то там житейских неурядиц, забудут слухи о «недостатках» с продовольствием в стране…

…Спустя два года Роллан в дневнике с присущей его писательскому взору проницательностью подметит, что в стране, строящей социализм, происходит недопустимое социальное расслоение народа, «великая коммунистическая армия со своими руководителями рискует превратиться в особый класс, и, что всего серьезнее, — в привилегированный класс». Изложив в своем московском дневнике это обобщающее и очень важное по своей проницательности суждение, Роллан далее переходит к характеристике образа жизни своего друга: «Такой добрый и великодушный человек, как Горький, переводит за столом (хотя к еде сам едва прикасается) пропитание многих семей, ведет образ жизни синьора, не задумываясь об этом (и не испытывая от этого никакого наслаждения — наибольшей радостью для него была работа грузчика на Волге!)…» И все это — когда народу живется очень тяжело и «приходится все еще в тяжелой борьбе добывать себе хлеб…».

Проницательный Роллан не знал, однако, всей правды. А ведь

в ту пору, как нам известно теперь, на Украине набирал силу страшный голод — прямое следствие сталинской «аграрной политики». Из села выгребали все, вплоть до последнего зернышка. Люди опухали от недоедания. Вымирали деревнями. Пути из них оказывались зачастую перекрыты специальными отрядами. Имелись случаи людоедства…

Устрашающую картину событий 1933 года на Украине нарисовала в своем письме Н. Крупской дочь Короленко Софья Владимировна, направившая его для большей верности через Горького. Е. Пешкова на копии письма сделала пометку: «Получил А. М., передал мне для переговоров с Над. Конст.» (см.: «Литературная газета», 19 мая 1993 г.).

А что же Горький? Он весь, с головой, был поглощен обилием своих общественно-литературных планов…

Вернемся, однако, к путешествию писателей по Беломорканалу, во время которого им был устроен рай земной. В этом наглядно проявлялась политика Сталина по отношению к художественной интеллигенции. Пока в дело шел пряник. Кнут до времени был припрятан за спиной Хозяина…

Многие участники поездки чувствовали, что не могут ознакомиться с реальным положением дел на стройке. Бараки чистые. Дорожки посыпаны песком (ох уж этот «песочек», по поводу которого еще в 1928 году не без сарказма проезжался Бухарин). На вопросы писателей люди отвечают уверенно, без запинки… Да, воровали, грабили, осуждены. Отбывая срок, стали ударниками: рыли землю, рубили деревья, укладывали бетон, строили шлюзы. До того как попали в лагерь, не умели держать в руках ни топора, ни лопаты, ни молотка, а теперь имеют разряд квалифицированного бетонщика, слесаря, механика. Были преступниками, жили за чужой счет, стали нормальными работягами. Вредили на советских заводах и фабриках, злобствовали, глядя на победоносную поступь советского народа. Теперь больно и стыдно вспоминать прошлое.

Преступник перекован в человека! «Перековка». Это слово звучит чаще, чем всякое другое. Оно в песнях и речах, на кумачовых транспарантах.

Так излагает свои впечатления от встреч с каналармейцами Александр Авдеенко в упомянутой повести, которая доносит до нас много интересных подробностей жизни той поры, дел литературных, роли в них Горького, писательского лидера, предстающего совсем не в традиционном благостно-розовом свете…

Находились среди участников поездки и такие, у кого все же возникало немало недоуменных вопросов. Одним из наиболее

активно сомневающихся был Дмитрий Святополк-Мирский. Сын царского министра, в недавнем прошлом князь, эмигрант. Преподавал в Лондонском университете и Королевском колледже русскую литературу. Под влиянием трудов Ленина вступил в Коммунистическую партию Англии и, естественно, лишился преподавательского места как «красный». В газете «Дейли уоркер» активно пропагандировал советскую литературу, а вскоре при содействии Горького вернулся на родину. Забегая вперед, скажем, что позже он был репрессирован, как и большинство подобных ему «возвращенцев», вся вина которых состояла в том, что они в какой-то момент могли в чем-то усомниться. Впрочем, именно это-то и демонстрировал неосторожный бывший князь во время поездки, задавая множество вопросов руководителям стройки, и прежде всего начальнику Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря Семену Фирину.

Однако Святополк-Мирский был не единственным сомневавшимся. Те же сомнения грызли и человека с совсем иной биографией — В. Катаева, который прямо заявил, что «такая праздничная поездка не дает истинного представления о жизни каналармейцев». (Правда, потом, после дополнительного индивидуального ознакомления со стройкой, Катаев почему-то стал автором одного из самых восторженных очерков, вошедших в горьковскую книгу о канале, — «Чекисты».)

25 августа в Дмитрове, под Москвой, состоялся слет ударников-каналармейцев, посвященный окончанию строительства ББК. Постановлением ЦИКа более 12 тысяч бывших преступников были освобождены досрочно. Почти 60 тысячам срок заключения сокращен. С пятисот наиболее отличившихся снята судимость. (Всего в строительстве принимало участие 126 тысяч заключенных.)

Если все эти люди были действительно преступниками и если они действительно «перековались», результаты эти нельзя не признать впечатляющими. Но историкам еще предстоит проследить, хотя бы выборочно, насколько реальными, а не «бумажными» оказались эти результаты…

Вовсе не праздным является и такой вопрос: сколько из этих людей снова оказались потом в лагерях, только других? И сколько было окончательно «освободившихся» от всяких бедствий, поскольку отправились, как говорится, в лучший из миров? Есть данные о том, что в силу тяжелых условий и плохого медицинского обслуживания смертность среди каналармейцев была высока (что стоило в ту пору на место умерших поставить новых «раскулаченных» — ведь в ходе так называемой коллективизации сверху спускалась твердая разнарядка, какое

количество людей надо насильственно снять с земли и превратить по существу в рабов).

В окружении Горького хорошо знали о непоказной, закулисной стороне строительства. Роллан записывал в своем московском дневнике: «Получил анонимное письмо, очевидно, из окружения Горького (и без его ведома). Оно свидетельствовало о том, что наша личная переписка стала известна, ибо автор письма с горечью и яростным сарказмом намекал на наши реплики относительно строительства Балтийского канала. В письме Сталин назывался Хеопсом, а эти работы сравнивались с трудом рабов над пирамидами. По всему было видно, что писала женщина. Мы сидели за столом у Горького (летом 1935 года в Москве. — *В.Б.),* мы думали: „Эта женщина здесь. Кто она?“ У нас были основания подозревать любую. Значит, за столом Горького сидели враги (вероятно, не его лично, а убеждений)».

А может быть — враги его добровольных заблуждений?

Во всяком случае Горький полностью поддерживал идею «перековки». На слете в Дмитрове, вытирая слезы, говорил: «Я счастлив, потрясен. Все, что тут было сказано, все, что я знаю, — а я с 1928 года присматриваюсь к тому, как ОГПУ перевоспитывает людей (еще раз вспомним о влиянии Макаренко на взгляды Горького. — *В.Б.),* — все это не может не волновать. Великое дело сделано вами, огромнейшее дело!» «К тому времени, когда вы будете в моем возрасте, полагаю, не будет классовых врагов, а единственным врагом, против которого будут направлены все усилия людей, будет природа, а вы будете ее владыками… Я поздравляю вас с тем, чем вы стали. Я поздравляю работников ОГПУ с их удивительной работой, я поздравляю нашу мудрую партию и ее руководителя — железного человека товарища Сталина».

Идея строительства канала принадлежала этому «железному человеку». И открытие сооружения великий вождь освятил своим личным присутствием. Вместе с Ворошиловым и Кировым он ознакомился с системой гидротехнических сооружений и выразил свое немногословное одобрение итогов строительства. Зная лаконизм Сталина, руководители сооружения Белбалтлага испытали окрыляющее чувство гордости за содеянное. Сталин не обманул их ожиданий. Через две недели было опубликовано постановление ДИК СССР о награждении наиболее отличившихся на этом грандиозном объекте. Орденами Ленина удостоили ряд руководителей ОГПУ: Г. Ягоду, его заместителя Л. Когана, начальника Беломорстроя Бермана, начальника Главного управления трудовыми лагерями С. Фирина, его заместителя Я. Рапопорта — всего 8 человек. А получивших другие награды

было гораздо больше.

В том, что ОГПУ играло роль не только «гуманного педагога», заботящегося о перевоспитании правонарушителей едва ли не больше, чем о материально ощутимых результатах труда, свидетельствует и такой факт. Разумеется, не случайно Беломорканалу было уделено существенное внимание в никому не ведомом таинственном учреждении «ИЗ-2/48 г. Москвы», а иными словами — в музее Бутырской тюрьмы.

Знаменитая Бутырка… «Оный замок для содержания под стражей проектировал и строил русский зодчий М. Ф. Казаков», — гласит памятная запись 1771 года. Стены «оного замка» помнили бунтовщика Емельку Пугачева, доставленного в первопрестольную в железной клетке, народовольцев, участников знаменитой Морозовской стачки… Здесь Г. Кржижановский перевел с польского «Варшавянку». А потом… Здесь томились Осип Мандельштам и Николай Вавилов… Отсюда в тщетной надежде на облегчение Вс. Мейерхольд писал Молотову о том, что его, 65-летнего старика, избивают резиновым жгутом…

Так вот, в экспозицию музея органически вписывался и стенд о канале: карта-схема стройки, фотография Когана, бывшего заключенного, ставшего начальником строительства.

Такие метаморфозы, как мы знаем, назывались тогда «перековка». Однако в особых случаях направление свое она могла менять совершенно неожиданно. Трудно сейчас сказать, был ли, к примеру, Рапопорт на самом деле преступником или его объявили таковым, чтобы продемонстрировать воспитательную продуктивность «перековки». Разве не был подсадной уткой тот же Рамзин?

В грандиозном спектакле, разыгрываемом по сценарию Железного Хозяина, амплуа могли меняться по ходу действия, в любой момент… И финал этого спектакля выглядит достаточно символично.

…Однажды Емельян Ярославский, один из руководителей пропагандистского ведомства, вызвал к себе молодого живописца Налбандяна и, вручив ему письмо на имя наркомвнудела Ягоды, послал на Лубянку. Выяснилось, что этот визит не угрожает художнику никакими неприятностями. Более того, он получил крайне выгодный официальный заказ, до которых, заметим, стал столь охоч впоследствии, что превратился едва ли не в первого придворного живописца. Предстояло написать монументальное, если не по количеству действующих лиц, то уж во всяком случае по их значимости, полотно — Сталин, Ворошилов, Киров и Ягода на Беломорканале.

Налбандян трудился в поте лица, сделал более ста эскизов… Ворошилов охотно позировал сам в белом кителе. Хозяина заменял грузин-натурщик… С Ягодой было проще — с ним с первым и состоялось личное знакомство живописца. И вот когда картина была уже почти закончена, оставалось сделать лишь последние мазки, однажды, развернув поутру газету, Налбандян остолбенел: Ягода оказался врагом народа!

То ли Хозяин был милостив, то ли картина очень нужна, но ее создателю ничего не было за связь с врагом народа. Приказали просто убрать Ягоду с полотна. Убирать — не рисовать. Вызвали реставраторов, которые «все подчистили». На том месте, где стоял человек, теперь на перилах висел плащ… Цветовое пятно оказалось нужно для равновесия композиции…

Подобная же участь постигла многих других руководителей НКВД, имевших отношение к строительству канала (как ранее — к Соловкам).

Вспоминая о судьбе репрессированной Сталиным верхушки НКВД, думается, не стоит всех погибших ставить на одну доску с Ягодой. Среди них были люди, по-настоящему преданные делу, достаточно образованные, энтузиасты строительства нового общества. Этим и объясняется симпатия Горького к таким, как М. Погребинский, руководитель детской колонии в Болшево, как тот же Макаренко.

Такие люди не вписывались в грандиозные планы Сталина, создававшего систему Гулага, охватывающую всю страну. Стали нужны слепые исполнители Его воли, способные на все, вплоть до самой разнузданной жестокости. И он энергично подбирал и «воспитывал» таких людей, убирая ставший теперь неугодным слой руководителей с идеями. Идея утверждалась одна — преданность вождю. Все должны были проникнуться ею в равной мере. Чтобы легче было тасовать кадры, как карты, устраняя по мере необходимости тех, которые знали слишком много.

ГЛАВА XVI
Ослепленность

Участники экспедиции по каналу столкнулись с человеком, которого менее всего можно было бы ожидать в местах заключения.

Это был поэт Сергей Алымов, автор текста полюбившейся миллионам песни «По долинам и по взгорьям». Удивились: как он попал сюда? По настроение гостей было столь лучезарным, а представление об условиях, в которых оказывались интеллигенты, таким смутным, что А. Безыменский, под общий смех, пошутил:

— Сережу прислали таскать тачку по долинам и по взгорьям.

Если б тот же Безыменский мог хоть ненадолго поставить себя на место Алымова, он бы, наверное, написал новую главу в свою поэму «Трагедийная ночь»…

В ответ на вопрос, за что же все-таки попал сюда Алымов, тот только махнул рукой и, заплакав, полез на верхние нары. Что он мог сказать в присутствии Фирина?

За что мог быть осужден Алымов? Тогда сажали за рассказанный анекдот, за ироническую интонацию в словах о том или ином головотяпском распоряжении местного начальства (посягательство на авторитет Советской власти!) и т. д.

Сколько людей, подобных Алымову, очутилось за колючей проволокой, мы не знаем… Но хотя бы еще об одной изломанной человеческой судьбе не сказать нельзя.

Отрывок из письма.

> «Очень хочется рассказать тебе, что я придумал в области диалектики теории функций комплексного переменного. Помнишь, когда-то, лет 7–8 назад, когда ты занималась теорией аналитических функций, ты обратила мое (и свое) внимание на ряд чрезвычайно загадочных и глубоких в философском отношении учений в этой области. Теперь многие из этих учений (интегрирование по контуру, теоремы Моавра, Грина, Спокса и мн. др.) я продумал философски и привел их в стройную диалектическую систему. Надо обязательно дать тебе их на проверку и на благословение, так как все эти мысли — из нашей общей с тобою науки, которая есть сразу и математика, и астрономия, и философия, и общение с „вселенским и родным“ (как сказал бы Вяч.

Иванов). Книга эта по диалектике аналитич. функций, написанная мною пока в уме, посвящена, конечно, тебе. Да и какая теперь книга моя не будет посвящена тебе?! Все ведь освящено памятью о тебе, и все делается ради будущей встречи и жизни с тобою. Помнишь, как у тебя зародилась любовь к математике под влиянием твоего гимназического учителя. И помнишь, как ты под влиянием встречи со мною полюбила философию и музыку. Пусть обстоятельства жизни еще не привели тебя к тому, чтобы ты создала что-нибудь самостоятельное в математике и философии. Но ведь все то, что создавал я, принадлежит тебе не меньше, чем мне. И никому другому, как тебе, я обязан тысячью отдельных мыслей и чувств, отдельных теорий — рассудочных и опытных. Кроме того, мы слишком любим с тобою математику, чтобы сделать из нее ремесло. Радость моя, — Имя, Число, Миф — стихия нашей с тобой жизни, где уже тонут отдельные мысли и внутренние стремления и водворяется светлое и безмысленное безмолвие вселенской ласки и любви».

Можно подумать, что письмо о сложнейших проблемах науки, завершающееся словами о «вселенской ласке и любви», написано откуда-нибудь из санатория или дома творчества.

Таким «домом творчества» стал Беломорканал для автора цитированного письма, выдающегося русского философа и филолога Алексея Федоровича Лосева (с чувством какого чисто профессионального отвращения должен он был выводить на конверте исковерканные «неологизмы», отнюдь не обогащающие русский язык: «Свирлаг (Белбалтлаг) — Боровлянка (Сиблаг)…». (Письмо от 22 января 1921 г.) «Человек — вечная проблема, которая вечно решается и которая никогда не будет решена… А зачем окончательное решение? Чтобы перестать стремиться? Чтобы перестать быть проблемой?»

Энциклопедически образованный ученый, Лосев, увы, не усвоил одной простой истины: если человек и был вечной проблемой, то наступил в истории цивилизации такой «заветный» момент, когда проблема эта оказалась решенной раз и навсегда. И это скоро докажет другой философ в своем гениальном труде «О диалектическом и историческом материализме», который украсит «Краткий курс» истории партии.

А пока таким, как Лосев, место там, где исчезает дух вольномыслия, где приучаются думать не так, как хочется, а так, как надо.

Что ж, было немало и таких, кто, уцелев и оказавшись на свободе, начинал мыслить именно так, усвоив самую главную истину: плетью обуха не перешибешь. Были, однако, и другие… Те, чья мысль не могла смириться, не могла перестать быть мыслью, а не ее официальным подобием. Человеческая мысль всегда свободна, и именно здесь — главное выражение свободы человеческого духа. Но мысль всегда ищет скорейших и наиболее полных путей своей самореализации. И тут таится источник внутреннего протеста, ведущего в конце концов к дерзновенному бунту, к попытке переделать обстоятельства, устранить препятствия на пути мысли…

Зэк Лосев, ночной сторож лагерных сараев, слушая монотонный скрип снега под ногами, погружался в созерцание безмерного звездного неба, и его начинала одолевать ни с чем не сравнимая жажда жить, страстное желание постичь тайны вселенского бытия и написать книгу «Звездное небо и его чудеса». Но приходилось возвращаться на грешную землю и с чем же сталкиваться на ней? Лосев пишет жене спустя месяц после того письма, которое мы уже цитировали:

> «19 февраля 1932 г. Свирлаг — Боровлянка.
>
> В расцвете сил, на пороге новых и еще небывалых творческих работ, мы зверски избиты и загнаны в подполье — кем же?
>
> Не скрою от тебя (и не хочу, не могу скрывать), что душа моя полна дикого протеста и раздражения против высших сил, как бы ум ни говорил, что всякий ропот и бунт против Бога бессмыслен и нелеп. Кто я? Профессор? Советский профессор, которого отвергли сами Советы! Ученый? Никем не признанный и гонимый не меньше шпаны и бандитов! Арестант? Но какая же сволочь имеет право считать меня арестантом, меня, русского философа. Кто я и что я такое? И еще страшнее вопрос: что я буду через с 10 лет и даже не через 10, а через 5, через 3 и даже через год? Озлобление и духовное оцепенение, нарастающее изо дня в день, может привести к непоправимой духовной катастрофе, из которой уже нельзя будет выбраться на прежний путь. Я закован в цепи в то время, как в душе бурлят непочатые и неистощимые силы и творческие порывы, в уме кипят и напирают новые, все вечно новые и новые мысли, требующие физических условий для их осознания и оформления, а сердце, несмотря на холод и тоскливые сумерки теперешней моей жизни, неустанно бьется в

> унисон с какими-то мировыми, вселенскими пульсами, манящими в таинственную даль небывалых чувств, восторгов, созерцаний, красоты и силы духовных взлетов, умиления и подвига. Я меньше всего устал. Не чувствую никакой усталости. Наоборот, ощущаю кипение духовных и душевных сил и напор к работе, к творчеству… но невозможность проявить себя… удручает меня, озлобляет, обворовывает мою душу, лишает ясности самообладания и производит изнасилование свободно развивающегося духа».

Лосева арестовали в 1930 году, и полтора года он провел во внутренней тюрьме на Лубянке. В 1931 году, после выступления Л. Кагановича на XVI съезде партии, был осужден на 10 лет лагерей. Однако в 1933 году его освободили и даже сняли судимость.

В лагере Лосева ожидал страшный удар: он почти ослеп. А в 1941 году фугасной бомбой был разрушен дом, где жил ученый, погибли родные, были уничтожены рукописи, книги.

Жестокость судьбы казалась неимоверной… Но Лосев продемонстрировал невиданное величие духа. Теперь он диктует все свои книги, обратившись в первую очередь к проблемам эстетики. Так рождается фундаментальная «История античной эстетики» в 6 томах, за которую бывший зэк Белбалтлага в 1986 году был удостоен Государственной премии. Таков беспрецедентный результат одной несостоявшейся «перековки».

Великий писатель Горький и зэк Лосев в принципе могли встретиться в 1933 году на строительстве канала. Однако заочная их «встреча» произошла несколько раньше, 12 декабря 1931 года, когда Горький в одной из своих статей довольно пространно высказался о Лосеве. Вот отрывок из этой статьи.

«Среди буржуазных „мыслителей“ есть группа особенно бесстыдных лицемеров, их ремесло — сочинять книги о великих заслугах христианства в истории культуры, причем они забывают о поразительном изуверстве церкви Христовой, непрерывной пропаганде ею ненависти ко всем иноверцам, о садизме ее бесчисленных инквизиторов, забывают о неисчислимых ужасах „религиозных“ войн, о том, что эта церковь освящала рабство и крепостное право… В рукописной копии нелегальной брошюры профессора философии Лосева „Дополнение к диалектике мира“[48] сказано то самое, что ежедневно печатается в прессе политиканствующих эмигрантов, предателей трудового народа в прошлом, готовых предать его еще раз и завтра. Не считаясь с тем, что даже классовые враги Союза Советов признают факт

культурного возрождения русской трудовой массы, философ Лосев пишет: „Россия кончилась с того момента, как народ перестал быть православным. Спасение русского народа я представляю себе в виде „святой Руси““. Но что же такое, по мнению Лосева, представляет русский народ? Народ этот он характеризует так: „Рабочие и крестьяне безобразны, рабы в душе и по сознанию, обыденно скучны, подлы, глупы. Им свойственна зависть на все духовное, гениальное, матерщина, кабаки и циничное самодовольство в невежестве и бездействии“.

Нечего сказать — красивенький народ! И если б профессор был мало-мальски нормальный человек, он, разумеется, понял бы, что из материала, столь резко охаянного им, невозможно создать „святую Русь“, понял бы и — повесился. Только идиот может оценивать „зависть к духовному“ как порок. Но профессор этот явно безумен, очевидно малограмотен, и если дикие слова его кто-нибудь почувствует как удар, — это удар не только сумасшедшего, но и слепого… Что делать этим мелким, честолюбивым, гниленьким людям в стране, где с невероятным успехом действует молодой хозяин — рабочий класс, выдвигая из среды своей тысячи умных, талантливых строителей социалистического общества, — в стране, где создается новая индивидуальность? Нечего делать в ней людям, которые опоздали умереть, но уже гниют и заражают воздух запахом гниения».

Эту статью Лосев прочитал в лагере и послал в письме газетную вырезку жене, сопроводив ее внешне спокойным постскриптумом: «Шлю тебе вырезку из „Правды“ за 12 дек. 1931 г. Полюбуйся!»

«Полюбоваться», действительно, было на что! Помимо всего того, что не нуждается в комментариях, как дополнительный и в данном случае невольный удар ниже пояса прозвучал намек на слепоту Лосева…

А он, униженный и оскорбленный, спустя какой-то месяц писал жене: «Живу в общем сносно… И кто читает книгу о мифе, тот должен быть не больным, а здоровым».

Что обращает на себя внимание в суждениях Горького в первую очередь? Даже не их содержание, а тон. Это уже не критика. Это, кажется, действие по принципу «если враг не сдается, его уничтожают». «Критика» подобного рода опасна тем более, что она подразумевает невозможность самозащиты.

Дело исследователей истории русской общественной мысли 30-х годов разобраться в дальнейшем существе вопроса, погрузившись в сочинения Лосева, беря их в контексте его духовных исканий и обстоятельств развития страны в целом.

Ограничусь лишь кратким комментарием к двум важнейшим моментам.

Прежде всего о роли религии в развитии общества. Последовательный атеист и поклонник Разума, Ratio, Горький выступает как яростный противник церкви, являющейся «гасительницей разума» и заставляющей все принимать на веру. Но церковь и религия — не одно и то же. И наше общество с неизбежностью пришло к тому моменту в своем развитии, когда стало ясно, что религия в известной мере выступает как средство нравственно-философского возвышения человека, укрепления его внутренней самодисциплины. Не так ли понимал значение религии и сам Горький на рубеже 900-х — 10-х годов, когда увлекался богостроительством? Ведь Бог в его представлении тогда был выразителем высших потенций человечества.

На нынешнем этапе духовного развития страны и человечества наши представления избавились от былой, во многом неизбежной и обусловленной обстоятельствами, прямолинейности и односторонности. Но именно эти-то далеко не самые сильные проявления человеческого духа все активнее утверждались в 20–30-е годы. Все сильнее начинала господствовать ее величество Схема, некий безошибочно выполненный социологический чертеж, согласно которому и надлежало строить новое.

Что касается оценок Лосевым русского народа, то их односторонность очевидна. Но и тут следовало бы брать суждения философа как часть общей системы его рассуждений, имевших явно антиказарменный, антиадминистративный характер. Может быть, спасительный адрес исцеления (религия) был и не совсем точен, но главный грех автора состоял в конце концов не в этом, а в том, что он не видел возможности возрождения лучших качеств народа в условиях нарождающейся административно-командной системы.

И все же вряд ли справедливо было бы видеть в Горьком лишь «официоза», а в Лосеве лишь «диссидента». Они не только антиподы. И если уж труд, из-за которого философ попал в опалу, назывался «Диалектикой мифа», то не станем забывать и диалектику, как категорию не только научного мышления, но и повседневного человеческого бытия. Лосев и Горький союзники в главном — в отношении к жизни, если можно так выразиться, к жизнетворчеству.

У Лосева есть работа «Об интеллигентности», и один из ее главных постулатов таков: «Интеллигентность и переделывание действительности». «Культурную значимость интеллигентности… в наиболее общей форме можно обозначить как постоянное и

неуклонное стремление не созерцать, но переделывать действительность. Интеллигентность, возникающая на основе чувства общечеловеческого благоденствия, не может не видеть всех несовершенств жизни и ни в коем случае не может оставаться к ним равнодушной. Для этого интеллигенту не нужно даже много размышлять.

Интеллигентность есть в первую очередь инстинктивное чувство жизненных несовершенств и инстинктивное к ним отвращение».

Но разве это не есть то же, что горьковская проповедь действенного отношения к жизни?..

Тем огорчительнее, что жизненная концепция Горького обретала все больше того, что выражала официальная идеологическая доктрина. Нет, разумеется, Горький не превращался в прямолинейного, так сказать, «один к одному» выразителя главенствующей воли. Слишком велик он был прежде всего как личность и как художник. И все-таки идеологическое доктринерство все более сдерживало свободу движения его мысли. А мысль, лишенная свободы движения, — это уже не совсем мысль. Это уже, так сказать, мысль идеологизированная. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Величие Лосева состояло в том, что, гонимый, лишенный официального признания, он остался верен своей мысли, бережно нес ее по жизни до конца. И жизнь возблагодарила его.

Решающая роль в освобождении Лосева из заключения принадлежит прежде всего Екатерине Павловне Пешковой, а также Марии Ильиничне Ульяновой. Помогала им в подобных делах и легендарная народоволка Вера Фигнер, проведшая двадцать лет в мрачных казематах Шлиссельбургской крепости.

Горький не одобрял деятельность своей бывшей супруги — а знать о ее работе он знал: виделись они довольно часто. Екатерина Павловна при встрече с Ролланом жаловалась ему на неприязненное отношение Горького к ее работе в политическом Красном кресте. Он считал, что нельзя вмешиваться в государственные дела. «Действительно, — продолжает свою запись в дневнике Роллан, — у госпожи Пешковой связаны руки: она почти ничего не может больше сделать. В отличие от нее — Ягода по просьбе госпожи Пешковой или моей мог бы добиться смягчения наказаний; но госпожа Пешкова не может примириться с тем, что эти исключения делаются из одолжения, в то время как этого требует общечеловеческий долг… Госпожа Пешкова проводит четкое различие между тем, что делается в отношении уголовных преступников, которых перевоспитывают, — и судьбой политических заключенных, для которых не делается ничего».

Тем выше мы должны оценить деятельность Пешковой, что ее усилия не могли вызвать благоприятного отношения начальства. Да и к тому же в прошлом сама она являлась членом партии эсеров.

Нетрудно представить, в каком плане мог сложиться разговор между бывшими супругами об одном из политических — Лосеве, особенно после того, как появилась в печати статья Горького «О борьбе с природой».

ГЛАВА XVII
Надо ли охранять природу?

Итак, статья, в которой Горький критиковал Лосева, называлась «О борьбе с природой».

Сейчас повсеместно в нашей стране и во всем мире развертывается движение в защиту природы от ведомственных посягательств на нее, посягательств столь агрессивных, что отходы производства — газы, отравляющие атмосферу, сточные воды, загрязняющие реки и озера и т. д., — грозят вообще лишить человека нормальных условий существования и ставят, таким образом, вопрос о продолжении жизни на Земле…

В последние годы решительно заговорили о волюнтаристских тенденциях в статьях Горького 20–30-х годов, где он упорно твердит о «поэзии преодоления сил природы силою воли человека», о «создании новой „географии страны“»… И даже — называет человека «врагом природы, окружающей его»…

Слова «борьба с природой» звучат ныне едва ли не кощунственно, а уж «враг природы» — тем более… Кому-то память может подсказать нечто внешне созвучное: «враг народа»…

Многие из горьковских формулировок, попадающихся в его публицистике, действительно не могут нас нынче не шокировать. Читая иные из статей, диву даешься той ослепленности, которая присуща их автору. Эколог Ф. Штильмарк, критически отозвавшийся об одной из моих статей о Горьком, совершенно прав, связывая горьковскую концепцию борьбы с природой с проповедью антропоцентризма, преклонения перед якобы безграничными возможностями человека, носителя Разума, для торжества над всем, что его окружает. Дело доходило до крайности: ведь наряду с призывом «взяться за основного, древнего врага нашего: за борьбу с природой», прозвучавшим в речи Горького на слете ударников Беломорстроя в 1933 году, выражается радость по поводу деятельности ГПУ, «переплавлявшей людей»…

Увы, крупнейший литератор словно бы полностью попадает во власть восторжествовавших в пору сталинизма идеологических стереотипов (борьба, возведенная в ранг культа, враги, вредители и т. д.). Авторитетный наставник литераторов, ратующий за точность словоупотребления, он сам порой начинает употреблять слова, как бы не до конца отдавая себе отчет в их подлинном значении.

Что такое враг? Существо, которое сознательно поставило цель нанести нам вред. В таком случае разве можно Природу считать врагом? Преклонение поэтов прошлого перед природой можно ли назвать лестью? Ведь лесть — это заведомая угодливость по отношению к кому-то с расчетом явно небескорыстным. И так далее…

Но все же ставить на всем этом точку было бы не совсем справедливо. Если продраться сквозь коросту всяческих идейно-стилистических наслоений (идущих и от заблуждений писателя искренних, и от тех, в которых очевидна дань конъюнктуре), нас ожидает подлинно горьковское, сокровенное. (Принимать ли нам это сокровенное — другой вопрос.)

Обратимся к цитате, которую Ф. Штильмарк приводит в своем письме в редакцию «Литературных новостей», но — не полностью. Страшновато звучащий сейчас призыв «взяться за основного древнего врага нашего — за борьбу с природой» прерван рано. Дальше у Горького идет: «за освоение ее стихийных сил» (Собр. соч. в 30 тт., т. 26, с. 76).

А между тем в этой-то маленькой «добавке» весь смысл! Бороться с природой для Горького — это покорить выжженные солнцем пустыни, победить засуху, свести на нет сорняки, лишающие питательных соков жизненно необходимые человеку растения, уничтожить комаров, тараканов и других вредных насекомых, грызунов — разносчиков страшных инфекций вроде чумы. По возможности — научиться предсказывать землетрясения и другие стихийные бедствия, а еще лучше — локализовать их…

Каждую из этих задач берет на себя какое-то ведомство, научное подразделение, и — ничего, для всех это приемлемо. А вот свел один человек все воедино, да еще облачил в агрессивно-наступательную форму (ох уж эта «борьба»!), и теперь его слова вызывают шоковую реакцию.

А между тем у того же «загибщика», «ультиматиста» черным по белому писано, что воевать надо лишь с теми явлениями природы, которые «делают бесплодным труд миллионов людей» (статья «Засуха будет уничтожена», т. 26, с. 151).

Нелепо думать, что для Горького природа некий враг вообще, которого, как утверждает Штильмарк, он, Горький, аж ненавидит. Чуть ли не тот, которого уничтожают напрочь, ежели он не сдается…

Да разве Горькому вовсе чуждо было изначальное чувство прекрасного, восхищение пейзажем — и не только неаполитанским? «Что бы мне ни говорили об Алексее Максимовиче, — пишет Федор Шаляпин, — я глубоко, твердо, без малейшей интонации сомнения знаю, что все его мысли, чувства,

дела, заслуги, ошибки — все это имело один-единственный корень — Волгу, великую русскую реку, — и ее стоны…»

А как любил Горький птиц и сколько вдохновенных страниц посвятил им в рассказах и автобиографических повестях! А как писал о походах с бабушкой в лес…

И если уж еще раз вернуться к Волге — да разве бы одобрил он проект ее «поворота», родись он в голове какого-нибудь «генерала» из соответствующего ведомства!

Суть горьковских взглядов заметно искажает завеса эйфорического тумана, родившегося в головах энтузиастов 30-х годов, решивших переделать все и вся, та эйфория, которой не избежал и сам писатель и воцарению которой, увы, способствовал.

Критики Горького подчеркивают огромное, может быть, даже гипертрофированное значение антропологически-рационалистического начала в мировоззренческих взглядах Горького, культ Ratio, мысли. Но вот это преклонение перед мыслью и предостерегало его от приписываемых ему крайностей экстремистского толка, призывов не то чтобы покорить, победить природу как врага, но и чуть ли не «разбить этого врага наголову».

В изначальной активности же отношения человека к природе не только нет ничего зазорного, но она в самой, простите за тавтологию, природе человека. Правда, он не застрахован от волюнтаристских крайностей, особенно в обществе, в котором отсутствует подлинная гласность. Но опять же это другой вопрос.

Штильмарк критикует Горького за то, что тот породил целый легион писателей, прославлявших борьбу с природой (кто из людей моего поколения не помнит: «Человек сказал Днепру: я стеной тебя запру»). Но вспомним, к примеру, Д. Гранина, автора романа «Иду на грозу», и зададимся вопросом: «борется» ли с природой его герой Крылов? Он прежде всего познает механизм грозы, образования молний, стремясь подчинить его человеческому разуму. Но что в том плохого? И что плохого, даже когда «борьба с природой» приобретает иной раз характер воистину военных действий: в ход идут пушки, расстреливающие облака.

Конечно, «лирики» могут с негодованием осуждать действия агрессивных «физиков», нарушающих благостную тишину выстрелами, от которых пострадают «тучки небесные, вечные странники». Выходит, не надо обижать тучки и прерывать их вольный маршрут, если даже образовавшийся в них град побьет виноградники?

Не нелепо ли предписывать научно-техническому прогрессу

движение вперед затылком, с взором, обращенным в прошлое, где царило благостное восхищение природой. Приводившихся выше примеров, наверное, достаточно, чтобы убедиться в чрезмерной категоричности утверждения классика, будто «нет безобразья в природе»…

А если мы приплюсуем к сказанному такие беды, как СПИД, эту чуму XX века? Разве это не порождение все той же и в самом деле великой и прекрасной природы, однако тех заключенных в ней же самой сторон, которые грозят гибелью человечеству?

Воззрения Горького на систему «человек — природа» стали формироваться задолго до того, как начались коренные преобразования в стране. Обратимся в заключение к уникальной в системе публицистического цикла «Несвоевременные мысли» статье «Свободная ассоциация наук», опубликованной в виде обращения к гражданам России 30 мая 1917 года (она не вошла впоследствии в сборник, составленный Горьким, возможно — в силу ее максималистского характера, не вполне соответствовавшего складывавшейся в стране ситуации).

Вначале Горький сообщает, что в Петрограде организовалась «Свободная Ассоциация для развития и распространения положительных наук», в которую вошли крупнейшие ученые. Предполагалось основать в России «Научный институт в память 27 февраля» — дня рождения «нашей политической свободы».

«Цель института, — пишет Горький, — расширение и углубление работ ученых по всем линиям интересов человека, общества, народа, человечества.

Первейший из этих интересов — борьба за жизнь, против тех болезнетворных начал, которые разрушают наше здоровье. Явление жизни изучает биология, бактериология исследует источники заразных болезней, медицина стремится уничтожить их, гигиена изучает и указывает те условия, при которых человек становится более стойким в сопротивлении болезням.

Биолог, медик, гигиенист должны знать химию, пользоваться услугами физики, точно так же, как должен знать эти науки ботаник, изучающий жизнь растений, и агроном, который, опираясь на работу ботаника и геолога-почвоведа, заботится о том, чтобы усилить плодородие земли, увеличить ее урожайность.

Все науки тесно связаны одна с другой, — завершает Горький вводную часть обращения, — и все они — стремление человеческого разума и воли к победе над горем, несчастьем, страданиями нашей жизни»[49].

В последующих разделах статьи-обращения содержатся рассуждения об отдельных сферах социально-хозяйственной жизни страны, и всякий раз они оканчиваются конкретными

предложениями. Население России, и прежде всего деревни, «живет в ужасных условиях, не имея правильно организованной медицинской помощи». В целях оздоровления нации нужен «Институт биологии».

Россия исключительно обильна естественными богатствами, но процветает каторжный и бестолковый труд. «Мы не умеем разбудить дремлющие силы природы … мы не умеем обрабатывать сырые продукты — нужно учредить „Институт химии“».

«Мы не умеем строить машины: нам необходимо иметь в России „Институт прикладной механики“».

Статья Горького воистину удивительна: перед нами словно обращение ученого, где-то в ранге президента Академии наук. А ведь написал его «самоучка», за спиной которого три класса Канавинского слободского училища.

В истории мировой литературы мы вряд ли найдем какого-либо еще писателя, который бы так ценил значение науки в жизни общества, как Горький. Это ему принадлежат слова: наука стала нервной системой XX столетия.

Горький пришел в мир в момент его коренного научно-технического переустройства. Мировоззрение писателя с поразительной чуткостью восприняло и вобрало в себя главные интеллектуальные импульсы эпохи. И когда в послеоктябрьские годы началось гигантское промышленно-техническое преобразование России, он расценил это не просто как вещественное воплощение планов правящей партии, но в первую очередь как воплощение своей собственной мечты. Он больше думал о материально ощутимых результатах человеческого труда в виде фабрик, заводов, электростанций, чем о тех усилиях, которые были затрачены на их сооружение. Так в сознании гуманиста общество, государство, созидающее все это во имя Человека, стали заслонять человека реального, того, кто держал в руках лопату или рукоятку тачки…

И когда подчеркивают, что в мировоззренческой концепции Горького слишком большое место занимало покорение природы, то не забудем, что писатель не рассматривал это как замкнуто-самоцельный процесс. В статье «Заметки читателя» (1927) Горький подчеркивал, что его занимает вопрос об отношении молодой советской литературы к «хозяину жизни — человеку, врагу природы, окружающей его…». И тут же мысль развивается дальше: «создателю „второй природы“ на основе познанных и порабощенных им сил первой, врагу и „ветхого Адама“ в себе самом».

В 30-е годы люди торопились переделать все. Жители страны

с богатейшими природными ресурсами об экономии думать не старались, руководствуясь нехитрым успокоительным правилом: «лес рубят — щепки летят».

Был ли Горький сторонником подобной узко-«щепочной» психологии? Человек с гигантским кругозором, он смотрел на все происходящее не только с точки зрения плана пятилетки, но и с учетом всего общечеловеческого опыта, обретенного им вследствие чтения бездны книг, подкрепленного личными впечатлениями о жизни не только своей страны, но также Америки, Германии, Чехословакии, Италии…

Философ, пропагандист активно-оптимистического отношения к жизни, он вовсе не был казенным бодрячком, действующим в угоду пропагандистскому ведомству. Он часто говорил об изначальной трагичности человеческого бытия на Земле, связанной с одиночеством человека во Вселенной, с болезнями, слабостями человеческой натуры, с мыслями о смерти и мечтой если не о ее преодолении, то хотя бы о существенном продлении человеческой жизни.

Горьковская концепция природы куда ближе к истине, чем мы думаем. Потому что писатель исходит из диалектического представления о том, что путь к идеалу, гармонии лежит через преодоление противоречий. А они — противоречия — в принципе неустранимы. Преодолей одно — народится другое. Без противоречий жизни не существует.

В конце жизни Горький стал инициатором создания Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ). Ему были дороги искания его товарища по партии, философа-«еретика» А. Богданова (Малиновского). После революции тот отошел от политической деятельности, каковой с таким увлечением занимался в пору совместного с Горьким пребывания на Капри, и основал Институт переливания крови. В год первой поездки Горького в Россию (1928) поставил опыт на себе и погиб. Вот оно, подлинное безумство храбрых! В науке, познающей тайны Вселенной (а разве это не есть разновидность борьбы с природой?!), такому безумству воистину нет предела.

Да, болезни можно и нужно победить! Но как быть с землетрясениями? Вспоминал неотразимое впечатление от первой поездки в Помпеи. Целый город мгновенно был погребен под грудами раскаленной лавы. Ходил по раскопанным улицам. Содрогнулся, увидя тень на камне от мгновенно сгоревшего человеческого тела. Восторгался стройностью колонн, красотой разноцветных мозаичных ковров, устилавших полы вилл и круглых бассейнов…

Ну если человек бессилен уничтожить такие бедствия, как

извержения вулканов или землетрясения, то, по крайней мере, надо научиться предсказывать их, чтобы ограничить их катастрофические последствия. Ведь чувствуют же надвигающиеся бедствия животные! А как же царь природы — человек?

…Для кого-то природа по-прежнему храм — и только. Для других — лишь мастерская. Но право же, дилемма по принципу «или — или» представляется теперь и наивной и опасной.

«Наука, ее открытия и завоевания, ее работники и герои — все это должно бы явиться достоянием поэзии. Эта — научная — область человеческой деятельности, может быть, более, чем всякая другая, достойна восхищения, изумления, пафоса».

Наверное, и тут Горькому не удалось избежать преувеличения. Но разве не ясно, что писатель прав, исходя из мысли о все возрастающей роли научного знания в жизни общества? Научная мысль не антипод естественного самодвижения жизни. Она мощнейший инструмент активного познания и преобразования ее на основе присущих самой жизни внутренних закономерностей. Общеизвестно? Да. Но повторять эту истину приходится потому, что Горького пытаются отлучить от нее.

Однако нелепо было бы, с другой стороны, отрицать, что горьковские взгляды несут на себе отчетливую печать определенного этапа развития общества с присущей этому этапу исторической ограниченностью. Чего недостает горьковской концепции? Природа в его понимании — издавна сложившаяся данность. Человек должен «взять у нее» (а то и вырвать!) то, что ему, высшему существу, потребовалось. А природа — молчит? Нет. Казалось бы, начисто лишенная «обратной связи», она может со временем потребовать «отдать обратно» присвоенное, точнее, оплатить его стоимость. И тогда «природа науку долеет» (как говорит один из мужиков в романе Леонова «Барсуки»)…

Как всегда, гармония трудно достижима, но надо свести к минимуму издержки на пути к ней…

ГЛАВА XVIII
Вождизм — заболевание психики

…Теплоход «Жан Жорес» дал прощальный гудок и, отвалив от причала неапольского порта, взял курс на Стамбул, а затем — на Одессу.

Девятое мая 1933 года… Домой! Теперь уже насовсем!

Жадно смотрел Горький на полукольцо бухты с обилием разноцветных катеров у берега, покачивающихся на волне, на деревья с раскидистыми ветками, с непривычным для русского уха названием — пинии (запечатлены на всех открытках)… На купол Везувия.

Прощай, Италия! Прожил он здесь (если не считать дореволюционные каприйские годы) ни много ни мало почти десятилетие. Приехал в Неаполь 7 апреля 1924 года. И сразу же его ждал сюрприз. Буквально в тот же день, словно поджидая появление писателя, газеты опубликовали итоги выборов в итальянский парламент. Большинство депутатских мандатов удалось заполучить фашистам.

Когда Горький в 1921 году выехал в Германию, во главе фашистской партии там встал Гитлер. История словно бы заботливо напоминала о том, что никак нельзя пропустить это новое явление в политической жизни Европы.

Но можно ли было не замечать фашизма, коль скоро он сам все более громогласно заявлял о себе! Вот и теперь, за месяц до отъезда из Италии, писал Горький по поводу фашистского переворота, происшедшего 30 января 1933 года в Германии, когда восьмидесятишестилетний президент Гинденбург преподнес пост рейхсканцлера Гитлеру. Бесноватый ефрейтор кипел нетерпением: сразу, 1 февраля, распустил парламент! Горький сообщал Вс. Иванову 5 апреля: «Человек я вообще — как будто — сдержанный, но дошел до того, что, по ночам, впадаю в бешенство. Останешься один, представишь себе происходящее историческое свинство и, ослепленный ярким цветением человеческой пошлости, подлости, глупости, начинаешь мечтать о том, как хорошо было бы разбить несколько морд, принадлежащих „творцам“ современной действительности…»

Насчет «битья морд» он, конечно, выразился фигурально. Но фашисты и в Германии, и в Италии, похоже, сделали это своим повседневным занятием. Вспомнил, как еще в июне 1924 года убили они депутата-социалиста Джакомо Маттеотти (вот она, их так называемая парламентская неприкосновенность!), стоило

только тому выступить против фашистских беззаконий. А вскоре официально ввели смертную казнь.

Народ был терроризирован. Все партии, кроме фашистской, распущены. Стоило кому-то подать голос протеста, его ждала зверская расправа. До смерти был избит штурмовиками Джованни Амендола, представитель парламентской фракции Итальянской социалистической партии.

Полиция врывалась в дома интеллигенции. Явились к Роберто Бракко, заперли в ванной комнате. Все книги, рукописи выбросили во двор и сожгли. Еще хлеще выглядит история с Бенедетто Кроче. Перерезали провода в квартире, перебили, переломали вещи… А одного сенатора вызвали в какое-то фашистское учреждение, продержали там всю ночь, а утром, вернувшись домой, он обнаружил в квартире разгром, учиненный так усердно, что в одной из комнат оказалась проломленной стена. Не случайно в Неаполе ежедневно поступало до 300 заявлений о выезде за рубеж…

Все эти факты он тщательно фиксировал на отдельных листочках (записных книжек не любил — так удобнее).

Непрошеные гости явились однажды и к нему, на виллу «Il Sorito», и учинили обыск в комнате Марии Игнатьевны Будберг, его секретаря. Пришлось писать протест аж «самому» Муссолини. Впрочем, какие это пустяки в сравнении с тем главным, что олицетворяют разворачивающиеся события.

Муссолини провозгласил подлинный культ войны как высшего проявления человеческих способностей! До какого маразма может дойти общество, подарившее человечеству такие памятники, как галерея Уффици и Колизей! Однажды «Последние новости» Милюкова, помнится, в 1926 году, перепечатали заметку из газеты «Империо», в связи с возвращением Муссолини в Рим. «С сегодняшнего вечера фашистская революция (революция?!) должна ускорить темп для того, чтобы прийти к своему завершению. Враги фашизма в Италии должны быть уничтожены без остатка. Фашистская месть ренегатам! С сегодняшнего вечера (ну просто ни раньше, ни позже!) нужно покончить с дурацкой утопией тех, которые считают, что каждый человек может мыслить своей собственной головой. Италия имеет только одну голову, фашизм имеет один только мозг. Эта голова, этот мозг — наш вождь. Инакомыслящим мы отрубим головы без всякой пощады».

Взял тогда красный карандаш, жирно подчеркнул слова: «нужно покончить с дурацкой утопией тех, которые считают, что каждый человек может мыслить своей собственной головой».

А что, если, не дай бог, этого добьются? Что может произойти

с народом, рабски, бездумно подчиняющимся воле диктатора? Нет, допустить такое мысль отказывалась напрочь!

Он еще не мог знать пока, какие сюрпризы преподнесет миру фашизм, в первую очередь германский… И тем более не мог предполагать, какую реакцию — и как быстро! — вызовет сам факт распространения фашистской идеологии не только в странах Запада, но кое у кого даже на родине, в Советском Союзе…

…Размышляя о Горьком 30-х годов, о его жизненной позиции, едва ли в полной мере осознаем мы трудность положения писателя. Вряд ли еще какой-нибудь другой литератор XX столетия стал в такой мере средоточием трагических противоречий века. Сын России, решительно вставшей на путь революционного обновления и строительства социализма, он долгие годы в силу разных обстоятельств прожил в условиях противоположной, капиталистической системы. Русский, он оказался в окружении эмиграции, настроенной враждебно или, по крайней мере, оппозиционно к новой власти и к нему лично. И вот теперь, после первой мировой войны, когда Европа была потрясена революциями в Германии, Венгрии и смертельно напугана выдвинутым большевиками лозунгом революции мировой, буржуазия породила фашизм. Режим неограниченной диктатуры, фашизм — «отрицание культуры и проповедь войны». Против кого? Естественно, в первую очередь против единственной в мире социалистической державы.

Друзья, близкие люди, во множестве приезжавшие к нему в Италию, не раз спрашивали, как он относится к гонениям на интеллигенцию, имевшим место в СССР в конце 20-х — начале 30-х годов, как смотрит на множество трудностей и противоречий, которых могло бы не быть. Ну что он мог ответить им? Что, кроме того, что его критика правительства в глазах Запада, да еще отсюда, могла бы принести гораздо больше вреда, чем пользы. Это начинали отчетливо ощущать и выдающиеся современники Горького, например Стефан Цвейг, встречавшийся с Горьким во время приезда в Советский Союз в 1928 году, а затем навестивший его во время путешествия по Италии спустя два года. Вскоре после этой, второй встречи Цвейг писал Роллану: «Горький хорошо знает, что весь мир ждет от него свидетельства: Советы ждут, чтобы он высказался за них и все одобрил, а другие ждут, чтобы он все осудил. А он молчит, и кто способен понимать, может понять и его молчание; ведь не станешь же ругать собственное дитя, даже если оно уродилось не таким, как нам хотелось. Его положение *абсолютно трагично*…» (выделено мною. — *В.Б.)*.

Находились художники, которые, превыше всего ценя свою духовную независимость, становились «над схваткой». Сальвадор Дали, например, своим суждениям придавал даже заостренно эпатажную форму: «…Гиена общественного мнения разинула пасть и, пуская слюни, потребовала меня к ответу — за Сталина я или за Гитлера. Чума на оба ваши дома! Я за Дали — ныне, присно и во веки веков. Я — далинист. Я не верю ни в социализм, ни в национал-социализм. У меня своя вера — высокая Традиция, антитеза Революции».

Разве мог Горький сказать что-нибудь подобное?

Еще живя в Италии, он воспринимал все происходящее в России по законам контраста, куда более резкого, чем те, кто жил там, и воочию не видел того, что происходит здесь, и знал о происходящем здесь лишь по газетам. А ведь большое видится на расстоянии.

«Изумительное десятилетие… отсюда, со стороны, где можно сравнивать и не с чем сравнить мужественную, героическую работу вашу, отсюда лучше видно, более понятно, каковы вы есть, работники», — писал он на Родину. А уже вернувшись домой, летом 1933 года, сообщал Ромену Роллану, излагая, так сказать, обратный ход восприятия событий: из СССР «особенно ярко видишь мрачную фантастику происходящего в Германии, Австрии».

В определенной степени этим можно объяснить, почему на второй план отходили внутренние противоречия развития страны, озадачивающие моменты в действиях ее политического руководства. Объяснить — почему он вынуждал себя идти на компромиссы, вроде посещения Соловков.

Характерно его письмо наркому просвещения РСФСР А. Бубнову от 5 февраля 1933 года, написанное еще до отъезда из Италии. «…Читал я речи, произнесенные на пленуме (имеются в виду материалы Объединенного пленума ЦК и ЦК ВКП(б), проходившего 7–12 января. — *В. Б.),* и — радовался, и было тоскливо, что я не с Вами, товарищи, а здесь, где запах гниения становится все гуще и все сильнее начинает попахивать обильным кровопролитием…»

Возможно, поэтому не вызвали у него беспокойства и недоумения все чаще раздававшиеся панегирики Сталину, которого называли единственной фигурой, имевшей право на то, чтобы сосредоточить в руках всю полноту власти. И это так важно перед лицом угрозы с Запада, которая становится все более реальной. Ведь там готовы к «обильному кровопусканию…».

И «кровопускание» — пока, так сказать, предварительное — действительно состоялось. Скоро — в конце июня 1934 года. Чья

же кровь пролилась? Гитлер уже чувствовал нарастание противоречий внутри партии. Слишком большую самостоятельность обрел Рем, руководитель штурмовиков, некогда нашедший Гитлера и поднявший его «из грязи в князи». Гитлер и Гиммлер сфабриковали версию о якобы готовящемся заговоре, о связи Рема и одного из руководителей СА, Эрнеста, с иностранными разведками, о намерении убить Гитлера.

Операция против «врагов рейха» была спланирована с воистину немецкой пунктуальностью. Удар был нанесен сразу в трех центрах: Берлине, Мюнхене и Бад-Висзее, где фюрер устроил мышеловку для высшего руководства СА под видом совещания.

В результате «ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года оппозиция была разгромлена. Но в ходе операции уничтожили десятки ни в чем не повинных людей, которые не угодили гитлеровским головорезам. Жертвой их расправы стали, например, бывший министр обороны Шлейхер, сыгравший немалую роль в подавлении революции 1918 года и выдвижении Гитлера и еще совсем недавно занимавший пост канцлера, а также его жена. Обоих уничтожили в их собственном особняке. А рядовых штурмовиков «ликвидировали» в подвалах[50].

Как и Муссолини, Гитлер полагал, что за всех в государстве должна думать одна голова. Его собственная.

Однако невиданный драматизм развертывавшихся в мире событий состоял в том, что культ единомыслия все более утверждался и в стране, призванной противостоять фашизму. Идеалы провозглашались совсем другие, совсем иные звучали формулы. Но ради утверждения в жизни этих формул, и только их, провозглашаемых одним человеком, все, что мешало этому, — отсекалось безжалостно.

С чувством все нарастающей тревоги отмечали это друзья Горького, видевшие в новой России единственную социальную альтернативу фашизму. Высоко оценивая достижения страны в сфере хозяйственного строительства, Цвейг сообщал Роллану: «Половина европейского мира живет сейчас под диктатурой, свободное слово задушено — в Италии, России, Германии подрастает молодежь, которую приучают жить умственной жизнью по твердо установленным формулам, а не по собственному разумению. И самое страшное, что к этому привыкают!»

Конечно, частная переписка не требует той отточенности и выверенности формулировок, что печатное слово, но все же, согласимся, есть нечто примечательное в том, что Россия в письме Цвейга упоминается между Италией и Германией…

Цвейг называл Россию «интереснейшей страной,

превосходящей полнотою жизни все страны мира», и одновременно с горечью отмечал, что в ней сформировалась, по его мнению, «сверхмуссолиниевская диктатура». (А уже после войны, в которой фашизм будет разгромлен, А. Жид запишет в своем дневнике: «Победить нацизм можно было лишь благодаря антинацистскому тоталитаризму…»)

Занимавший более сдержанные позиции по поводу противоречий строительства новой жизни в России, Роллан делился с австрийским другом впечатлениями о пребывании в СССР в 1935 году. Роллан сообщает Цвейгу, что встречался и беседовал со Сталиным, Бухариным, Ягодой и многими другими ведущими политическими лидерами, с многочисленными друзьями Горького, гостеприимством которого пользовался в течение трех недель.

Роллан убеждает друга в том, что революция пустила в рабочем народе глубокие корни. Одно из доказательств — это массовые демонстрации с участием полуобнаженных физкультурников, гордо несущих свои эмблемы (таким был парад 30 июня 1935 года на Красной площади, на котором присутствовали Горький и Роллан). Цвейг воспринял известие Роллана с присущим ему скептицизмом: «Нет, я не сомневаюсь в силе порыва, который несет и воспламеняет русскую молодежь, — я только боюсь, что гитлеровская и фашистская молодежь опьянена подобным же порывом… Я всегда побаиваюсь, что все эти великолепные молодые люди, охваченные общим восторгом, уже разучились думать сами, — их уносит общая мысль, которая им внушена». (Заметим, это сказано еще до издания знаменитого «Краткого курса».)

Те политические параллели, которые настойчиво проводил Цвейг между тоталитаризмом, утверждавшим фашистский режим в Германии, и строем, который формировал Сталин, рождают вопрос: как относился к фашизму сам Сталин?

Первоначально он явно недооценил опасность фашистской угрозы для Советской России и международного коммунистического движения. В январе 1924 года состоялся Пленум ЦК, на котором рассматривались «ошибки» партии и конкретно Карла Радека, видевшего — и вполне обоснованно — главную угрозу именно в фашизме и искавшего союза с социал-демократией. По мысли Сталина, в союзе с ней необходимости не было, но даже был «нужен смертельный бой с социал-демократией». Тем самым Сталин игнорировал указание Ленина на IV конгрессе Коминтерна (1922): «…Тактика единого фронта будет иметь решающее значение для новой эпохи»[51]. Не единый фронт, а раскол международного рабочего движения, нелепо

вздорные, по мысли Чичерина, «крики о социал-фашизме»[52] — таковы были действия Сталина. Даже когда и предпринимались попытки консолидации коммунистов с социал-демократами, осуществлялось это непоследовательно, недостаточно гибко и не вызвало должной ответной реакции социал-демократии. Коммунисты из многих зарубежных стран, оказавшиеся в нашей стране, были репрессированы. Ну, а с началом позорных политических судилищ 30-х годов сталинизм безнадежно скомпрометировал себя в глазах мирового общественного мнения.

Приписывая фашистские «замашки» социал-демократии, Сталин вел двойную игру, ища контактов с лидерами Германии и Италии. В 1933 году, в год прихода Гитлера к власти, он заключил с Муссолини договор о дружбе, ненападении, нейтралитете, утративший силу лишь 22 июня 1941 года.

24 октября того же 1933 года (власть к фашистам, как мы помним, перешла в январе) Гитлер заявил, что Германия — это оплот против большевизма и ей необходимо вооружаться. Но историками отмечено, что буквально в тот же самый день под Москвой, на лесной вилле, состоялась тайная встреча доверенного лица Сталина с советником германского посольства в Москве фон Твардовски. Он докладывал в Берлин о конфиденциальной беседе с «советским другом».

И это в то время, когда в Лейпциге развертывался пресловутый судебный процесс по поводу поджога рейхстага, блистательно использованный Георгием Димитровым как трибуна, с которой он заклеймил преступления фашизма на весь мир!

Отвергший гитлеровскую адвокатуру и защищавшийся самостоятельно, Димитров был поддержан авторитетнейшей международной комиссией юристов и общественных деятелей и в итоге полностью оправдан. Получивший советское подданство, 27 февраля 1934 года на самолете он был доставлен в Москву.

Мог ли герой Лейпцига, активно включаясь в деятельность Коминтерна, думать о том, что в стране победившего социализма от него будут требовать выдачи «врагов» и ему, депутату Верховного Совета СССР, избранному в соответствии с только что вступившей в силу Конституцией, придется вставать на защиту не единиц, а посылать Берии и Маленкову списки числом в 131 и 120 человек…

Мог ли он думать, что в этой стране всего лишь через какие-то два с половиной года развернутся воистину чудовищные процессы, обвиняемые признаются в преступлениях, в сравнении с которыми дело о поджоге рейхстага будет выглядеть игрушкой?

Хватило бы вообще у кого-нибудь воображения представить, что в 1937 году Сталин оправдает 30 июня 1934 года («ночь длинных ножей»), чем ошеломит европейское общественное мнение, а 23 августа 1939 года поднимет тост за Гитлера: «Поскольку немецкий народ так любит фюрера, выпьем за здоровье фюрера!»? Ну, разумеется, он произносил этот тост за будущего «преступника номер один» только исходя из умонастроений немецкого народа! Наверное, исходя из тех же соображений Сталин выдал Гитлеру после пакта 1939 года многих антифашистов-немцев?! Впрочем, как показала история, Сталин вполне может оспаривать у Гитлера звание первого преступника.

К счастью для себя, Горький не дожил до этих позорных дней. Закрывавший до поры глаза на многие беззакония внутри страны, он ненавидел «самое страшное зло» — фашизм как главного врага культуры, развитию которой посвятил всю свою жизнь.

В день приезда Димитрова в Москву «Правда» и «Известия» публикуют приветствие ему Горького: «Всем сердцем приветствую образцового революционера-большевика. Страшно рад приезду его и товарищей. Крепко жму руку». Разумеется, не случайно Роллан, письмо которого в защиту Димитрова и несколько воззваний были опубликованы во многих газетах, писал Горькому 30 декабря 1933 года, что в последние месяцы он, как и Горький, целиком поглощен Лейпцигским процессом, и делал многозначительную добавку: «В нынешней мировой битве Вы для меня весьма редкий товарищ по духу…»

Внимательно следя за кровавыми деяниями фашистов, Горький все чаще задумывался о происхождении этой страшной социальной болезни и ее сущности. Однажды в беседе с близкими делился соображениями о вождизме, без которого немыслим фашизм. Это сложное явление, но, бесспорно, вождизм — заболевание психики, когда самость разрастается, как саркома, отравляя, развращая сознание. У заболевшего вождизмом личное начало гипертрофируется, коллективное атрофируется. Несомненно, вождизм — болезнь хроническая. Она способна прогрессировать… Одержимый вождизмом заболевает манией величия, а за ней, как черная тень, следует мания преследования… Был человек, и нет человека!

Помолчав, добавил:

— А слава, возносимая вождю в часы его земного бытия и поощряемая им, — это сугубо материальная слава, скорее — это отрава.

Рассказывал, как относился к славе Ленин, как он решительно восставал против славословий и прочих юбилейных

излишеств, даже ушел с заседания, которое решено было посвятить его пятидесятилетию. Напомнил, что Маркс запретил ставить памятник на его могиле, а Энгельс завещал сжечь его тело и урну с прахом утопить в море. «И сие — не случайно! Великие умы, служившие пролетариату, хотели служить ему и после смерти. Надо полагать, они понимали вред превращения в икону кого бы то ни было…»

Кого бы то ни было. Без исключений! И никому из присутствующих не надо было напрягать воображение, чтоб вспомнить, что исключение есть. И все понимали, что Горький имеет в виду не только Гитлера, Наполеона или римских триумфаторов.

ГЛАВА XIX
Хозяин

В одном из писем начала 30-х годов Горький назвал Сталина «хозяин» (с «хозяином… не успел поговорить, ибо хозяин — не здоров и не был у меня. Завтра сам поеду к нему»). Назвал иносказательно. Просто чтоб в частной переписке лишний раз не упоминать высокое имя. А теперь, похоже, убеждался: словцо это обретало все большую и большую оправданность. А ведь, чего доброго, и по отношению к нему лично — тоже?! Чувствовалось в таком предположении нечто озадачивающее и, пожалуй, даже шокирующее…

Мы многого пока еще не знаем о личных взаимоотношениях Горького и Сталина. Но теперь опубликованы письма Горького к Сталину (а их несколько десятков!).

Кое-что нам известно из опубликованных ранее документов, из свидетельств очевидцев.

Чем больше думал Горький об этом человеке, тем больше убеждался в его загадочности. Говорили: он груб. Горький и сам, на собственном опыте, мог убедиться в этом, вспоминая ту, давнюю теперь, сталинскую статейку 1917 года (но, как говорится, — кто старое помянет…). Ленин предлагал даже переместить его с поста генсека на какую-то другую должность. Сталин обещал исправиться. И ведь во многом ему это как будто удалось.

Воспроизведу историю, которую поведал мне доктор физико-математических наук Федор Федорович Волькенштейн, пасынок А. Толстого. Однажды отчим взял его с собой к Горькому, а в этот вечер к писателю приехали в гости Сталин и Ворошилов.

У меня до сих пор сохранился листок, на котором изображен овал стола и крестиками помечены места, кто где сидел.

Сталин попросил Горького рассказать о литературе, поскольку, будучи занят другими делами, отстал в этом вопросе. Горький охотно выполнил просьбу гостя.

В конце вечера, может быть, под влиянием небольшой дозы вина, Фефа (как звали Ф. Волькенштейна в доме А. Толстого) вдруг невероятно расхрабрился и решил произнести тост.

— Вот тут Иосиф Виссарионович сказал, что он отстал от литературы. Так я предлагаю выпить за Отсталина!

Над столом нависла кладбищенская тишина…

Быстрее всех разрядил напряженность Сталин. Он сказал, обращаясь к А. Толстому и лукаво покачивая головой:

— Скажи-ка, какой мужик-то у тебя!

И хотя конкретный смысл, вложенный в эту реплику, был совершенно непонятен (Сталин любил такую двусмысленность), всем стало ясно, что он не обиделся, дал понять, что не лишен чувства юмора. И этим расположил к себе.

А еще больше расположил, когда пришлось разъезжаться. Подали одну-единственную машину, в которую набились все гости, и Фефе пришлось сидеть у отчима на коленях. (Можно представить, как бы во времена пресловутого «застоя» выглядел такой выезд и какое количество машин и охраны потребовалось бы.)

Насколько Сталин бывал капризен и вспыльчив, настолько он мог прекрасно владеть собой, обаятельно улыбаться, производить самое благоприятное впечатление. Великий вождь был великим лицедеем. Народ должен верить, что у него прекрасный, чуткий руководитель, можно сказать, отец родной. (А что в стране плохого, так это — происки врагов, недоработки местной администрации.) Вряд ли этим искусством производить наилучшее впечатление Сталин в равной мере обладал всегда. Вероятно, полнее оно стало обнаруживаться в пору, когда он подавил сопротивление оппозиции (Троцкий, Зиновьев и др.), почувствовал вкус прочной власти, опирающейся и на определенные положительные сдвиги в хозяйственной области, прежде всего в сфере тяжелой промышленности. У него получалось. Он был доволен собой и жизнью…

Так что образ отъявленного злодея, кровожадного «бандита», получивший в последние годы распространение во многих материалах периодики, мягко говоря, не вполне соответствует действительности (тем реальный Сталин и опаснее).

И вот ведь что любопытно: этот образ Сталин мог выдерживать довольно подолгу, завоевывая авторитет и симпатию не только высотой своего положения, но и, как бы это ни показалось нам сегодня странным, удивительно умело и вовремя включаемой силой личного обаяния.

Вспоминает В. Бережков, работавший в течение ряда лет личным переводчиком Сталина: «Сейчас говорят, что он был параноик, больной и т. д. Конечно, может быть, эта болезнь — паранойя — своеобразная; потому что он, помимо всего прочего, все-таки умел быть обаятельнейшим человеком. Мне пришлось четыре года — каждый месяц, а иногда и каждую неделю — сидеть рядом с ним. Он умел представить себя обаятельным человеком. Посмотрите, как он повлиял на Ромена Роллана, Анри Барбюса, Лиона Фейхтвангера, Бернарда Шоу — все они уходили от него очарованными. Черчилль тоже все время просил Сталина

простить его за то, что он участвовал в интервенции. Черчилль — такой человек — и вдруг просит Сталина простить его! Так что, как бы он ни был жесток, коварен, страшен, при встречах с иностранными представителями не могло быть речи о страхе. Тут уж нельзя сказать: он добился этого потому, что его все боялись и его поддерживала структура страха. Другое дело — внутри страны, тут действительно существовала система страха».

Но может быть, Бережков несколько пристрастен как человек, общавшийся со Сталиным длительное время и подпавший под власть привычки? Обратимся к свидетельству другого политика, куда более масштабного и внесшего наибольший вклад в развенчание сталинского культа. Речь, естественно, идет о Хрущеве. «В период моей работы в Московском городском комитете я довольно часто имел возможность общаться со Сталиным, слушать его и даже получал непосредственные указания по тем или другим вопросам. Я был буквально очарован Сталиным, его предупредительностью, вниманием, его осведомленностью и заботой. Я всецело был поглощен обаянием Сталина и восхищался им».

Ну и, конечно, еще одно, завершающее свидетельство, на сей раз принадлежащее иностранцу. «…Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного; в нем нет ничего зловещего и темного, и именно этими его качествами следует объяснять его огромную власть в России. Я думал раньше, что люди боялись его. Но я установил, что, наоборот, никто его не боится и все верят в него… Его искренняя ортодоксальность — гарантия безопасности его союзников…» И это говорит в 1934 году Герберт Уэллс.

Куда девалась в таких случаях художническая проницательность? Похоже, и писатели, не говоря уже о других людях, в процессе личного общения со Сталиным подвергались какому-то гипнозу. Создается впечатление, что Сталин выработал в себе способность очень целеустремленно подчинять себе психику собеседника.

В ряду этих людей Горький, увы, не был исключением. И не такие ли встречи и беседы давали Горькому повод писать делегатам колхозного съезда в 1935 году, которые, по его мысли, могли убедиться, «как прост и доступен мудрый товарищ Сталин…»?

В обширном своде горьковской публицистики имя Сталина появляется сравнительно поздно, в 1931 году. Сначала оно звучит достаточно нейтрально, просто как фактическое упоминание. («Товарищ Сталин сказал, что у нас есть все объективные условия для победы социализма…») Потом появляется «верный,

непоколебимый ученик» Ленина, «вождь»… (1932). И уже в 1933 году: «Преемник Ленина — Иосиф Сталин, мощный вождь, чья энергия все возрастает»… «Нужно очень твердо знать и помнить, как велика была революционная работа партии Ленина и как все более огромна и разумна эта работа в наши дни, под руководством Иосифа Сталина и ЦК партии».

Горьковская статья о Беломорканале, о которой уже говорилось, начинается с дифирамба партии большевиков, Ленину, Сталину. «…Все быстрее растет в мире значение Иосифа Сталина, человека, который, глубоко освоив энергию и смелость учителя и товарища своего, вот уже десять лет достойно замещает его на труднейшем посту вождя партии».

Вскоре один из корреспондентов Горького попросил его написать статью для французского журнала. Горький отвечал: «Рекомендую статейку „Гуманизм пролетариата“, напечатанную в „Правде“ с месяц назад. Эту статейку очень одобрил товарищ Сталин».

Мог ли товарищ Сталин не одобрить эту «статейку», если с первых же строк звучали слова о том, что «человеколюбие», «милосердие», «великодушие» неприменимы в действительности? Горький, правда, имел в виду логику и психологию поведения буржуазии, озабоченной сверхприбылями. Но сама постановка вопроса как бы давала «встречное» право пролетариату и его партии также отбросить эти категории в борьбе с капиталом, не особенно церемониться и в других случаях, поступая, сообразуясь с обстоятельствами…

Вспоминая «диктаторские» действия Столыпина, Горький пишет о том, что тот повесил более 5 тысяч рабочих и крестьян. И сразу: «В наши дни пред властью грозно встал исторически и научно обоснованный, подлинно общечеловеческий, пролетарский гуманизм Маркса — Ленина — Сталина…»

Горький не знал тогда количества погибших от сталинского произвола, прежде всего вследствие голода 1933 года, перед которым цифра пять тысяч выглядела едва ли не как бесконечно малая величина. Но Сталин-то знал — если не точные цифры погибших, то масштаб осуществляемого по его инициативе и под его непосредственным руководством «великого перелома». И естественно, это тоже влияло на одобрительное отношение к статье Горького.

Что лежало в основе горьковских положительных оценок Сталина и его дел? В последнее время в печати не раз говорилось о том, что писатель делал это из корыстных побуждений, заботясь о своем благополучии и благе ближних. То есть был как бы предтечей тех современных литературных деятелей, которые

видят в творчестве орудие самоутверждения и любят себя в литературе, а не литературу в себе.

Горький любил литературу в себе. Его преданность творчеству беспредельна. Она может сравниться разве лишь с его же творческой скромностью.

Вряд ли мы найдем в мире писателя примерно горьковского «ранга», который бы относился к себе со столь ожесточенной самокритичностью. Всю жизнь! Вплоть до тех времен, когда создавал лучшие свои произведения. Из письма Роллану: «…Я думаю, что если б я написал критическую статью о Горьком — это была бы самая злая и беспощадная критика. Поверьте, что я говорю, не рисуясь. Меньше всего я поклонник Горького».

Так что отношение Горького к Сталину и его программе вовсе не имело цели личного самоутверждения. И мировая слава его была довольно прочной. Скорее причины другие.

Остановимся подробнее на первой из них — главной, для чего нам придется предпринять развернутый экскурс в проблему горьковского понимания человека. Экскурс исключительно важный, без которого наше представление о Горьком 30-х годов, о его отношении к планам преобразований, развертывавшихся в стране и осененных именем Сталина, будет неполным и крайне ограниченным.

Горький являет собой пример человека, тип которого на Западе определяют термином self made man (человек, сделавший себя). И вправду: какие только свинцовые мерзости жизни не окружали его! Тут либо — либо. Или сдаться, пойти на поводу у обстоятельств, или — наперекор им, против течения. Горький избрал второй путь, и сущность своего жизненного credo он сформулировал так: человека создает его сопротивление окружающей среде. Все ли способны на это? Увы, нет. Да и сам Алексей Пешков вовсе не был «железным» человеком. И его порой охватывало отчаяние, и в такую минуту взял он однажды пистолет, и лишь случай осчастливил человечество, оставив в живых юношу, которому суждено было стать великим писателем.

Исключительно интересные и важные, можно сказать, ключевые рассуждения по интересующему нас вопросу содержатся в воспоминаниях Владислава Ходасевича.

Проживший в Германии и Италии бок о бок с Горьким много месяцев, он пришел к заключениям, до которых вряд ли добрался еще кто-то из мемуаристов.

Начинает Ходасевич, пожалуй, с вполне очевидного. Горький вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Чаще всего люди оказывались ее жертвами, но и виновниками — одновременно. Естественно — по логике отталкивания, — у

Горького возникала мечта об иных, лучших людях. «Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих». Мысленно он очищал эти зачатки от налипшей житейской грязи и, развивая их, получал в творчестве полуреальный, полуфантастический образ романтизированного героя.

Он так сжился с этим человеческим типом, рожденным его художественным воображением, что представил, будто и в реальной жизни можно, в результате целенаправленных действий извне, изменить человека к лучшему, перевоспитать его.

Горького очень огорчало и разочаровывало, если какой-либо человек не оправдывал его ожиданий, не достигал проектируемой отметки.

Любопытно его отношение к писателям. Тут можно выделить три подхода к таланту. Он очень любил начинающих, даже и не обнаруживающих явно выраженных признаков крупного дарования. В таких он ценил возможность будущего подъема на новую высоту (в соответствии с формулой его ранней романтической поэмы «Человек: вперед! и — выше!»).

Тех, кто поднялись высоко, реализовали себя, — любил.

«Зато авторов, уже вышедших из пеленок, успевших приобрести известное положение, но не ставших вполне замечательными, он скорее недолюбливал. Казалось, он сердится на них за то, что уже нельзя мечтать, как они подымутся, станут замечательными, великими».

А человек должен подниматься! Ему надо в этом помочь! Помочь, даже если он сам того и не очень желает… Горький готов был преувеличить эту возможность подъема. По мысли того же Ходасевича, он становился «создателем возвышающих обманов». Горький хотел от людей стойкости. Но «его требования шли гораздо дальше: он не выносил уныния и требовал от человека надежды — во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный, упорный эгоизм: в обмен на свое участие он требовал для себя права мечтать о лучшем будущем того, кому он помогает».

В ходе своих рассуждений Ходасевич приходит к любопытному и парадоксальному заключению: «Не раз мне случалось видеть, что он рад быть обманутым. Поэтому обмануть его и сделать соучастником обмана ничего не стоило».

Вряд ли Сталин не понимал всего этого и не делал для себя соответствующих выводов.

Отныне Сталина и Горького сближало стремление к переделке жизни и перевоспитанию человека (хотя и в то и в другое понятие в конечном счете они вкладывали различное

содержание). Горький был последовательным гуманистом, человекопоклонником. Обманываясь и ошибаясь, он все же был убежден, что человек — главная, самоценная величина. Сталин — прожженный политик, для которого человек — лишь строительный материал. Как он смог убедить Горького в том, что людей надо не только перевоспитывать, но и «перековывать», прививая им единомыслие? Наверное, мы никогда не сможем разгадать эту очередную загадку. Но факт остается фактом: «еретик» Горький стал сторонником сталинского порядка, не ведая, к чему в конце концов может привести это.

Итак, одна из причин, объясняющих положительное отношение Горького к программе грандиозных сталинских преобразований в стране, — это изначальная высота его требований к человеку, непримиримость к порокам, выработанным веками эксплуатации, не лишенное явной утопичности стремление преобразовать всю жизнь на основе Разума, рацио.

Начинала действовать еще и другая причина. Культ Сталина складывался постепенно, и в непомерном восхвалении Сталина, скорее всего из тактических соображений, принимали участие и его недавние политические противники. Так, Бухарин, наиболее близкий Горькому из людей верхнего эшелона политического руководства, на Объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), проходившем с 7 по 12 января 1933 г. и осудившем т. н. «правый уклон», говорил: «Исторически сложившееся руководство нашей партии во главе с т. Сталиным, этой энергичной железной фигурой, целиком завоевало себе право на руководство всем дальнейшим процессом».

Мы помним, с каким упорством Горький защищал Бухарина, Рыкова, Томского, Угланова в письмах Сталину во второй половине 1929 года. Нарастающую обеспокоенность вызывало у него не только будущее этих партийных руководителей, но и партии в целом, куда начинает проникать «двуногий хлам», занимая место изгоняемых из нее «еретиков».

Не только Горького беспокоила тогда столь опасная перспектива. Еще в апреле 1929 года, когда кампания травли «правых» только начиналась, к Объединенному Пленуму ЦК и ЦКК обратилась с письмом М. И. Ульянова. Позиция ее была совершенно недвусмысленна. Она полагала, что «проработка» Рыкова, Бухарина, Томского — «трех крупнейших работников партии» — представляет угрозу принципу коллективного руководства, «противоречит тому, что завещал нам Ленин». «Я считаю заслугой т.т. Рыкова, Томского, Бухарина, что они ставят перед партией эти больные вопросы, а не замалчивают их».

Так писала, лежа в постели, больная сестра Ленина 22 апреля. В день рождения брата она с особой остротой ощутила необходимость обратиться по поводу вопросов, не дававших ей покоя в последнее время, к руководству партии.

Как же теперь, в 1933 году, отнесся Горький к самокритически-покаянным и одновременно возвеличивающим Сталина речам экс-еретиков? Через неделю после пленума, 20 января 1933 года, он писал Рыкову из Сорренто. Приведем это письмо полностью, так как важны не только исключительно ценные факты, которые содержатся в нем, но и его эмоциональное звучание, тон, характеризующие внутреннее состояние Горького.

> «Дорогой Алексей Иванович.
>
> Я с глубочайшим волнением и огромной радостью прочитал Вашу и Михаила Павловича (Томского. — *В.Б.*) речи на пленуме. Подлинное, истинно большевистское мужество этих речей, ясная их мудрость и чувство собственного достоинства революционеров; чувство, которым насыщено каждое слово, делают эти речи ценнейшими документами не только истории нашей партии. Нет, я думаю, что революционно-воспитательное значение Ваших речей, дорогие товарищи, будет немедленно понято и усвоено всеми честными революционерами мира, как идеальное выражение чувства глубокой „партийности“, чувство органической неразрывной связи с партией.
>
> Весьма возможно, что это мое письмо — не уместно, не сомневаюсь, что Вам оно не нужно, но Вы оба поймете настроение, мою радость, радость человека, который живет далеко от Вас и в непрерывной тревоге за каждого из Вас, людей, которых я искренне уважаю, люблю и ценю, как лучших, небывалых революционеров, действительных и счастливых создателей нового мира. И, наконец, я думаю, что у меня есть право написать это письмо, я тоже ошибался, недооценивая мощность творческих сил пролетариата и мудрость ленинской партии.
>
> Крепко жму Вашу руку, дорогой Алексей Иванович».

Перечитывая это письмо, можно нынче испытывать разные чувства: удивления, досады за то самоослепление, которым пронизано оно. Можно дойти и до суровых обвинений в «приспособленчестве», которые, как уже говорилось, кое-кто поспешно предъявляет Горькому в последнее время. Но не

целесообразнее ли попытаться понять подлинность горьковского мироощущения, а для этого попытаться представить если не всю совокупность факторов, обусловивших это мироощущение, то хотя бы главные из них…

Как мы знаем, Горький с напряженным вниманием следил за событиями в Европе. 12 августа 1933 года возглавляемый Гитлером кабинет министров принял декрет, объединявший в руках Гитлера функции рейхсканцлера (главы правительства) и президента… Гитлер настолько энергично рвался к абсолютной власти, что объединение функций произвел, не дожидаясь смерти Гинденбурга, которая, впрочем, не замедлила случиться, как только объединение было провозглашено. Мало того, Гитлер получил звание «рейхсканцлера и вождя немецкого народа». Таким образом, лидер национал-социалистической партии не только сосредоточил в своих руках всю полноту власти в стране. Официально провозглашенный титул вождя исключал теперь всякую возможность выражения иного мнения.

Рейхсканцлером Гитлер стал 30 января 1933 года. Однако прямо добиваться этого назначения он начал еще в 1932 году (но тогда получил от Гинденбурга отказ).

Вот это формирующееся на глазах Горького противостояние двух великих держав, грозящее в будущем прямым столкновением, чрезвычайно волновало его. И чем дальше, тем больше он убеждал себя в том, что главный источник силы советского общества — это идейное единство рядов партии, возглавляющей социалистическое строительство. Идеей этого единства и пронизано все письмо Горького Рыкову.

В развитии революционного процесса в России чем далее, тем все очевиднее складывались две внутренние взаимосвязанные особенности. Движущим источником общественного развития марксизм провозгласил классовую борьбу. Естественно, предельного накала в России она достигла в годы Гражданской войны. Но драма страны состояла в том, что и после ее окончания борьба продолжала составлять непременное условие ее развития. Боролись с остатками эксплуататорских классов, с мировым империализмом, с неграмотностью, с религией, с природой, с пережитками прошлого… Позже — с космополитизмом, с генетикой, кибернетикой, с предателями-врачами и т. д. Великий вождь даже выдвинул и «обосновал» тезис, что по мере развития социализма классовая борьба вообще будет усиливаться… Формировался подлинный культ борьбы, требовавший, естественно, постоянного обогащения «образа врага», с которым и приходилось бороться.

Другой особенностью общественного развития в 20–30-е годы

был все более последовательный, а затем и полный отказ от борьбы внутренней: дискуссий, столкновения мнений, концепций и т. д. Полагали: именно для того, чтобы добиться успеха в социальной борьбе, нужно полностью отказаться от борьбы внутри партии, а затем — и внутри общества. Должно было воцариться никогда и нигде еще не виданное дотоле морально-политическое единство советского общества (все как один), основу которого составляет незыблемое единство партии.

Мы говорим о культе личности. Но до него, и как его условие, возник культ партии.

Когда-то классики марксизма писали о том, что свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех. В России сформировался принцип противоположный: акцент с отдельного, одного был перенесен на общее, массу. Конституция гарантировала всякого рода права и свободы всем, и что за беда, если в каком-то отдельном случае их недополучит какой-нибудь отдельно взятый Иван Иванович. И что за беда, если Иван Иванович окажется не один… Лес рубят — щепки летят. И в конце концов вместо Конституции, о которой Пастернак с горькой иронией сказал, что она не рассчитана на употребление, на деле утвердилась эта самая «щелочная» идеология.

«Единица — вздор, единица — ноль, — с пафосом восклицал поэт. — Голос единицы тоньше писка». «А если в партию сгрудились малые, сдайся, враг, замри и ляг. Партия — рука миллионнопалая, сжатая в один громящий кулак». И от имени партии этот кулак беспощадно разил самых разнообразных врагов, которые встречались на пути. А залогом успеха в этой борьбе был отказ от борьбы внутренней. Великое Единство!

В пору кризиса, уже на наших глазах охватившего партию и ярче всего выразившегося в перерождении многих представителей ее высшего эшелона, трудно себе представить, что десятилетия назад все имело совершенно другой смысл. Партия считалась лидером, единственным лидером, включавшим в себя лучшую часть общества. Отлучение от партии, исключение из ее рядов воспринималось едва ли не как духовный расстрел.

Особенности внутрипартийной идеологии в условиях тоталитарного режима великолепно понял и отразил в своем романе «Слепящая тьма» Артур Кестлер. Для его героя Рубашова, прообразом которого, как утверждают, явился Бухарин, воля партии — священна. Отлучение от партии — самое страшное, что может быть на свете. В конце концов Рубашов соглашается даже на чудовищный самооговор во имя торжества дела партии.

Горький был беспартийным. Когда-то, в самом начале 20-х годов, в своей издательской деятельности он даже придерживался

принципа «вне политики». Как далеко ушли те времена! Он давно убедился, что современный мир политизируется стремительно, что в России, окруженной со всех сторон врагами, все большую роль играет политическая партия. И ему начинало представляться, что внутрипартийная борьба, дискуссии уносят слишком много сил, рождают склоку, способствуют разгару мелочных самолюбий… Пусть уж лучше воцарится Единство. Тогда энергия масс будет сконцентрирована и успешно направлена в одно, точно выверенное русло.

Мышление художника, принявшего такое Единство, теперь лишалось того, без чего невозможна его успешная работа, — свободы и непосредственности восприятия конкретных жизненных явлений (а от наблюдения таких отдельных явлений и двигается художник к обобщению). Контактные линзы медицину изобретет потом. Но художник сам дал согласие на то, чтоб в его глаза были вставлены идеологические линзы, и теперь все он воспринимал не иначе, как под углом зрения некоей Высшей Государственной Необходимости.

Горький не мог предполагать, во что вскоре выльется восхваляемое им «единство», которое возвеличивает и все более возвышает одну фигуру, названную Бухариным «железной». (Впрочем, Бухарин не был первооткрывателем этой возвышенной метафоры: двумя годами раньше ее использовал Зиновьев, назвавший Сталина «железным маршалом революции».) Не мог этого осознавать в полной мере и сам Бухарин, пошедший на компромисс и поддержавший на заседании Объединенного пленума ЦК и ЦКК в январе 1933 г. официальный сталинский курс в расчете на возможность своего возвращения к более активной политической деятельности. Как объясняет Стивен Коэн, только таким путем после провала платформы Рютина можно было добиться цели.

Впрочем, предстояло заниматься не только «чистой» политикой. Впереди был еще и съезд писателей, на котором с докладами предстояло выступить как Горькому, так и Бухарину.

ГЛАВА XX
История одного ареста

26 января 1934 года Горький присутствовал на открытии XVII съезда партии. Наверное, он был единственным беспартийным, находившемся в президиуме съезда.

Он рад был в перерыве перекинуться словцом со многими руководителями, с кем не встречался давно, внимательно слушал отчетный доклад, вместе с другими аплодировал своеобразному сталинскому юмору, когда вождь подаренное ему туляками ружье с улыбкой направил в зал и сделал вид, что прицеливается в кого-то.

Горький не мог знать, что в тот же самый день, 26 января, в его родном городе неизвестный ему человек в минуту отчаяния пишет ему письмо и что в жизни этого человека он, Горький, должен будет сыграть решающую роль.

С некоторых пор Елена Андреевна Покровская стала замечать, что с мужем творится что-то неладное. С работы Юрий приходил в подавленном состоянии, хотя и старался не обнаруживать этого.

А дело было вот в чем.

Юрий Александрович Покровский, в недавнем прошлом комсомолец, с 1932 года член партии, работал на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». На работе его очень ценили, был он ударником.

Но вот кто-то не в добрый час вспомнил, что не все в порядке у тов. Покровского с анкетой, «с происхожденьицем». Отец его, умерший в годы Гражданской войны, был до революции начальником Нижегородского острога. Возникло «дело Покровского». Юрию Александровичу грозило исключение из партии как «чуждому элементу». Ожидала его и высылка из города.

В эти дни Юрий, как никогда, много думал об отце. Что и говорить: не слишком привлекательная была у него должность! Но по рассказам матери Анны Александровны Юрий знал, что отец не был несправедлив в обращении с заключенными, стремился даже в чем-то облегчить их участь. А у политических будто бы даже брал читать нелегальную литературу!

Но одно дело — рассказы матери. И другое — показания незаинтересованных свидетелей. К кому обратиться?

Юрий знал, что великий писатель, находившийся теперь в зените славы и любимый всем народом, некогда отбывал

заключение в остроге, начальником которого был отец Юрия Александр Иванович.

И вот ударник производства, молодой коммунист спрашивает знаменитого писателя: «…был ли он (отец) действительно жандармом и зверски обращался с заключенными и особенно политическими или нет?» Письмо заканчивалось так: «…все вышеописанные вопросы мне и партии необходимо разрешить, ибо все это решит мою судьбу во время чистки партии, которая скоро будет в нашем крае и коллективе»[53].

Стоит обратить внимание на такую подробность. Покровский обращается к Горькому не с жалобой, не за поддержкой, а за истиной. В его письме слышится готовность понести наказание, если это будет необходимо.

Но внутренне он рассчитывал все же на другой исход. В этом его поддерживало следующее любопытное обстоятельство, о котором он не преминул сообщить Горькому в том же письме. В доме Покровских хранилось, как он пишет, «полное собрание сочинений Горького» с такой дарственной надписью: «В память Александру Ивановичу Покровскому от бывшего арестанта. М. Горький».

Известно, как сверхъестественно был занят писатель. Но задерживать ответ на такие письма нельзя никоим образом!

…Как давно все это было, но цепкая писательская память удержала даже малые подробности.

Арестовали его в ночь на 17 апреля 1901 года и тогда же препроводили в Нижегородский острог. Здесь и состоялось знакомство «политического» с начальником тюрьмы Александром Ивановичем Покровским.

Вскоре после ареста Горький писал жене Екатерине Павловне: «Тюремное начальство — от высших до низших — строго, но безусловно корректно».

Арестованный по тому же делу Скиталец позднее вспоминал: «В Горьком — особая привлекательность: не прошло недели, как часовые, надзиратели, уголовные и даже начальник тюрьмы и два помощника его были очарованы необыкновенным арестантом».

По существовавшим тогда правилам, свидание с политзаключенными разрешалось в канцелярии тюрьмы в присутствии администрации. В такой обстановке происходила встреча Горького с Константином Петровичем Пятницким, руководителем издательства «Знание». Он был вызван специально из Петербурга Екатериной Павловной для хлопот об освобождении мужа.

Пятницкий приехал с плохими вестями. В Петербурге был разгромлен журнал «Жизнь», орган легальных марксистов, а его

редактора Владимира Александровича Поссе заточили в Кресты (как именовалась тюрьма в столице).

В журнале «Жизнь» Горький печатался неоднократно и по праву считался одним из основных авторов. Здесь были опубликованы такие крупные и значительные вещи, как «Фома Гордеев», «Трое».

Так вот, Пятницкий думал, что и Горький арестован в связи с разгромом журнала, а о деле с мимеографом — печатным станком для изготовления прокламаций — основной причиной ареста, он ничего не знал. Но это — запретные темы для разговора, и как говорить обо всем с Горьким в тюрьме?

Вот что позднее вспоминал Пятницкий, рисуя сцену их свидания в мемуарах: «Часть канцелярии была отделена балюстрадой. За нею сидел у своего стола начальник тюрьмы. Рядом с ним стоял Горький. Я видел, что он похудел и стал бледнее. Я начал с вопросов по изданию, о которых говорил Шеманину: Горький взглянул на меня с удивлением. Он знал, что все эти вопросы давно у меня обдуманы и выяснены. Но, моментально догадавшись, что свидание получено под предлогом делового разговора, он стал спокойно отвечать на вопросы в том же тоне. Начальник тюрьмы слушал. Ему пришлось узнать много интересных подробностей о рассказах Горького. Но он не увлекался историей литературы. Скоро ему стало скучно, очень скучно. Голова его все ниже склонялась над столом; наконец он принялся ревностно производить какие-то подсчеты в лежавших перед ним ведомостях.

Среди деловых разговоров мне удалось без помехи сообщить Горькому о происшедшем в Петербурге: о судьбе журнала и руководителей журнала, особенно Поссе, с которым Горький в то время был очень близок. Мне казалось, что эти сведения могут пригодиться ему при допросах».

По-видимому, Пятницкий кое-что характеризует не совсем точно, и упрекать его за это нельзя, так как о чем-то он не мог знать. Дело не в том, что Покровскому были скучны деловые разговоры о литературе. По воспоминаниям Скитальца, Покровский как раз являлся «поклонником таланта Горького». К этому следует добавить, что он вообще был любитель литературы и имел большую личную библиотеку.

Скорее всем своим видом и поведением во время свидания он давал большую свободу для беседы арестованного с посетителем. Тот же Скиталец вспоминает: «Он (Покровский. — *В.Б.)* делал для нас всевозможные поблажки, чтоб облегчить нам наше положение».

Про одну из таких «поблажек» стоит сказать особо. Среди

книг, доставляемых Горькому в тюрьму, был и четвертый номер журнала «Жизнь». Того самого, который ликвидировали за антиправительственный характер!

Мало того, именно в этой, четвертой книжке журнала по недосмотру цензора была опубликована «Песня о Буревестнике», написанная в доме Лемке, где и арестовали Горького какие-нибудь две недели назад!

Представляете, ходит по камере «политический» со свежим журналом в руках и читает собственное сочинение: «Буря! Скоро грянет буря!»

А теперь можно перейти непосредственно к тому письму, которым Горький ответил на запрос Юрия Александровича Покровского и которое его жена в конце 50-х годов принесла в редакцию газеты «Ленинская смена».

> «Тов. Покровский, — писал Горький, — сообщаю Вам, что, сидя в Нижегородской тюрьме, я со стороны ее начальника Александра Ивановича Покровского никаких стеснений не испытывал и от товарищей моих указаний на некорректное отношение к ним Покровского не слышал. Могу добавить, что отец Ваш раза три-четыре посещал меня в камере и, между прочим, советовался со мною, следует ли ему жениться, причем мотивом женитьбы он выставлял свое желание передать пенсию девушке, которую он знал еще ребенком. С ней он и обвенчался в тюремной церкви, а на другой день был у меня в камере — показал мне „молодую“. Это говорит о „патриархальности“ отношений его к заключенным, фамилии коих он сообщал мне каждый раз, когда количество их возрастало. Мои впечатления — это был человек „мягкий“, добродушный и тяготившийся своей должностью.
>
> Приветствую и желаю Вам всего хорошего.
>
> 15.2.34.
>
> М. Горький»[54].

Все здесь воистину удивительно, начиная с самого брака и кончая отношением начальника тюрьмы к арестованным. Естественно, хотелось побольше узнать о людях, с которыми Горького при столь необычных обстоятельствах столкнула судьба.

Мне удалось отыскать тетрадку жены начальника острога Анны Александровны Покровской, на обложке которой она начертала: «История моей жизни».

Дочь провинциального коллежского асессора, она успешно кончила епархиальное училище и получила свидетельство о

праве быть домашней учительницей. Вышла замуж за человека, которого знала с малых лет, как взрослого, и поэтому никак не могла предполагать, что он станет ее мужем. Да еще плюс к тому человек этот служил начальником тюрьмы.

Анна Александровна пишет: «Муж мой занимал место начальника тюрьмы, был он старше меня на 14 лет, и я выходила за него не по страстной любви, как это делается теперь, но он мне был очень симпатичен, и мы с ним договорились так: „Если я найду кого лучше его, то я скажу и мы добровольно разойдемся“. Но этого не случилось, потому что я скоро к нему привязалась и полюбила его, да и нельзя было его не полюбить, хороший был человек, и мы с ним прожили дружно, любя друг друга, 19 лет».

Анна Александровна продолжает: «Моя свадьба была 6 мая 1901 года. Венчались мы в тюремной церкви, все арестованные пожелали присутствовать на нашем венчании, так как очень любили начальника и пожелали за нас помолиться.

В этом году в тюрьме были арестованные М. Горький и Скиталец, которые каждый вечер пели в своих камерах. Особенно мне запомнилась песня „Солнце всходит и заходит“, так как пелась чаще всех. Горький страдал болезнью легких, и мой муж, делая обход, часто… носил Горькому портвейн в пузырьках для подкрепления сил, а некоторым (арестованным. — *В.Б.)* совал коробки с папиросами. Он сердечно относился особенно к политическим и все время говорил мне, что вполне разделяет их идеи и планы.

С Горьким муж мой советовался относительно брака со мной и однажды познакомил меня с ним».

При каких обстоятельствах это произошло, мы уже знаем из письма Горького.

Наблюдения над такими людьми приводили Горького к выводу, что наиболее чуткие к общественным изменениям люди из среды господствующих классов не только видели неизбежность крутых перемен, но и начинали «выламываться» из своего круга. Известные примеры тому — Бугров, Савва Морозов, а в творчестве Горького такие бунтари-купцы, как Фома Гордеев, Егор Булычев.

Своими наблюдениями над столь необычными людьми Горький делился с друзьями, например с художником Нестеровым, гостившим у него 24–25 июля 1901 г. и тогда же написавшим его портрет. Нестеров писал своему другу Турыгину о Горьком: «„Высидка“ его в Нижегородской тюрьме не отразилась на нем угнетающе. Он вынес из нее много наблюдений и лишний раз убедился в добродушии русских людей».

…Надо ли говорить, с каким чувством Юрий взял в руки

листок в продолговатую клеточку, покрытый мелкими, как бисер, — каждая отдельно — буквами. Письмо это сыграло решающую роль в его жизни. Все подозрения были сняты. Он смог по-прежнему спокойно трудиться. В годы войны Юрий Покровский был призван в ряды Советской Армии и погиб, защищая Родину.

Прежде чем вместе с заключенным Пешковым окончательно покинуть камеру Нижегородского острога, не пожалеем времени на то, чтобы заглянуть, как выражаются специалисты, в творческую лабораторию писателя.

Тюрьма и творческая лаборатория?

Нет, читатель, вы не ослышались. Что бы ни случилось с настоящим талантом, куда бы ни бросила его судьба, в тюремную камеру или лагерный барак, он будет продолжать свою творческую работу, и здесь протестуя тем самым против насилия. Будет работать, даже не рассчитывая на обнародование своих рукописей при жизни. Но в данном случае существенна не только эта сторона психологии творческой личности, но и то, о чем напишет Горький сразу по выходе из тюрьмы.

…Арестовали Горького, когда он писал свою первую пьесу, «Мещане», о чем сообщал Пятницкому: «Когда я писал „Мещан“, меня арестовали на 3-м акте». Даже в обстановке тюремного заключения не переставал он размышлять о пьесе. «Я думаю работать здесь, но еще не начал. Жаль, что отобрали пьесу, я бы ее и писал теперь».

Вот тут-то совершенно неожиданно пригодились тюремные встречи и впечатления. В «Мещанах» появляется Елена, 24-летняя вдова смотрителя тюрьмы, живущая в доме Бессеменова. И именно в третьем акте, на котором прервалась работа Горького в связи с арестом, появляется такой монолог.

«Елена (задумчиво). Когда я жила в тюрьме… там было интереснее! Муж у меня был картежник… много пил, часто ездил на охоту. Город — уездный… люди в нем какие-то заштатные… Я была свободна, никуда не ходила, никого не принимала и жила с арестантами. Они меня любили, право… они ведь чудаки такие, если рассмотришь их поближе. Удивительно милые и простые люди, уверяю вас!»

Елена даже плакала, думая, что ей придется покинуть тюрьму в связи со смертью мужа. Дом Бессеменова — это клетка, духовная тюрьма, и Перчихин призывает всех в финале: «Ну, вот и все! Вот оно… все разлетаются! Айда, ребятишки, лети из клетки, как птицы в благовещенье…»

При помощи образа Елены и ее монолога Горький доводит до парадоксального заострения мысль о том, что «свободная» жизнь

в обстановке закоснелого мещанства и есть жизнь в тюрьме социальных предрассудков и духовной слепоты. Но не менее важно другое. Образы птицы как символа свободы и клетки-тюрьмы, противостоящий ему, в общем-то довольно традиционные в творчестве раннего Горького, обретают особое наполнение, и этого художественного горьковского мотива нам еще предстоит коснуться.

Ну, и в заключение еще один любопытный штрих. Оказалось, что Горький задолго до ареста сам знал «молодую», — воистину мир тесен! 27 июня 1901 г., т. е. вскоре после освобождения из тюрьмы, он сообщал в письме Чехову: «Познакомился с одним из жандармов — славный парень, а жена его — представьте-ка! — в некотором роде — воспитанница моя, — я водился с ней, когда она была девочкой лет 4–7. Теперь — поразительная красавица, умница, добрая и очень тяготится дрянной службой мужа».

…О чем думал писатель, наклеивая на конверт две марки с изображением крестьянина, боком — чтоб не заклеить слово «Заказное» в правом верхнем углу? Не о том ли, что приходится выводить столь не любезное его сердцу новое название, навязанное родному городу вопреки его воле?

Но вряд ли о том, что тогдашнюю, 1901 года, ситуации нынешнее время наполнило не только парадоксальным, просто каким-то абсурдистским содержанием: разве так, как жандармы с врагами царизма, обращались верные сатрапы сталинского режима, служители ГУЛАГа с политическими заключенными, — да хоть бы и с теми же писателями?

И уж наверняка не о том, что не могло никому привидеться и в самом кошмарном сне. Из 139 членов ЦК, избранных съездом, 108 вскоре ожидает арест и расстрел[55]. Впрочем, так же, как и многих делегатов съезда. И вовсе не потому, что будто бы многие проголосовали против Сталина, а итоги голосования были фальсифицированы (существовала долгое время такая версия). В результате специального изучения установлено, что против Сталина было подано всего три голоса («против» Кирова — 4). Наибольшее количество «против» среди баллотировавшихся в члены ЦК получил Я. А. Яковлев: 28. Так что, уничтожая делегатов съезда, Сталин не руководствовался опасением за свое положение. Он твердо решил осуществить «кадровую революцию» в любом случае.

…Когда Сталин, ласково улыбаясь, направил то самое подаренное ему туляками ружье в зал, никто из восторженно аплодирующих делегатов не мог представить, какой зловещий смысл несет этот жест вождя.

ГЛАВА XXI
«Авиатора» Максима Пешкова «убирают» на земле…

В мае 1934 года неожиданно заболел Максим. Поначалу дед сообщал внучкам Марфе и Дарье о болезни отца спокойно: «прихворнул». По одной версии — простудился на рыбалке, по другой — на аэродроме. Воспаление легких… Его не стало в течение нескольких дней. Смерть Максима ошеломила отца и всех близких, тем более что молодой крепкий мужчина, помощник отца в разных делах и неистощимый в затеях и импровизациях в минуты отдыха, он был великолепным спортсменом, автомобилистом и лыжником. «Максим был отличным лыжником, — вспоминает жена Максима Надежда Алексеевна, — иногда брал лошадь, привязывал лыжи и один уезжал в горы».

Максим ухитрялся обманывать недуги даже тогда, когда они одолевали всех окружающих. Отец писал Екатерине Павловне из Италии: «За сим — все обстоит благополучно; после моего и М<арии> И<гнатьевны> гриппа Максим, — конечно, — из чувства зависти, — тоже пробовал заболеть, — но ему это не удалось, только усиленно сморкал нос два дня, а вчера уже гонял на машине куда-то в горы с компанией герцогинь и прочего качества женщин».

11 мая, в день смерти сына, Горького посетили Сталин и другие руководители, выразили самое искреннее соболезнование…

А Горькому вспоминалась дочь. Вскоре после того, как, вернувшись из Америки, он поселился на Капри, пришла страшная весть. В 1906 году в Нижнем Новгороде в пятилетием возрасте от болезни мозга неожиданно скончалась дочь Катя… Он вспомнил 26 мая 1901 года, день рождения Катюшки, когда, по счастливому стечению обстоятельств — в тот же самый день! — его квартиру в доме Лемке на Канатной посетил Антон Павлович Чехов (проездом, по дороге в Башкирию, на кумыс). Чехов, которого он боготворил!

Духоподъемное было времечко! Только что, после месячной отсидки, выпустили его из острога, куда заточили за приобретение мимеографа для печатания революционных прокламаций. Только что была опубликована «Песня о Буревестнике», прогремевшая на всю Россию. А теперь вот, спустя

пять лет, — такая весть…

Смешанное чувство горя и вины оттесняло на задний план радостные воспоминания о прошлом. Понимал, что исход болезни дочери предотвратить не мог бы, но все равно ощущал себя виноватым, потому что в 1904 году оставил семью, связав свою жизнь с Марией Федоровной.

Отныне он оставался отцом единственного ребенка — сына Максима. И нарастало сознание двойной, тройной ответственности за его будущее.

Разумеется, никак не мог он предполагать, что ему суждено будет спустя годы пережить еще одну трагедию — безвременную кончину сына, который погибнет при весьма странных, загадочных обстоятельствах…

…Работая над первой частью автобиографического повествования, ставшего одной из лучших его книг, Горький мысленно все время сравнивал свои трудные детские годы с детством Максима. Применительно к себе он мог бы повторить слова Антона Павловича: «В детстве у меня не было детства».

А у сына?

Начисто лишенный материальных забот, более того, имевший, как говорится, все, Максим, как и Алеша Пешков, рос без отца.

Когда Горький навсегда покинул дом Киршбаума, что на Мартыновской, Максиму было семь лет (родился он в июле 1897 года в Мануйловке, на Украине, куда молодая чета поехала на лето).

За границей отец и сын встречались многократно. На Капри, куда Максим приехал с матерью в первый раз уже в январе 1907 года; в Аяччо, курорте недалеко от Ниццы, куда неоднократно выезжал отец, в иные годы по два раза, прерывая свою напряженную литературную работу…

Но встречи встречами, они никак не могли заменить того повседневного общения, которое родители и дети имеют в семье. Может, это не в последнюю очередь и предопределило формирование характера Максима. Он рано понял, кто его отец. Писатель, и знаменитый! Смышленый мальчуган в доме (где теперь располагается мемориальный музей) постоянно слышал разговоры о литературе. С малых лет родители заботились о том, чтобы приобщить его к книгам. На полках книжного шкафа в просторной детской и сейчас стоят многотомные популярные издания: «Земля и люди» Элизе Реклю, «Жизнь животных» Брэма, другие книги…

Как и все дети, маленький Максим, или, как его сокращенно звали родители, Макс, любил сказки. Мало того, он даже пытался

сам сочинять их. Едва научившись писать, крупными ломкими буквами выводил на листе линованной бумаги: «Жил старик со старухой, и жили они в лесу, а лес этот был огромный и в нем были разные самые…» Дело продвигалось туго. Должно быть, потому, что начинающему «литератору» с самого начала не было ясно, чего ради старик со старухой забились в лес, подальше от людей…

Позже отец порой даже побуждал сына к сочинительству, окрашивая свои призывы в шутливые тона: «Ну-ка, напиши мне хоть четыре строчки стихов? Не можешь, француз! Авиатор! Велосипедист! Боксер!» «Француз» — пытался. Не получалось.

Впрочем, однажды, уже после Октября, в 1919 году, литературные задатки все же выявились достаточно любопытно, что породило своеобразный казус. Максим сочинил рассказ «Ланпочка, или как солдат комунир обучил „сицилизму“ Максима Горького». Приняв рассказ за сочинение самого писателя, его опубликовали почти одновременно, день за днем, 20 и 21 июня 1919 года, газеты «Известия» и «Правда». Гости, в изобилии появлявшиеся в доме, долго потешались над отцом и сыном, спрашивая, так кто же из них все-таки зажег эту самую «ланпочку».

А Максим говорил отцу (тоже, конечно, в шутку), как бы подзадоривая его — между ними это стало делом обычным:

— Стоит мне захотеть, я и роман могу написать не хуже твоего!

— Конечно, конечно! — делая вид, что соглашается, басил отец, как всегда нажимая на «о». — Стоит тебе только захотеть!

И вправду, стоило Максиму захотеть, и получалось у него многое. Он лихо водил машину и фотографировал не хуже профессионала, в единственном экземпляре издавал «Соррентийскую правду», заполненную всякого рода веселой чепухой… А рисовал — отлично! «…Нигде не учась, поражает художников своим талантом», — писал отец. Некоторые из картин Макса восторженно оценил сам Константин Коровин!

В душе Максима сталкивались увлечения прямо противоположные. Взять ту же живопись. Она требует самой обыкновенной усидчивости. А уже в юности у Максима возникло, и чем дальше, тем все более прочно утверждалось в нем, стремление к динамике. Как уже говорилось, любил он быструю езду — сначала на велосипеде, потом на мотоцикле и машине. Рассказывают, однажды, уже в 30-е годы, обогнал машину, в которой ехал Сталин (его загородная дача располагалась недалеко от горьковской). Вождь таких вещей не любил, и отцу пришлось искать способ загладить возникшее недоразумение.

Но тайной страстью Макса еще во время учебы во Франции стала авиация. Он часами мог торчать на аэродроме, с замиранием сердца наблюдая полеты крылатых машин. Как только встречал что-нибудь про авиацию в газетах и журналах, хватался за ножницы — вырезал. Заядлый филателист, он более всего предпочитал марки с изображением аэропланов, и отец, зная эту страсть сына, стремился присылать ему в первую очередь марки именно такие.

Максим завел специальный альбом, в прорези страниц которого аккуратно вставлял открытки с изображением неуклюжих на вид «этажерок» и мужественных лиц авиаторов в шлемах и очках, сдвинутых на лоб. Манящей музыкой звучали имена и названия: Блерио, Лефевр, Вильбур Райт… До чего бесстрашны эти люди! Вот этот, что стоит спиной к тебе, широко расставив ноги и ухватившись рукой за торчащую вверх лопасть винта… Или вот эти двое, что сидят, вытянув ноги вперед, как в санях, но только земля у них уже далеко внизу…

В 1910 году, посетив со школой «аэропланную выставку», Макс писал отцу: «Было очень интересно: там есть один очень интересный аэроплан военный. Устроен он так: спереди винт в 2 м, потом очень большой мотор в 200 лошадиных сил, и около мотора сидит человек, который правит ходом аэроплана, т. е. пускает в ход винт, подливает бензин и т. д.

Видели мы и другие аэропланы. Многие из них были очень странны. Попробую тебе некоторые нарисовать. Я тебе вкратце попробую нарисовать всю историю авиации, но не сердись, если у меня ничего не выйдет». Увлечение авиацией Максим пронесет до самой смерти…

Да, много было увлечений у Максима и многое получалось у него — стоило только захотеть. Про таких принято говорить: и швец, и жнец, и на дуде игрец. Плоховато выходило лишь одно: захотеть чего-то главного, сильно и всерьез. «Эх, как богато одарен этот окаянный Максим, — с восхищением и укоризной восклицал отец. — Но он ничего не хочет делать, хоть ты тресни! Обидно, эгоистичен он, как красивая баба». Критически касаясь его увлечений, Горький как-то писал Екатерине Павловне: «… Максим должен учиться, не думая о штыках, автомобилях и аэропланах». В другом письме подчеркивал: учиться сыну надобно систематически.

Отчаянный, «запойный» труженик, часами не разгибавший спину за письменным столом, преодолевая недуги и всяческие житейские соблазны, отец словно нутром чувствовал ту опасность, которая угрожает сыну. В одном из писем Екатерине Павловне писал сурово и категорично, как бы призывая мать

оценить опасность, которая может угрожать сыну: нет ничего уродливее дилетантов.

Сразу же после того, как Максим поступил в школу, переписка отца и сына становится более регулярной и целенаправленной. Однако переписка, так же как и эпизодические встречи, не могла заменить постоянного общения в семье. Еще более очевидно, что переписка не могла заменить и систематического образования. Отлично понимая это, родители тщательно взвешивали, где обучать сына.

В местечке Фонтэнэ-о-Ноз, под Парижем, открылась новая русская школа И. И. Фидлера — специально для детей русских эмигрантов. Максим рос любознательным парнем, интересовался историей, географией, этнографией, о чем свидетельствуют сделанные им записи.

Но не менее важными были для него, так сказать, внеклассные «уроки», что преподносил витавший в школе дух. Основатель школы Фидлер до эмиграции служил директором Московского реального училища. В 1905 году оно стало одним из центров Декабрьского вооруженного восстания, и здание было буквально расстреляно царскими войсками из пушек.

Физику и математику преподавал в новой школе А. М. Коваленко, инженер-механик с легендарного судна «Потемкин». Работал здесь и Николай Александрович Семашко, видный революционер, впоследствии, после Октября, возглавивший здравоохранение в стране. Он с удовлетворением замечал, с каким жадным интересом и сочувствием воспринимает сын знаменитого писателя рассказы о борьбе за социальную справедливость.

Так что неудивительно: когда грянул Октябрь, двадцатилетний Максим пошел вместе с большевиками. Пошел, хотя знал, что отец к этому времени уже расходился с ними и полемизировал на страницах издаваемой им газеты «Новая жизнь», опасаясь, как бы не понесли слишком жестоких потерь культура и интеллигенция. Это явилось первым решительным расхождением отца и сына, первым выбором, сделанным Максимом самостоятельно.

Родителям пришлось порядком поволноваться. В дни октябрьского переворота Макс исчез. Мать не находила себе места. Отец, как мог, скрывал тревогу, пытался успокаивать ее, не отходил от телефона. Оказалось, Максима как члена большевистской партии арестовали юнкера, и лишь после длительных поисков его обнаружили в синематографе на Арбатской площади, превращенном в место содержания арестованных. Отсюда и вызволил начинающего революционера

знакомый семьи Пешковых и — заметим — летчик В. Г. Соколов.

Новая власть вскоре назначила Максима Алексеевича дипкурьером в Италию, причем этому способствовал сам предсовнаркома Владимир Ильич, подаривший сыну Горького книгу «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме» с автографом.

Итальянская полиция взяла Максима на заметку и даже запретила ему позже — когда он уже воссоединился с отцом, чтобы до конца дней жить с ним под одной крышей, — как «члену ЦК РКП» ездить на мотоцикле. Фашистская администрация лишала его этого удовольствия напрасно, потому что Максим вовсе не был членом ЦК. Да и вообще его участие в революции оказалось в значительной степени кратковременным романтическим порывом души к свободе и личной самостоятельности.

Мы уже знаем, что Максим умел делать многое. Но главное, что определилось в конечном счете, — он умел быть при отце. Никогда при этом он не подчеркивал своей нужности, а отец в отношениях с сыном никогда не опускался до покровительственной сентиментальности. Оба прекрасно использовали лучшее средство ликвидации любой психологической напряженности — юмор.

К. Чуковский записывал в 1928 году в своем дневнике впечатления о Горьком и его отношениях с сыном. «Горький действительно тонкий. Плечи очень сузились, но талия юношеская, и вообще чувствуется способность каждую минуту встать, вскочить, побежать. Максим по-прежнему при людях находится в иронических с ним отношениях, словно он не верит серьезным словам, которые произносит отец, а знает про него какие-то смешные. Когда отец рассказывал анекдоты о своих триумфах в провинции, сын вынул узкую большую записную книжку и, угрожающе смеясь, сказал:

— Вот здесь у меня все записано».

Горький поддерживал такой стиль, снимавший налет официальности, напряженности, неизбежно возникавший вокруг человека, занятого огромной массой дел государственного масштаба.

Живя при отце, Максим так и не нашел для себя какого-то определенного занятия, да и где он мог служить, живя в Италии? Потому долгое время считалось, что он «ищет себя». Но и после возвращения в Россию, в 1928 году, он не обременял себя какими-то конкретными служебными обязанностями.

«Советский принц», по иронической характеристике В. Шкловского, он имел уйму свободного времени. Человек веселый, открытый и общительный, Макс нашел в Москве тысячу

друзей, приятелей и просто знакомых и, постоянно встречаясь с ними, всякий раз приносил в дом ворох всевозможных новостей. Многие из них были таковы, что никогда не могли бы попасть на страницы печати — времена наступали сложные, жесткие, озадачивало и удивляло многое. Не то ожидал увидеть в стране недавний энтузиаст революционных преобразований.

Отец слушал новости задумчиво, барабаня тонкими пальцами по столу. Часто поднимался неожиданно, уходил, словно бы пресытившись сообщениями сына.

После первого приезда на родину, в 1928 году, Горький с семьей обычно уезжал на зиму обратно, в Италию. С 1933 года эти выезды прекратились. Их заменила жизнь в Крыму, в Тессели. К этому времени в шикарном особняке в стиле модерн, принадлежавшем ранее Рябушинскому и пожалованном Сталиным Горькому (вопреки его воле), начали совершаться странные перемены. Все большую власть приобретал секретарь Горького Петр Петрович Крючков. Близкие начинали догадываться: тот, кого, согласно принятому в семье обычаю всем давать прозвища, шутливо называли Пе-Пе-Крю, выполняет чью-то высшую волю. Он начал регулировать, кого из визитеров допускать к Горькому, а кого нет. Больше того — ограничивать самого Горького в поездках куда-либо, и все с удивлением отмечали, что тот не очень-то протестует против этого, словно не желая вызвать недовольство кого-то, кто стоит за спиной Крючкова. Все догадывались — кого именно. Потом, после смерти писателя, догадки подтвердились: Крючков, как агент НКВД, выполнял волю Сталина.

В эти непростые времена в доме все чаще стал появляться и сам шеф НКВД Генрих Григорьевич Ягода. Повод нашелся вполне подходящий: Ягода приходился дальним (очень дальним!) родственником Горького, т. к. имел отношение к семье Свердловых. А брата знаменитого ленинца, Якова Михайловича, Зиновия, Горький усыновил, дав свою фамилию и окрестив в арзамасской церкви. (Позднее Зиновий, прозванный в семье Зиной, стал генералом французской армии, героем Сопротивления в годы второй мировой войны.)

Регулярно появляясь в доме Горького, Ягода в случае необходимости мог получать от Крючкова важные сведения незамедлительно. Но Ягоду приводило сюда не только и даже не столько это обстоятельство (разумеется, Крючков пользовался в первую очередь иными, постоянными каналами). Все видели, что наркомвнудел контактам с кем-либо и даже с самим классиком предпочитает общение с его невесткой Надеждой Алексеевной, существом воистину прелестным. Берберова, автор известной

книги «Железная женщина», утверждает, что примерно в 1932–1934 годах у них был роман, хотя не приводит никаких подтверждений.

Одна любопытная деталь путешествия горьковского семейства на спецпароходе по Волге в 1935 году, т. е. после смерти Максима, которую в числе множества других подробностей рейса установила нижегородский краевед Вера Николаевна Блохина. В поездке принимал участие и Ягода. Причем готовился он к ней весьма своеобразно и задолго. Посетил пароход, тщательно осмотрел его и приказал две каюты, расположенные поодаль от других, соединить потайной дверью, задрапированной так, чтобы ничего не было заметно. В этих-то двух (или, можно теперь сказать, в одной двухместной каюте) и расположился Ягода, сделав так, что рядом оказалась молодая вдова Максима. Однако на первой же остановке, мрачный, как туча, он сошел на берег. Видимо, дверь пробивали напрасно…

Надо понимать, сколь двусмысленным становилось положение Максима, мужа той, кого называли в доме Тимошей. Он ревновал жену и, стараясь отвлечься от житейских неприятностей, все чаще начинал прикладываться к рюмке. Если кто-нибудь и упрекал его за это, то только не Крючков. Распоряжавшийся финансами, он всегда охотно «помогал» Максиму, когда тому надо было «промочить горло».

Обстановка в доме становилась все более напряженной, и Максим чувствовал это. Как поставщик сведений из города, о которых не только не писали газеты, но и говорить-то побаивались, Максим явно мешал кому-то.

…Заболевание Максима в мае 1934 года имело какое-то странное происхождение. Однажды, как говорят в народе, заметно навеселе, заехал он к своей приятельнице Ирине Кольберг (Гогуа), дочери известной нижегородской революционерки Юлии Кольберг. Вообще сестры Кольберг — старшая Вера и младшая Юлия — тесно общались с горьковским семейством. Вера Николаевна часто бывала в доме Пешковых на Мартыновской, нянчилась с Максимом, а в Арзамасе, где Горький находился в ссылке, выступила в роли посаженой матери Зиновия Свердлова во время его крещения. Младшая, Юлия Николаевна, очень дружила с Екатериной Павловной. Особенно частыми встречи Максима и Ирины, обычно у Екатерины Павловны, стали в Москве после возвращения в Россию.

Со своей приятельницей с детских лет Максим мог говорить откровенно решительно обо всем.

Во время встречи в начале мая 1934 года Ирина сообщила Максиму ужасную новость. Арестовали мужа их общей подруги

Леночки, ждавшей ребенка. Надо срочно достать денег.

— Коньяку или шампанского могу раздобыть хоть машину, — сказал Максим, — но денег не дают.

Это «не дают» относилось к Крючкову, распоряжавшемуся всеми финансами.

Однако на другой день Максим появился вновь и выложил аж целую тысячу. Прошло еще два-три дня. К вечеру, очень возбужденный — таким Ирина не видела его никогда, — Максим приехал вновь и привез еще пятьсот рублей.

Погода стояла не по-майски холодная, а на Максиме была рубашка с коротким рукавом и пиджак, небрежно наброшенный на одно плечо. От него опять заметно попахивало спиртным.

Ирина застегнула ему ворот рубашки и посетовала: «Ты совсем не бережешь себя!»

Максим понял ее реплику по-своему и ответил: «Ничего! Меня сейчас в машине ждет Петр Петрович. Прокатимся с ветерком, старик ничего и не заметит».

А потом, когда Максим заболел воспалением легких, стали говорить, что он заснул и его никто не хватился до утра.

Приехавший в Советский Союз Роллан сделал следующую запись в своем «Московском дневнике»: «Смерть этого молодого, здорового человека, „простудившегося на охоте“, которого по некоторым версиям обнаружили рано утром в саду у дома, на заснеженной земле, уже с двухсторонним воспалением легких, и фатальный исход болезни через неделю с небольшим — все это более чем странно и внушает разные опасения».

Какую роль могли сыграть в этом деле Ягода и его люди?

«Максима убрали», — убежденно заявляла Екатерина Павловна. Никто не мог знать, как часто приходила на память Горькому эта сказанная с горечью и болью фраза…

Роллан свидетельствует: «Мы ехали вдвоем с мадам Пешковой в машине с дачи Горького. Мадам Пешкова (Е. П. Пешкова) обрушилась с громкими и горькими жалобами на Ягоду. „Он лжет, лжет!“ — повторяла она с яростью, когда ненависть смешивается с презрением…»

А ровно через год, 18 мая 1935 года, случился еще один удар, так или иначе связанный с воздухоплаванием. Потерпел катастрофу гигантский восьмимоторный агитсамолет «Максим Горький» с типографией, громкоговорящей радиостанцией, бортовым телефоном. Погибли экипаж и все пассажиры.

Как будто что-то фатальное было и в смерти Максима, и в этом крушении. За полгода до гибели Максим особенно часто посещал аэродром.

Очень интересовало Максима и строительство авиагиганта

«Максим Горький», являвшего собой резкий контраст «этажеркам» первых лет развития авиации (подумать только: прошло всего каких-то два десятилетия!). Ездил Максим на завод ЦАГИ, близко познакомился с конструкторами, инженерами, рабочими.

Естественно, никому в голову не могло прийти и предположение о том, что этот лайнер, призванный продемонстрировать последнее слово науки и техники, станет воистину «гробом» для многих.

Потом, в августе 1935 года, когда Горький в последний раз — уединенно — путешествовал по Волге, ему, согласно чьему-то указанию, каждый день доставляли почту… самолетом. Прилетал, отыскивал пароход, делал круг, покачав крыльями, улетал, где-то сбрасывал газеты, журналы, письма, которые потом доставляли на катере. А он поневоле вспоминал гибель авиагиганта, случившуюся каких-то два месяца назад, родного «авиатора» Максима, которого теперь так не хватало…

ГЛАВА XXII
С новой властью нельзя не лукавить… (Как и зачем создавали писательский союз)

Многие думали: как же теперь, сразу после смерти сына, Горький сможет заниматься делами литературными? Ему предстояло проводить Всесоюзный съезд писателей — ни много ни мало! Сможет ли Горький выступить на нем с основным докладом? Ведь поначалу, по его предложению, намеревались проводить съезд еще год назад. Горький настоял тогда на переносе сроков, мотивируя свое предложение тем, что надо повнимательнее проанализировать все обширное литературное хозяйство по всем республикам. А теперь все вот как обернулось…

Съезду действительно предшествовала огромная подготовительная работа, которая началась сразу после того, как 23 апреля 1932 года ЦК принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидировавшее все группировки, в том числе и ведущую среди них — РАПП.

Хотя ее лидеры постоянно клялись в верности партийным принципам, ход событий и аргументы Алексея Максимовича все более убеждали Сталина в том, что дальнейшее существование РАППа нецелесообразно. А главное — пора активнее завоевывать интеллигенцию.

Сделать это будет не так просто после всего того, что пришлось ей (конечно же, в силу исторической необходимости) перенести: тут и высылка за границу, и аресты, и притеснения, точнее сказать, ограничения с жильем, и другое. Но все же не это главное. Он полагал: русская интеллигенция издавна готова пойти на всевозможные жертвы во имя Идеи. И у Него есть Идея. Но нужно сделать ее доходчивой для интеллигенции, нужно как бы перевести ее с языка официальных отношений на ее, интеллигенции, особый профессионально-бытовой язык. Писатели всегда отличались так называемым свободомыслием, а потому лучше, если идеи пойдут не прямо от Него, но через посредника, некое доверенное лицо. А после уже можно будет подзакрутить гайки, чтоб устранить лирические всхлипы, треск дискуссий, тяжеловесные шумные вздохи романов… Чтоб все обилие звуков сливалось в единый ритм, напоминающий биение мотора машины, самостоятельно двигающейся в указанном

направлении.

Но все это произойдет после ликвидации РАППа.

Читал Сталин много, думал о писателях, об их поведении, о том, какую роль может играть слово в общественной борьбе. После неожиданной смерти Маяковского позвонил Булгакову, просившемуся за границу, устроил его на работу в МХТ. В июне 1931 года встретился с Шолоховым на квартире Горького. Пришлось вмешаться, разрешить печатать шестую часть «Тихого Дона». Вообще-то верхнедонское восстание против советской власти описывается с сочувствием. Но в политике расказачивания виноваты Троцкий и Свердлов. И общий результат все же в пользу советской власти. И потом — надо же смотреть в будущее…

Долго говорил тогда о коллективизации, ее историческом значении, о борьбе с перегибами на местах как следствии головокружения от успехов. Словно со стороны вслушиваясь в ход беседы, с удовлетворением отмечал точность своего расчета: с Шолоховым на эту тему надо говорить не наедине, а в присутствии Горького. Не любит Алексей Максимович мужика, и если не поддержит напрямую, то уж и молчание его можно будет выдать за сочувствие… Впрочем, он точно знал, что и как сказать, чтобы Горький не удержался и хоть что-то да вставил по поводу войны анархиствующей деревни против города — его излюбленная идея…

Очень талантлив этот высоколобый мальчишка с Дона. Его, строптивца и защитника земляков, каким-то чудом ускользнувшего от местного НКВД и прорвавшегося в Москву, пришлось принять. Выслушал всех неторопливо, как обычно прохаживаясь вдоль стола заседаний и неожиданно останавливаясь, чтобы всмотреться в глаза говорящего убийственно-пристальным взором, определяющим безошибочно: лжет или говорит правду.

С Шолоховым стоило повозиться тем более, что Платонов, этот юродивый, изобразил коллективизацию с контрреволюционных позиций. Перед глазами вновь возникали обложки журналов — «Октябрь» (девятая книжка за 1929 год) с рассказом «Усомнившийся Макар», «Красная новь» с повестью «Впрок» (1931, № 9).

Конечно же, не случайно Платонов сблокировался с Пильняком для написания очерков «Че-Че-О». Рыбак рыбака видит издалека. Хорошо хоть Горький не хлопочет по поводу издания «Чевенгура»…

Забот с писателями много. И пришла пора сделать так, чтоб не приходилось возиться с ними поодиночке. Литературные проблемы надобно решать крупно, масштабно.

Пока главная из них — РАПП.

Российская ассоциация пролетарских писателей была и самой массовой из литературных группировок 20-х годов, и самой ортодоксальной. Ее составляла не какая-то там гнилая интеллигенция, а те, кто мог гордиться своим социальным происхождением. Они безоговорочно поддерживали партийную линию и нередко были даже недовольны тем, что в руководстве находились люди, обнаруживавшие благосклонность к попутчикам: всяким Фединым, Леоновым, Эренбургам, Катаевым…

Ну, а от Булгаковых, Платоновых и бывших графьев вроде Алексея Толстого мог быть один сплошной вред. Поэтому рапповцы не только не испытали восторга от резолюции ЦК «О политике партии в области художественной литературы», принятой 18 июня 1925 года, но перешли к ее прямому саботажу.

Рапповцы переносили на литературу категории классовой борьбы. Тогда вообще никто не представлял себе жизнь без борьбы. Для многих она, борьба, и составляла смысл жизни. Если противник оказывался побежден — искали нового. Рапповцы бросили лозунг союзник или враг. А в резолюции ЦК содержался призыв бережно относиться к попутчикам, вытеснять чуждые идеи в литературе посредством соревнования. (Снизойти до соревнования с вчерашним графом?!) И это вместо того, чтобы обеспечить гегемонию рабочего класса!

Главная сила партии — в дисциплине. Руководители РАППа шли на ее нарушение, становясь, как говорится, правовернее самого папы, продолжая травлю попутчиков, исповедуя самую последовательную групповщину: поддерживай своих только потому, что они свои. Этому правилу они придали даже демонстративно эпатирующую формулировку: «хоть сопливенькие, да свои».

Рука руку моет… Про руководителей РАППа Георгия Лелевича и Леопольда Авербаха сложили афоризм: как Юрка ляпнет, так Ляпка юркнет.

РАПП настолько был уверен в своей правоте, что, как мы знаем, в 1929 году выступил против Горького. Сталину пришлось принять решительные меры против загибщиков-сибиряков. В 1930 году даже такой неисправимый левак и задира, как Маяковский, пришел к рапповцам с поклоном: подал заявление о приеме.

Не стеснялись лидеры РАППа спорить и с партийными руководителями, хотя назначал их ЦК (пролетарская ассоциация вообще обходилась без выборов своих лидеров, напрямую подчиняясь партийному центру).

Тем неожиданнее для всех, как гром среди ясного неба,

прозвучала в апреле 1932 года резолюция ЦК РКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций». РАПП ликвидировали! Было принято решение о создании единого Союза советских писателей.

На самом деле все произошло не вдруг. Замятин вспоминает, что во время многочисленных встреч с Горьким в начале 30-х годов он с возмущением рассказывал ему о бесчисленных нелепостях и глупостях, которые позволяли себе рапповцы, осыпая талантливых писателей беспощадными ударами критической дубинки. Горький больше помалкивал, хмурился, глубоко затягиваясь папиросой. Но Замятин видел, что слушает он внимательно. Возникала уверенность, что не только слушает, но и говорит об этом, где надо.

«В городе в его распоряжение был предоставлен многим знакомый дом миллионера Рябушинского, — вспоминает Замятин. — Горький бывал здесь только наездами и большую часть времени проводил на даче, километрах в 100 от Москвы. Там же, поблизости, жил на даче и Сталин, который все чаще стал заезжать к „соседу“ Горькому. „Соседи“ — один с неизменной трубкой, другой — с папиросами — уединялись и, за бутылкой вина, говорили о чем-то часами…

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что исправление многих „перегибов“ в политике советского правительства и постепенное смягчение режима диктатуры было результатом этих дружеских бесед. Эта роль Горького будет оценена только когда-нибудь впоследствии»[56].

Когда? Может, пришла пора приступать к решению этой сложнейшей задачи?

Что касается Замятина, то он с повышенной чуткостью относился к малейшим реакциям Горького на его слова: ведь тот вел переговоры со Сталиным о его выезде за границу.

Особо подчеркнем: хорошо информированный Замятин ведет речь отнюдь не только и даже не столько о проблемах культуры, но и о всей государственно-партийной политике в целом.

Не будем забывать, впрочем, что Сталин всегда оставался верен себе, и его действия в отношении «перегибов» на литературном фронте имели свою, сугубо индивидуальную подоплеку, в чем мы еще будем иметь возможность убедиться…

Когда ЦК распустил РАПП, интеллигенция ликовала: наконец-то это сборище интриганов и бездарностей перестанет существовать! Начнется новая жизнь. Радовался и Горький.

В свое время, еще до революции, он с энтузиазмом читал рукописи начинающих литераторов из народа, в изобилии поступавшие к нему, полагал, что возникнет новая, пролетарская

литература. Конечно, нужно много учиться, усваивать опыт классиков. Но жизнь рождала новые идеи, конфликты, характеры, и кому, как не тем, кто варится в гуще жизни, выразить мироощущение народа, его чаяния!

Ведь и сам-то он, кое-чего добившийся в литературе, вышел из низов (правда, не из пролетарских, а из среды городского мещанства, чем его попрекали некоторые слишком ревнивые сторонники чистоты пролетарской идеологии). Но Бог с ними, с крайностями. Он с упоением следил, как стремительно развивается рабочий класс, как усваивает начала культуры, как зрело судит о политических проблемах и вмешивается в них.

Оказалось, однако, что с литературой дело обстоит сложней. Научиться хорошо писать — куда трудней, чем бастовать, принимать прекрасные резолюции, метко стрелять из трехлинейки…

Литературу прежде всего все-таки должна делать интеллигенция, носительница знаний и таланта. Задача в том, чтобы завоевать ее доверие, убедить в том, что революция поставила перед собой гуманные и справедливые цели. Что же касается людей из народа, революция широко распахнула двери перед ними, чтобы они шли путем образования и самообразования, приближаясь к интеллигенции и вливаясь в нее.

Чем дальше, тем больше Сталин убеждался в необходимости активного привлечения интеллигенции к культурному строительству. Где они, шедевры пролетлитературы? Разве что «Бруски» Панферова.

Но внутреннее отношение Сталина к проблеме пролетарской литературы было иным, чем у кого-либо, и определялось оно вовсе не уровнем литературного мастерства. Политик до мозга костей, он твердо знал: любое обстоятельство, попадая в орбиту его внимания, должно быть использовано как средство достижения главной цели.

Почему он долгое время поддерживал рапповцев? Потому что они боролись за пролетарскую литературу. А кто упорно отрицал возможность создания пролетарской литературы? Троцкий! Ну конечно, он, этот высокомерный интеллектуал, любующийся собой и своими талантами! Вся фигура Троцкого антипатична рапповцам. Он для них абсолютно чужой. Вот пусть они и борются против неверия в возможность создания пролетарской литературы. А значит — против Троцкого!

Сразу после того, как Троцкий был исключен из партии, изгнан из страны, стала меняться оценка РАППа. И первым крупным шагом такого рода послужило постановление 25 декабря

1929 года о неправильном отношении рапповцев-сибиряков к Горькому…

Вернемся еще раз к воспоминаниям Замятина и вдумаемся в его свидетельство. Как уже говорилось, о различных злоупотреблениях рапповцев властью он рассказывал Горькому не раз. Слушал тот внимательно, временами останавливал: «Подождите, эту историю я должен для себя записать».

«Смысл этих „записей“, — продолжает Замятин, — стал мне ясен только гораздо позже, в 32-м году. В апреле этого года, неожиданно для всех, произошел подлинный литературный переворот: правительственным декретом деятельность РАППа была признана „препятствующей развитию советской литературы“, организация эта была объявлена распущенной. Это не было неожиданностью только для Горького: я совершенно уверен, что этот акт был подготовлен именно им и он действовал как очень искусный дипломат».

Очень искусный дипломат!.. И это о Горьком? Признаемся, что-то совсем новое в его характеристике. Существенно новое! Авторитетное свидетельство Замятина дает ключ к пониманию многих поступков Горького, таких, подспудный смысл которых постичь попросту невозможно без учета этой особенности его общественного поведения.

Надо ли долго доказывать, что Горький не мог быть доволен рапповской политикой, и прежде всего ее упрощенчески-антиинтеллигентской направленностью (индикатором тут может быть диаметрально противоположное отношение Горького и вождей пролетлитературы к писателям группы «Серапионовы братья»). Потому и свидетельство Замятина о роли Горького в ликвидации РАППа не вызывает сомнений.

Тем неожиданнее и загадочнее выглядят для нас факты совсем иного рода. Вот один из них, выражающий отношение к генеральному секретарю РАППа. «Был у меня Авербах, — пишет Горький одному из корреспондентов в феврале 1932 года, как раз накануне принятия постановления от 23 апреля. — При ближайшем с ним знакомстве, это очень хороший и даровитый человек, но — устал он отчаянно».

Примечательны как обращение к самому Авербаху в письме к нему («милый т. Авербах»), так и тональность письма: выражая несогласие по принципиальным вопросам, Горький в то же время явно избегает полемических заострений. В своих статьях «О пользе грамотности», «О возвеличенных и „начинающих“», он куда более резко критикует кастовость и групповщину.

Вообще, отношение Горького к рапповщине как социальному явлению и к отдельным рапповцам как личностям не вполне

совпадает. Горький как бы отделяет одно от другого, он словно бы призывает к некоей снисходительности к людям, оказавшимся в плену слишком жестких доктрин, порожденных их организационной структурой.

Казалось бы, критическое отношение Горького к организации и ее лидерам должно было возрастать по мере приближения краха РАППа, тем более что до самого последнего момента рапповцы не складывали оружия, отстаивая свои «принципы». Более того, тот же Авербах поначалу даже демонстративно отказался подписать декларацию писателей, направленную в ЦК с одобрением постановления от 23 апреля 1932 года.

Но Горький, принимая самое деятельное участие в похоронах рапповщины, все активнее выражает свою лояльность по отношению к рапповцам. Мемуарист не без удивления вспоминает: «Расположение и даже любовь Горького к рапповцам бросается в глаза. Авербах у Горького — дома. Его нервный раскатистый смех звенит за три комнаты. Он ближайший друг Крючкова. Горький пестует рапповцев. Встречает их почти влюбленно, с улыбкой, как добрых друзей, подмигивая, зная все их игры и привычки».

В конце концов создается впечатление, что во всей этой явно недостаточно изученной истории Горький действительно вел себя как искушенный дипломат. Активнейшим образом способствуя ликвидации РАППа, он словно бы все время стремится подчеркнуть, что ни в какой мере не выступает против того, чтобы литература вписывалась в систему партийно-государственной власти, возглавляемой Сталиным.

Дело доходило до парадоксов. Л. Сейфуллина во время одной из встреч писателей с партийным руководством в бывшем особняке Рябушинского, ставшем резиденцией Горького, резко выступила против пережитков рапповщины, чем вызвала явное неудовольствие Горького. Сталин, напротив, продлил ей регламент. А потом сказал: «Вот тут выступала Сейфуллина. Кто виноват, что она не верит Авербаху? Авербах виноват. РАПП виноват. Сейфуллина не одна. Я знаю, что и другие так думают, только боятся говорить. Про нее сказали, что она трусиха. А вот она оказалась смелее всех… Мы должны считаться с беспартийными писателями». Мемуарист К. Зелинский заключает: «Выступление Сталина явно окрашено в полемические тона против рапповцев».

Горький и Сталин как бы поменялись ролями! Горький опасался, чтобы крах РАППа не был воспринят сталинской верхушкой как пробуждение тяги писателей к внепартийности, аполитизму. Сталину же в этот момент важнее было подчеркнуть

другое: руководство страны протягивает руку беспартийной интеллигенции, ищет доверия с ее стороны, создает обстановку, благоприятную и для сотрудничества, и для творчества.

Это потом Сталин устранит множество неугодных, отработавших свое. В число последних попадет в 1939 году и тот же Авербах (как и многие другие рапповцы). И наоборот, уцелеют единицы тех, кто отваживался держаться самостоятельно: та же Сейфуллина, не говоря о таких крупных величинах, как Пастернак или Платонов… Повторим, уцелеют единицы. В этом тоже проявилось изощренное коварство Сталина: подлинная, скрытая логика действий верхов не должна обнажаться прямолинейностью методов ее проведения в жизнь.

Выше уже говорилось, что после ликвидации РАППа и в преддверии образования Союза писателей состоялось несколько встреч литераторов с руководством страны на квартире Горького. (Вот теперь и пригодился вместительный особняк Рябушинского, против вселения в который поначалу энергично возражал Горький. Он не мог догадываться тогда, зачем потребуется это фешенебельное сооружение в стиле модерн, расположенное в самом центре столицы.)

По мысли Сталина, таким встречам не следовало придавать сугубо официального характера. Это не он, Сталин, созывает писателей. Он, как гость Горького, встречается с писателями, тоже пришедшими к Горькому в гости. Так сказать, на равных. И пусть будут вино, бутерброды.

Открывая одну из таких встреч, состоявшуюся в сентябре 1933 года[57], Горький сказал всего несколько слов: присутствуют руководящие, старшие товарищи, собрание будет серьезным.

Писатели вынули записные книжки, карандаши. Сталин сделал легкий жест, словно отодвигая на письменном столе какой-то посторонний предмет. Сказал так же тихо, как начал, что не нужно ни записей, ни стенограмм: встреча носит неофициальный характер. Сказал словно бы с чувством удивления и даже легкого разочарования, ничуть, впрочем, не обидного для присутствующих: ну, что вы, какие там блокноты! Мы же свои люди, собрались просто для того, чтобы обменяться мнениями.

Продолжил.

Кто такие писатели? Инженеры человеческих душ.

Каким должен быть метод новой литературы? Социалистический реализм (ему понравился термин, промелькнувший весной прошлого года в «Литературной газете»).

Говорил Сталин не торопясь, неожиданно долго.

Некоторые все же записывали, ухитрившись пристроить

книжки на колени: Ф. Гладков, Б. Пильняк, В. Бахметьев…

Сталин делал вид, что не замечает.

Продолжал. Партия и писатели должны работать в полном контакте, у них одна цель: воспитание нового человека. Дальше — о планах социалистического строительства. Не забыл и про важность критики недостатков. Большой упор делал на том, что отныне руководить писатели своей работой должны сами — для того и создается их творческий союз.

От речи Бухарина ждали большего: ходили слухи, что именно ему будет поручено выступить на съезде с обстоятельным докладом. Говорил он кратко, в довольно общей форме. Этот знаток литературы, критик, задиристый полемист явно сдерживал себя… И большинство не догадывалось: Бухарин уже понимал, что ему как оратору нельзя раскрываться в присутствии Сталина, чтоб не возникло нежелательного контраста.

И тем не менее Сталин речью Бухарина остался недоволен. Ему доложили, что на совещание Бухарин опоздал, и дежурные не пропустили его. Тогда немало тому удивившийся Николай Иванович в раздумье отошел в сторону и… ловко перемахнул через ограду. В этом крепком, спортивном человеке было немало чисто мальчишеского, такого, чего не должен себе позволять большой политик.

В перерыве произошел инцидент, который произвел на всех ошеломляющее впечатление. Сталин вышел из комнаты, куда удалился с Кагановичем, Мехлисом и другими, и подошел к одной из групп, на которые разбились писатели. Здесь были Горький, Гладков, Бахметьев, Безыменский. Был и Бухарин. Сталин подошел молча. Чувствовалось: чем-то недоволен. Налили вина… Вдруг Сталин, обратившись с бокалом в руке к Бухарину, посмотрел на него жестко-неприязненным взглядом и сказал: «Ну, и скоро ли ты нас предашь?»

Спросил, словно только что, в соседней комнате, получил какие-то сведения, о которых не мог знать никто.

Все опешили. Все, включая, разумеется, и Бухарина. Он начал растерянно уверять, что нет никаких оснований подозревать его в чем-либо и уж тем более заводить об этом речь на таком собрании…

Минуя Бухарина, Сталин чокнулся со всеми остальными и вдруг с еще большей ожесточенностью сказал: «Ну, смотри, это может плохо кончиться!»

Всем, кто знает, каким был Сталин, может показаться, что в этом эпизоде просто-напросто выявился его тиранический характер. И только. Однако именно в эту пору, во время тех же встреч с писателями, сам Сталин проявлял и выдержку и чувство

юмора… Он с успехом носил одну из своих масок.

Что же касается выходки в доме Горького, то некоторые писатели могли воспринять ее как жестокий реванш за явную бестактность, допущенную Бухариным здесь же, у Горького, вероятно, в первой половине 1932 года, во время другого совещания писателей, состоящих в партии. Вспоминает К Зелинский.

«Выпили. Фадеев и другие писатели обратились к Сталину с просьбой рассказать что-нибудь из своих воспоминаний о Ленине. Подвыпивший Бухарин, сидевший рядом со Сталиным, неожиданно взял его за нос и сказал: „Ну, соври им что-нибудь про Ленина“».

Сталин был оскорблен. Горький явно растерялся. Сталин сказал: «Ты, Николай, лучше расскажи Алексею Максимовичу: что ты на меня наговорил, будто я хотел отравить Ленина».

И Сталин рассказал известный теперь эпизод с просьбой Ленина дать ему яд, чтобы облегчить предсмертные страдания. Тогда, в 1932-м, даже Сталин не нашел, как сразу прореагировать на выходку Бухарина. Но, как известно, Сталин ничего не забывал и ничего никому не прощал, в чем убедились все, знавшие о выходке Бухарина, пусть и беззлобной, но, конечно же, бестактной.

И опять жизнь не укладывается в разрабатываемые нами четкие схемы. Совершенно непонятно, как мог допустить такую выходку Бухарин после той дикой травли, которой был подвергнут в 1929 году. А может быть, еще более парадоксально, что, несмотря на нелепое поведение Бухарина в доме Горького и мстительность Сталина, именно Бухарину будет вскоре поручен один из основных докладов на предстоящем съезде писателей — доклад о поэзии, в котором как высшее достижение будет расценена муза Пастернака.

Если до недавних пор роль Горького в выдвижении Бухарина как докладчика на съезде выглядела лишь как гипотеза, то теперь документально доказано: именно он, преодолевая сопротивление многочисленных ортодоксально настроенных литераторов и чиновников, отстоял кандидатуру Бухарина[58]. В ответ на недоуменный вопрос Гронского по этому поводу Сталин ответил с раздражением: «Горький изнасиловал». Чтобы кто-нибудь «изнасиловал» диктатора, прибравшего к рукам всю полноту власти? Случай воистину беспрецедентный!

Не все участники собрания успели узнать об озадачившей сталинской выходке по поводу «предательства» Бухарина, происшедшей во время перерыва и решительно расходившейся с тоном его выступления. Но абсолютно всех озадачила

прозвучавшая вскоре речь Мехлиса. Редактор «Правды», поздравив писателей с предстоящим объединением в свой Союз, вдруг заявил, что писатели, ведя замкнутый образ жизни, мало знают друг друга. Но жизнь, суровые законы социалистического строительства требуют крепить ряды, а для этого нужно и «прочищать» ряды от нежелательных элементов. Это «прочищать» прозвучало так, как «пропалывать», то есть уничтожать сорняки. Такой, с позволения сказать, «тост» один из участников встречи назвал «оригинальным и страшноватым». Тогда еще никто не мог предполагать, насколько он страшен…

Все видели, сколь встревожила эта речь Алексея Максимовича. Он постарался прокомментировать ее в том духе, что Союз сам будет принимать новых членов, воспитывать их, а если надо, может кого-то и исключить… Но многие почувствовали, что Мехлис имеет в виду что-то совсем другое. Теперь мы хорошо понимаем — что именно.

Впрочем, ощущение надвигающейся беды нет-нет да и давало себя знать уже тогда. И если уверенно, бодро выступали вчерашние рапповцы Авербах, Родов, словно желая продемонстрировать свою былую дееспособность, то совсем иной характер носили некоторые другие выступления.

Пильняк недвусмысленно выразил тревогу: не произойдет ли подавление индивидуальности писателя общественностью?.. О том же говорил Зелинский…

Хотя Пастернак и не выступал, но в перерыве он метался от группы к группе, будучи чем-то крайне взволнован и ища понимающего собеседника…

Отношения Горького и Пастернака, естественно, являются самостоятельной огромной темой. Попутно лишь одно небольшое соображение по этому поводу. Если XIX век, пытаясь отстоять духовную суверенность литературы, нередко выдвигал принцип «искусство для искусства», а Горький в начале 20-х годов трансформировал его в формулу «искусство вне политики», то XX век вскоре убедил: политизация художественного сознания неизбежна.

И опыт столь блистательного мастера интеллектуальной лирики, как Пастернак, служит убедительным подтверждением этой закономерности. Создавший в свое время историко-революционные поэмы «1905 год» и «Лейтенант Шмидт», он вновь обратился к социально-политической проблематике в романе «Доктор Живаго» и дал новаторское понимание Гражданской войны в России.

Вчитаемся в удивительные по своей исповедальной проникновенности письма Пастернака Горькому, и мы поймем,

что и книги Горького, и он сам как личность, как «океанический человек» (по определению Бориса Леонидовича) стали неотъемлемыми слагаемыми творческого потенциала поэта. И прежде чем кардинально переосмыслить драму революции, он словами, в искренности которых сомневаться не приходится, сказал: «Я не знаю, что бы для меня осталось от революции и где была бы ее правда, если бы в русской истории не было Вас».

В заключение встречи Сталин вдруг попросил прочитать отрывок из рассказа «Дед Архип и Ленька». Книгу быстро принес Крючков. После того как чтение закончилось, Сталин сказал одобрительно: «Вот истоки классового содержания нашей литературы и всей нашей деятельности».

Похвалил Горького, но у того все никак не шел из головы злосчастный эпизод с Бухариным…

По воспоминаниям председателя Оргкомитета Союза писателей И. Гронского, подобных встреч высшего партийного руководства с писателями было четыре. А совещаний, связанных с подготовкой тех или иных документов и носивших порой многочасовой характер, было гораздо больше. В них принимали обычно участие Молотов, Ворошилов. Партия контролировала каждый шаг на пути писательского объединения в Союз. Однако, как подчеркивает мемуарист, Сталин не только особенно внимательно прислушивался к мнению Горького, но порой допускал принятие каких-то горьковских формулировок, даже если был с ними не согласен.

После выхода постановления 23 апреля 1932 года подготовка к съезду писателей развернулась вовсю. Был создан Оргкомитет, почетным председателем которого назначили Горького. Правда, первый пленум, открывшийся 29 октября 1932 года, вынуждены были провести без него. Демонстративно, в знак протеста против переименования Нижнего Новгорода, он уехал в Италию.

Впрочем, чувство обиды довольно скоро отступило на задний план перед обилием забот об устройстве литературной жизни.

Что же касается Сталина, он тоже извлекал из происходящего существенные уроки. Добившийся неограниченного могущества в политическом управлении страной, с писателями в эту пору держался он дружески, не жалея времени на встречи с ними. Иные из совещаний на квартире Горького затягивались до утра. И в сущности любой мог подойти к нему и спросить о чем-то, посоветоваться.

Сталин тогда решил, что называется, «всерьез» заняться литературой. Он принимал самое активное участие в работе специальной комиссии Политбюро, созданной для выполнения постановления от 23 апреля 1932 года. Более того, он лично

принимался иной раз за такие дела, которые требовали и уйму времени, и специальных навыков и знаний. Вероятно, с особой наглядностью эту неожиданную сторону его деятельности открывает история с пьесой А. Афиногенова «Ложь».

Ей предшествовал шумный успех другой пьесы того же автора, имевшей столь же лаконично-многозначительное название — «Страх». Главный ее герой, профессор Бородин, исследует, если можно так выразиться, социологию страха. И вот какие мысли рождаются у него. «Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — насильственной коллективизации, советский работник — непрерывных чисток, партийный работник — обвинения в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, работник техники — обвинения во вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Страх заставляет талантливых интеллигентов отрекаться от матерей, подделывать социальное происхождение… Страх ходит за человеком. Человек становится недоверчивым, замкнутым, недобросовестным, неряшливым и беспринципным… Кролик, который увидел удава, не в состоянии двинуться с места… он покорно ждет, пока удавные кольца сожмут и раздавят его».

Все ли подчинены гипнотическому воздействию великого страха? По подсчетам профессора Бородина, ни много ни мало — восемьдесят процентов членов общества. Ну, а кто же остальные двадцать? Это рабочие-выдвиженцы. «Им нечего бояться — они хозяева страны… Но за них боится их мозг… Пугается непосильной нагрузки, развивается мания преследования… Уничтожьте страх, уничтожьте все, что рождает страх, — и вы увидите, какой богатой творческой жизнью расцветет страна…»

Что и говорить, 30-е годы не лишены парадоксов. За пьесу, в которой прозвучал хотя бы только один этот монолог, автора могли привлечь к самой суровой ответственности. А пьеса между тем пробилась на сцену ряда городов страны. Правда, продвигая ее к зрителям, приходилось прибегать к разного рода дополнительным усилиям. В одном случае, в Ленинграде, премьера состоялась только благодаря личному вмешательству Кирова. В других случаях режиссеры шли на различные вольные интерпретации образа профессора Бородина, смягчая крамольный смысл его речей, а порой изымая из текста не только отдельные реплики, но и целые эпизоды.

Ясно, однако, что спектаклю не суждено было долго продержаться на сцене. А драматург? Какие выводы сделал он для себя? Выводы более чем оригинальные. «Ложь» — так же многообещающе, можно сказать, зловеще звучит название новой его работы.

Жизнь должна двигаться по естественно присущим ей законам, без «вывертов». Но, как говорит персонаж пьесы, выверты в обществе начинаются с вывертов в семье. «И тут — ложь принципиальная, бытовая, любовная, ложь в работе, в мыслях, в книгах — целая система лживой жизни…»

Отчетливо понимая, какие острые вопросы он поднимает, А. Афиногенов обратился за помощью к Горькому. «Вопросы эти не дают мне покою, — писал он Алексею Максимовичу, — острые они и не дают жить… И ответов на них не получаю ни в умных книгах, ни в беседах…»

Увы, ответа не получил он и от Горького. Собственно, письмо-то пришло. Но не ответ. Классик явно осторожничал. Он не сказал прямо, что пьеса «непроходная». Но по сути все сводилось именно к этому. Вот кабы можно было сыграть спектакль в некоем закрытом театре, перед тысячей ленинцев, непоколебимо уверенных в правильности генеральной линии партии! (Очевидно, Горький и повел речь о представителях тех самых идеальных двадцати процентов.) Впрочем, тут же он оговорился, что, разумеется, в принципе такая процедура унизительна и невозможна. Но, случись подобное, ленинцы смогли бы убедиться, какие в их среде живут уроды и какой словесный хаос кипит (так и написал — «кипит») в их башках… Хаос, с которым непрерывно борется наша партийная публицистика. Конечно, пока борется недостаточно успешно, и т. д.

Итак, обращаясь к Горькому, Афиногенов как будто использовал последний шанс…

И тут пришла сумасшедшая мысль! А что, если обратиться к Самому? Ведь не кто иной, как он, провозгласил лозунг, за внешней простотой которого открывалось все, что нужно для писательского труда: пишите правду!

С Иосифом Виссарионовичем Афиногенов уже встречался во время одного из совещаний, о которых говорилось выше, и даже активно возражал ему, предлагая новый метод именовать не социалистическим, а психологическим реализмом.

Прочитать пьесу Сталин согласился. Штудировал ее тщательно, с карандашом. Сделал много замечаний, иногда резких: «чепуха», «тарабарщина». Отдельные рассуждения одной из героинь вычеркивал. Слишком на многое замахивался отважный автор! Например: «Хвалим себя, красивые слова пишем, портреты, ордена даем — и все напоказ, для вывески… Так и все наши лозунги — на собраниях им аплодируют, а дома свою оценку дают, другую». А дальше что пишет уважаемый автор! «Оттого и не стало теперь крепких убеждений — вчера был вождь, и все пред ним кадили, а завтра сняли его, и никто ему руки не

подает». Или: «Не знаем мы, что будет завтра с генеральной линией — сегодня линия, завтра уклон».

Эти слова Сталин подчеркнул, но сразу же вычеркнул совсем. Как и все цитированное ранее.

Правда, подобным настроениям скептицизма и, можно сказать, политического недомыслия героев автор пьесы стремился противопоставить идею величия партии и ее вождя. Сталина не удовлетворило такое внешне приемлемое, но прямолинейное решение, причем от существенных недостатков, по мнению Сталина, драматургу не удалось избавиться и во второй редакции, о чем и было сообщено Афиногенову.

Заметим, что во второй половине 30-х годов писатель подвергся грубой проработке, но ареста все же избежал и погиб во время войны как корреспондент.

В конце концов согласимся: пример сталинского участия в судьбе пьесы на предельно острую социальную тему весьма показателен в своем роде. Он является выражением определенных умонастроений, связанных с попытками создать хотя бы видимость некоторого «потепления» идеологического климата.

А может быть, манера сталинского общения с интеллигенцией как бы моделировала и те реальные изменения, которые все же начинались в стране? В начале 1934 года состоялся XVII съезд партии. Утвердив могущество Сталина, съезд санкционировал возвращение в политику раскаявшихся бывших оппозиционеров. Съезд провозгласил переориентацию приоритетов в области промышленного производства в пользу товаров народного потребления. Страна с облегчением вздохнула: наконец-то отменили карточки, введенные в 1929 году как часть программы «великого перелома», а в деревне органы тоталитарного управления экономикой — политотделы — преобразовали в обычные партийные органы.

Теперь лидеры словно бы решились признать, что иные их новации можно отменить, протянув ниточку преемственности к старому в области быта. Восстановили общенародный новогодний праздник с елкой, прикрытый все в том же славном 1929-м как выражение религиозных предрассудков.

Власть допустила определенную меру самокритики, реабилитировав казачество, ликвидировав ограничения, связанные с непролетарским происхождением, восстановив в правах так называемых лишенцев. Обозначилась тенденция к законодательному закреплению подобных перемен в новой Конституции.

Нет, Сталин вовсе не собирался отходить куда-то в тень. И разумеется, новую Конституцию нарекут сталинской. Просто

пришла пора несколько отпустить слишком туго закрученные гайки. Что же касается персонально Горького, Сталин имел на него особые виды. Он тешил свое тщеславие тем, что лучший писатель страны, чей авторитет признан во всем мире, друг самого Ленина, напишет о нем книгу, которая закрепит авторитет Вождя в сознании масс на десятилетия. А может, и на века. Книга сильнее любых памятников, каждый из которых прикован к определенному месту. Книга — лучший памятник, который можно внедрить в каждый дом.

Сталин ни на миг не забывал, что еще в начале 1932 года Халатов снабдил Горького необходимыми биографическими материалами, и теперь надо умело и тактично стимулировать рождение этой книга.

Общаясь с Горьким и его писательским окружением, сам Сталин стремился прямо не навязывать им свою волю. Более того: случалось, шел и на прямые поблажки. Как уже говорилось, согласился на то, чтоб на предстоящем съезде писателей один из докладов сделал неисправимый строптивец и либерал Бухарин. Как-то Сталину пришлось отступить, отказаться от отвода Луначарского в качестве докладчика о соцреализме на заседании Оргкомитета. А когда ознакомился со сделанным докладом, дал ему высокую оценку.

Первый председатель Оргкомитета И. Гронский, постоянно общавшийся со Сталиным и входивший в специальную комиссию Политбюро по литературным вопросам (ее состав: Сталин, Каганович, Постышев, Стецкий, Гронский), свидетельствует: «Сталин постоянно советовался с А. М. Горьким по всем вопросам литературы и искусства. Прислушивался к нему. Часто уступал Горькому, даже тогда, когда не был с ним согласен»[59].

Принял и предложение Горького о переносе срока съезда на целый год. Основываясь на не столь уж малочисленных фактах подобного рода, западные исследователи (например, Л. Флейшман, в прошлом наш соотечественник) даже выдвинули тезис о «неограниченном могуществе» Горького в 1932–1934 годах. Для Сталина это были годы терпеливого выжидания горьковской книги. Для Горького — поисков путей уклониться от этого соцзаказа, престижного с официальной точки зрения, но губительного для репутации писателя, и без того небезупречной, чего он не мог не понимать…

И еще о «могуществе» — сколь же все-таки оно было реально велико? Вероятно, ответ на поставленный вопрос в какой-то мере даст обращение к постановке проблемы социалистического реализма, как нового метода в искусстве, и скрытой полемики, развернувшейся вокруг него.

Прежде всего известно: вовсе не Сталин впервые ввел в оборот этот термин, как иногда еще продолжают считать. Впервые в печати словосочетание «социалистический реализм» появилось в передовой статье «Литературной газеты» 29 мая 1932 года. По мере обсуждения проблемы метода в центр внимания выдвигается один вопрос: соотношение общего, «нормативного», идущего от сердцевины метода (как совокупности основных принципов исследования действительности), и индивидуального, личностного, дающего простор выражению неповторимости таланта художника.

Отвечая на этот важнейший для любого художника вопрос (приспособленцы и конъюнктурщики не в счет), «Правда» 7 мая 1933 года писала: «Социалистический реализм открывает огромный простор для проявления различных творческих писательских индивидуальностей. Он открывает огромный простор и для проявления различных творческих исканий, манер, тенденций».

На первом пленуме Оргкомитета В. Кирпотин с уверенным оптимизмом заявлял: «Когда мы говорим о лозунге социалистического реализма, то мы не собираемся нечто предписывать литературе сверху, насильно ей что-то диктовать… речь идет о лозунге, который вытекает из тенденций и процессов, развертывающихся в самой литературе».

Казалось бы, все отлично. Лучше и быть не может! Все отвечает эстетической природе искусства, которое немыслимо без ярко выраженной индивидуальности творца. «Шолохов, Олеша, Киршон и другие могут по-разному творить в духе социалистического реализма. Основное, кардинальное, о чем мы говорили, выдвигая лозунг социалистического реализма, — это требование от художника правды…»

Но дальше-то и начинался некий перечень оговорок, которые все расставляли по своим местам, обнажая скрытое коварство нововводимой формулы. В. Кирпотин продолжает: «…не слепой кротовой правды (оказывается, может существовать и такая?! — *В.Б.),* для которой единичный факт заслоняет весь остальной мир, а такой правды, которая приводит к воплощению в искусстве существенных процессов действительности, существенных процессов истории».

Ну, это как будто еще куда ни шло… Но тут же последовало самое, самое: «Художник должен уметь показывать действительность во всех ее достоинствах и недостатках, но с побеждающими тенденциями социалистической революции…»

Оказывается, вот где собака зарыта! Ты можешь писать как угодно, в любой манере, тебе никто не навязывает готовых

решений. Но… в конце концов у всех должен быть один результат: «Наша взяла!»

А как же быть в таком случае с тем же Шолоховым, с его Григорием Мелеховым, пошедшим «не тем путем»? Ведь в нем, по признанию писателя, отражено величие человека. И вот уже другой классик соцреализма, А. Толстой, в своем отзыве на роман-трагедию заявляет: финал неудачен, Мелехова бы надо привести в ряды Красной Армии.

Прелюбопытнейшая складывается ситуация! Правоверный соцреалист А. Толстой жаждет благополучного финала. А крупный художник в нем робко, стесняясь, добавляет: если бы Шолохов повел героя «к перерождению и очищению от всех скверн, композиция романа, его внутренняя структура развалилась бы». Вот так, вот вам и путь к вершинам новых творческих достижений!

Съезду предшествовали многие мероприятия. Может быть, самым главным из них была поездка группы писателей по Беломорканалу, организованная Оргкомитетом съезда совместно с ОГПУ (о ней мы уже знаем, а кое о чем, связанном с ней, нам еще предстоит рассказать). Другим — дискуссия о языке. Первая акция должна была сблизить писателей организационно. А вторая? Вторая должна была, по мысли Горького, поднять уровень профессиональной культуры писателей, особенно владения литературным языком. Горький довольно сурово критиковал «Бруски» Панферова (похваленные Сталиным). Привел много примеров неоправданного употребления диалектизмов в авторской речи, призывал всех писать по-русски, а не по-вятски или по-балахонски.

Отметил безвкусицу в употреблении странных словообразований. Скукожился… Что это значит? Русский язык в своих глагольных формах отличается великолепной образностью. Защититься — значит закрыться щитом. А скукожился? Тут просматриваются три корневых основы: скука, кожа, ожил…

Критические суждения Горького вызвали переполох. Резко выступил в защиту Панферова Серафимович в статье с характерным названием «О писателях облизанных и необлизанных». И уже заголовком невольно продемонстрировал, насколько прав Горький, подняв вопрос о языковой культуре писателя. Серафимович протестовал против искусственной гладкости слога, а получалось так, словно кто-то мог облизать самого писателя, как ребенок облизывает языком пряник.

Горького поддержали многие: А. Толстой, Шолохов… Но особенно важно было то, что подчеркнула «Правда»: малограмотность языковая означает в то же время и

малограмотность идеологическую. «Правда», таким образом, накануне съезда решительно поддержала Горького.

Первый, учредительный, съезд советских писателей открылся в Москве, в Колонном зале Дома союзов, 17 августа 1934 года. По продолжительности он был рекордным (две недели). И не случайно: это был не просто форум профессионалов, обсуждавших свои вопросы. Это была, наверное, в первую очередь праздничная демонстрация, свидетельствующая о теснейшей связи новой литературы с народом, строящим социализм, и возглавляющей его партией.

И лишь немногим стало известно то, что происходило за кулисами этого тщательно отрепетированного спектакля и о чем мы, потомки, узнаем впервые только сейчас. Заместитель начальника Секретно-политического отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР Г. Люшков уже 20 августа обратился с запиской к наркому Г. Ягоде по поводу того, что обнаружены девять экземпляров листовки, написанной карандашом под копирку и распространенной среди иностранных гостей съезда по почте.

Для руководства это был гром средь ясного государственного неба! Группа писателей разных умонастроений, включая и коммунистов, сочла долгом своей совести обратиться к людям зарубежья, чтобы разоблачить «величайшую ложь, которую выдают за правду». «Власть требует от нас этой лжи, ибо она необходима как своеобразный „экспортный товар“ для вашего потребления на Западе. Поняли ли вы, наконец, хотя бы природу, например, так называемых процессов вредителей с полным признанием подсудимыми преступлений, ими совершенных? Ведь это тоже было „экспортное наше производство“ для вашего потребления».

В порядках, установленных в стране, авторы письма видят проявления «советского фашизма, проводимого Сталиным».

«…Страна вот уже 17 лет находится в состоянии, абсолютно исключающем возможность свободного высказывания… Больше того, за наше поведение отвечают наши семьи и близкие нам люди. Мы даже дома часто избегаем говорить так, как думаем, ибо в СССР существует круговая система доноса. От нас отбирают обязательства доносить друг на друга, и мы доносим на своих друзей, родных, знакомых».

Эта листовка впервые опубликована в фундаментальном томе «Власть и художественная интеллигенция». «Документы 1917–1953», выпущенном в конце 1999 года Международным фондом «Демократия», возглавляемым академиком А. Н. Яковлевым. В этом томе мы и находим, в частности, подтверждение той

системы доносительства, о которой говорится в анонимном письме. А потому покинем на некоторое время торжественные своды Колонного зала Дома союзов и поразмышляем над тем, о чем реально думали делегаты съезда и о чем и заикнуться не смели ни с его трибуны, ни на последующих своих собраниях.

В какой-то мере в предыдущем разделе говорилось о противоборстве разных тенденций в подходе к проблемам литературного творчества и его организационным формам. Теперь, после выхода этого тома, а также завершения публикации переписки Горького со Сталиным[60], о многом мы можем составить гораздо более полное и точное представление.

За несколько дней до окончания съезда секретарь ЦК А. Жданов обращается к Сталину с письмом: «общее единодушное мнение — съезд удался». Но чиновник не решается скрыть от начальства то, что партийное руководство радовать не могло: «коммунисты выступали бледнее, серее, чем беспартийные. Отсюда, однако, мне кажется, несправедливо делать такие выводы, какие делал Горький, когда до съезда говорил и писал, что коммунисты не имеют авторитета в писательской среде. Речи беспартийных…»

На этом письмо обрывается. А. Жданов не уверен, будут ли соответствовать его выводы складывающейся конъюнктуре, которая в ходе подготовки к съезду менялась неоднократно. А если точнее, то менялось сталинское отношение к шагам Горького, а писатель в общем-то упрямо гнул свою линию. О том наглядно свидетельствует письмо от 2 августа 1934 года, то есть посланное Сталину всего за две недели до съезда, когда заканчивался подбор кандидатур в Правление СП. Письмо это — одно из самых решительных по своей тональности во всей переписке Горького со Сталиным, а уж в последний-то период — наверняка. Посылая свой съездовский доклад на просмотр, Горький одновременно предлагает ознакомился с письмом Д. Святополк-Мирского (которое исчезло) и копией ненапечатанной еще статьи Бруно Ясенского в «Правду», по поводу судьбы которой Горький без обиняков заявляет: «вероятно, она и не будет напечатана, ибо Юдин и Мехлис — люди одной линии. Идеология этой линии неизвестна мне, а практика сводится к организации группы, которая хочет командовать Союзом писателей».

Мехлис, как известно, был редактором «Правды», а Юдин — крупным партфункционером, опубликовавшим в ЦО 23 июля 1934 года статью «О писателях-коммунистах». В ней всячески муссировалась идея о том, что среди партийцев наличествует «крепкое звено квалифицированных писателей»: А. Серафимович,

Д. Бедный, В. Бахметьев, Ф. Панферов, Ф. Гладков, П. Павленко и другие.

Горький бьет наотмашь: «Серафимович, Бахметьев, да и Гладков, — на мой взгляд, „отработанный пар“, люди интеллектуально дряхлые». Остро критическую оценку Д. Святополк-Мирским романа А. Фадеева «Последний из удэге» считает «совершенно правильной»; автору же следовало бы «оставить стремление к роли лит[ературного] вождя». «Для него и литературы было бы лучше, чтобы он учился».

О Юдине. «Мое отношение к Юдину принимает характер все более отрицательный. Мне противна его мужицкая хитрость, беспринципность, его двоедушие и трусость человека, который, сознавая свое личное бессилие, пытается окружить себя людьми еще более ничтожными и спрятаться в их среде». Далее следует характеристика Панферова как малограмотного мужика, «тоже хитрого, болезненно честолюбивого, но парня большой воли», который очень деятельно борется против критического отношения к «Брускам».

«Комфракция в Оргкомитете не имеет авторитета среди писателей, пред которыми развернута борьба группочек».

Вывод, обращенный к «дорогому, искренне уважаемому и любимому товарищу» (а как же иначе в таких случаях, надо же подсластить пилюлю!): «Союз литераторов необходимо возглавить солиднейшим идеологическим руководством. Сейчас происходит подбор лиц, сообразно интересам честолюбцев, предрекающий неизбежность мелкой, личной борьбы группочек в Союзе»…

А посему, заканчивает классик, убедительная просьба освободить его от председательства в Союзе по причине слабости здоровья и загруженности литературной работой.

Что это, как не ультиматум?

Впрочем, Горький-дипломат отлично знал, что высшее партийное руководство в сложившейся ситуации не может найти ему мало-мальски подходящую замену. Это был ультимативный нажим на власть. И важно подчеркнуть, что суть позиции в этом письме от 2 августа 1934 года — всего лишь наиболее острое выражение последовательной позиции Горького: люди с партийным билетом не имеют никаких преимуществ перед беспартийными. Успех предопределяют талант, профессионализм, труд. Только вот в полной ли мере осознавал он «несвоевременность» подобных мыслей, т. к. в жизни уже сложился культ партии, сиречь, ее вождя, как полновластного лидера всего общественного процесса в стране.

После этого вынужденного отступления вернемся наконец в

Колонный зал, до отказа заполненный делегатами и гостями (хотя подготовительный этап съезда с учетом новых материалов, характеризующих напряженную борьбу разных сил, еще ждет более всестороннего и основательного анализа).

Горький выступил на съезде с основным докладом «Советская литература». Доклад являл собой сжатый очерк развития художественного сознания, начиная с устного народного творчества и кончая наиболее зрелыми формами обобщения, утвердившимися в мировой литературе. Включив немалый конкретный материал и продемонстрировав огромную эрудицию, докладчик ухитрился не назвать ни одной фамилии. Он был вознесен теперь так высоко, что упоминание в его устах одних и неупоминание других могли вновь породить групповщину, от которой надлежало избавляться[61].

Но разве это давало основание совсем уйти в сторону от сколь-нибудь предметного разговора о современном литературном процессе? Таким образом, «Доклад Горького о советской литературе» (так он назван в стенографическом отчете) своего рода доклад-парадокс. Но именно этот «жанр» давал возможность Горькому уйти от официальщины, от утверждения идеи подчиненности художественного сознания политической злобе дня.

Естественно, доклад многим показался по меньшей мере неожиданным и вызвал у аудитории неоднозначное отношение. Например, — мнение, которое сложилось у М. Шагинян и попало через донесение сексота в «Справку секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР „Об отношении писателей к прошедшему съезду писателей и к новому руководству Союза советских писателей“» (из Архива федеральной службы безопасности): «М. Шагинян. На Горького теперь будут нападать. Доклад его на съезде неверный, неправильный, отнюдь не марксистский, это богдановщина, это всегдашние ошибки Горького. Горький анархист, разночинец, народник, причем, народник из мещан. И в докладе это сказалось. Докладом все недовольны и даже иностранцы. Я знаю, что на него будут нападать… Доклад будет дезавуирован Сталиным».

По мнению группирующихся вокруг журнала «Литературный критик», «расстановка сил на литературном фронте на сегодняшний день складывается такая: с одной стороны, Горький, линию которого будет, очевидно, проводить правление ССП… С другой стороны, — все руководство литературными делами в ЦК до Сталина включительно. На возражение, что, мод, странно, чтобы линия ЦК, поддерживаемая Сталиным, была одна, а линия правления другая, было отвечено, что Сталин считается с

Горьким и считает возможным кое в чем уступать ему».

В речи, которую Горький вынужден был произнести по ходу работы съезда, 22 августа, ему даже пришлось сделать специальное заявление по поводу того, что слишком часто в выступлениях делегатов произносится имя Горького «с добавлением измерительных эпитетов: великий, высокий, длинный и т. д.».

Вызвав смех делегатов, Горький тотчас добавил вполне всерьез: «Не думаете ли вы, что, слишком подчеркивая и возвышая одну и ту же фигуру, мы тем самым затемняем рост и значение других?» Писатели не имеют права командовать друг другом, но могут и должны учить друг друга. «Учить — значит взаимно делиться опытом. Только это. Только это, и не больше этого». Заявление было направлено и против пережитков рапповщины, и против любых претензий на господство административно-командных методов в литературе. Впрочем, только ли в литературе?

Несмотря на обилие докладов и содокладов, в центре внимания оказалась полемика вокруг концепции развития поэзии, которую выдвинул Бухарин. Он счел пропагандистские формы поэзии Маяковского и Бедного устаревшими и противопоставил им музу Пастернака. Бухаринскую характеристику поэзии Бедного Горький конкретизировал язвительными замечаниями по поводу ее утрированного гиперболизма. Уязвленный Бедный отвечал: «Бухарин кичится тем, что оценивает советскую поэзию с точки зрения мировой литературы. Я же принадлежу к той группе пролетарских поэтов, которые смотрят на мировую литературу с точки зрения мировой революции». Не надо сегодня долго доказывать упрощенческий характер заявлений подобного рода. Но можно только подивиться прозорливости и высоте художественных критериев, которые обнаружил Бухарин, характеризуя поэзию Пастернака, действительно приобретавшую мировой резонанс.

Впрочем, Бедному было далеко до Жданова, выступившего на съезде с речью. Она вся была пронизана духом некоего изначального превосходства, которое якобы отличает советскую литературу в сравнении с литературой растленного буржуазного мира. Жданов ориентировал писателей не на глубокое, честное, правдивое изображение жизни, а на воспроизведение ее с позиций, если так можно выразиться, эталонной поэтики. Безусловное предпочтение отдавалось оптимизму, романтике и т. д., и все это начинали именовать социалистическим реализмом.

Ждановские построения свой упрощенческий характер в

полной мере обнаружили позднее, но Горький не мог не чувствовать их жесткости, категоричности, малой ориентированности на конкретный материал литературы.

Доклад Бухарина о поэзии и речь сталинского ставленника Жданова имели прямо противоположную направленность. Но не равным зато было их официальное реноме. Как уже говорилось, еще в 1929 году Бухарина вывели из состава Политбюро, и на съезде он выступал скорее как литературный критик, партийный публицист. Жданова в 1934 году Сталин сделал секретарем ЦК ВКП(б). Именно речь Жданова выражала официальную точку зрения. Она устанавливала необходимые нормы творческого поведения. К руководству культурой приходил новый тип партийного функционера.

Возникало своего рода государственное искусство с целой системой обязательных, пусть и не всегда провозглашаемых официальных компонентов. Если государством руководит партия, то и герой в первую очередь должен быть коммунистом, ведущим за собой массу. Какое общество ожидает нас в недалеком будущем? Светлое! Вот и дайте, художники, побольше радостных тонов. А стиль? Можно ли терпеть модернистскую раздерганность 20-х годов с ее западными влияниями? Стиль должен быть понятен самым широким народным массам, любой кухарке, которая, оставив сковородку, ринулась управлять государством и теперь, уже как государственный человек, могла со сковородным металлом в голосе говорить: «А вот это массам непонятно!»

Как уже говорилось, сила искусства прежде всего в многообразии, которое выражается в бесконечном многообразии индивидуальных стилей. А теперь стили начали подгонять под каноны единого метода. Искусством признавалось лишь то, на что падала великая проекция Всесильного государства. То же, что каким-то образом оказывалось вне этой благостной зоны, становилось не нужно и даже опасно. И надо было вовремя указать на тех, кто становился чужд народу: Б. Пильняк, И. Бабель, А. Белый, А. Платонов, Вс. Мейерхольд, М. Зощенко, А. Ахматова, О. Мандельштам…

Во славу социалистического реализма послушная критика написала десятки книг и сотни, а может быть, и тысячи статей. В последние годы в связи с критикой сталинизма и вообще социалистических порядков в нашей стране появилось не так уж мало работ прямо противоположного, обличительного характера. Казалось бы — расставлены все точки над i. И все-таки некоторые дополнительные комментарии по этому поводу целесообразны.

Один из наших бывших коллег, А. Синявский, филолог высочайшего уровня, оказавшийся на Западе не по своей воле, а

ранее, в бытность свою сотрудником советского академического института, писавший о соцреализме и о Горьком, вот теперь, уже в один из приездов «оттуда», не стал в запоздалой озлобленности, как некоторые, предавать метод остракизму, а нашел удивительную аналогию: социалистический реализм, провозглашаемый при помощи Горького, есть своего рода запоздалый аналог классицизма.

Да, Горький призывал писателей смотреть на вещи с позиций «третьей действительности», творимой ими, действительности будущего. Он всеми силами призывал поэтизировать труд. Опираться на традиции классики. Не забывались и традиции прогрессивного романтизма… Думается, в горьковских исходных предпосылках соцреализма не было в общем-то чего-либо изначально совершенно порочного, фатально обрекающего искусство на крах. В конце концов плох ли человек (его почему-то, к его же великому смущению, стали называть положительным героем), который хорошо трудится и любит свою работу? И как тут не вспомнить, чтоб не быть голословным, добрым словом из былых героев старого соцреализма, к примеру, хотя бы Ивана Журкина. Герой романа «Люди из захолустья» А. Малышкина, да это же поэт дерева! И как смущается он, когда его застают в цеху после работы, где он в тишине с наслаждением вдыхает запах свежей древесины (и задержался-то он вовсе не потому, что делал что-то лично для себя).

В книге Малышкина вообще многое написано психологически точно! Но все же, увы, вторгаются каноны того самого «железобетонного» соцреализма, согласно которым женщина-интеллигентка должна пересесть на трактор (что и происходит в том же романе).

В пору, когда критика, усердно наморщив лбы, пыталась осмыслить, что же такое соцреализм, один писатель выступил со статьей, остроумно названной: «Луна, которую заменили трактором».

Вот ведь в чем вся беда и была-то! Не нужны фантазия, эксперимент, дерзость стиля, жанровая новизна… Есть своего рода художественный госзаказ. Он должен помогать скорейшему выполнению госзаказа промышленного, сельскохозяйственного.

Критика в конце 40-х годов договорилась даже до того, что коль скоро есть в советской литературе эталонные произведения наподобие романа «Мать», то и новые сочинения должны становиться их аналогом, копируя сюжет, композицию и т. д. Этим критикам надо было немедленно раздать ордена, потому что ничего более нелепого, губящего искусство на корню придумать было невозможно.

Вообще один из драматических моментов реального развития литературы состоял в том, что существовало большое различие между тем, что могли вкладывать в понятие социалистического реализма, с одной стороны, талантливая творческая личность и, с другой стороны, тупой чиновник, крепко уставивший прокуренный палец в определенный крючок параграфа.

Уже не драма, а трагедия состояла в том, что все большую силу набирал чиновник… Между тем, строго говоря, государство вообще не должно предписывать литературе, о чем и как писать, дав художнику-гражданину полную свободу выбора темы, идеи, стиля. И пусть бы Булгаков писал «Мастера» — не в стол, а Платонов «Чевенгура» — тоже для журнала. Но это был бы идеал. Однако нам при разговоре о литературе 30-х приходится исходить из наличия жестких идеологических нормативов, и мы ведем речь лишь о том, можно ли было выдать нечто «съедобное» (выражение Твардовского) в предлагаемых обстоятельствах…

К сожалению, реальную сложность ситуации, складывавшейся вокруг формулы социалистического реализма, не учитывают даже авторы новейших исследований. Относится это и к некоторым статьям, опубликованным в фундаментальном каталоге выставки «Москва — Берлин», состоявшейся в российской столице весной 1996 года.

Да, Горький отстаивал лозунг социалистического реализма с его ориентацией на положительного героя, на торжество утверждающего начала. Но в сам этот термин и во все категории, им обусловленные, он вкладывал далеко не тот смысл, что сталинские официозы. Вот почему нельзя согласиться с утверждениями такого свойства: «В официальных речах А. Жданова и М. Горького была сформулирована художественная идеология тоталитарного искусства». Или: «…Сталин и Горький утвердили его (социалистический реализм. — *В.Б.)* в качестве единственно верного метода». И уж абсолютно неприемлемой является мысль о том, что в доктрине социалистического реализма, прокламируемой «при поддержке Горького» на I съезде писателей, можно «отчетливо обнаружить частичное заимствование фашистской стратегии».

Жданов и Горький… Сталин и Горький… Так, может быть, теперь — Гитлер и Горький?..

…В целом итогами съезда Сталин как будто мог быть доволен. В самом начале поэт Луговской зачитал приветствие писателей Ему, и последние слова утонули в шквале аплодисментов. Теперь создана иерархия, структура. Система подчинения. Рычаги, при помощи которых машину можно будет двигать в нужном направлении. Но один итог не мог

удовлетворить. Бухарин критиковал Маяковского. Горький научился хитрить, но Сталина не проведешь. Сказал, что возразит Бухарину, а на деле добавил критики. Между тем именно Маяковский, как никто другой, помогает «строить и месть». То есть сначала, конечно, «месть», а потом — строить… Да, сначала — «месть»…

Разве этот небожитель Пастернак может быть лидером поэтов? Если несомненно талантлив, тем опаснее, тем более нужна ясность.

Надо будет сделать так, чтоб все поняли: именно Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.

Необязательно произносить эти слова публично. Он знает, какой резонанс получают его письменные ответы писателям, даже телефонные разговоры с ними (например, с Булгаковым после самоубийства Маяковского).

И надо будет добавить, что забвение памяти Маяковского — преступление.

Пусть задумаются те, кто считает иначе.

Но сначала Сталин позвонил Бухарину.

— Николай, поздравляю тебя с хорошим докладом.

— Спасибо, Коба.

В заключение съезда Горький «расщедрился» и даже провозгласил здравицу в его, Сталина, честь. «Да здравствует партия Ленина — вождь пролетариата, да здравствует вождь партии Иосиф Сталин!» (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию.)

Если есть вождь, так сказать, вершина социальной пирамиды, значит, любое мероприятие на любом этаже пирамиды должно заканчиваться восславлением вождя. Этажей много, но вершина-то у пирамиды одна!

Вот только надо разобраться, сколько аплодисментов относится к нему, а сколько — к Горькому… Не многовато ли? Вообще не слишком ли большое внимание в стране привлекает к себе в последнее время Горький?

ГЛАВА XXIII «Самгина»«необходимо переделать с начала до конца»

Несмотря на огромное количество дел организационного характера (подготовка съезда, редактирование журналов и книг), обширную переписку, Горький много и напряженно работал как художник. Написание в изобилии публицистических статей не мешало ему трудиться над произведениями более крупных жанров: очерками «По Союзу Советов», «Рассказы о героях», над пьесами «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие», «Сомов и другие».

Правда, последняя пьеса, как мы знаем, не получилась, и это — несмотря на то, что она «уже прямо опиралась на опыт борьбы партии и лично товарища Сталина против агентов фашизма — предателей и диверсантов»[62]. А ведь товарищ Сталин так ждал эту пьесу! Так же, как и пьесу о кулаке. И тоже — тщетно!

С еще большим нетерпением ждал Сталин книгу о себе. В личном архиве Горького сохранилась папка с материалами о товарище Сталине, специально подобранными для писателя. Здесь документы жандармских управлений — агентурные донесения 1901–1916 годов, освещающие историю арестов, ссылок и побегов легендарного революционера, имя которого уже давно стало символом неустрашимости, как писал Б. Бялик в середине 40-х годов. Здесь — воспоминания учеников товарища Сталина, знавших его по революционной работе в Закавказье, воспоминания о нем, как о воспитателе нескольких поколений большевиков, как о великом теоретике и полководце революции. Здесь и более поздние материалы, относящиеся к 30-м годам и освещающие борьбу партии против вредителей и диверсантов. И все эти материалы хранят на себе следы горьковского чтения — подчеркивания, отметки на полях — знаки начавшегося творческого процесса…

Казалось бы, под рукой решительно все, что необходимо, и вот ведь на тебе — писатель с таким опытом не воспользовался этими материалами, или, как выражается тот же исследователь, творческому процессу «не суждено было осуществиться».

Какой бы могла получиться книга, если б Горький все-таки написал ее? Не могло быть никакого сомнения: автор, как говорится, был обречен на ошеломляющий успех. «Мы не знаем, что и как написал бы Горький, но одно совершенно ясно: этот

литературный портрет явился бы, наряду с портретом Ленина, вершиной и достойным завершением всего горьковского творчества»[63].

И вот, не оправдав ожиданий великого вождя, не использовав такие материалы (!), Горький предпочел карабкаться на совсем другую вершину, и успех восхождения тут был вовсе не гарантирован.

Он сосредоточил все свои силы на создании грандиозной панорамы жизни России за четыре десятилетия — романа-хроники «Жизнь Клима Самгина». Говорил: работы на сажень сверх головы. Трудился, как хорошо налаженный завод: с промежутками в два года выдавал по книге этого четырехтомного повествования (выходили: I — 1926, II — 1928, III — 1930). Четвертая осталась незавершенной, но отрывок из нее появился в 1933 году.

Горьковской эпопее посвящен с десяток обширных монографий, которые своим суммарным объемом далеко превзошли сам роман. Книги И. Вайнберга, Б. Вальбе, Н. Жегалова, И. Новича, А. Овчаренко, Я. Резникова, П. Строкова, родившиеся очень «кучно», в 60-е — начале 70-х годов, при определенном различии в авторских концепциях сходятся в одном: «Самгин» — вершина творчества Горького, его «художественное завещание» (И. Нович).

В 1976 году вышел завершающий, 25-й том академического Полного собрания сочинений М. Горького (серия художественных произведений), который содержит обширнейшие комментарии к роману, включая первые отклики критики, писателей и читателей на него. Право же, нельзя не подивиться, насколько и по содержанию, и по форме отличаются многие из этих откликов от последующих заключений литературоведов.

Одним из первых изложил автору свои впечатления Ф. Гладков, который романом был премного озадачен: «…Все эти „жизни“ Ваших людей, лишенные динамики… сплошная тоска и „неделание“». Отзыв Гладкова объясняют упрощенным подходом автора «Цемента» к Горькому, в котором он по традиции видел исключительно буревестника революции, а также влиянием рапповских схем. Но вот уже после ликвидации РАППа другой писатель, В. Зазубрин, произносит приговор: «Сплошная болтовня». «Гигантский, бесконечный, одурманивающий диспут», — это пишет уже критик в 1928 году. Ему вторит еще один, утверждая, что бесконечные диспуты утомительны для читателя. Третий называет книгу «энциклопедией мудрствований русской интеллигенции»… Как записал К. Чуковский в дневнике 1928 года: «Отдельные куски хороши, а все вместе ни к чему».

Озадачивал и отзыв Воронского, сообщавшего, что «Клим» вызвал у читателей много недоумений. Но вряд ли меньше задел Горького вопрос Александра Константиновича о том, как он оценивает творчество Марселя Пруста. (Уж не намек ли на прямое влияние модернистской прозы, кою Горький благословлять был никак не склонен.)

Чем дальше, тем меньше, однако, становилось критических отзывов о романе, а причину этого явления с бескомпромиссной прямотой раскрыл В. Вересаев. «С переселением его (Горького. — *В.Б.)* в Россию отношения наши совершенно прекратились. Он стал полнейшим диктатором всей русской литературы. Цензура вычеркивала всякие сколько-нибудь отрицательные отзывы об его произведениях, даже таких плохих, как „Клим Самгин“, „Достигаев и другие“».

Вересаев был человеком исключительной порядочности и искренности, что нашло отражение в повести «В тупике», которую Горький встретил очень сочувственно. Так что цитированное мнение Вересаева вполне заслуживает доверия.

Конечно, наивно было бы, бросаясь из крайности в крайность, с присущей в последнее время многим из нас лихостью отказываться решительно от всего, к чему в итоге пришло литературоведение, и видеть именно в этих ранних критических суждениях истину в последней инстанции. В «Жизни Клима Самгина» много художественных находок, ярких сцен, метких наблюдений. Еще бы, ведь роман вбирает в себя гигантский опыт жизни человека, наделенного выдающимся художественным талантом! И все-таки, с моей точки зрения, следовало бы повнимательнее присмотреться к общей художественной концепции романа в контексте исторического и историко-литературного процесса. А главное — не только тщательно фиксировать все реалии того времени, которое отражено в книге, т. е. действительность дореволюционной России, но подумать, какое влияние на реализацию замысла оказало время написания, т. е. 20–30-е годы с их драматическими противоречиями, с тем, какое положение в то время занимала в обществе интеллигенция. В этой связи совершенно не могут устроить суждения о творческой истории романа (например, в 25-м томе академического Полного собрания сочинений), которые сводятся к наблюдениям, как менялся тот или иной образ в процессе создания книги, но при этом не принимается во внимание психологическое состояние автора в момент работы над образом, состояние, обусловленное событиями в стране и в мире.

Ну, к примеру, можно было бы вспомнить полемическое суждение самого Горького о том, что вся русская эмиграция

состояла из Климов Самгиных. Вряд ли столь решительное заявление нуждается сегодня в подробных комментариях: достаточно вспомнить, сколько представителей лагеря эмиграции вполне достойно вели себя перед лицом тягчайших испытаний. Но стоит ли уноситься мыслью в такие дали, не лучше ли вернуться на родину, чтоб посмотреть, как складывалась политика властей по отношению к интеллигенции здесь, в России? Говорилось с презрением: «Так называемая интеллигенция», «Эта социальная группа отжила свой век». Но дальше всех в своем рвении пошел провокатор Рамзин, зарабатывавший на процессе Промпартии орден: «Я хотел, чтоб в результате теперешнего процесса Промпартии на темном и позорном прошлом всей интеллигенции… можно было поставить раз и навсегда крест».

Как любили в ту пору иные ретивые деятели «раз и навсегда» вколачивать кресты в выстраданное нацией богатейшее прошлое!

Вероятно, есть все-таки что-то привносное в Климе, идущее от времен и обстоятельств конца 20-х — начала 30-х годов. Не случайно свидетельство народного артиста РСФСР Н. Волкова, занятого в хорошем в общем-то спектакле: «Помню, растерялся, когда в театре им. Вл. Маяковского решили ввести меня на роль Клима Самгина. По-моему, сам Горький так и не определился до конца с интеллигентскими „завихрениями“ своего героя и как-то очень уж неубедительно норовил вписать его по ту сторону баррикад… Все сложнее».

Если вернуться к критическим оценкам первых читателей романа, то, думается, они нащупали нечто уязвимое в самой исходной позиции именитого автора. Как известно, Горький энергичнее, чем кто-либо из его коллег, утверждал идею непреходящего значения труда в жизни человека. Труда и физического, и интеллектуального. Но его герой, юрист по образованию, начисто выключен из своей профессии! Занят он только одним — «соглядатайством», раздумьями о себе, своем месте среди окружающих его людей. Не случайно американское издание «Клима» вышло под названием «Наблюдатель».

Есть что-то удивительное в том, с каким упорством, если не сказать деспотизмом, Горький уводит своего героя от дела всякий раз, как только тот пытается им заняться или хотя бы подумать о нем.

Вот Клим, «элегантный кандидат на судебные должности», попав домой, слушает делового отчима Варавку.

«Итак — адвокат? Прокурор? Не одобряю. Будущее принадлежит инженерам».

И сразу: «Его лицо, надутое, как воздушный пузырь, казалось

освещенным изнутри красным огнем, а уши были лиловые, точно у пьяницы; глаза узенькие, как два тире, изучали Варвару» (жену Клима. — *В.Б.)* и т. д.

Обругав свой город, «махнул рукой и… обратился к Самгину:

— Я хочу дать тебе работу, Клим…»

Мы знаем, что Самгин не любил адвокатскую деятельность и вообще считал свой выбор профессии ошибкой. И все же как любой нормальный человек, он не мог не поинтересоваться, сколь выгодным является предложение. Первое предложение в жизни!

Но повествователь тотчас уводит разговор совсем в другое русло, продолжая: «Самгин слушал его и, наблюдая за Варварой, видел, что ей тяжело с матерью…»

«„Дико ей здесь“, — подумал Самгин (о жене. — *В.Б.),* на этот раз он чувствовал себя чужим в доме, как никогда раньше.

Варавка кричал ему в ухо:

— Заработаешь сотню-другую в месяц…»

Ни для кого в жизни вопрос о заработке не может быть безразличным. Но такое безразличие может позволить себе герой, находящийся на авторской дотации. Даже крик в ухо о заработке он не воспринимает!

«Вошел доктор Любомудров с часами в руках, посмотрел на стенные часы и заявил:

— Ваши отстали на восемь минут».

Если и вспоминает Самгин работу, то не как реальное дело, требующее внимания, а как способ прикрыться, прервать диалог с другими.

«Я нахожу, что пора спать, вот что, — сказал он. — У меня завтра куча работы…

Это уже не первый раз Самгин чувствовал и отталкивал желание жены затеять с ним какой-то философический разговор».

Диалога не получается. Часы героев двигаются с разной скоростью. Сознание Самгина не желает пересекаться с чьим-то другим сознанием, предпочитая двигаться параллельно, по формуле: «Он славился как человек очень деловой, любил кутнуть в „Стрельне“, у „Яра“»… Почти как у Гоголя: кто читал Карамзина, кто «Вестник Европы», а кто даже… ничего не читал.

Диалог обогащает. Если не духовно, то хотя бы информативно. Климу словно бы не нужно обогащения через активное общение. Он — наблюдатель. Он неизменно объединяет и уравнивает в своем сознании два неоднозначных процесса: наблюдение и оценку. Каждый наблюдает жизнь сам. Но оценку фактам и явлениям бытия он выносит уже не совсем «сам», так как ее корректируют прямые или косвенные оценки и свидетельства других. Начав диалог, Самгин стремится как

можно скорее кончить его, чтобы заняться любимым делом — созерцанием. Впрочем, нет: слово «дело» совсем не подходит, когда мы сталкивается с Самгиным. А потому лучше сказать — предаться «любимому занятию…»

Разумеется, нелепо было бы предпринимать даже малейшую попытку навязывать автору какую-либо нормативность, идущую извне, от априорных представлений, в каком процентном соотношении должны быть представлены в произведении те или иные содержательные компоненты. И все же не удивительно ли, что на протяжении всех четырех томов Клим не ведет буквально ни одного дела, не думает всерьез о судьбе ни одного из подсудимых, коих призван защищать? А ведь какая благодатная почва была у него для сопоставлений различных человеческих судеб! Собственно, он только и делает, что сопоставляет индивидуальности и судьбы, но — совершенно «внепрофессионально». При всем уважении к Горькому и его таланту нельзя в этом не усмотреть определенной искусственности.

Когда Клим спрашивает Любашу про Суслова — «что делает этот человек?» и не получает ответа, — все совершенно закономерно, т. к. молчание обусловлено правилами конспирации, существующими между революционерами. Но закономерно ли, что читатель никак не может получить ответа на тот же самый вопрос относительно главного героя?

Будем, наконец, откровенны: «Жизнь Клима Самгина», увы, оказалась книгой довольно скучной. Нина Николаевна Берберова, человек из окружения Горького, приехав в Советский Союз в 1989 году, без обиняков заявила, что не могла дочитать «Клима» до конца, потому что это очень скучная книга. И, признаться, спорить с писательницей трудно.

Одна из причин скуки — бессюжетность повествования. Сюжет — всегда активное средство отбора тех или иных жизненных слагаемых, которые, оказавшись в рамках рождающейся художественной системы, начинают еще более активно взаимодействовать друг с другом. Так рождается напряженность повествования, обеспечивающая определенный тонус заинтересованности читательского восприятия. Грубо говоря, читателю не может быть безразлично, что дальше случится с героем. А тут на протяжении десятков и сотен страниц, в сущности, ничего не случается. И наоборот, как только — очень редко! — возникает просто мало-мальски конфликтная ситуация, читатель начинает сопереживать герою. (Исключение высветляет правило.) Вспомним эпизод поездки Клима в провинцию, когда произошла авария кибитки и пришлось идти пешком, повстречать

мужиков, сразу же заприметивших в пришельце чужака. А мужики были злы… И мы уже ждем, что будет дальше. И уже опасаемся за Клима, сколь бы ни был он нам неприятен. Уже включилось напряжение. По каналам восприятия побежал ток, обеспечивающий нормальное сюжетное напряжение, как в городской электросети. Но он быстро спадает, и мы вновь двигаемся за героями Горького в сумраке, двигаемся медленно, как и он, пробующий почву под ногой, боясь оступиться. Смотрящим со стороны хочется крикнуть: «Шагайте смелее! Под ногами твердая почва!» Но идущий не слышит. Он не привык вести диалог. Пусть медленно, еле-еле, он будет тащиться сам. На то он и Самгин.

Самгинская ситуация осложняется еще и тем, что у героя был образ-«конкурент», которому принадлежит приоритет в использовании того же принципа всеподавляющей рефлексии. Сколько бы ни показалось странным на первый взгляд мое утверждение, но это — Петр Артамонов, представитель многочисленного купеческого рода, приковывающий основное внимание автора, персонаж романа, носящего название «Дело Артамоновых», но — напрочь выключенный из дела и занимающийся копанием в собственной душе. Мне уже приходилось отмечать отдельные фрагменты текста «Дела Артамоновых», поразительно напоминающие стилистику будущего «Клима».

Впрочем, категория будущего тут мало подходит по двум причинам. Окончательно замысел «Клима» оформился непосредственно во время работы над «Артамоновыми». Стоит напомнить, что истоки замыслов и того и другого произведений восходят примерно к рубежу веков, и параллельно, так или иначе взаимодействуя в сознании писателя, развивались они по крайней мере в течение двух десятилетий.

И опять мы возвращаемся к самому больному вопросу. Литературоведы бездну внимания уделили истории становления замысла эпопеи, и никто еще как будто не задумался, с каким внутренним багажом подходил Горький — автор «Жизни Клима Самгина» — к событиям и фактам, отраженным в ней. Все внимание уделяли времени действия. И забывали другое время — время написания.

Разумеется, не стоит при этом все сводить только к судебным процессам над интеллигенцией, которые начали развертываться на рубеже 20–30-х годов, в разгар работы над «Климом». Можно было бы привести множество и других фактов, свидетельствующих о гонениях, которым подвергалась интеллигенция как потенциальная носительница «крамолы», как

«прослойка», которую надо было «перековывать» при помощи принудительного труда на том же Беломорканале. А ведь действия руководителей ОГПУ, возглавлявших стройки, как мы знаем, вызывали поддержку Горького, порой даже восхищение.

Как мог проделать подобную эволюцию автор «Несвоевременных мыслей», пламенный адвокат интеллигенции — над этой загадкой нам еще предстоит основательно задуматься. Задуматься и решить: не превратился ли адвокат в обвинителя? Во всяком случае, любопытен оборот, прозвучавший в одном из критических откликов, принадлежащих К. Зелинскому: в «Жизни Клима Самгина» запечатлен «внутренний процесс», который Горький вел «перед трибуналом своего классового сознания».

Но может быть, перед этим «трибуналом» представала лишь часть, определенная разновидность интеллигенции, и в самом деле вполне заслужившая суда над ней? В этом еще надобно разобраться, не сбрасывая, впрочем, со счетов следующего весьма показательного суждения бывшего наркома просвещения. А. Луначарский писал: «Эта бездушность Самгина, эта его выеденность внутренняя, эта пустота очень характерны для интеллигенции — промежуточного класса, который не может продолжить свой путь так, чтобы не подпасть под какое-то влияние».

Не могли не оказать деформирующего влияния на развитие замысла и те жесткие принципы, которые Горький все более настойчиво начинал внушать себе и пропагандировать среди других писателей: идеи о необходимости приподнимать действительность, романтизировать ее, избегать «излишнего» внимания к ее противоречиям. «Смысловое, историческое мировое значение факта этой победы (пролетариата. — *В.Б.)* совершенно исключает из обихода нашей страны темы безнадежности, бессмысленности личного бытия, тему страдания, освященную вреднейшей ложью христианства», — писал Горький.

Бессмысленность личного бытия… Ну, такого, как у Клима, — возможно. Но содержательность духовного бытия личности — разве не это главная гарантия духовного богатства общества?

При работе над «Жизнью Клима Самгина» в сознании Горького протекал мучительный процесс, который начался еще в пору, когда он писал «Дело Артамоновых». Точнее, как и тогда, боролись два непримиримых процесса. Один диктовался живыми, богатейшими наблюдениями над российской действительностью предреволюционных лет. Энциклопедическая начитанность Горького выступала при этом в качестве мощного катализатора.

Но одновременно протекал процесс иной, обусловленный утверждением в стране идеологического монополизма, усиления роли партийной олигархии под лозунгом диктатуры пролетариата.

Весьма впечатляющими были, конечно, в стране и результаты созидательного труда масс, но весь вопрос в том, какой ценой…

С увлечением погружаясь в картины прошлого, Горький ориентировался на то, чего ждут от его книги современники. И он не хотел обманывать их надежд. Теперь уже всем было ясно, что большевизм победил. И книга о прошлом должна была быть созвучна устремлениям жизни к этой победе. Не то ли сам он утверждал в статьях о социалистическом реализме? И могли он пропагандировать истины нового метода для других, совсем не допуская необходимости опираться на них в собственном творчестве?

Никогда еще Горький не испытывал таких противоречий, внутренних терзаний, как при труде над «Климом». Ни одно произведение не доставляло ему столько сомнений и мучений. «Да, я устал, — признавался он, — но это не усталость возраста, а результат непрерывного длительного напряжения. „Самгин“ ест меня. Никогда я еще не чувствовал так глубоко ответственности своей перед действительностью, которую пытаюсь изобразить. Ее огромность и хаотичность таковы, что иногда кажется: схожу с ума».

В работе Горького над «Жизнью Клима Самгина» немало парадоксального. Как критик и наставник он отлично сознавал, что следует рекомендовать подопечным. Так в довольно резком и, видимо, потому не отправленном письме Леонову по поводу романа «Дорога на океан» читаем: «Вы показали, как умирает Курилов, а не как работает он».

Чуть ранее, в сентябре 1934 года, писал Макаренко, что вторая часть «Педагогической поэмы» значительно менее удалась, чем первая: «Над работой с людьми и землей преобладают „разговоры“. Эта часть поэмы значительно выиграет, если Вы сократите ее. Сокращать надо незначительное, чтобы ярче оттенить значительнейшее».

Сократить, чтоб оттенить значительнейшее… Призывая учиться у классиков, Горький отлично помнил главный завет, сформулированный Пушкиным: точность и краткость — первые достоинства прозы. А в «Климе», по выражению Чуковского, «на каждой странице узоры». То есть какие-то подробности, не являющиеся обязательными, нужными для характеристики человека.

«Берендеев бывал редко и вел себя, точно пьяный, который не

понимает, как это он попал в компанию незнакомых людей и о чем говорят эти люди. Он растерянно улыбался, вскакивал, перебегал с места на место, как бы преследуя странную цель — посидеть на всех стульях».

Цель действительно достаточно странная, ведь речь идет не о покупке мебельного гарнитура. И если уж человек редко бывает в компании, он обычно держится застенчиво и, фигурально говоря, боится сесть между двух стульев.

«И вдруг засмеялся мелким смехом, старчески сморщив лицо, весь вздрагивая, потирая руки, глаза его, спрятанные в щелочках морщин, щекотали Самгина, точно мухи».

Глаза — точно мухи?..

«Шумный, красненький мужичок, сверкая голыми и тонкими ногами, летал около людей, точно муха, толкая всех…» Но муха не может толкать никого. Вообще, тут нарушаются элементарные зрительные пропорции образа.

Это — о действиях героя, его поведении. А вот о его речи.

«…Его кисленький голосок звучал твердо, слова соскакивали с длинного языка легко и ловко, а лицо сияло удовольствием». Это — о Тагильском, про которого было известно, что у него «длинный язык», то есть может наговорить лишнего. Но иносказание вдруг приобретает в приведенном примере буквальный смысл, и тотчас возникает вопрос: но что же измеряло длину этого языка? И вообще, простите за каламбур: когда человек разговаривает, он, как говорится, держит язык за зубами (тут уж — в прямом смысле слова).

«Он говорил не торопясь, складывая слова, точно каменщик кирпичи, любуясь, как плотно ложатся они друг к другу». Или: «… рассказывал о достопримечательности Астрахани тоже клетчатыми, как его костюм, серенькими и белыми словами…»

Теперь портрет. «…Он уже обеими руками забросил волосы на затылок, и они вздыбились там некрасивой кучей. Вообще волосы его лежали на голове неровно, как будто череп Долганова имел форму шляпки кованого гвоздя».

Иной раз детали портретной характеристики переносятся на неодушевленный предмет следующим образом: «Один бок могилы узорно осыпался и напомнил беззубую челюсть нищей старухи».

Могут сказать: из гигантской эпопеи можно выхватить несколько неудачных примеров. Однако все приведенные цитаты взяты только из второго тома. И к сожалению, количество подобных примеров можно было бы увеличить без особого труда, не обращаясь к другим томам…

И наряду с этим — прекрасные находки, связанные с

торжеством совсем иной стилистики, запоминающиеся сразу и острые в своей реалистической точности: офицер, перетянутый ремнями, словно чемодан… Или вот это небольшое описание, связанное с пароходным путешествием Самгина. «…Город, окутанный знойным туманом и густейшими запахами соленой рыбы, недубленых кож, нефти, стоял на грязном песке; всюду, по набережной и в пыли на улицах, сверкала, как слюда, рыбная чешуя, всюду медленно шагали распаренные восточные люди, в тюбетейках, чалмах, халатах; их было так много, что город казался не русским, а церкви — лишними в нем. В тени серых, невысоких стен кремля сидели и лежали калмыки, татары, персы, вооруженные лопатами, ломами, можно было подумать, что они только что взяли город с боя и, отдыхая, дожидаются, когда им прикажут разрушить кремль».

Великолепная, точная проза! Никаких надуманностей, красивостей! И какая глубина внутренней содержательности, лишенной всякой прямолинейности при характеристике народа как мощной и грозной силы, опасной для Самгиных.

Увы, не этот стиль преобладает в романе…

И отзывы критики, и примеры из текста, приведенные в этой главе, свидетельствуют о том, что на вершину Горькому взойти не удалось. Роман нельзя считать его победой, и нам пора прямо и честно сказать об этом. Он — выражение духовного кризиса писателя, его мучительной раздвоенности и одолевавших его сомнений.

Вызволенная им с Соловков, Юлия Данзас заключает свои впечатления о «Жизни Клима Самгина»: «Горький хотел создать грандиозную эпопею, похожую на „Войну и мир“ Толстого. Ею думал он завершить свою литературную карьеру. Он работал над ней несколько лет мучительно и безуспешно. „Жизнь Клима Самгина“ — произведение тяжеловесное, плохо связанное, почти непреодолимо скучное. Свое творческое бессилие Горький ощущал с горечью».

«„Самгин“ — вещь, которую необходимо переделать с начала до конца».

Кто же вынес этот беспощадно-суровый приговор? Он сам. В чем его никогда нельзя было обвинить, так это в том, что пальму первенства он хотел удержать любой ценой. Как уже было сказано о художнике: «Ты сам свой высший суд». Воистину так.

Пожалуй, не много крупных книг рождалось в состоянии внутренне-психологической дискомфортности, прогрессировавшей столь активно, что рука писателя, объявленного при жизни классиком, начинала «дрожать». Творческий почерк стал как бы меняться. Меняться настолько, что

он допускал порой огрехи, непростительные и для начинающего, свидетельствующие даже об уступках безвкусице, такой, за которую беспощадно критиковал, к примеру, Панферова.

Критикуя роман, впрочем, явно несправедливо было бы оставить в тени и те не столь уж многочисленные положительные оценки «Жизни Клима Самгина», которые раздавались в печати еще при жизни автора и ложились довольно увесистым грузом на противоположную чашу личных мнений и свидетельств (особенно если учесть, кто были авторы этих оценок). А к их числу принадлежали такие авторитетные литераторы, как Луначарский, Фадеев.

С основными своими работами о писателе: «Горький (к 40-летнему юбилею)», «Самгин» (обе — 1932 г.) — выступает в печати Луначарский. Исследователи считают даже, что этими статьями он «достойно отметил 40-летие творческой деятельности писателя, внеся огромный, до сих пор непревзойденный вклад в изучение творчества Горького, и показал подлинную силу марксистского литературного анализа»[64].

Ну, для начала заметим в скобках, что сам по себе юбилей вряд ли когда-нибудь бывает поводом для подлинно аналитического, по-хорошему «въедливого» анализа творчества художника. Все-таки, согласимся, критики в первую очередь поднимают высоко на щит самое положительное, значительное из опыта юбиляра, а о недостатках пишут куда скромней (если и касаются их вообще).

Впрочем, когда речь идет о критике такого ранга, как Луначарский, у читателя, наверное, всегда остается множество поводов ожидать и метких наблюдений, и сильных обобщений, вовсе не расходящихся с принципом объективности.

И подобных наблюдений и обобщений в статье Луначарского действительно предостаточно. Прежде всего они относятся, конечно, к образу Самгина и самгинщине как социальному явлению. С присущим ему блеском Луначарский возводит внешне безликую фигуру Самгина в разряд типов мирового значения: от Ричарда III до Иудушки Головлева, от Фауста до Ивана Карамазова.

Проницательно отметив, что Горький предлагает читателю какой-то новый тип повествования, в котором соединяются черты романа воспитания и исторической хроники, Луначарский все же основное внимание уделяет главному герою (нигде, слава Богу, не давая повода дальнейшему горьковедению блистать такой «новацией»: будто бы главным героем «Жизни Клима Самгина» является вовсе не Клим, а… народ. Чувствуя явную

несообразность такого построения, один из авторов уточняет, что называется, из кулька в рогожку: народ является скрытым, но истинным героем повествования?!).

Разумеется, критик имеет полное право на тот или иной способ анализа образа. И Луначарский встает на путь классификации основных социально-психологических признаков Самгина, причем не всегда ему удается избежать беглой перечислительности («перейдем к другим корням и цветам самгинства»; «остановимся еще на одной выразительной и общей черте самгинства»).

Собственно говоря, такой прием как бы «навязан» Луначарскому самим внесюжетным характером повествования. Критик не может не признать этой внесюжетности, пусть и косвенно, а именно отмечая то, что становится одним из важнейших сюжеторазрушающих принципов и что было обозначено нами как внепрофессиональность героя. Отмечая эту внепрофессиональность Самгина, благоговейно настроенный по отношению к Горькому критик все же не может удержаться от едкой ироничности: «Клим что-то вроде юриста, он что-то такое вроде писателя (что-то такое вроде?! — *В.Б.);* если бы его назвали праздным бездельником — он бы, наверное, крепко обиделся. Он работает. Он ищет работы (так работает или ищет? — *В.Б.).* Но во всей его „Жизни“ вы не найдете ни следа какой-либо полезной работы…» Прояви критик в данном случае большую профессиональную последовательность, ему пришлось бы невольно заводить речь о недостаточной энергетической напряженности повествования, о малой его увлекательности, подтверждением чего служат приводившиеся многочисленные отзывы читателей.

Как уже сказано, статья о «Климе Самгине» была написана к юбилею, чем вызвана хотя бы отчасти ее панегирическая тональность. Но на характер последних выступлений критика о Горьком не могли не наложить некоторого отпечатка по крайней мере еще следующие два обстоятельства.

В 1928 году, как известно, лихие рапповцы, опираясь на то, что Горький не пишет о нынешнем рабочем классе и вообще ушел от современности, отказывали ему в праве называться пролетарским писателем. И вот Луначарский немалую долю своей неиссякаемой эрудиции и, увы, уже иссякающей творческой энергии направляет на развенчание этого тезиса. Надо отдать ему должное: мысль эту он сформулировал с воистину монументальной основательностью: «Огромное, исключительное значение Горького заключается в том, что он является первым великим писателем пролетариата, что в нем этот класс… впервые

осознает себя художественно, как он осознал себя философски и политически в Марксе, Энгельсе и Ленине».

Тезис, что и говорить, весомый, но возникает маленькая незадача. Тактически он несколько припозднился: возник на грани роспуска РАППа, когда была дана команда прекратить обособление писателей в особую пролетарскую организацию и считать их литераторами высшего ранга. Ставился вопрос о создании единой советской литературы, вдохновляемой общими идеями социалистического строительства. Так что тезис был более обращен назад, чем вперед.

И другой важный момент, который не мог не наложить определенного отпечатка на поздние статьи Луначарского о Горьком и связанный со сложностью их предшествующих личных отношений.

Анатолий Васильевич, натура блестящая, увлекающаяся, ценил острое словцо и не лез в карман за таковым ради полемического заострения. И вот тут у него произошло два крайне неприятных, как мы выражаемся сейчас, прокола.

В одной из газет еще в 1926 году, в пору, свободную от юбилейной шумихи, Луначарский выступил с довольно хлесткой театральной рецензией на постановку пьесы Горького «Фальшивая монета». В ней, как говорится, «ради красного словца он не пожалел родного отца». Вот что вышло на свет Божий из-под пера наркома: «Уж подлинно можно сказать, что если страна ждет от Горького ценного подарка, то в этой пьесе она получает уплату своего долга „фальшивой монетой“».

Луначарский почему-то упустил одну «мелочь»: пьеса написана еще в 1913 году, и, естественно, в этом содержался ответ на вопрос рецензента: «Почему нет в ней никакой революции?»

Рецензия, естественно, привела Горького в негодование («возмутил меня министр народного просвещения»).

Но, как известно, беда никогда не приходит одна. Луначарский же — опять-таки как нарком — выступил в роли автора вступительной статьи к собранию сочинений Горького — работы, требующей особой ответственности и величайшего профессионализма. Будучи занят тысячей дел и понадеявшись на свой опыт, Луначарский статью скорее не написал, а составил, скомбинировал из своих предыдущих статей, рецензий, речей (использовав помощь подручных).

Это была не просто профессиональная небрежность, но и политический промах, на что вынужден был ему намекнуть заведующий Госиздатом Халатов, сказавший, что работа, скомпонованная критиком из ранее написанных, «ни в какой мере

не гармонирует с той оценкой, которую нашли Ваши труды в советской прессе в дни юбилея».

Произошел случай, не столь уж частый в издательской практике: предисловие пришлось изымать из уже готовых томов и спешить, чтоб первый том с новой статьей вышел не позднее второго. Луначарский был достаточно опытным литератором и руководителем, чтобы понимать, какого масштаба с ним случился конфуз, насколько не попал он «в струю». Он поторопился реабилитироваться, хотя бы частично, и попытался выступить в 1928 году в «Известиях» со статьей в поддержку Горького против бестактного выпада рапповцев.

А его самого удар ожидал двойной: статью в «Известиях» не опубликовали! А ведь в ней, исправляя свои грехи и набирая утраченный ранее пафос, Луначарский пытался прямо заявить: «Я пишу здесь не только от своего имени».

Так вот… Те, от чьего имени пожелал высказаться нарком, отказали ему в этом праве. Что и говорить, удар!

Но возможностей выступать «не от своего имени» у Луначарского отныне вообще становилось все меньше, а в сентябре следующего, 1929 года, он был смещен с поста наркома. Одним из заместителей нового наркома, как мы знаем, становился Ягода…

Вот в этих-то обстоятельствах «проколов» и неудач, связанных со странным непониманием политической стороны горьковского юбилея, тех надежд, которые возлагал Сталин на возвращение писателя, и предпринял бывший нарком, попавший в опалу к Хозяину, еще одну, последнюю, попытку вернуть свое реноме через оценку творчества Горького.

Теперь, в сущности, требовалась уже не столько литературная критика в собственном смысле слова. Требовалась, так сказать, критика-госзадание. Да, вообще говоря, во многом именно такой и становилась вся критика того времени. Исследователи истории литературной журналистики, характеризуя, например, журнал «Новый мир», пишут: «Распространение идеологии культа личности особенно тяжело сказалось на критике… В 1932 году (год публикации последних, „основных“ статей Луначарского о М. Горьком. — *В.Б.)* критика вообще исчезла со страниц „Нового мира“. Достаточно сказать, что в журнале было помещено всего шесть рецензий».

Перечитывая сегодня статью «Самгин», довольно легко обнаружить в ней тот внешненакладной, полемически-служебный слой, который и был вызван охарактеризованными обстоятельствами.

Еще в написанной в 1928 году статье «Максим Горький»,

когда увидел свет лишь первый том эпопеи, Луначарский почему-то с большой долей уверенности предрекал ее финал, словно бы вольно или невольно наталкивая автора на мысли о таком его исходе: «Закончит ли Горький свою большую художественную хронику тем, что Самгин, словно нечистая сила, „исчезает“ в лучах прожекторов того броневика, на котором Ильич въехал в будущий Ленинград, неся с собой победу пролетариату, или продвинет Самгина в ряды вредителей, где ему честь и место, — во всяком случае, все мы, читатели Горького, будем ждать дальнейших томов великолепного труда».

Мотив вредительства, мимолетно брошенный в 1928 году, получил свое дальнейшее развитие в статье «Самгин». «Несомненно, — писал экс-нарком, — с психологией вредительства, как она выразилась во время известных процессов, у Самгина удивительно много общего». Но воистину непредсказуем дальнейший ход мысли критика: «Допустим, что вредительство ликвидировано. Можно ли в этом случае сказать, что ликвидировано самгинство? Нет! Самгинство тоньше, летучей». А по твердому убеждению критика, «законченное самгинство, целостное самгинство, должно быть уничтожено».

Статья Луначарского содержит темпераментную полемику с лагерем эмиграции, откликнувшимся на юбилей Горького в 1928 году. В первую очередь он обрушивается на Ек. Кускову, которая опубликовала статью «Обескрыленный сокол». Ту самую Кускову, с которой Горький познакомился еще в 1893 году во время ее ссылки в Нижний Новгород… Ту самую Кускову, которая с готовностью включилась в помощь большевикам по борьбе с голодом в 1921 году, но была, как и все члены Помгола, вскоре арестована. А первым, кто прибежал предупредить ее об аресте, готовящемся большевиками, как уже упоминалось, был Горький…

«Конечно, г-жа Кускова полна ненависти к Горькому, — пишет Луначарский. — Она формулирует ее очень развязно: Горький официальный бард Советской власти. Советская власть ненавидит интеллигенцию и искореняет ее, и ненависть эта взаимна.

Г-жа Кускова берет на себя колоссальную смелость говорить за Советскую власть и за тысячи и тысячи интеллигентов, работающих в СССР.

Сложную, временами скорбную главу романа интеллигенции с народом, написанную после 17-го года, г-жа Кускова, разумеется, не понимает никак. Она радостно поддакивает тов. Сталину, когда он говорит, что среди рабочих есть такие элементы, которых весь опыт глубоких разочарований привел к огульному озлоблению против интеллигенции».

Думается, дальше продолжать этот пассаж не имеет смысла, потому что перед нами не полемика, подразумевающая какие-то аргументы, а в лучшем случае отповедь.

Вряд ли Горький был в восторге, читая эти места статьи Луначарского, так как он уже имел собственный эпистолярный обмен мнениями с Кусковой по тому же вопросу, и отвечать на ее обвинения по существу ей лично для него было гораздо труднее, чем просто ниспровергать их, находясь по ту сторону границы…

Вообще, Горький отлично понимал, какую роль в появлении подобных статей имеют «обстоятельства» и как эти же обстоятельства служат основой для построения мифов. Потому-то его не очень умиляли начавшиеся появляться в том же 1932 году восторженные высказывания некоторых литераторов, например Фадеева, человека, безусловно, одаренного: «Ваша вещь, Алексей Максимович, гениальна в самом простом и полном смысле этого слова…»

В таких условиях постепенно и рождался миф о великой, гениальной эпопее. Надо же было иметь такой эпохе произведение под стать ей! Правда, находились поначалу несознательные, «задиры» из той же рапповской молодежи, которые, будучи загибщиками и упрощенцами в большинстве вопросов творчества, еще не успели уговорить себя не замечать обволакивающую жизнь идеологическую фальшь. Тот же Авербах в дни возвращения Горького, не слишком-то стесняясь в выборе выражений, писал о «неумеренных… и недостаточно искренних восторгах, ахах, охах и прочих юбилейных восклицаниях»; «о разливанных морях патоки». Так оно, конечно, и было. Но Авербаха мгновенно осадила «Правда», в статье В. Астрова «Горький и комчванята». Как уже говорилось, статью Луначарского по тому же поводу отвергли; зато в последующей «шахматной партии» ему отводилась роль тяжелой фигуры.

И он, Луначарский, взял на себя эту, скажем прямо, неблаговидную роль, вставая на путь совершенно очевидных преувеличений. Он писал: «В „Жизни Клима Самгина“ получается такое необъятное богатство красок, сведенных в конце концов к одной большой гармонии, к одному большому целому, какое мы вряд ли можем представить в любом ином произведении. „Клима Самгина“ можно противопоставить „Войне и миру“ и всякой другой великой эпопее». Заметим: даже не сопоставить, а противопоставить! Словом, родилось своего рода эталонное произведение, роман-шедевр, образец для подражания…

Вот как уже современный исследователь определяет стратегическую роль подобных статей Луначарского для развития горьковедения: «За последующие годы появилось много

монографических работ о „Жизни Клима Самгина“, но среди этой большой литературоведческой флотилии небольшая статья Луначарского сохраняет положение флагмана. Почти все позднейшие исследователи горьковской эпопеи опираются на нее и развивают ее тезисы»[65].

Да, такому флагману не страшны были никакие рифы и мели. А за ним — и всей эскадре тоже. Маршрут был рассчитан точно. Лоцманское искусство — не подлежало сомнению. Метеосводки — безошибочно точны. Ни одно облачко не могло затемнить неба государственной культуры…

Ну, а жизненный маршрут самого «капитана флагмана» сломался довольно круто.

В 1933 году ему, тяжелобольному, на исходе шестого десятка, предложили выехать послом в Испанию. Так сказать, почетная ссылка. И это накануне съезда писателей! Благословенная Испания была ему настолько не нужна, что он скончался, не доехав до Мадрида, в местечке Ментона (Франция). Похоронен он, как и полагалось в таких случаях, на Красной площади…

Драму жизни Луначарского последних лет еще предстоит написать.

А Горький, он никак не откликнулся на горестную весть, пришедшую из Ментоны. Ни в момент ее получения, ни позже…

ГЛАВА XXIV
Гений и злодейство

В последние годы Горький все отчетливее ощущал, что происходит вокруг него что-то странное, труднообъяснимое. Словно какие-то недобрые силы неумолимо затягивают и затягивают петлю, все более ограничивающую свободу движений. Какой-то гордиев узел… А у него уже нет сил, чтоб поднять меч и разрубить его. А развязать — развязать такой узел вообще невозможно.

Как-то позвонил старый друг еще по издательству «Знание» Константин Петрович Пятницкий. Сообщил с недоумением и тревогой, что приходили, забрали всю его переписку с Горьким. Возмутился, имел объяснение с Ягодой. «Все уладим, не беспокойтесь, Алексей Максимович!» Но какого черта: надо не улаживать, а не допускать таких нелепостей вообще!

Или — совсем другая история. В общем — приятная. Но и тут в бочку меда не забыли влить ложку качественного «ароматного» дегтя. Это — приезд Герберта Уэллса.

Приглашая его в Советский Союз, Сталин прекрасно понимал, что ставит Горького в двусмысленное положение… Впрочем, как всегда, Сталин одним разом, одновременно решал несколько задач…

Начать с того, что Уэллс уже бывал в Союзе, причем в самые трудные времена, в голодном и холодном 1920 году. Тогда он нанес визит Ленину, назвав его кремлевским мечтателем и написав потом книгу «Россия во мгле».

Теперь, успешно наращивая темпы индустриализации, страна уверенно освещала свой путь в будущее заревом многих электростанций, огнями могучих заводов и фабрик…

Тогда, в 1920-м, Уэллс остановился у своего друга, в Петербурге, на Кронверкском. Там и произошло его знакомство с Марией Игнатьевной Закревской-Будберг, незадолго до приезда Уэллса вошедшей в горьковский дом. Она отлично знала английский и служила Горькому и Уэллсу переводчицей в их многочасовых беседах.

О, им было что вспомнить! Может быть, именно Уэллс оказался первым европейским литератором, которого с Горьким связало личное знакомство. Случилось это еще в 1906 году в Америке, куда Горький приехал по заданию партии для сбора средств. Тогда пресса всячески раздувала скандал вокруг того, что брак Горького и Марии Федоровны Андреевой не

зарегистрирован.

Потом писатели встречались в Лондоне, где Горький принимал участие в работе V партийного съезда…

Но больше всего — в 1920-м. Говорили они, конечно, о революции, социальной справедливости, войне и мире, будущем Европы и человечества.

Потом Горький оказался в Италии, и Закревская — вместе с ним. В общей сложности их союз длился двенадцать лет. Горький окончательно покидал Апеннины в 1933 году. После долгих обсуждений сложившейся ситуации они решили расстаться. Мария Игнатьевна выбрала Англию, где и соединила свою жизнь с Уэллсом. (Туда же по договоренности с Горьким она увезла ту часть его архива, которую невозможно было перевозить на родину.)

И вот теперь, в 1934-м, спустя всего лишь год после приезда Горького в СССР и их расставания с Мурой, писателю предстояла встреча с английским другом.

Вообще говоря, в тридцатые годы Сталин встречался с несколькими европейскими писателями (Эмилем Людвигом, Р. Ролланом, Л. Фейхтвангером, Б. Шоу). Все эти встречи имели чисто политическое значение. Приезд же Уэллса не мог не внести дополнительного дискомфорта в жизнь Горького, в его быт…

Впрочем, какие это все-таки пустяки в сравнении с тем, что происходило в стране, как складывались судьбы ее руководителей. Помнится, еще в 1929-м он отправил Сталину письмо, проникнутое глубочайшей озабоченностью по поводу того, что наиболее авторитетные большевики-ленинцы вдруг объявляются «еретиками». Теперь, в середине 30-х, обстановка становилась все более тревожной.

Как-то в доме Горького заговорили о Пушкине, о его «Маленьких трагедиях».

— Пушкин понимал, что «гений и злодейство две вещи несовместные», и потрясающе глубоко выразил это в «Моцарте и Сальери», — сказал Горький. — Да, гений и злодейство две вещи несовместные, ибо гений служит коллективу, он не идет дорогой зла! А злодейство — это канонизация себялюбия, заклятый враг коллектива.

Кто-то из собеседников возразил, сославшись на пример Александра Македонского, Цезаря, Наполеона.

Горький разгорячился:

— Это не гении, а мясники! И даже не очень умные! Гений подлинный всегда благоволит человеку! Он всегда с народом, болеет его нуждами, стоит за народ. А они? Честолюбие пожрало их, как змея змеенышей…

Какая-то тягостная атмосфера в последние годы все более воцарялась в доме. Стал часто бывать нарком внутренних дел Ягода, как бы на правах земляка. Говорили, что секретарь Горького Крючков связан с ним. «В доме Горького приблизительно с 1933 года стали ощутимо господствовать Ягода и его подручный Крючков». (Дневник Михаила Слонимского.) Поэт Н. Клюев сообщал из ссылки в 1935 году: «Горькому я не писал — потому что Крючков все равно моего письма не пропустит».

Подробную характеристику дает Крючкову Роллан в своем «Московском дневнике». Этот человек вошел в жизнь Горького еще в 1918 году, чрезвычайно трудную для писателя пору, вошел, чтоб посвятить собственную жизнь ему. «Можно сказать, он пожертвовал своей жизнью для него. Именно через его руки проходит вся корреспонденция, адресованная Горькому». В другом месте дневника Роллан вновь обращается к фигуре Крючкова: «Горький позволил запереть себя в собственном доме из преданности своему маленькому кружку и поддаваясь чрезмерно деятельному усердию своего секретаря Крючкова, которому удалось нейтрализовать его. Ведь, несмотря на реальную помощь Крючкова, мне приходится с сожалением признать, что установленная им блокада прискорбна. Крючков сделался единственным посредником всех связей Горького с внешним миром: письма, визиты (вернее, просьбы посетить Горького) перехватываются им, одному ему дано судить о том, кому можно, а кому нельзя видеть Горького (вдобавок Горький, не читающий ни на каком иностранном языке, находится всецело во власти переводчиков). А та молниеносная быстрота, с которой через Крючкова во время моего пребывания в Москве передавались некоторые мои письма и слова Сталину, Ягоде и другим, и быстрота их ответов!..

Эти факты заставляют меня думать, что он тайно связан с центральной организацией партии. Не впадая в крайности белогвардейских газет в отношении Крючкова (о которых он сам нам рассказывал), надо признать, что искренний друг Горького, безгранично преданный ему, Крючков располагает им по своему усмотрению и в соответствии с установками партийного руководства. Они ему кажутся, вне всякого сомнения, очень верными. Досадно, однако, что он не дает Горькому возможности самому решить, насколько они для него годятся. И эта опека тем досаднее, что, судя по всему, Крючков человек крайне ограниченный, фанатичный и безапелляционный. Надо быть таким слабовольным, как Горький, чтобы подчиниться ежесекундному контролю и опеке. Они избавляют его от многих

забот, но какой ценой?! У старого медведя в губе кольцо».

Тот факт, что Крючков лишал Горького общения вовсе не с досужими визитерами, стремившимися к встрече со знаменитостью, а с людьми, представляющими для писателя интерес, подтверждает, к примеру, свидетельство Воронского (мы знаем, как высоко ценил писатель его деятельность в литературе).

«С осени 1931 года мои встречи с Горьким прекратились. Произошло это таким образом. Перед отъездом на отдых в Крым я позвонил Горькому, хотел с ним проститься. К телефону, как обычно, подошел Крючков и сообщил, что Горькому неможется и что он примет меня дня через два, как только оправится. Я позвонил дня два спустя, и опять Крючков сказал, что Горький болен. Я уехал, не повидавшись с ним. По возвращении из Крыма я опять звонил ему. Крючков сказал: „Горький занят постановкой „Егора Булычова““, — и пообещал позвонить сам, как только Алексей Максимыч освободится. Этим обещанием дело и окончилось. Чему приписать перемену в отношениях ко мне Горького — не знаю. Вероятно, Крючков более осведомлен, чем я, на этот счет. Строить по этому поводу догадки и предположения считаю несвоевременным и излишним.

Я сперва был в обиде на Горького, но потом совершенно освободился от этого чувства».

Как-то, когда Крючков вышел из комнаты, Горький признался своему помощнику по журналу «Наши достижения» И. Шкапе: «Устал я очень… Сколько раз хотелось побывать в деревне, даже пожить, как в былые времена… Не удается. Словно забором окружили — не перешагнуть!.. Окружили… обложили… ни взад, ни вперед! Непривычно сие!»

Из письма Халатову, ноябрь 1935 г.: «А я чувствую себя живущим в ссылке. Не жалуюсь, но — обидно жить, ничего не видя».

Ссылка… При желании можно было назвать это домашним арестом. И вспоминался опять тот давний арзамасский снимок с полицейским у крыльца, снимок, вовсе уже не казавшийся теперь смешным и безобидным…

Вряд ли Горький знал, что уже давно Хозяином контролируется каждый его шаг. Делается все, чтоб фиксировать каждое его суждение.

…В 1929 году к нему в Сорренто приехал художник Федор Богородский. Встретились они поначалу осенью, в Берлине, по возвращении Горького из Советской России. Встречу организовала Мария Федоровна Андреева, работавшая там в торгпредстве.

Мог ли Горький остаться равнодушным к этой встрече? Он

уже знал, что после обилия впечатлений от пребывания на родине будет тосковать в благословенной Италии по соотечественникам. А тут не просто соотечественник — земляк, с отцом которого он был знаком еще тысячу лет назад! Тогда, в Нижнем, еще в дописательскую пору, служил делопроизводителем у присяжного поверенного А. Ланина, а отец Богородского — помощником адвоката.

Разговорились, вспомнили прошлое… Федору Богородскому было чем поделиться: еще бы, он успел поработать цирковым акробатом, выпустить книжку задиристых футуристических виршей с агрессивным заголовком «Даешь!», был военным летчиком, а потом воздушный океан оставил в пользу водной стихии — стал комиссаром военной флотилии. О вехах пройденного пути повествовал столь колоритно, что беседу пришлось прервать, чтобы продолжить потом… в течение полугода, в Сорренто, куда Богородский приехал по приглашению Горького.

В Берлине он предпочел не акцентировать внимание великого земляка еще на некоторых «деталях» своей биографии: в Нижнем служил в ЧК, а потом заведовал особым отделом Губчека в Оренбурге. «…Иногда мы ходили гулять по шоссе, — вспоминает Богородский. — О чем мы только не говорили во время этих прогулок! И о Сильвестре Щедрине — замечательном русском художнике, похороненном в Сорренто, и об Александре Иванове, прожившем почти 30 лет в Риме, и о виртуозном мастерстве К. Брюллова, и о мрачном, „ядовитом“ таланте Ф. Достоевского, и о поэтическом даровании Р. Роллана… И, конечно, больше всего говорили о нашей Родине, о Москве, о старом Питере, о Нижнем Новгороде, о Волге…»

У нас нет прямых свидетельств о том, что Богородский по заданию соответствующих органов собирал информацию об умонастроениях писателя. Но, зная порядки, укореняемые Сталиным, который, так сказать, «собственноушно» подслушивал разговоры членов Политбюро в помещении Кремля, трудно предположить, чтобы полугодовое пребывание художника в Сорренто на рубеже 1929(!)—1930 годов не было использовано соответствующим образом.

Ну, а для тех, кого не удовлетворяет такое объяснение, — свидетельство Берберовой, сделанное уже спустя несколько лет после публикации «Железной женщины»: «В своей книге „Железная женщина“ я не могла упомянуть, потому что недостаточно была уверена, но теперь это уже опубликовано и стало известным, что моя героиня, любовница Горького Закревская-Бенкендорф-Будберг, была двойным агентом: она ГПУ

доносила о Европе и английской разведке — о том, что делалось в Советском Союзе». Был Горький окружен службой ОГПУ и во время поездки по Волге в 1935 году.

Вернемся, однако, к свидетельствам Шкапы. Приведя слова писателя «окружили, обложили», мемуарист заканчивает воспоминания следующим образом: «Мне показалось — я ослышался: необычны были голос Горького и смысл его слов. Глаза тоже были другие, не те, которые я хорошо помнил. Сейчас в них проступали надлом и горечь. В ушах звучало: „Непривычно сие“».

…Пожалуй, началось это еще в Крыму. 1 декабря в Ленинграде был убит Киров. «Я совершенно подавлен убийством Кирова, — писал Горький Федину, — чувствую себя вдребезги разбитым и вообще — скверно. Очень я любил и уважал этого человека».

До сих пор в нашей печати господствует версия, авторы которой, начиная с Хрущева, не решаются идти до конца, ограничиваясь предположением об организации убийства Кирова Сталиным.

Автор книги «Большой террор» Конквест более последователен: «Сталин одобрил, если не организовал убийство Кирова», которое Конквест называет «преступлением века».

Убийство Кирова произошло в 16 часов 37 минут. После двух выстрелов его обнаружили в коридоре Смольного лежащим вниз лицом. В Москву из Ленинграда сообщили около 18 часов. В тот же день, пусть поздно вечером, раздался звонок из Москвы, в доме писателя в Крыму. Весть, которую принес Крючков из деревянного флигеля, где стоял телефон, обсуждали долго, не решаясь сообщить ее Горькому. Вдруг с дороги послышался грохот. Оказалось, по распоряжению Москвы приехала вооруженная охрана.

В тот же день, сразу? Но если свершился совершенно неожиданный террористический акт, надо все внимание сосредоточить на том, чтобы расследовать его! И до него ли, писателя, живущего за тысячи верст в каком-то Тессели? Что стоит за этим? Так ценят его жизнь? Или… не хотелось думать об этом, но предположение вновь и вновь лезло в голову. Кто-то перестарался, отдавая распоряжение об охране его, Горького, в день убийства Кирова, и тем самым давал повод думать, что для кого-то убийство Кирова не было таким уж неожиданным?..

Однако трудно предположить, что в таком деле кто-то мог перестараться. Но тогда ему дают понять, что случайности нет, и, может быть, хотят вызвать его на откровенные разговоры с окружающими?..

А может быть, все гораздо проще? Охраняют не его от кого-то, а себя от него. Не дай Бог, старик возьмет да и отколет какой-нибудь номер… Поедет куда-то, выступит где-нибудь, скажет не то, что нужно Хозяину.

Далее, мог ли Горький не обратить внимание на еще одну странную особенность разыгравшихся событий. Развернув 4 декабря «Правду», он прочитал в ней грозный указ о том, какие решительные меры (и как оперативно!) будут приниматься против этих самых террористов. Но указ-то был датирован еще 1 декабря, днем убийства Кирова! Как будто Президиум ЦИК был абсолютно готов к его принятию, так же как и Калинин и Енукидзе, подписавшие указ. Особенно озадачивал один пункт, последний, пятый: «Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение по вынесении приговора». Иными словами: обжалованию не подлежит. Речь идет о человеческой жизни, а срок следствия ограничивается десятью днями!..

Убийство Кирова заставило Горького на многое смотреть иначе. Когда Сталин боролся с Троцким и Зиновьевым, это не вызывало опасений. Но теперь все чаще начинали одолевать мрачные раздумья. Он понимал, что больше не может оставаться в бездействии. Обращался к Сталину, устроил его встречу с Каменевым у себя на квартире… Узнаем ли мы когда-нибудь подробности этой встречи? Как говорится: дай-то Бог!

А сейчас вспомним лишь некоторые факты биографии Каменева, которые не могли не обратить на себя внимание Горького и на иные из которых он мог опереться в беседе.

Это у него, Горького, в «Новой жизни» было опубликовано письмо Зиновьева и Каменева о том, что большевики готовят вооруженное восстание. Ленин тогда пришел в ярость, потребовал исключения штрейкбрехеров революции из партии (хотя не следовало забывать, что точных сроков выступления они не называли; были в принципе против — вот и выступили).

Сталин тогда не пошел за Лениным. Он защитил Каменева, опубликовал в «Рабочем пути» заметку о том, что вопрос о Каменеве и Зиновьеве с повестки дня снят.

Каменев и Зиновьев…

Горький совершенно по-разному относился к двум этим людям, имена которых с некоторых пор неизменно фигурировали вместе. И хотя он явно не одобрил бы физическую расправу ни над тем, ни над другим, но если б и стал непосредственно защищать Зиновьева, то делал бы это с гораздо меньшим внутренним расположением. Их отношения закончились полным разрывом еще в годы Гражданской войны, когда Горький отчаянно боролся за спасение интеллигенции. А Зиновьев — тот

принес интеллигенции много зла. Додумался даже учинить обыск в квартире Горького на Кронверкском.

Зиновьева Ленин лишь пожурил, а дела в Питере пошли по-прежнему… Ленин не захотел ссориться тогда со своим верным соратником: ведь в годы эмиграции получилось так, что Зиновьев оказался едва ли не наиболее близок ему. И наверное, не случайно в Разливе с Лениным оказался именно он, а не кто-то другой…

В бытность Зиновьева редактором зарубежных партийных газет «Пролетарий» и «Социал-демократ» Ленин был его постоянным наставником, правил его статьи, добиваясь большей четкости формулировок, последовательности в выражении политических позиций.

Идейная близость двух политиков в предоктябрьские годы была столь велика, что они выступали как соавторы некоторых программных работ («Социализм и война»). Больше того, Ленин и Зиновьев выпускают совместные сборники статей («Из истории рабочей партии в России», «Против течения»).

Но ведь и Каменева, как работника, Ленин ценил чрезвычайно высоко! Во время болезни Ильича по его предложению Льва Борисовича сделали первым заместителем председателя Совнаркома. Он председательствовал на заседаниях Политбюро, одновременно сохраняя за собой должность председателя Моссовета (тогда принято было нести по нескольку нагрузок). Ленин оставался весьма доволен работой Каменева и говорил, что эта «лошадка» тянет сразу три воза — СНК, СТО и Моссовет.

Но и Сталин не должен был забывать тех услуг, которые оказал ему Каменев. Это он настойчивее других предлагал Сталина на пост генсека. Может быть, опирался он тогда и на какие-то свои, сугубо личные впечатления о Сталине: туруханскую ссылку они отбывали вместе и даже как-то сфотографировались в обнимку…

Правда, потом все стало гораздо сложней. Каменев выступал с решительной критикой Сталина… Но в целом положительное должно же было перевешивать!

И еще одно ценил Горький в Каменеве. Сам незаурядный литератор, автор работ о Герцене, Некрасове, Каменев, в отличие от своего соратника Зиновьева, с глубоким вниманием относился к нуждам художественной интеллигенции. Как председатель Моссовета, многих спас по ходатайству Союза поэтов: И. Новикова, А. Кизеветтера… К нему обращался даже М. Волошин из Коктебеля! Не случайно он стал организатором и первым директором Института мировой литературы…

Увы, горьковское ходатайство не дало результатов.

Да, годы 1932–1934-й, о которых исследователи склонны порой говорить как о времени почти безграничной власти Горького, остались позади. На смену им приходили совсем иные времена.

ГЛАВА XXV
Против Горького — Горький

Создаваемая вокруг писателя в последние годы жизни атмосфера тягостной дискомфортности не могла не отразиться на его творческой работе. Сказалось это решающим образом не только на «Климе Самгине», но и на публицистике. Написанное им в эту пору разительно отличается от публицистики дореволюционной — статей типа «Поль Верлен и декаденты», «Разрушение личности», «Две души» и др. В них Горький предстает как яркая, самобытная личность, обладающая четко выраженным индивидуальным миропониманием, своей философией жизни. Здесь не могло обойтись без полемических преувеличений, без заостренного выражения любимых идей (противопоставление Запада Востоку, критика МХТа за инсценировку романов Достоевского и др.). Но это был именно Горький. Так не мог написать никто.

Резкая смена жанра происходит в цикле «Несвоевременные мысли». Накаленная политическая атмосфера, в которой решалась судьба России, требовала мгновенной реакции на события. Тут было не до развернутых рассуждений философически-обобщенного типа. Преобладает оперативная оценка конкретного события, политического заявления того или иного лица, отдельного факта. Расчет — немедленное воздействие на ситуацию. Жанр совсем другой, но Горький-то все тот же — как личность, художник, гражданин.

И вот писатель возвращается на родину. Мы хорошо знаем, каким ореолом и почему было окружено его имя. Он уже не просто писатель, пусть и самый крупный. Его публицистика теперь — это своего рода ликбез, рассчитанный на массу, едва успевшую освоить грамоту. Он — носитель некой суммы истин, не подлежащих сомнению: порочность капитализма и превосходство социализма, решающая роль труда в преобразовании жизни, воспитание нового человека, борьба с природой…

Здесь Горький уже не ищет. Он щедро раздает то, чем располагает сам, переставая замечать унылую повторяемость одних и тех же постулатов.

Статьи назидательны. Популяризация сплошь и рядом перерастает в упрощение. Капиталист бережет вещи потому, что они служат ему для порабощения рабочих и крестьян… Но разве только поэтому и для этого? И вообще, в первую ли очередь для

этого? Единоличник бережет потому, что хочет быть кулаком. А вот трудовой народ бережет добро потому, что это ускоряет его движение к возвышенной цели. Но разве только сейчас стало понятно, что коллективное начало, при всей конструктивности устремления к благу, рискует обернуться формулой «ничье», содержащей крайне негативные моменты.

Горький не мог не понимать этого. И порой вырывался за рамки формулы, особенно когда включал голос какого-то конкретного, живого человека. Именно такое опровержение жесткой идеологической догмы происходит в рассуждениях крестьянина, не по своей воле попавшего на Беломорканал, приводившихся нами ранее: «Плотничная работа спокойнее, а к земле — не вернусь, в колхозе я не работник, а на какой-нибудь своей десятине тоже радости не найдешь, лучше в носе пальцем ковырять».

Статья как жанр проблемный теряет свои свойства. Ее начинает теснить «жанр» официального приветствия. И кого только не приветствовал в эти славные годы Алексей Максимович! Приветствовал, искренне радуясь успехам. Первый Всесоюзный слет колхозников-ударников и Красную Армию, Уралмашстрой и харьковский завод «Серп и молот», «Крестьянскую газету» и шахту своего имени…

Неудивительно, что в статьях 30-х годов много раз встречается имя Сталина. Верного ученика Ленина, обладающего мудростью государственного руководителя. В таком духе он писал о вожде даже в 1935 году, когда находился с ним в состоянии все обостряющейся конфронтации. Так в чем же дело?

Нимало не пытаясь оправдать Горького, отметим, что рождение культа Сталина — процесс постепенный, связанный с перерождением партии. Известно, что первыми начинали непомерно восхвалять Сталина те, кто пытался противостоять ему, но потерпел поражение (такие, как К. Радек). К середине 30-х годов преклонение перед Сталиным приобрело характер обязательного государственного ритуала, а любое собрание кончалось здравицей в его честь. Ни одна мало-мальски значительная публикация в прессе не обходилась без упоминания его имени. Любая попытка миновать этот ритуал воспринималась как выражение идеологического недомыслия, а может быть, и чего-то похуже.

Что касается горьковских упоминаний вождя, то не стоит нам все же превращаться в тех оппонентов Горького, которые с детской непосредственностью восклицают: «Ага, вот упомянул еще раз!», отвлекаясь при этом от конкретных обстоятельств, в которых рождался тот или иной отклик.

Один пример из многих. С 11 по 17 февраля 1935 года в Москве проходил Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Сославшись на нездоровье, Горький уклонился от участия в нем. Свою же заметку по поводу успешного завершения съезда он закончил выражением удовлетворения по поводу того, что уверенно двигается вперед «наша родина — великая талантливостью и делом ее людей, мудростью их вождей».

Казалось бы, все в порядке, необходимый реверанс сделан… На самом же деле все обстояло совсем, совсем иначе! И опытный-то глаз умел вовремя различить едва ли не крамольное несоблюдение нормы, выражение недопустимого вольномыслия.

Что, собственно, означает фразочка о мудрости вождей? Сколько их, вождей? Пять, десять, сто? Не только страна — весь мир убедился, что у Республики Советов есть только один вождь! И именно ему, его мудрости и прозорливости обязана она всеми своими успехами, и именно он руководит «делом ее людей». И именно он определяет меру так называемой «талантливости» кого-либо из них. Хотя всем давно пора понять, что главное достоинство кадров не какая-то там «талантливость», а дисциплина, беспрекословное выполнение указаний Центра.

Вот вам и приветствие Алексея Максимовича!.. И как хитро все сделано: опубликована заметка в день окончания съезда (а не в начале, как обычно!).

Можно представить себе, какой переполох вызвало у понимающих — тех, что сидят в ответственных креслах и ни при какой погоде не собираются покидать их, — такое приветствие, опубликованное — где? Ну, конечно, в бухаринских «Известиях»! И какой разгон учинил им Сталин!

И вот срочно, на другой же день после окончания съезда, в московском Доме советского писателя устраивается встреча редакции журнала «Колхозник» и ее актива с уже нацелившимися на разъезд по домам (всю неделю заседали — непривычно!) делегатами. И там зачитывается новое приветствие Горького, которое появится завтра, 19 февраля, в «Правде», у Мехлиса.

«Миллионы крестьян, — внимали теперь делегаты, — узнают от вас о том, какие простые, хорошие люди вожди нашей страны, организаторы вашего труда: узнают, как прост и доступен товарищ Сталин, с утра до вечера присутствовавший среди вас; узнают, что эти вожди, бывшие рабочие, непоколебимые революционеры, желают только одного: чтобы всему трудовому народу Союза Социалистических Республик жилось легко, богато, разумно, весело».

Исправил или не исправил товарищ Горький свою ошибку? Он похлопал по плечу товарища Сталина, опять настаивая на том,

что рядом с ним находятся еще какие-то вожди… Нужны ли товарищу Сталину такие двусмысленные похлопывания по плечу? И что на самом деле скрывается за ними?

Вскоре, как бы компенсируя недостаточную апологетичность высказанных о Сталине суждений, Горький в статье «Две пятилетки», опубликованной 9 апреля 1935 года, вынужден написать о соратниках Ленина «во главе с Иосифом Сталиным, человеком могучей организаторской мысли»… А 2 июля из-под пера Горького появляется возглас: «Да здравствует Иосиф Сталин, человек огромного сердца и ума, человек, которого вчера так трогательно поблагодарила молодежь за то, что он дал ей „радостную юность“». Это — в связи с впечатлениями от парада физкультурников 1 июля, на который Горький взирал с трибуны ленинского Мавзолея вместе со Сталиным. (Как мы помним, совсем иное восприятие коллективизма спортивной молодежи рождалось у С. Цвейга, проводившего аналогии с подобными же массовыми действами-парадами в гитлеровской Германии.)

Итак, все сводить только к подсчету упоминаний Сталина в статьях Горького не следует.

Анализируя характер взаимоотношений между главными представителями верхних этажей власти, Вяч. Вс. Иванов выдвигает даже идею «заговора» против Сталина, участником которого, наряду с Бухариным, Рыковым и даже Ягодой, будто бы являлся и Горький. Мне уже приходилось замечать, что идея «заговора» в прямом смысле этого слова мало или вовсе невероятна. Но что были попытки какого-то «сговора», совместного противостояния сталинскому единовластию, особенно после ареста Зиновьева и Каменева, — в этом сомневаться не приходится. Однако все это было скрыто от глаз, находилось где-то в подводной части айсберга, в самых нижних его напластованиях. А на виду до сих пор, увы, — печальная итоговая реальность компромисса.

Говоря о пропагандистско-ликбезовском характере горьковской публицистики, следует отметить еще одно обстоятельство, способствовавшее официализации статей писателя, придававшей им определенную директивность явно за счет ослабления индивидуально-личностного начала.

Рукопись одной из последних статей сопровождает такая довольно своеобразная карандашная приписка: «Статью можно кончить здесь, не печатая следующего — о литературе, но если статья попадет в „Правду“ или „Известия“ — обязательно включить и литературу».

На размышления наводит несколько моментов. В общем нет ничего удивительного, когда автор пишет статью, не зная

заранее, где она будет опубликована. Но перед нами не просто некий автор, а сам Горький! И не может не озадачить его просительная интонация: «если попадет». Значит, у него возникали какие-то сомнения на этот счет? Да ведь и был уже недавно случай отказа печатать его полемическую статью по поводу открытого письма Панферова!

Но нас, впрочем, сейчас интересует не ослабление позиций Горького как официального лица к 1936 году — это очевидно. Важно противоположное — именно придание властями его статьям статуса официальных выступлений в течение ряда лет. Цитированная карандашная приписка показательна. Допустим, у Горького нет сомнений в том, что статья будет опубликована. Но где? Каждый автор решает такой вопрос индивидуально. А вот за Горького — другие. Каждый автор не считает этичным предлагать произведение одновременно двум редакциям. А тут Инстанция, наоборот, дает «добро» на публикацию статей Горького по меньшей мере сразу в двух газетах — «Правде» и «Известиях». Иногда же к этим основным изданиям приплюсовывались и другие — отраслевые или региональные. То есть Горький словно бы переставал быть хозяином своей творческой мысли, а превращался в «колесико» и в «винтик» огромной пропагандистской Машины, живущей по своим законам.

Тем более ценно, что ему время от времени удавалось использовать легальные возможности для выражения своего инакомыслия. Иной раз даже посредством применения своего рода эзопова языка, как в статье «О формализме». Но рассмотрим другой пример. 4 декабря 1934 года публикуется отклик Горького на убийство Кирова. Вина возлагалась на «троцкистско-бухаринских агентов международного империализма», как потом будут уверять комментаторы. Однако вот что пишет сам Горький уже в начале января 1935 года: «Семнадцать лет стража пролетариата вылавливает и уничтожает шпионов европейского капитализма. На восемнадцатом году диктатуры пролетариата убит один из крупнейших его вождей **Сергей Киров**».

Согласимся, одно дело, если в убийстве обвиняются те политические деятели страны, которые якобы каким-то неведомым путем стали «агентами международного империализма». Но совсем другое дело, если это шпионы-террористы, засланные извне. Горький, как может, старается отвести нелепые и грозные обвинения от тех, кто к убийству не имеет ни малейшей причастности, но неугоден Сталину.

Не будем, впрочем, преувеличивать: примеров подобного рода эзоповой речи в публицистике Горького немного, и внешне они, как говорится, не делают погоды, растворяясь в потоке

официозно-умозрительных построений. А среди таковых наряду с просто банальными встречаются и такие, которые рождались в сознании Горького не случайно, являлись не следствием «подстраивания» под мнение Хозяина, а отражали его собственные ошибки и заблуждения. Другое дело, что они были очень на руку Хозяину.

По-прежнему звучат с момента публикации пресловутой брошюры «О русском крестьянстве» (1922) идеи превосходства промышленного труда над сельскохозяйственным, крайне односторонние суждения о кулаке и его вредоносности.

Возможно, наиболее уязвимое место в мировоззренческой концепции Горького — это вопрос о воспитательной роли труда в условиях лагерной системы. В главе о Соловках я пытался охарактеризовать определенную нетипичность, «показушность» лагеря (хотя не только Горький, но и любой профессиональный литератор мог бы разобраться в действительном положении вещей более основательно, чем это нашло отражение в горьковском очерке).

Но дело в том, что и позднее Горький отстаивал идею продуктивности лагерной системы «перековки» человека (делая упор, правда, на уголовные элементы). Более того, у Горького органы ЧК провозглашаются инструментом перевоспитания, а люди в форме — «работниками культуры».

В одной из последних своих статей, «От „врагов общества“ — к героям труда», Горький со странным упорством продолжает твердить обо всем этом, хотя обществу было уже ясно, что лагерная система — это прежде всего система насилия, основанная на беззаконии.

В этой воистину уникальной статье Горький пишет: «Вероятно, лет этак через пятьдесят, когда жизнь несколько остынет и людям конца XX столетия первая половина его покажется великолепной трагедией, эпосом пролетариата, — вероятно, тогда будет достойно освещена искусством, а также историей удивительная культурная работа рядовых чекистов в лагерях».

Перед нами не просто случай прогностической ошибки литератора, но пример абсолютного несовпадения предсказания с чудовищной действительностью, порожденной системой тоталитаризма.

Горький не мог знать, что вскоре после этой публикации арестуют (и дадут сполна хлебнуть всех «благ лагерной цивилизации») человека, который уцелеет чудом и поведает подлинную правду о лагерном «перевоспитании». Я говорю о Варламе Шаламове.

В одном из своих писем Солженицыну (еще до опубликования «Архипелага ГУЛАГ») Шаламов пишет: «Можно ли говорить о прелестях принудительного труда? И не есть ли восхваление такого труда худшее унижение человека, худший вид духовного растления? Лагерь может воспитать только отвращение к труду. Так и происходит в действительности. Никогда и нигде лагерь труду не учил. В лагерях нет ничего хуже, оскорбительнее смертельно тяжелой физической подневольной работы».

Именно статьи 30-х годов давали повод современникам в нашей стране и за рубежом отзываться о Горьком резко критически. Показателен последовательной полемической заостренностью отзыв об одной из статей, принадлежащий Мартемьяну Рютину, смело выступившему против сталинского единовластия. Отзыв содержится в письме родным, написанным в тюремной камере в январе 1935 года. Сначала подробно излагается взгляд на убийство Кирова, а потом, следуя своей внутренней логике, Рютин обращается к Горькому:

> «Прочел на днях статью Горького „Литературные забавы“! Тягостное впечатление! Поистине нет для таланта большей трагедии, как пережить физически самого себя!
>
> Худшие из мертвецов — это живые мертвецы, да при том еще с талантом и авторитетом прошлого.
>
> Горький-публицист всегда был тем нашим „любимым“ русским сказочным героем, который на похоронах кричит „Таскать бы вам не перетаскать!“ — а на свадьбе — „Канун да свеча!“ Горький-публицист позорил и скандализировал Горького-художника. Его трагедия — огромное художественное чутье и почти никакого философского и социологического… Схватив верхушки и обрывки философии и социологии, он сообразил, что этого достаточно не только для того, чтобы „изображать“, но и для того, чтобы теоретически „поучать“… Горький-певец „Человека“ превратился в Тартюфа. Горький „Макара Чудры“, „Старухи Изергиль“ и „Бывших людей“ — в тщеславного ханжу и стяжателя „золотых табакерок“. Горький-Сокол в Горького-Ужа, хотя и „великого“! Человек духовно уже умер, но он все еще воображает, что переживает первую молодость. Мертвец, хватающий живых! Да, трагично!»

Принять эту гневную филиппику без поправок невозможно. Характеризуя публицистику Горького, Рютин, к примеру, оставляет по тем или иным причинам вне поля зрения

«Несвоевременные мысли». Но можно понять и Рютина, честнейшего революционера, чья жизнь висела на волоске, когда он прочитал в той же статье, написанной вскоре после убийства Кирова, слова о каких-то гнилых людях, убийцах, которые прячутся в рядах партии большевиков.

Вряд ли Горький знал, что не менее резкие соображения о его судьбе и связи с властью рождаются в сознании некоторых коллег, с которыми его связывали дружеские отношения. Развернутую и весьма сложную по содержанию запись на эту тему оставил в своем дневнике Пришвин. А кончается запись так: «… сила, оголенная от Бога, стала властью, и всякая такая власть есть власть над человеком, но ведь это же путь и Горького, и Сталина, и всех властолюбцев. Вот что означают хохот Легкобытова (одного из руководителей хлыстовства. — *В.Б.*) и улыбки Горького, Ленина, Сталина… Собственно говоря, все революционеры пали. И совершается совсем не то, о чем думали. Но тем фактичнее должно доказываться, что именно это революция и коммунизм… Итак, Легкобытов, Горький, Ленин, Сталин…».

А через какие-то две недели, в связи со слухами о «падении» Д. Бедного, Пришвин вновь обращается к фигуре Горького: «Интересно, как кончится Горький, успеет умереть до падения или тоже рухнет. Вот острие: на Красную площадь — героем или… и все оттого, сумеет ли человек умереть вовремя. Сила его в добрых делах…»

Воспроизведем наконец несколько пространных пассажей из газеты «Рассвет», имевшей демократическую направленность и издававшейся в Чикаго. Среди множества зарубежных публикаций о Горьком она имеет особенно принципиальный характер. «Передают, — пишет газета, воспроизводя сцену приезда писателя на родину в 1928 году, — что Максим Горький на Александровском вокзале в Москве, увидя перед собой живое море москвичей, пришедших его встречать, не удержался и заплакал, как ребенок.

Хотя он и Горький, но плакал не горькими слезами, а слезами радости. Плакал не о том, о чем теперь многие плачут, сидя „на реках вавилонских“, а о том, что он теперь самый счастливый человек в мире.

В наше время ведь нет человека более самодовольного. Тем более — нет и не было писателя, с которым бы носились, как носится советская власть с Горьким. На долю обожателя босяков выпал жребий пожинать почести, которым мог бы позавидовать любой коронованосец.

Ни один из русских писателей не находился на таком

высоком счету у государства, на котором находится Горький. Даже писатели, поэты, которых принято называть придворными, не удостаивались таких торжественных государственных почестей… О других же писателях и поэтах и говорить нечего. Большинство из них было вынуждено коротать свои дни на чужбине или же, не желая расставаться с родиной, подвергаться гонениям и всевозможным лишениям.

Но потому они и велики! Потому они и дороги для нас, что они не разделяли участи „ликующих“ и „праздно болтающих“».

В качестве примеров автор статьи вспоминает ссыльных Короленко и Чернышевского, опального Льва Толстого.

«Давно сказано, — продолжает газета „Рассвет“, — „блажен муж, иже не иде на совет нечистивых“. Он пользуется славой только сейчас. Он „выше“ только теперь — и не столько как писатель, сколько как последователь известной доктрины. Для будущего же поколения он не будет великим. Свою славу, которую он теперь пожинает, он унесет с собой. После себя он почти ничего бессмертного не оставит.

Горький умертвил себя как писатель, когда он потянулся к командным партийным высотам. Дело писателя быть с народом, а не над народом, как это теперь делает Горький. Задача писателя стоять на стороне справедливости, а не на стороне партийных интересов. Писателя должен уважать и понимать сам народ, а не правительство. Писатель и правительство — два совершенно противоположных понятия, и ни один писатель, уважающий свои призвания, не станет связывать свои интересы с интересами той партии, которая командует народом».

Авторы этих отзывов не знали и не могли знать того, что знаем теперь мы о попытках скрытого противостояния Горького Сталину, попытках, о которых — рассчитывал он — успеет когда-нибудь сказать сам или скажут потомки. Самому — сделать не удалось. Это один из самых трагических моментов его биографии.

Что же касается отзывов современников, замалчивать их, как делалось до сих пор, нельзя: они судили о том, что могли знать, и только об этом.

ГЛАВА XXVI
Бесовщина всевластия

Будучи крайне ограничен в общении с окружающим миром, Горький с тем большим нетерпением набрасывался на газеты. Он не знал, что «Правду» стали печатать для него в одном экземпляре (об этом, уже после XX съезда, сообщил метранпаж редактору газеты по отделу литературы и искусства Г. Куницыну). Осуществлять это было тем проще, что определенный опыт уже имелся. Согласно сталинскому распоряжению, «чтобы не беспокоить больного Владимира Ильича» непечатанием его последних работ, для него делали газету «Правда» в одном экземпляре. Так, 23 января 1923 года была «опубликована», то есть скрыта от народа, ставшая впоследствии знаменитой статья «Как нам реорганизовать Рабкрин».

Понятно: если газета предназначена для одного читателя, надо, Чтоб она не попадала в руки другим. Для таких целей в доме должен находиться особый человек. Эту миссию с успехом выполнял все тот же Крючков.

Воцарившаяся вокруг Горького обстановка официального положения, да еще приведшая к внешней изоляции, оказывала на него самого, как человека, на его характер определенное негативное воздействие.

Вознесенный на невиданную высоту, Горький поначалу замечал какое-то непривычное состояние: что-то вроде кислородного голодания, как при восхождении на гору. А потом стал привыкать к нему. И как-то перестал замечать, что его отношения с писателями начинают меняться. И дело не только в том, что не всех из них допускал к нему Крючков. Сам он, Горький, часто смотрел теперь на посетителя по-другому, говорил иным голосом, вдруг «выключался», когда не хотел слышать что-нибудь неприятное.

Давно ли писал Вс. Иванову, некогда прибывшему в рваных ботинках в Петроград из Сибири «в распоряжение Горького» и выпестованному им: «Я люблю литературу больше всего в жизни, люблю и уважаю людей, создающих ее. Это категорически запрещает мне выступать в качестве „учителя“, „руководителя“ и т. д. — чувствований, мнений и намерений художников слова».

Но шло время, и слишком много необстрелянных новичков стучалось в высокие двери литературы и нуждалось в совете. И сам он не переставал ощущать всегдашнюю необходимость помочь наиболее талантливым. Но вот тут все чаще начали

появляться поучительность, назидательность, стремление один вкус провозгласить в качестве наиболее продуктивного…

Поначалу на это никто не обращал внимания: уж слишком он был обаятелен, Алексей Максимович. А потом начали все заметнее выявляться менторство, раздражительность. А когда становилось собеседника слушать неприятно или неинтересно — не вступал в спор, но — уходил в себя, барабаня по столу острыми костяшками пальцев, отстраненно глядя сквозь посетителя.

И вот уже спустя несколько лет тот же Иванов решается написать следующее: жаль, что Горький, по слухам, не приедет зимой из-за границы в Москву. Несмотря на уверения Щербакова и аппаратчиков, литературная жизнь все же какая-то сухая, разобщенная, малоплодотворная. А дальше пассаж прямо-таки загадочный: «У Вас же, при всей вашей „неодобрительности“ к литераторам, имеется литературный пламень и организаторский талант».

Талант и пламень — это, конечно, очень хорошо. Но откуда же взялась эта самая столь широковещательно поданная «неодобрительность» к литераторам?

Может быть, это чисто субъективное мнение Иванова, у которого, как известно, представления о наиболее соответствующей его таланту манере письма расходились с горьковскими?

Все ставит на место время. И вот спустя годы письма перечитывает младший современник классика, едва успевший чуточку обогреться у костра всеобъемлющего горьковского таланта и сам ставший впоследствии великим поэтом и редактором.

19 апреля 1955 года в рабочей тетради Твардовский делает лаконичную запись, избегая каких-либо подробностей: «Дочитываю Горького». А спустя несколько дней — суровые слова, в которых звучит немалое разочарование: «Письма Горького — великий воистину, но тяжелый, малообаятельный, деланный и нудноватый человек».

И в самом деле, тональность горьковского эпистолярия существенно меняется, равно как — что еще важнее — куда более сурово звучат публичные отзывы со страниц газет. Резкие суждения — о работе столь разных и талантливых писателей, как П. Васильев, Б. Корнилов, А. Белый… Охладевает Горький к Булгакову.

Неоднозначны оказались итоги предсъездовской дискуссии о языке, начатой Горьким в связи со спорами о романе «Бруски» Панферова. Совершенно закономерен был протест Горького не

только против засилья диалектизмов в речи автора, но и против низкой общей культуры письма (хотя мы видели: странные огрехи пера, схожие с панферовскими, появлялись вдруг и на страницах «Клима»). Однако существовал свой резон и в рассуждениях оппонентов М. Горького, заботившихся о непосредственности языкового выражения художественной мысли, против «облизывания» языка, ведущего к его нивелировке (Серафимович). К сожалению, чрезмерное усердие редакторов нанесло впоследствии немало вреда хорошим книгам, включая и такие шедевры, как «Тихий Дон». Пред- и послесъездовский разговор о литературе (1934) приобретал порою суровый характер и касался отнюдь не только языка. Возникал вопрос и о творческой дисциплине, понимаемой в тех условиях весьма своеобразно.

Горький решительно осуждал настроения богемы, проникающие в среду творческой молодежи, и в этом он был, безусловно, прав. Но как и в каких формах иной раз он делал это? «Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин… Порицающие ничего не делают для того, чтоб обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулиганов, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П. Васильева, не делают никаких попыток, чтобы перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно „взирают“ на порчу литературных нравов, на отравление молодежи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние „короче воробьиного носа“»[66].

Перечитывая эти строки, воистину диву даешься: великий ли писатель написал их? А если он, то что произошло с ним? Еще одна загадка? Неужели Горький не осознавал, к каким страшным, кровавым последствиям может повести убийственный тезис о том, что от бытового хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа». То есть в сущности — никакого!

Горькому возражать теперь было невозможно (хотя еще совсем недавно происходили рапповские наскоки на него, за которые он же просил Сталина не наказывать виновных). А теперь возражения ему так же невозможны, как невозможны были возражения Сталину.

Характеризуя Горького в своем «Московском дневнике», Роллан пишет о «величественной роли главного надзирателя (без портфеля, но от этого не менее влиятельного) литературы, наук и искусств, воспитания, издательств. Он руководитель и цензор культуры в целом. Никакой писатель не обладал такой властью, и

Горький принял ее. Во время общественных церемоний его место рядом с членами правительства. Он один из первых в советском государстве. Это высокое положение и связанные с ним обязанности оправдывают его жизнь. *Общественный человек возобладал над частным».* (Выделено мною. — *В.Б.)*

Да, так было. И со стороны не сразу различалось, что подобное положение Горького в государстве в какой-то момент начало меняться, и весьма существенно.

Далеко не все литераторы остались довольны тем, что Горький все настойчивее говорил о необходимости поднимать качество литературного труда. В письме, адресованном в ЦК партии, то есть 1 сентября 1934 года, еще в день окончания съезда, он заявлял весьма недвусмысленно: «Съезд литераторов Союза С. С. республик обнаружил почти единодушное сознание литераторами необходимости повысить качество их работы и — тем самым — признал необходимость повышения профессиональной, технической квалификации.

Писатели, которые не умеют или не желают учиться, но привыкли играть роли администраторов и стремятся укрепить за собою командующие посты — остались в незначительном меньшинстве. Они — партийцы, но их выступления на съезде были идеологически тусклы и обнаружили их профессиональную малограмотность. Эта малограмотность позволяет им не только не понимать необходимость повышения их продукции, но настраивает их против признания этой необходимости, — как это видно из речей Панферова, Ермилова, Фадеева и двух, трех других».

Однако, продолжал Горький, из сообщения Жданова следовало, что эти люди «будут введены в состав Правления». Заметим от себя: не «рассматриваются как кандидатуры», не «могут быть избраны» и т. д. Горький дает понять, что ему отлично известно, кто на деле формирует руководящие органы творческих союзов при видимости их демократического устройства, кому в этом отношении принадлежит решающее слово.

Все в том же письме подвергается критике журнал «Октябрь», «редактируемый группой Панферова».

Горький был настолько недоволен позицией своих оппонентов и их групповыми пристрастиями, что, в сущности, предъявлял высшему партийному начальству ультиматум: освободить его от обязанностей председателя Правления Союза писателей.

Уговорили остаться. Слишком скандально выглядел бы его уход. Наверное, не скупились на обещания учесть впредь

критические пожелания крупнейшего пролетарского писателя. Но на деле все обернулось иначе. Как и предчувствовал Горький. Однако он ошибся, расценивая возможные действия оппонентов как «пустяковые склоки». Все приобретало куда более серьезный характер.

20 января 1935 года в «Правде» появилась статья Д. Заславского, критикующая переиздание романа Ф. Достоевского «Бесы». Казалось бы, факт не слишком примечательный в масштабах литературной жизни огромной страны, особенно если учесть, что негативное отношение к творчеству писателя, именовавшегося «злым гением» русской литературы, утвердилось в послеоктябрьской России уже давно. Но слишком хлестко звучал заголовок статейки: «Литературная гниль». Впрочем, немаловажным было и другое обстоятельство: выпустило роман издательство «Academia», которое возглавил Каменев. Возглавил после того, как Горький хлопотал перед Сталиным о целесообразности привлечь опального политика к активной деятельности хотя бы в области культуры. Известно, что писатель устроил примирительную встречу Хозяина с проштрафившимся оппозиционером у себя дома. Следует добавить, что Горький принимал самое активное участие в работе издательства: внимательно изучал его тематические планы, вносил свои рекомендации.

Исключительно интересные и ценные впечатления о Каменеве изложил в своем дневнике Чуковский. В записи от 14 ноября 1934 года содержится описание встречи Каменева с представителями литературной и научной общественности невской столицы, такими, как Тынянов, Томашевский, Эйхенбаум, Гуковский, Оксман, Жирмунский… «Каменев с обычным рыхлым добродушием вынул из кармана бумажку — вот письмо от Алексея Максимовича». «Мысль Каменева-Горького такая: „поменьше марксизма, побольше формалистического анализа!..“» «Увы, теперь она не встретила сочувствия у прежних адептов так называемого формализма, а Каменеву не оставалось ничего иного, как горько пошутить: „Ну, что же! Не могу же я вас в концентрационный лагерь запереть“».

Шутка, скажем прямо, прозвучала зловеще — особенно в преддверии событий, которые надвигались неумолимо.

Запись 5 декабря 1934 года: «Вечером позвонил к Каменевым, и они пригласили меня поужинать. У них я застал Зиновьева, к-рый, как это ни странно — пишет статью… о Пушкине („Пушк. и декабристы“). Изумительна версатильность (многосторонность. — *В.Б.)* этих старых партийцев. Я помню то время, когда Зин. не удостаивал меня даже кивка головы, когда он б<ыл>

недосягаемым мифом… когда он б<ыл> жирен, одутловат, физически противен. Теперь это сухопарый старик, очень бодрый, веселый, беспрестанно смеющийся искренним заливчатым смехом».

Напомним, что запись сделана спустя всего несколько дней после убийства Кирова, поэтому дальше содержится подробное описание гражданской панихиды и почетного караула, в который с трудом удалось пробиться Каменеву сквозь огромную толпу, собравшуюся у Колонного зала на Театральной площади.

В статье «Расстрелянное поколение», опубликованной в августе 1993 года, А. Н. Яковлев пишет: «Сталин лично дирижировал подготовкой многих судебных процессов. Известно, что 2 декабря 1934 года, прибыв в Ленинград после убийства Кирова, он отверг те версии, которые выдвигало следствие, и дал указание доказать, что убийство Кирова — дело рук зиновьевцев».

В сознании Чуковского выстраивались два никак не связанных друг с другом параллельных ряда: впечатления о бывших партийных лидерах, нашедших себя на ниве культуры, и трагические и таинственные повороты политики в связи с событиями 1 декабря. И вдруг, о Боже! Запись 20 декабря: «В „Academia“ носятся слухи, что уже 4 дня как арестован Каменев. Никто ничего определенного не говорит, но по умолчаниям можно заключить, что это так. Неужели он такой негодяй? неужели он имел какое-нб. отношение к убийству Кирова? В таком случае он лицемер сверхъественнный, т. к. к гробу Кирова он шел вместе со мною в глубоком горе, негодуя против гнусного убийцы. И притворялся, что занят исключительно литературой».

И — отрывок из еще одной записи, 18 января 1935 года: «Очень волнует меня дело Зиновьева, Каменева и других. Вчера читал обвинительный акт. Оказывается, для этих людей литература была дымовая завеса, которой они прикрывали свои убогие политические цели. А я-то верил, что Каменев и вправду волнуется по поводу переводов Шекспира, озабочен юбилеем Пушкина… Мне казалось, что он сам убедился, что в политике он ломаный грош, и вот искренне ушел в литературу — выполняя предначертания партии. Все знали, что в феврале он будет выбран в академики, что Горький наметил его директором Всесоюзного Института Литературы, и казалось, что его честолюбие вполне удовлетворено этими перспективами… Все это, оказывается, было ширмой для него, как для политического авантюриста… Так ли это? Не знаю. Похоже, что так».

Горький знал, что не так. Для него не была гипнотически неотразимой, мгновенно меняющей представление о людях и судьбах официальная версия по поводу событий, развернувшихся

вслед за выстрелом 1 декабря. Свое несогласие с этой казенной версией он доказывал действием.

Спустя несколько дней после публикации обвинительного акта против Каменева «Правда» печатает статью Д. Заславского «Литературная гниль», в которой подвергается разносу каменевское издательство «Academia» за попытку издания романа Достоевского «Бесы» как «грязнейшего пасквиля, направленного против революции».

В чем, в чем, а в целеустремленности и последовательности казенной прессе отказать было невозможно. Поскольку выпускался роман, из которого «контрреволюция добывала свои клеветнические „аргументы“, постольку „в этих условиях… выбор „Бесов“ для отдельного издания нельзя не признать по меньшей мере странным“». Да, действительно — по меньшей мере. Для понимающих было совершенно очевидно, что дело тут вовсе не в Достоевском и «Бесах», а в Каменеве.

Отлично понимая подоплеку выпада против издательства, Горький немедленно откликнулся на рецензию Заславского ответной статьей «Об издании романа „Бесы“» (опубликована 24 января).

«…Я решительно высказываюсь за издание „Academia“ романа „Бесы“… Делаю это потому, что я против превращения легальной литературы в нелегальную, которая продается „из-под полы“, соблазняет молодежь своей запретностью…» В сущности Горький уже тогда выступал против условий, которые потом привели к рождению «самиздата». Естественно, писатель не мог назвать имени директора издательства, выпускающего «контрреволюционный роман», но кому же было не ясно, что защита такой книги есть и защита позиций выпускающей фирмы и ее руководителя?

Видимо, чувствуя особенности складывающейся в стране обстановки и оценивая позиции Горького в споре о Заславском, Чуковский заключает: «…в споре с Заславским Горький прав совершенно: „Бесы“ гениальнейшая вещь из гениальнейших».

Достоевский не принадлежал к числу тех классиков, чей опыт Горький считал необходимым изучать и пропагандировать в первую очередь. А до революции он вел резкую полемику с театром, инсценировавшим тех же «Бесов» и «Братьев Карамазовых». Но времена изменились, и, по мысли Горького, следовало расширять круг публикуемых произведений с учетом культурного роста читательской аудитории.

Ну что ж, состоялся обмен мнениями, вопрос можно считать исчерпанным. Тем более, что одновременно с возражением Заславскому в том же номере «Правды» была опубликована

пространная третья (заключительная) часть горьковских полемических заметок «Литературные забавы».

Однако буквально на другой день, 25 января, на страницах все той же руководящей газеты появилось ответное выступление Заславского с откровенно полемическим заголовком «По поводу замечаний Горького». Вот это знатоков литературы уже озадачило всерьез! Не припоминалось, чтоб в последние годы кто-либо осмеливался открыто полемизировать с ним (исключение — только отдельные выступления в дискуссии о языке 1934 года).

Еще лет десять назад Горький пришел в ярость, узнав о том, что Наркомпрос составляет довольно обширные списки книг, изымаемых из обращения по так называемым идеологическим мотивам. Думал, наступили наконец иные времена, пора более либерального подхода к культурным ценностям, открывающая читателю возможность самому разбираться в содержании прочитанного. Ан нет…

Он еще не мог предполагать, что дело тут не в «Бесах» и не в Федоре Михайловиче. Поднимать голову начинали совсем иные бесы.

Забегая вперед, напомним, что «Правда» вскоре, 19 марта, выступит еще раз с критикой другого издания «Academia» — «Песни французской революции», и Горькому вновь придется вступать в спор с газетой в письме к ее редактору.

С удивлением встретивший публикацию второго выступления Заславского, направленного теперь уже непосредственно против него, Горький еще не мог предположить, сколь быстро и круто развернутся события…

28 января 1935 года Горький занял место в президиуме VII Всесоюзного съезда Советов. Известный всем и каждому, он, конечно, не удивлялся обилию «здравствуйте» и приветственных кивков издалека. Но во многих взглядах улавливалось что-то необычное: то ли удивление, то ли недоумение, то ли порой, как ему казалось, даже злорадное торжество.

Все прояснилось, когда ему дали «Правду». Ни раньше, ни позже, а именно в день открытия съезда газета преподнесла сюрприз: «Открытое письмо А. М. Горькому». Автор? Ну, кто бы мог подумать — Федор Панферов! Да как он посмел, этот недоучка!.. После всего, что произошло каких-то полгода назад!

Казалось бы, все причины для появления нынешней панферовской эпистолы были устранены еще весной прошлого года. Тогда, в ходе подготовки к съезду писателей, по инициативе Горького состоялась дискуссия о языке художественной литературы. Признанный мастер подверг суровой и обоснованной критике роман Панферова «Бруски», прежде всего за

злоупотребление местными речениями. Но все понимали, что разговор завязывается по более основательному счету: ставился вопрос о повышении общей культуры писательского труда.

7 марта 1934 года докладчик на III Всесоюзном пленуме Оргкомитета Союза советских писателей П. Юдин особо подчеркнул, что выступления Горького о языке имеют очень большое значение.

18 марта 1934 года «Правда» опубликовала новую статью Горького — «О языке». Мало того, редакция сопроводила ее примечанием, не оставлявшим тени сомнения, в каком направлении должна развиваться литература. Подчеркнув, что вопрос о качестве литературного труда является частью большого, государственной важности вопроса борьбы за качество социалистического строительства, «Правда» резюмировала: «Редакция „Правды“ целиком поддерживает А. М. Горького в его борьбе за качество литературной речи, за дальнейший подъем советской литературы».

16 июня в «Литературной газете» публикуется передовая статья «Борьба за новый тип писателя», посвященная статье Горького «Литературные забавы» и полностью поддерживающая ее.

Решительно все точки над i расставлены, как было принято в пору могущественного господства одного авторитета. Понял тогда это и Панферов. Приходил к Горькому с покаянными словами, благодарил за науку. Позже, в апреле, прислал письмо, поддерживающее статью «Беседа с молодыми». Еще раз подчеркнул, что в вопросе о языке Горький прав полностью…

Совершенно очевидно, что категоричное партийное резюме — далеко не лучший способ завершить чисто профессиональный спор. Но в то время так было принято. Партия (читай — высшее ее руководство) присвоила себе право на изречение истины в последней инстанции и по любому поводу.

И вот теперь, спустя менее чем год после дискуссии о языке, та же «Правда» публикует выступление Панферова, никак не оговорив изменения своей позиции. А развязный тон панферовского письма Горькому не мог не озадачить всех, кого партийные верхи приучали безоговорочно принимать суждения Горького по любому поводу. Теперь вдруг осмелевший Панферов горьковские критические замечания в свой адрес называет проработкой в худшем смысле этого слова. Обыгрывая название статьи «Литературные забавы», Панферов обвиняет автора: он «слишком увлекательно забавляется, забывая о том, что имеет дело с живыми людьми, а не с манекенами». (Попутное замечание: наверное, все-таки «увлеченно», а не «увлекательно»

— это к вопросу о точности профессионально-писательского словоупотребления.)

Даже наиболее бывалые литераторы не могли припомнить ничего подобного за последние годы. И те же бывалые люди начинали смекать: Панферов далеко не столь авторитетная фигура, чтобы отважиться выступить против Горького по своей инициативе. С нетерпением хватали очередные номера «Правды»: ну, что отвечает Горький?

Увы, ответа не последовало. Собственно, написан он был Горьким быстро, но Мехлис опубликовать его отказался. И опять возникало предположение: слишком крупной фигурой был Горький, чтобы Мехлис отклонил его статью единолично. Это мнение утвердилось бы еще прочнее, если б в литературной среде могли знать то, что было известно лишь руководству «Правды»: газета отклонила и статью Горького «По поводу „открытого“ и других писем». Это выглядело не чем иным, как вотумом недоверия. Горькому зажимали рот…

Верхи начинали круто менять курс литературной политики. Кончался период либерального заигрывания с интеллигенцией.

Не думая посягать на основы установившегося в стране порядка, но и не желая быть игрушкой в руках властей, Горький все упорнее стремится пробивать свою линию в области культуры, всячески стараясь поднять вес таланта, компетентности, профессионализма.

Начал он понимать, однако, и нечто куда более важное: арест Каменева и Зиновьева должен был послужить началом какой-то более широкой кампании изничтожения не только инакомыслящих «стариков», но и любых неугодных Хозяину и его приспешникам.

Да, надвигалась великая «кадровая революция». Будь на то воля Сталина, он бы начал, говоря иносказательно, 37-й год уже сейчас, в 35-м. Но даже могущественный диктатор и тиран принужден был считаться с обстоятельствами. С задуманной акцией приходилось повременить.

Горький же действовал прямо-таки демонстративно. Он брал под защиту критика Д. Мирского, недвусмысленно расценившего роман коммуниста Фадеева как неудачу! А кто такой сам Мирский? Выходец из дворянства, примкнувший, правда, до своего возвращения в Россию к английской компартии. Не только защищал Мирского, но едко высмеивал классовый подход к оценке истоков деятельности литературных кадров, заявлял, что коммунист по титулу и партбилету — не всегда коммунист по существу.

Горький пока не откликнулся на попахивающий

доносительством призыв Панферова назвать имена таких псевдокоммунистов, но обещал это сделать. Кого собирался он назвать? Скорее всего, не того, кто и в самом деле заслуживал такого упоминания. И вообще, беспартийный Горький в этом вопросе явно превышал уровень своей компетенции. Дальше. Не слишком ли «многообещающе» прозвучало заявление Алексея Максимовича в ответ на слова Панферова, что Горький «ругается». «Полноте, разве так ругаются. Это — впереди».

Разве можно было оставлять подобное заявление без внимания, а тем более допускать дальнейшее обострение ситуации и укрепление горьковских позиций?

Сталин не обладал утонченным художественным вкусом, но плохую или даже среднюю книгу от хорошей отличал. Он отлично понимал, что укрепление панферовской линии может повлечь за собой снижение качественного уровня многих литературных произведений.

Примечателен в этой связи отзыв о панферовских «Брусках», принадлежащий Мартемьяну Рютину, одному из самых решительных противников сталинской политики. (Кстати, Рютин резко критиковал статью Горького «Литературные забавы», но не за то, за что обрушивался на нее Панферов.) Рютин писал: «…Это же не „Бруски“, а просто сучковатые, неотесанные „Поленья“! Что было бы, если бы он написал 15 статей, как собирался?! Это был бы настоящий дровяной склад!» — поделом на него обрушились Горький и Шолохов. Методом Панферова пишутся обыкновенно не «Человеческие комедии», «Кукольные комедии».

Итак, встает вопрос о возможности некоторого снижения уровня литературы? Но кто и где нашел критерий, точно определяющий этот уровень? Известно, что временно чем-то можно пожертвовать во имя главного. А главное — это политика.

В большой политике не бывает ничего случайного. Не случайно было и то, что именно Панферов выступил в качестве критика Горького. Еще в самом начале года великого перелома, в феврале 29-го, Сталин встретился с группой украинских писателей. Суждениям его нельзя было отказать в решительности. Булгакова назвал «безусловно чужим человеком», а его «Дни Турбиных» — «антисоветской штукой». Обратившись к зарубежной классике, расценил «Женитьбу Фигаро» как «пустяковую и бессодержательную вещь» — «шутки дармоедов-дворян и их прислужников…».

Из произведений современных советских литераторов особо выделил роман Панферова «Бруски» и тем, кто еще не успел ознакомиться с ним, рекомендовал это сделать. Между прочим, в течение всей встречи почему-то упорно называл Панферова

Парфеновым, но никто не решился открыть рот, чтоб поправить его.

Перед съездом писателей Горький подверг «Бруски» резкой критике? Тогда его поддержали другие литераторы? Но нельзя же дело вести так, чтобы один диктовал свою волю, навязывал свои вкусы другим! Пусть теперь возьмет слово критикуемый. А другие пусть сопоставляют, делают выводы… Соответствующие выводы!..

Ну а выводы, они в общем-то напрашивались сами собой. Сталин уже давно утвердил свое неограниченное могущество в партии и государстве, разгромил и «правых», и «левых». Но его культ все же складывался постепенно, и именно теперь, в 1935 году, особенно к осени, он стал обретать наиболее грандиозные формы. Историки называют кульминацией Первый Всесоюзный съезд стахановцев. Именно в эту пору газеты, как по команде, вдруг заполнились творениями разнообразных ашугов и акынов, которые от имени своих народов воспевали Вождя — мудрейшего из мудрых, добрейшего из добрых, — такого, какого еще не рождала Земля…

В стране взрастал культ, какого не знала история, культ, на который в условиях утвердившегося «единомыслия» работала создаваемая годами гигантская пропагандистская машина.

…Прошло всего каких-то три года с тех пор, как Сталин редактировал пьесу Афиногенова «Ложь». Тогда он внес в патетический монолог одного из героев, воспевающего мудрость руководителя, весьма характерные поправки. Слова «Я говорю о вожде» Сталин вычеркивает. В выражении «Я говорю о человеке» вычеркивает последнее слово и вписывает от себя: «о Центральном Комитете партии коммунистов Советской страны».

Автору так и написал со всей большевистской прямотой: «Зря распространяетесь о „вожде“. Это нехорошо и, пожалуй, неприлично. Не в „вожде“ дело, а в коллективном руководстве — в ЦК партии».

Он-то всегда так считал и будет считать. Но с другой стороны, кто может запретить самим коммунистам, народу воздавать должное руководителю? Такому, заменить которого больше некем. Теперь, в 35-м, он полностью, окончательно убедился в этом.

…Воистину, раньше, чем начнется Большой Террор, должна была восторжествовать Большая Ложь.

К этому времени Сталин окончательно разочаровался в Горьком. Он понял, что в душе пролетарский писатель совсем не тот, за кого выдает себя, клянясь в верности Ему и Его власти в стране. Он понял, что создавал Горький писательский Союз в расчете на то, чтобы сделать его, так сказать, самостоятельной

организацией, и чем более «независимой» от правительства она будет, тем лучше. Это никак не входило в планы Сталина, и ему пришлось сразу после съезда активизировать антигорьковскую группировку в Союзе.

Понял Сталин и то, что книгу о нем Горький не напишет. И не потому, что занят сверх головы… Это — позиция. Хотя время от времени он и упоминает Его имя в своих статьях в сопровождении подобающих эпитетов… Впрочем, иногда и не упоминает там, где, по уже сложившейся в обществе традиции, упомянуть следовало бы непременно…

Например, в статье «Знать прошлое — необходимо», опубликованной в «Правде» 12 октября 1935 года, говорит об учении Ленина. И это после съезда победителей, на котором Зиновьев в своей покаянной речи подал своевременный пример, впервые связав четыре великих имени: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин…

Личные отношения между вождем и писателем осложнились крайне. Еще совсем недавно писатель запросто мог обратиться к Хозяину по любому поводу — прийти в кабинет, встретиться на даче, позвонить по телефону. Теперь даже по такому важнейшему вопросу, как прием приезжающего к нему в гости Роллана Сталиным, приходилось письменно обращаться через третье лицо — А. Щербакова. Однако и эта возможность скоро исчезла: Щербакова перевели на другую работу сразу после его обращения с просьбой Горького к вождю.

Нельзя, правда, сказать, что отношения прервались совсем. Так, 3 июля 1935 года, довольно неожиданно, Сталин со свитой посетил Горького на даче, в Горках. Повод был существенный: узнать, что думают писатели и крупнейший из них о проекте новой Конституции, о строительстве метро… И вдруг Сталин с какой-то загадочной многозначительностью заговорил на тему, от которой Горького словно пробило током. И лишь сверхъестественным, гигантским усилием воли сохранил он самообладание.

О чем же заговорил Сталин?

ГЛАВА XXVII
…Самолет «Максим Горький» терпит катастрофу в воздухе

Тогда все бредили авиацией. Со страниц газет не сходил призыв: «Летать выше всех, дальше всех, быстрее всех!» Пели: «Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор!». Люди с голубыми петлицами на воротниках гимнастерок стали всеобщими любимцами. У всех на языке были имена Громова, Юмашева, Данилина, женского экипажа Гризодубовой, Осипенко, Расковой, совершивших сверхдальние перелеты.

Надо ли говорить, что подлинно национальным героем стал Валерий Чкалов, осуществивший со своими товарищами беспрецедентный перелет через Северный полюс в Америку. 18 августа объявили Днем авиации. Стал он едва ли не первым отраслевым праздником.

Впрочем, рассказ наш, конечно же, не столько о самой авиации, сколько о той роли, которую приходилось ей играть порой в судьбах отдельных людей в условиях сталинского единовластия.

18 мая 1935 года в небе над окраиной Москвы потерпел катастрофу единственный в своем роде суперавиалайнер «Максим Горький». Шестимоторный. Размах крыльев 63 метра. Длина фюзеляжа 32,5 метра. Агитсамолет, он был оснащен радиостанцией, типографией и телефоном на борту.

Тот самый, который еще 1 мая под восторженные крики собравшихся возглавил авиационный парад над Красной площадью. А через громкоговорители с борта самолета всех, и в первую очередь руководителей партии и правительства, приветствовал первый журналист страны Михаил Кольцов.

Погибли весь экипаж и пассажиры.

Причиной гибели стало столкновение с другим самолетом, который вел летчик Николай Благин. Столкновение, говорили все, прямо-таки странное. Благин будто бы решил сделать петлю вокруг крыла гиганта и тем самым продемонстрировать свое сверхмастерство. Называли Благина летчиком-лихачем, позавидовавшим славе Чкалова.

Однако чем дальше, тем больше возникало недоуменных вопросов. Таковыми они и оставались в течение десятилетий. С ними и с попыткой их истолкования читатель сталкивается

нынче, знакомясь с материалами, опубликованными в пробном, нулевом номере журнала «Источник» за 1993 год.

Начать с того, что если перед нами летчик-лихач, решивший таким образом потешить свое самолюбие, то это, собственно, уже не лихачество, а тяжкое преступление.

Но почему же в таком случае урна с прахом Благина была выставлена в Колонном зале Дома союзов вместе с другими? А в почетном карауле стоял кто? Непосвященный не догадался бы никогда: сам Сталин!

Или великому вождю было известно что-то, о чем не ведали простые смертные?

Более того, урну с прахом виновника катастрофы, опять-таки наряду с другими урнами, замуровали в стену Новодевичьего кладбища. Человека, совершившего преступление — и какое! — хоронят вместе с его жертвами! Недоумений возникло еще больше, когда стало известно предсмертное письмо Благина. В нем он в самых резких тонах оценивал порядки в стране, клеймил позором оторвавшуюся от народа партийно-советскую верхушку, включая и самого Сталина… А завершалось письмо решительным заявлением: «…Завтра я поведу крылатую машину и протараню самолет, который носит имя негодяя Максима Горького».

О предсмертном завещании Благина в газету «Сервиль-Мандьяль» читатель написал 25 сентября 1935 года. Ссылался автор письма на парижскую газету «Возрождение» от 12 числа того же месяца. А та в свою очередь адресовала интересующихся к газете «Меч», издающейся в Варшаве… На этом, слава Богу, цепочка обрывалась, но в сознании многих невольно мог возродиться старый каламбур: где начало того конца, которым оканчивается начало?

Комментатор публикации в журнале «Источник» справедливо ставит вопрос: если возник документ, недвусмысленно и бескомпромиссно порочащий все то, что происходило в стране победившего социализма, то как бы следовало поступить с автором? Посмертно таких «врагов народа» предавали анафеме, а репрессиям незамедлительно подвергались все члены семьи. Ввели даже такой термин: ЧСИР (член семьи изменника родины).

Что же произошло с родными Благина? Сколько времени провели они на Лубянке, прежде чем оказаться где-нибудь на Колыме? Нисколько! Вдове и дочери были назначены персональные пенсии, а дочь получила возможность учиться в вузе и окончить его… Кстати, обе решительно отрицали, что автором этого письма является Благин: по их мнению, все, начиная с содержания и кончая стилем, не соответствовало его личности. Впрочем, как мы отлично понимаем, слово

родственников в таком случае не может быть признано решающим аргументом. Последний вердикт выносит суд. А в истории с крушением такого масштаба следствие было свернуто почему-то довольно быстро, так и не опровергнув версию о лихачестве и не выдвинув ничего в противоположность ей.

Итак, что же — тупик?

…В биографии любой личности (и Горький тут не исключение) есть такие моменты, которым невозможно дать исчерпывающего толкования из-за недостатка фактов. Вроде бы цепь вяжется звено за звеном. Но вдруг обнаруживается зияющий провал, и перед нами уже не цепь, а ее куски, не способные выдержать ту нагрузку, которую выдержала бы она, если бы… Однако звена, а то и нескольких — не хватает. Но зато какой простор для гипотез, версий, предположений! Кое-кого хлебом не корми, и никаких звеньев недостающих им не надо, лишь бы соорудить что-нибудь посенсационнее…

Что ж, получается, что серьезному исследователю, привыкшему выводы возводить на прочном фундаменте, в основе которого кирпичи фактов, — такому исследователю остается лишь тяжко вздохнуть и двигаться дальше, оставив за спиной провал, или вовсе сворачивать на другую дорогу?

По поводу сходной ситуации великолепно высказался как-то Солженицын: «…Художественное исследование по своим возможностям и по уровню в некоторых отношениях выше научного. Художественное исследование обладает так называемым тоннельным эффектом, интуицией. Там, где научному исследованию надо преодолевать перевал, там художественное исследование тоннелем интуиции проходит иногда короче и вернее».

И тут приходится выйти за рамки «чисто авиационной проблемы» и поставить рядом две личности, которые никогда не встречались, но которых вот таким неожиданным и странным образом связала судьба, — Благина и Горького.

Что мы знаем о летчике? Происходил из состоятельной офицерской семьи. Революцию принял и даже вступил в партию. Но вскоре был исключен из ее рядов как ненадежный элемент. Очевидно, исключение летчик принял как акт, оскорбительный для себя. Политическое недоверие или породило, или резко усилило критическое отношение Благина к происходящему вокруг. Как и любой думающий человек, он видел, что в стране творится множество безобразий, прикрываемых высокими лозунгами или сопровождаемых соответствующей газетной шумихой. В сознании понимающих такая пропагандистская шумиха, приобретавшая зачастую упрощенно-прямолинейные

формы, наоборот, активизировала критицизм по отношению к происходящему. Слова партии все больше расходились с ее делами.

Среди близких людей Благин не стеснялся в выражении своих умонастроений. Видимо, он не знал о безотказно налаженной к тому времени системе стукачества и доносительства.

Родственники с какого-то момента знали, что к Благину приставлен некто в качестве соглядатая из ведомства на Лубянке. Производивший отличное впечатление, компанейский мужик, умевший поддержать любой разговор и в застолье, и наедине, он аккуратно выполнял полученное задание. Досье на Благина росло. Забегая вперед, скажем, что впоследствии этот стукач дошел «до степеней известных» — стал генералом. Согласимся, далеко не каждый доносчик, а только выполняющий особо важные задания и облеченный полным доверием властей, мог быть облагодетельствован таким образом.

Переключимся теперь на Горького. Как уже говорилось, после убийства Кирова он вступил со Сталиным в конфликт, принимавший все более необратимый характер, в конфликт внутренний, подспудный, не находивший внешне очевидных форм выражения, такой, о котором большинство и не догадывалось.

Изощренный и коварный психолог, Сталин в принципе не принимал никакого сопротивления своим идеям, потому что знал: случись неудача — никто теперь не решится обвинить в ней его. А еще потому, что у него всегда была в запасе кандидатура того, на кого можно возложить груз ответственности за провал. Хозяин идеально просчитывал все варианты.

Время шло. От методов постепенного давления на Горького надо было переходить к действиям устрашающего характера. Первым из них стало «устранение» Максима, умершего год назад, в мае 1934 года.

Через Крючкова Сталин знал решительно обо всем, что происходило в бывшем особняке Рябушинского. Знал и о давнем увлечении Максима авиацией. И о том, что он не раз ездил на авиационный завод смотреть, как собирают крупнейший в мире самолет «Максим Горький».

Первым, кому пришла идея строительства этого гиганта, был М. Кольцов. Его связывали с Горьким, несмотря на огромную разницу в возрасте, самые теплые дружеские отношения (не говоря уже об отношениях деловых: М. Кольцов был крупным издательским деятелем и часто советовался с Горьким по многим вопросам). Выдвинул эту идею Михаил Кольцов в печати еще осенью 1932 года, в дни 40-летия творческой деятельности

Горького.

Журнально-газетное объединение, которое возглавлял Кольцов, сразу подхватило идею своего руководителя. Был сформирован специальный комитет, в который вошли видные деятели науки, культуры, промышленности. В короткий срок на строительство самолета «Максим Горький» была собрана большая по тем временам сумма — 6 миллионов рублей.

Название авиагиганта — в честь отца — рождало у сына чувство причастности к самолету. Мог ли он не говорить на эту захватывающую тему с отцом? Могла ли не родиться у него, как, впрочем, и у любого другого на его месте, мечта полететь на нем? Может, даже первым рейсом!

Испытать это счастье не пришлось… Авиагигант впервые пролетел над Красной площадью 19 июня 1934 года, а совсем незадолго до этого, 11 мая, Максима не стало…

Смерть сына потрясла Горького. Перед глазами не раз, и даже в самые неподходящие моменты, возникала тягостная предсмертная картина. «Авиатор» Максим бредил. А мерещился ему какой-то аэроплан. Уверял: если прищуриться, можно увидеть его очертания. На папиросной коробке слабеющей рукой чертил силуэт самолета и что-то говорил о его конструкции.

А отец, стоя над ним, вспоминал другой самолет. Одно время, как по расписанию, в половине девятого утра, когда обитатели дома в Горках сходились к завтраку, стал прилетать самолет. Он покачивал крыльями, как бы в знак приветствия, потом снижался чуть не до самого цветника, а затем круто взмывал в небо. Все даже невольно пригибались к столу, а хозяин, как всегда, упирая на «о», говаривал: «Ух ты, на сей раз пронесло!»

Что за самолет? Кто присылал его?

Комментирующий публикацию в журнале «Источник» директор научно-мемориального музея Жуковского В. Бычков, сообщив немало полезных сведений, допускает формулировки, сглаживающие всю остроту картины, а потому с ними совершенно невозможно согласиться. Будто бы «вполне допустимо, что летчик Благин стал невольной причиной катастрофы», да еще «исполняя чиновничью прихоть».

Что значит «невольно»? Благин принимал, точнее, вынужден был принять такое решение вполне сознательно. Под давлением того компромата, который был собран, и угроз расправиться с ним лично и с его семьей. А тут предлагалась, так сказать, смертельно-героическая акция, с обещанием сохранить за семьей все блага.

В предсмертном «письме», явно сфальсифицированном

соответствующими органами, автор называет свои действия «тараном». На самом деле он, летчик высокого класса, наоборот, поначалу сделал все, чтобы впечатления тарана, то есть сознательного нападения на самолет, не возникло. Надо было начисто исключить возможное предположение, будто в катастрофе кое-кто заинтересован! Лихачество, несчастный случай, чего в жизни не бывает!..

И наконец — чиновничья прихоть… Во многом проявляются чиновничьи прихоти-капризы, но только не в ситуациях, когда на карту ставятся судьбы многих ни в чем не повинных людей. Это могла быть только монаршая воля Хозяина, гениального мастера дворцовых интриг, которому могли бы позавидовать все короли и министры, вместе взятые.

Известно, что Благину перед полетом, ставшим для него последним, кто-то «наверху» в секретном порядке приказал: сопровождая «Максима Горького», осуществить невиданные пируэты. Якобы для отработки приемов, подлежащих в дальнейшем демонстрации во время парадов. Эти головоломные маневры снимались на кинопленку с другого самолета, и кинооператор видел, как после неудачной «полубочки» самолет Благина врезался в крыло гиганта. И это в самом деле походило на таран…

Что касается отношения Сталина к идее строительства такого самолета, то первоначально он прореагировал на нее положительно. Но напомним еще раз: произошло это в 1932 году, когда вождь изо всех сил старался возвысить писателя (порой даже вопреки его воле), чтобы максимально приблизить к себе. (Хотя вождь уже и тогда не очень-то одобрял масштабных инициатив, исходящих не от власти.) К 1935 году отношения писателя и политика, как мы знаем, изменились круто. Изменилось отношение вождя и к Кольцову. Спецслужбы уже с начала 30-х годов тщательно контролировали каждый его шаг. А однажды Сталин по телефону жесточайшим образом разнес его фельетоны, понуждая журналиста на выступления в печати против академиков Павлова и Вернадского. Узнав об этом в начале июня 1936 года, уже больной Горький расценил замысел властей как провокацию и посоветовал Кольцову временно скрыться подальше.

Накануне последнего рокового полета распространился слух, что в рейсе примут участие Сталин, Молотов, Каганович, Орджоникидзе и другие руководители высшего ранга. Еще один способ навести тень на ясный день, занявшись поиском врага.

Подробность противоположная, долженствующая доказать,

что происшедшее не более чем несчастный случай, что в принципе безопасность полетов гарантируется. Не успел приехавший в Москву Роллан, что называется, перевести дух, увидеться с Горьким (а по его-то приглашению он и прибыл в Россию), как его повезли на аэродром — прокатиться в небе над Москвой…

Есть основания утверждать, что гибель многомоторного уникального авиагиганта была одной из самых изощренных форм государственного терроризма, направленного Сталиным лично против Горького. Гибель самолета «Максим Горький» должна была сыграть в сознании писателя роль зловещего предвестия его судьбы.

Нечто аналогичное и в высшей мере странное произошло с четырехмоторным самолетом Н-209, пилотируемым прославленным летчиком, Героем Советского Союза С. Леваневским и его экипажем из шести человек по маршруту Москва — Северный полюс — Аляска. Пролетая над Северным полюсом спустя 20 часов после старта, самолет отправил тревожную радиограмму о неполадках в маслопроводе и неожиданно оборвавшуюся словом «Ждите!»

Ждали радиостанции всего мира и бессчетное число радиолюбителей. На поиски лайнера была отправлена спецэкспедиция из 24 самолетов и дирижабль (который, к слову, разбился и погибли все находившиеся на нем люди). Никаких следов авиакатастрофы найти так и не удалось.

Всю эту историю тщательно исследовал и рассказал о ней на страницах «Известий» (25.08.96) писатель Оскар Курганов, который должен был лететь с Леваневским в качестве корреспондента «Правды», но в последний момент решение об этом было отменено.

Леваневский первым выдвинул идею беспосадочного перелета в Америку и подал записку об этом Сталину. Его вызвали к вождю сразу же, через два часа. Одобрив идею и маршрут, Сталин вдруг выразил намерение избрать другой самолет и со странным выражением лица предложил назвать путь именем его первопроходца.

Прекрасный летчик, Леваневский отлично ориентировался во всех деталях дальних перелетов, но оказался слаб в понимании дворцовых интриг. (Чкаловский перелет был назван «сталинским маршрутом»).

Сталин был недоволен однако и еще рядом других моментов: тем, что первый рекордный перелет в 1935 году был совершен Леваневским на американском самолете; засомневался, надо ли осуществлять рейс 1937 года (обернувшийся трагедией),

поскольку не хотел в этот момент демонстрировать Америке новый отечественный бомбардировщик…

Короче, изучив все детали, О. Курганов пришел к выводу: «все нити катастрофы, происшедшей 13 августа 1937 года., ведут к Сталину. Или, во всяком случае, — к исполнителям его воли, которая порой выражалась намеком, кивком головы, жестом, мимикой».

Как мы помним, радиосвязь с самолетом оборвалась совершенно неожиданно, и радист просил ждать нового сообщения. Что могло помешать опытному радисту? Только взрыв или пожар, мгновенно охвативший самолет.

…За два часа до старта к самолету приехал неизвестный, предъявивший удостоверение, подписанное самим наркомом Ежовым. Он вручил Леваневскому опечатанную картонную коробку: подарок товарища Сталина жене Рузвельта (две шубы и банка черной икры)…

И еще одну странную особенность, уже в хронологии рекордных авиаперелетов того времени, а также легендарных полярных дрейфов, подмечает О. Курганов. Эти радостные события, гремевшие на всю страну и вызывавшие в народе волну невиданного энтузиазма, неизменно совпадали с политическими процессами 1936–1938 годов и заглушали их…

…Понятное дело, Александр Сергеевич Пушкин не имел никакого отношения к авиации, но его юбилею 1937 года властями была придана та же функция, в чем мы сможем убедиться дальше, читая главу «Эхо выстрела Жоржа Дантеса».

Что же касается жизней ни в чем не повинных людей, Сталин твердо полагался на свою «теорию» «винтиков», как он именовал граждан огромного государственного механизма, и считал себя вправе распоряжаться ими — нет, конечно, не в угоду своей прихоти, а исходя из соображений высшей политической необходимости.

С годами властолюбие самодержца обрело невиданные, воистину патологические формы. Он в принципе не принимал не только какого-либо инакомыслия, но даже просто отказа от предложения занять другую должность хотя бы по мотивам скромности или недостаточной компетентности. Все безоговорочно должны были подчиняться его распоряжениям. А особо приближенные, — те даже и просто намекам. Попытки сопротивления вызывали в нем ярость и стремление «наказать» (любимое словечко!) строптивца.

Подчеркнем еще раз особенность ситуации с Горьким. Он, и только он, оставался единственным в стране человеком, который не хотел считаться с волей вождя. Пусть об этом опять-таки

догадывались лишь немногие. Но он-то знает все! Так неужели он, вождь, победивший всех оппозиционеров, которые теперь, поджав хвосты, поют ему дифирамбы со всех трибун, — неужели он может удовлетвориться мимолетными упоминаниями Его имени в посредственных статейках этого исписавшегося сочинителя?!

Скорейшая и полная победа над ним любой ценой становилась вопросом принципа.

Слава Богу, для ниспровержения неугодных он теперь располагал надежнейшим аппаратом, действующим с точностью часового механизма. На создание его он не жалел ни собственных усилий, ни государственных средств.

Обращаясь к той поре, когда завершались последние внутрипартийные дискуссии (1929), современный исследователь пишет: «…Сталин одерживал верх над своими оппонентами не силой теоретических аргументов, а используя как орудие НКВД-ОГПУ, действия которых основывались на провокациях. Победа большинства в ЦК в действительности была победой тайной полиции Сталина над самой партией, которая в большинстве своем была тем самым приговорена к смерти в 30-х годах»[67].

Теперь всем известно, как Сталин расправлялся с теми, кто не мог выдержать создаваемой им атмосферы и бежал на Запад. Не станем говорить о длившейся годами операции по ликвидации Троцкого. Напомним историю устранения куда менее значительной фигуры (и в этом смысле тем более типичную), осуществлявшуюся под личным руководством Сталина.

Как пишет Гордон Брук-Шеперд в посвященной этой проблеме книге с характерным названием «Буревестники», одна из таких операций — ликвидация Агабекова, первым с высокого поста в ОГПУ сбежавшего на Запад, — «поучительный пример из истории всей сталинской эпохи — с точки зрения сложности задуманного плана, *стоимости операции и ее длительности*». (Выделено мной. — *В.Б.)* Удалось осуществить план только после множества попыток через семь лет. А одна из неудачных попыток состояла в том, что для акции по устранению единственного человека было зафрахтовано зарубежное морское судно с экипажем около 30 человек. Контракт заключался на полгода, хотя нужен был всего один рейс.

Ну а в заключение этого криминального отступления — об отношении Сталина к расходованию материальных средств на обеспечение подобных операций и способах их добычи. Еще в молодости, в 1908 году, начинающий революционер Джугашвили оказался в одной камере с уголовниками-фальшивомонетчиками, искуснейшими мастерами своего дела. Из этого соседства Сталин

извлек существенный урок: для чего городить «огород», добиваясь цели Бог знает какой ценой, если можно быстро создать видимость чего-то, подлинное подменив фальшивкой? Главное, чтоб никто ничего не знал.

Прошли годы и годы. Сталин все более прибирал к рукам власть в стране, особенно после великого перелома. Казалось бы, перед нами совсем другой человек — глава партии, а фактически и государства, завоевавшего определенное признание на международной арене. Тем более никто не мог догадаться, что бывший зэк, воспринявший опыт уголовников, продолжает жить в нем. Не только жить, но и бурно развиваться применительно к новым условиям, которые предоставляло ему безграничное самовластие.

Сталин стал инициатором проведения в 1928–1934 годах невиданной по масштабам финансовой операции-аферы. По сведениям А. Орлова, автора известной книги «Тайная история сталинских преступлений», на рубеже 20–30-х годов в американской прессе появились сообщения о том, что начали ходить фальшивые долларовые купюры, изготовленные с невероятным мастерством.

Как выяснилось, в СССР сначала было выпущено банкнот на 2 миллиона долларов. Предполагалось увеличить сумму до 10 миллионов. Операция провалилась, несмотря на то, что к ее осуществлению были привлечены лучшие специалисты, а выпускал банкноты Гознак. Подчеркнем: не какая-то группа изощренных аферистов — государство тайно и незаконно использовало свои легальные возможности с целью подрыва финансового положения другой державы.

Вряд ли мир когда-либо знал что-то подобное. Уголовщина стала составляющей политики страны, горделиво провозглашавшей самые справедливые принципы общественного устройства.

Не удалась одна операция — Сталин блестяще осуществил другую. Когда стало ясно, что война в Испании будет проиграна республиканцами, он под видом помощи бойцам-интернационалистам организовал изъятие всего золотого запаса страны. В СССР вывезли морем 7900 ящиков золота общим весом почти 600 тонн.

Как не гнушался Сталин никакими способами приобретения капитала, так не стеснялся он и в расходовании средств своего государства, основу которых, как мы понимаем, составляли все же не фальшивые купюры и чужие золотые слитки, а деньги, добытые многострадальным народом, обильно политые его потом и кровью.

А теперь вернемся к завершению нашего основного сюжета.

Чуть больше месяца спустя после катастрофы самолета «Максим Горький» Сталин со свитой, как ни в чем не бывало, навестил Горького. Повел речь о новой Конституции, строительстве метро, других хозяйственных хлопотах и заботах, коих по горло… И вдруг совершенно неожиданно сменил тему, направив на Горького взор, исполненный какой-то загадочной многозначительности: заговорил о перспективах строительства самолетов-гигантов в ближайшем будущем…

Сталин пристально смотрел на хозяина дома, стараясь понять, дошел ли до его сознания подлинный смысл всего случившегося и какой реакции можно ждать от Алексея Максимовича…

ГЛАВА XXVIII
Как и когда Сталин заполучил лондонский архив Горького

В судьбе Горького могло сыграть большую роль одно очень важное и до сих пор остающееся загадкой обстоятельство. Оно связано с судьбой той части архива писателя, которую при расставании в 1933 году он доверил Марии Игнатьевне Будберг, уезжавшей в Лондон.

В обширнейшей почте, которую получал писатель, попадалось немало таких писем, которые содержали информацию, мягко говоря, не слишком лестную для порядков, установленных в стране Сталиным. Естественно, письма эти шли не из России. Их авторы — партийные и государственные деятели (А. Рыков, Л. Красин, Г. Пятаков и др.), люди искусства (И. Бабель, М. Кольцов, К. Федин, О. Форш, Вс. Мейерхольд и др.), выезжавшие за рубеж и писавшие Горькому в Италию о наболевшем из Берлина и Парижа, Стокгольма и Анкары, Лондона и Копенгагена…

Помимо писем не меньшую ценность представляли собственноручные горьковские записи разговоров с теми из соотечественников, которым посчастливилось повидаться с писателем лично. Были, конечно, и письма эмигрантов.

Как известно, вернувшись в Россию в 1933 году, Горький по разным причинам так ни разу и не смог побывать за рубежом. А Мария Игнатьевна?

На вопрос Берберовой Будберг ответила однозначно: нет, в Россию не приезжала до 1958 года. Дочь подтвердила версию матери, явно не отличавшуюся достоверностью по крайней мере в одном случае: множество людей, начиная, разумеется, с близких Горькому, видели ее, шедшую за гробом писателя, в июне 1936 года.

Оказалось, приезд этот не единственный, и причины других приездов далеко не столь экстраординарны. В сноске к основному тексту Берберова приводит факт, ставший ей известным спустя без малого десятилетие после окончания «Железной женщины». В 1987 году в альманахе «Минувшее» увидело свет письмо А. Толстого Н. Крандиевской от 8 марта 1935 года, где он сообщал, что только что встречался с Марией Игнатьевной в доме Горького. Добавлю к этому, что в фондах Нижегородского музея Горького хранится фото с изображением А. Толстого и

М. Будберг, сделанное сыном писателя Максимом не позднее начала мая 1934 года.

К этим фактам, окончательно развенчивающим миф «железной женщины» о неприездах в Россию, можно добавить и другие, которые в книге Берберовой не фигурируют.

В 1934 году в Советскую Россию приехал Герберт Уэллс. Естественно, он приглашал Муру поехать вместе с ним в качестве переводчицы, на что та мгновенно и невозмутимо ответила: ей же запрещено появление в Советском Союзе! И, упредив отъезд Уэллса, устремилась, как обычно, «к детям, в Эстонию» (хотя дети давно жили в той же Англии).

Во время встречи с Уэллсом Горький случайно упомянул, что за неделю до его приезда здесь появлялась Мура. Изумление гостя было велико. Но его совершенно потрясло известие о том, что в прошлом, 1933 году Мура сумела навестить Горького трижды (как об этом свидетельствует Ю. Кагарлицкий в книге об Уэллсе «Вглядываясь в будущее», 1989).

Мура потом объяснила все, не моргнув глазом: да, одна поездка действительно имела место, но приглашение пришло слишком неожиданно. А остальное — не более чем ошибка переводчика!..

Итак, по нашим сведениям, «железная женщина», коей въезд в СССР был «запрещен», только в промежуток между апрелем 1933 и июлем 1936 года, приезжала сюда по крайней мере шесть раз: в 1933 г. — три, в 1934 г. — один, в 1935 г. — один, в 1936 г. — один. Это — как минимум.

Почему же она с такой последовательностью отрицала то, чему свидетелями оказывались многие? Похоже, для того у нее имелись достаточно веские причины. Одна из них — похоронить информацию о своей причастности к судьбе лондонского архива. Берберова пишет об этом без обиняков: Мария Игнатьевна в интервью дамскому журналу в 1970 году отрицала связь с Россией, потому что «раскрытие тайны московской поездки могло привести к раскрытию тайны увоза архивов (из Англии. — *В.Б.)* и возвращения их Горькому».

Другая, не менее важная, — скрыть свою связь с советской разведкой, на которую она работала уже давно (так же, впрочем, как и на английскую).

Как же реально сложилась судьба лондонского архива?

Сведения на этот счет весьма противоречивы. К сожалению, избежать противоречий порой не удается и хорошо информированным авторам даже в рамках одного повествования, и уважаемая Нина Николаевна Берберова сама не составляет тут исключения.

Касаясь того приезда в 1935 году, о котором мы узнаем от А. Толстого, Берберова заключает: «Видимо, *в это именно время* и происходили ее окончательные переговоры о привозе в Москву архивов Горького, которые были в свое время даны ей на сохранение и которые Сталин получил от нее в 1935 году» («Дружба народов», 1990, № 12, с. 93. Выделено мной. — *В.Б.)*.

Однако это мимолетное замечание не получает дальше своего подкрепления. Скорее — наоборот. Летом 1935 года за границу выезжала Екатерина Павловна Пешкова «с целью повидать Муру и уговорить ее отдать архив Горького, доверенный ей два года назад, для увоза в Россию. Но Мура отказала ей в этом. И Екатерина Павловна была сердита на нее».

Маловероятно следующее предположение Берберовой: «Возможно, что в 1935 году Е. Пешкова действовала без согласия Горького, самостоятельно…» Разве она не знала о категорическом запрете бывшего супруга отдавать архив кому-либо? И как можно было рассчитывать на успех без согласия владельца этих ценнейших бумаг?

Возникает контрпредположение, снимающее предыдущее. Пешкова могла сделать этот упреждающий маневр только с согласия Горького и по его поручению, чтобы вызволить бумаги, которые, попав в руки Сталина, могли причинить вред многим.

Как известно, Е. Пешкова гораздо острее Горького воспринимала драматические события, развертывавшиеся в стране, о чем, в частности, свидетельствует ее самоотверженная работа в Политическом Красном Кресте, облегчавшая участь многих. А основа для критического отношения к сталинскому самовластию возникла еще раньше — вспомним хотя бы таинственную смерть сына Максима в мае 1934 года, о которой Екатерина Павловна говорила многозначительно: «Максима убрали». Так что предположение, будто она, пытаясь вывезти архив, действовала в тайне от Горького (а значит, в чьих-то интересах?), отпадает полностью.

Напомним: между Марией Игнатьевной и Горьким существовала твердая договоренность не передавать архив никому, даже в том случае, если просители станут предъявлять письмо, написанное собственноручно владельцем бумаг.

Берберова буквально в следующем абзаце пишет, что вскоре после этого на Муру было оказано давление кем-то, кто приехал из Советского Союза в Лондон с письмом Горького: перед смертью он хочет проститься с ней. Сталин дает ей сопровождающего из Лондона до Москвы и обратно и спецвагон на границе. Она должна привезти архив, в противном случае Горький никогда больше не увидит ее.

Мария Игнатьевна сообщила об этом своему давнему знакомому Локкарту, который немедленно сделал вывод: если она бумаг не отдаст, их у нее возьмут силой: при помощи бомбы, или отмычки, или револьвера.

Выходит, теперь время возвращения документов уже не 1935 год, а 1936-й, июнь, последние дни Горького («перед смертью»). Вдумаемся в суть событий. Во имя минут прощания с дорогим человеком Горький якобы отдает распоряжение привезти бумаги, компрометирующие десятки людей… Напомним еще раз, что в заветном чемодане находились не только письма этих людей, но и собственноручные горьковские записи разговоров с ними, имевших абсолютно доверительный характер, рассчитанных на полнейшее неразглашение… Если Горький распорядился передать весь этот компромат Сталину, то как можно назвать такой поступок?

Берберова приводит устное свидетельство Б. Николаевского, сделанное во время частной беседы в Вермонте в 1959 году. На вопрос о судьбе лондонских бумаг «Николаевский ответил, что Мура отвезла их в Москву в июне 1936 года, когда Горький просил Сталина разрешить ей проститься с ним. Условие Сталина было: привезти архив… Помню реакцию Карповича, — пишет Берберова, — он пришел в ужас от сообщения Николаевского и долго не мог успокоиться». Вполне естественная, неизбежная реакция нормально мыслящего человека.

Дальше в историю с архивом включаются все новые лица, возникают новые версии. По одной из них бумаги попали в Россию в апреле 1936 года. (На первый взгляд велика ли разница: апрель или июнь? Огромная! И мы сейчас убедимся в этом.) На сей раз уже сам Николаевский запрашивал одного из своих корреспондентов, известного американского журналиста Луи Фишера: знает ли он что-либо о том, что это случилось не в июне, а именно в апреле? По-видимому, чутье профессионала подсказало Фишеру, что разница в каких-то два-три месяца может иметь, как он писал Николаевскому, «огромное значение». И он сам, не располагая никакими документальными данными, попросил Николаевского высказаться по этому поводу более определенно.

Берберова публикует исключительно важное письмо Николаевского Фишеру от 18 января 1966 года. Вот отрывок из него. «Сталин в 1935 г., когда Горький заступился за Каменева, отказал в выезде Горькому за границу на съезд писателей в Париже, потребовал выдачи ему архива. За границу приезжала Пешкова с полномочиями от Горького, тогда Будберг передать бумаги отказалась (это я знаю от Кусковой, которая тогда

виделась и говорила с Пешковой). Перемена позиции Будберг, по сведениям, объяснялась влиянием Локкарта, который тогда вел особую политику в отношении Москвы. В Москву Будберг приехала в апреле 36 г., на границе ее ждал особый вагон, с вокзала она проехала прямо в санаторий, где тогда находился Горький, и там встретилась со Сталиным и Ворошиловым…»

Из письма Николаевского со всей очевидностью явствует, что приезд Будберг в Москву состоялся именно в апреле 1936 года, когда Горький еще не был болен и ни о каком окончательном прощании с Мурой не могло быть и речи.

К тому времени отношения между Горьким и Сталиным испортились окончательно. Горький понял, что Сталин от преследования инакомыслящих переходит к их физическому уничтожению. Не только понял, но в меру своих возможностей (которые, вероятно, весьма преувеличивал) решился этому противостоять. Не отсюда ли слухи о том, что в условиях вступления в силу новой Конституции Горький и академик И. Павлов собираются создать некую партию интеллигенции? Впрочем, об этом не таком уж немаловажном обстоятельстве — особый разговор позднее…

Между прочим, любопытна одна деталь поведения Сталина, явившегося 8 июня с первым визитом к постели Горького. Обнаружив при умирающем несколько человек, Сталин раздраженно спросил о Будберг: «А это кто рядом с Алексеем Максимовичем, в черном, монашка, что ли?» Сделал вид, что никогда не встречал Марию Игнатьевну раньше. Но ведь из книги Берберовой мы знаем, что (независимо от того, когда это произошло: в апреле или июне) Будберг отвезли с бумагами прямо к Сталину и Ворошилову. Значит, в этот момент вождь хотел скрыть от Горького факт своего знакомства с Будберг, а та, как будто чутко уловив маневр вождя, ничем не обнаружила своего понимания его искусственности.

И еще одна деталь — несколько иного рода. Мы даже как-то не задаемся вопросом: откуда вообще стало известно вождю о существовании лондонского архива, если его судьбу перед отъездом в Россию в 1933 году решали три человека: Горький, Максим, Будберг… Не от Марии ли Игнатьевны, которая была просто обязана информировать свое начальство о такого рода вещах? И не происходила ли утечка информации о содержании отдельных «единиц хранения» еще раньше, до того, как Сталин решил завладеть архивом полностью?

Так или иначе знакомство Сталина с лондонским архивом Горького могло убедить его в одном: хозяин документов — носитель огромной и опасной информации, направленной против

него, Сталина, а значит, и против великого дела, возглавляемого им. И если он ознакомился с содержанием бумаг в апреле, то это только активизировало его желание поскорее устранить Горького (что и произошло в июне).

Зададим, наконец, такой вопрос: если Сталин прикладывал усилия к тому, чтобы получить согласие умирающего Горького (в июне) на доставку бумаг, то с какой целью? Писатель все равно, считал вождь, уже обречен, несколько дней ничего не решали, и документы, нужные для дальнейшей расправы над оппозицией, Сталин после смерти Горького мог получить без особого труда.

Архив чрезвычайно нужен был Сталину для того, чтобы обратить его сначала против Горького (апрель!), а потом уже, с опорой на документы, вторично — против других своих политических врагов, в первую очередь против Каменева (которого защищал Горький) и Зиновьева, процесс над которыми начался спустя два месяца после того, как отзвучал похоронный марш.

Итак, предположение Берберовой о том, что «архив Горького …был получен Сталиным путем „сделки“ с умирающим Горьким», является совершенно несостоятельным. Как человек, работающий на советскую разведку, даже и без угрозы расправы (да еще при обещании, что владелец если и узнает о доставке архива, то лишь на смертном одре), Будберг должна была безоговорочно выполнить предъявленное ей требование.

Впрочем, концепцию «сделки» во имя свидания с любимой женщиной особенно убедительно опровергает один документ, который был неизвестен автору «Железной женщины». (Но сначала заметим попутно, что уже к 1927 году связь Будберг с Уэллсом была возобновлена, а расставания с Горьким растягивались на полгода в связи с его поездками в «республику Советов».)

Как свидетельствует медицинская сестра О. Черткова, постоянный человек в доме Горького, Горький полностью порвал с Мурой еще до возвращения в Москву в мае 1936 года. «А<лексей> М<аксимович> звал ее баронессой и все мне говорил: „Зачем ты ее ко мне пускаешь?“ — „Она сама приходит. Не могу же я ей запретить. Я думаю, что вам с ней приятно“. — „Откуда вы все взяли, что мне приятно ее видеть?“»

Отношения у них испортились уже давно. Еще в Тессели, где она прожила всего один день и, ссылаясь на неотложные дела, уехала в Москву, потом звонила по телефону, по-моему, пьяная, голос такой, я позвала А<лексея> М<аксимовича>, но он сказал: «Я говорить с ней не буду». — «Но она говорит, что ей очень нужно». — «Скажи ей, что говорить с ней не буду. Пусть

веселится».

Когда она уезжала из Тессели, мы ее провожали на крыльце. Когда автомобиль скрылся, А<лексей> М<аксимович> повернулся (вот так) вокруг себя и весело сказал: «Уехала баронесса!» Потом — обнял меня. Он часто мне говорил: «Ты от этих бар — подальше. Держись простых людей — они лучше».

Скорее всего, происходила эта встреча в апреле, когда Мура доставила Сталину лондонский архив.

Горькому Мура больше была не нужна. Он наконец испытывал радостное чувство освобождения от ее власти. Но ей, уже давно соединившей свою жизнь с Уэллсом, Горький для чего-то был нужен по-прежнему…

ГЛАВА XXIX
Последнее противостояние, или Драма Шостаковича и «сталинский» Горький

Ошибочно было бы полагать, однако, что наступал вообще какой-то закат Горького. В глазах большинства он по-прежнему выглядел основоположником, буревестником революции и т. д. и т. п. Писал статьи и приветствия различным организациям, редактировал журналы и книги, вел обширнейшую переписку. Куда только не избирали его: депутатом Московского и Ленинградского Советов, и делегатом на съезд Советов от Нижегородского (то бишь, теперь уже Горьковского края), и даже членом райисполкома Арзамасского района. Его продолжали приглашать на официальные торжества, где присутствовала руководящая верхушка, — как, к примеру, празднование 16-летия Первой конной армии Буденного в феврале 1935 года или физкультурный парад на Красной площади 30 июня, куда он был приглашен вместе с Ролланом.

И Мехлис, отклонивший его статью в «Правде», сделал жест: прислал телеграмму с просьбой написать приветствие съезду комсомола… Хотя жест, прямо сказать, не вполне ловкий: по поводу приветствия такого рода логичнее было ждать обращения к нему кого-то из секретарей ЦК ВЛКСМ. А в конце прошлого, 1934 года, «Правда» дала положительную рецензию на первый номер журнала «Колхозник», созданного по инициативе Горького и руководимого им…

Да, внешне все выглядело благопристойно. Но на Горького оказывали постоянно возрастающее, незаметное постороннему глазу давление. И именно для того, чтобы исключить всякую возможность предположений о таковом давлении, надо было заботиться о создании положительного фона. И тогда все негативное, страшное, трагическое можно будет списывать на волю случая. Или — на происки ловко маскирующихся врагов. К примеру, неожиданная смерть Максима. Кому это выгодно в самый разгар подготовки важнейшего политического мероприятия — съезда писателей? Тем, кто не хочет сплочения писательских сил вокруг партии…

Избирают Горького главой делегации советских писателей на международный конгресс в защиту культуры в Париже. 8 июня 1935 года он уже получил заграничный паспорт. Подготовился к

выступлению. Но… поездка не состоялась: врачи не рекомендовали. Зато прекрасным здоровьем отличался молодой Панферов, который и поехал в Париж.

Что касается здоровья, то оно действительно было у Горького, мягко говоря, не блестящим. Да и возраст сказывался: середина седьмого десятка. Приходилось пользоваться порой кислородными подушками. Но работоспособность он продолжал сохранять воистину феноменальную, и перечень осуществляемых им дел и начинаний потребовал бы слишком много места — достаточно заглянуть в 4 том его летописи жизни и творчества. Тяжелобольной человек так работать не мог бы. И тем более больной человек не стал бы без конца расширять круг своих обязанностей. А Горький поступал именно так.

Весной — летом 1935 года в связи с подготовкой к 20-летию Октябрьской революции он проводит несколько многолюдных совещаний с представителями художественной интеллигенции: писателями, композиторами, живописцами, кинорежиссерами, архитекторами. Производился как бы смотр сил накануне крупных торжеств. Особенно отметил Горький успехи в области музыки. А известную помощь в проведении некоторых из этих встреч оказывал ему Роллан, великолепный знаток музыкального творчества. Летом 1933 года Горький посылал ему партитуру оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» и некоторые другие, как он считал, наиболее значительные сочинения советских композиторов.

Получалось, что вопреки критическим выступлениям «Правды», в начале 1935 года Горький не только не сложил руки, но стал расширять круг своих сторонников, завоевывать новые позиции. Возникала необходимость весомо высказаться по этому поводу.

И вождь решил сделать это лично, в присущей ему манере, исключающей какие-либо кривотолки. 5 декабря 1935 года в редакционной статье «Правда» опубликовала заявление Сталина о том, что Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи и что забвение его памяти равносильно преступлению.

В Маяковском Сталину всего дороже был государственный поэт, готовый во имя выполнения госзаказа добровольно наступить на горло собственной песне, не дожидаясь, когда за него это сделает власть.

Как мы помним, в докладе о поэзии на I съезде писателей акценты были расставлены совсем иначе. Бухарин счел возможным говорить тогда, что агитационные формы в поэзии устарели, что нужна большая интеллектуальная насыщенность

стиха, и поднимал на щит Бориса Пастернака. Делегаты по-разному отнеслись к этому тезису, и сомнения в его правомерности выражали те, кто продолжал пропагандировать упрощенные представления о сущности поэтического творчества. Теперь великий вождь лично все расставил по своим местам.

В том же номере «Правды», от 5 декабря, была опубликована первая «Литературная страница» с уведомлением «От редакции»: «…партия уделяет сейчас особое внимание вопросам критики, привлекает к этому лучшие литературные и научные силы, могущие обеспечить высокий уровень идейно-политической оценки и художественного анализа». Значительное место в полосе заняла статья И. Лежнева «В чем нуждается писатель». Вполне понятно, что после столь многообязывающего заявления о задачах критики мы не можем рассматривать автора основной статьи как фигуру случайную.

Хозяин все любил обдумывать заблаговременно. В 1935 году он сделал необычный кадровый ход, назначив Лежнева в «Правду» в качестве руководителя отдела критики и библиографии, литературы и искусства.

Почему это назначение могло вызвать удивление и даже недоумение? Потому, что только великим дано понять: правило сильнее всего… исключением из него!

Биография Лежнева была, мягко говоря, небезупречной. В молодости увлекался идеями большевиков, состоял в РСДРП, но, как и многие, в годы реакции отошел от активной политической деятельности. После революции сотрудничал в партийно-советской прессе, но в период нэпа руководимый им журнал «Новая Россия» вызвал резкую критику петроградского руководства и даже попытку закрыть его уже после выхода второго номера. В мае 1922 года Сталин направляет записку всем членам Политбюро, в которой излагает указание Ленина в трехдневный срок прочитать № 2 «и голосовать следующее его предложение. Отменить закрытие, найдя удобную форму отмены, и выждать еще пару номеров, а о Лежневе собрать подробные сведения»[68].

Журнал продержался до 1926 года, но все же был закрыт, а его редактору предложили выехать за границу.

Работая в советском торгпредстве в Берлине, Лежнев много размышлял над тем, что происходит в стране, и в итоге написал большую автобиографическо-публицистическую книгу «Записки современника», в которой доказывал органичность своего прихода к марксизму сквозь лабиринт разнообразных идеологических и политических течений — от ницшеанства и веховщины вплоть до сменовеховства.

Как автор книги, Лежнев был принят в ряды Коммунистической партии, причем существует версия, что одну из рекомендаций ему дал сам Сталин (видимо, «подробные сведения» пригодились).

Безусловно одаренный профессионально, зрелый критик, Лежнев теперь должен был беспрекословно выполнять как редактор соответствующего отдела «Правды» то, что сочтет необходимым Верх.

Указаний ждать долго не пришлось. 17 января 1936 года Сталин встретился и побеседовал с создателями спектакля «Тихий Дон» в Большом театре. Указал, что сцену художник оформил в духе конструктивистских пережитков. Указал на опасность чуждого народу формализма, особо выделив это слово.

А спустя десять дней, 28 января, в «Правде» появилась разгромная статья об опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».

Почему для удара было избрано именно это произведение, родившееся, кстати сказать, не вчера (закончена опера была еще в 1932 году)?

Общеизвестно, что в музыкальном наследии гениального композитора опера «Леди Макбет Мценского уезда» занимает особое место. Но неожиданности возникают, как только мы несколько шире раздвинем привычные рамки: опера — статья «Сумбур вместо музыки» в «Правде» — травля композитора и ее последствия. В обстоятельной статье И. Якубова «Ода и реквием неосуществимой любви» («Культура», 21. 09. 96) прослежена история триумфа оперы в стране и за рубежом и скандального ее погрома, учиненного по личному указанию Сталина. В редакционной статье «Правды» Шостаковичу вменялось в вину то, что сочинению его якобы присуще «левацкое уродство». Музыка якобы превращается в «грохот, скрежет, визг, шум, крик», «дебри музыкального сумбура». «Классовой политической уликой было и утверждение о родстве музыки Шостаковича с джазом, — пишет М. Якубов, — поскольку с подачи Максима Горького джаз в СССР именовался „музыкой толстых“, читай — „буржуев“». Таким образом, выдвигается тезис об определенной причастности Горького к походу против Шостаковича.

Нет нужды доказывать сегодня, что Горький впадал в суждениях о джазе в явную односторонность. Можно было бы напомнить и другие проявления определенной ограниченности эстетических воззрений писателя.

Идеология усиленно внедряла тогда в общественное сознание принципы «партийности», «классовости», «народности». Немалую роль в осуждении художественного строя музыки Шостаковича

играли и личные вкусы Сталина. Эталоном для него служила традиционная народная песня, способная услаждать слух во время пиршественных застолий…

Горький в ту пору не раз говорил о необходимости пропагандировать сокровища музыкального фольклора. Подтвердилось это и во время посещения Сталиным со свитой дома Горького в ту пору, когда его гостем был Ромен Роллан. В своем дневнике 4 июля 1935 года Роллан записывает: «Сталин вместе с Горьким касается слабого развития народной музыки». Роллану кажется даже, что в Горьком, несмотря на обеспеченный ему властью пышный образ жизни, продолжает жить сожаление «об ушедших временах и о прекрасных песнях, которые пели во времена работы». Как тут не вспомнить разгрузку барж на Волге!

Что же касается оперы «Леди Макбет…», то для Сталина неприемлем был и ее сюжет, рассказывающий о поступках явно неординарной женщины, нарушающей общепринятые нормы морали. И это в пору, когда необходимо всеми средствами воспевать новую советскую семью!

Спустя четыре дня после того, как великий вождь посетил дом Горького, приехала сюда большая группа музыкантов: Ю. Шапорин, проф. Г. Нейгауз, А. Гольденвейзер, В. Шебалин, А. Хачатурян, Л. Книппер, М. Старокадомский и другие — цвет советской музыки.

Некоторые из приглашенных исполняли свои произведения. Роллан в целом дал услышанному довольно сдержанную оценку: «Ничего особенно оригинального». Однако добавил: «Среди молодого поколения есть два заметных композитора: один — Шостакович — не приехал (его прелюдии, исполненные Нейгаузом, лучшее из того, что мне довелось услышать…) и второй — Шапорин»… Как свидетельствует присутствовавший на встрече немецкий композитор Ганс Эйслер, Нейгауз исполнял прелюдии Шостаковича по просьбе Горького.

Значит, Горький был знаком с творчеством Шостаковича раньше? Да, так и есть. И — высоко ценил его (чему отнюдь не мешало пристрастие к народным песням). В воспоминаниях Шапорина содержится драгоценное свидетельство: Горький присутствовал на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. «Горького восхитила ария Катерины (из второй картины), сцена в полицейском участке и все последнее действие. Это действие особенно тронуло писателя, он утирал набежавшие слезы». После окончания спектакля писатель долго беседовал о нем с В. Немировичем-Данченко.

Мало того, еще до премьеры, состоявшейся в январе 1934

года, в письме Роллану, отправленном в июле 1933 года, Горький сообщал о том, что высылает другу лучшие произведения молодых советских композиторов — того же Шапорина — «Декабристы», и Шостаковича — «Леди Макбет Мценского уезда» и «Нос». Но воистину мир тесен! Желая поспособствовать постановке пьесы драматурга Марии Левберг, Горький сообщает ей о некоем «талантливом режиссере». Оказалось, это Георгий Инин, работавший вместе с Шостаковичем над либретто «Носа»!

Да, в Горьком жил не только скиталец по Руси, на что настойчиво обращает внимание Роллан, пытаясь постичь духовную драму Горького. Он стал выдающимся интеллектуалом, обладавшим воистину энциклопедическими знаниями, высокой осведомленностью во всех сферах художественной культуры, включая и музыку. «Он глубоко чувствовал и любил музыку» (Ю. Шапорин), «Музыку Алексей Максимович страшно любил» (А. Спендиаров). Глубокое наслаждение испытывал он, слушая Баха, Бетховена, Грига… Что же касается значения народной песни, о чем Горький рассуждал в присутствии Сталина то, помимо искреннего увлечения ею, говорил в писателе и опытный дипломат.

Опера Шостаковича быстро завоевывала западного слушателя. Одна за другой последовали премьеры в Буэнос-Айресе, Копенгагене, Лондоне, Цюрихе, Стокгольме, Братиславе, Филадельфии, Праге, Загребе… Очевидно, определенную роль в продвижении оперы на зарубежную сцену сыграл Роллан, имевший чрезвычайно высокий авторитет в музыкальных кругах Запада. Надо ли напоминать, что помимо писательской известности лауреат Нобелевской премии был признан крупнейшим музыковедом, получившим прекрасное специальное образование.

В 1935 году, уже после проведения писательского съезда, Горький, этот негласный министр культуры (Роллан: «руководитель и цензор культуры в целом») начал активно укреплять контакты с деятелями искусства. В его резиденции проходили многолюдные встречи-совещания с художниками, кинематографистами, архитекторами. О композиторах уже говорилось выше. Горький стремился к приближающемуся 20-летию Октября консолидировать силы художественной интеллигенции и представить ее достижения. Сталин прекрасно знал об этих «сборищах», как, впрочем, знал он обо всем, что происходит в бывшем особняке Рябушинского или на даче в Горках. Усиление горьковского влияния вовсе не входило в расчеты вождя.

В пору, когда готовилась кампания против оперы

Шостаковича, суждения Горького, однако, уже переставали звучать как мнение признанного авторитета. Более того, сохраняя, когда надо (особенно для воздействия на именитых иностранных гостей), видимость дружеских отношений, Сталин переходил к активным действиям против Горького. Вождя совершенно не устраивали его попытки известной широты художественных исканий, самостоятельность творческой личности. Напротив, полагал великий вождь, искусство должно обслуживать государственные интересы в четко заданных рамках. И — ни шагу в сторону! Мы знаем, чем оборачивались попытки сделать такой шаг, приравниваемый к идеологическому «побегу».

Первым стратегическим ударом по художественному «инакомыслию» стала оценка вождем Маяковского как лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи.

Шостакович в этом смысле как раз подавал дурной пример. На первых порах он, подобно крупнейшим художникам революции Маяковскому и Мейерхольду, Эйзенштейну и Таирову, рассматривал искусство как средство непосредственного вторжения в действительность. Писал музыку к агитационным спектаклям, оркестрово-хоровые панно, где воссоздавалась атмосфера митинга с громовыми речами ораторов, воспроизводилась мажорная ритмика праздничных шествий и демонстраций. В соответствии с этими принципами создавались и симфонии — Вторая, Третья.

В 1929 году состоялось личное знакомство Шостаковича с Маяковским. Щуплый и стеснительный, напоминающий подростка, предстал он перед знаменитостью, «детиной высоченного росту», по выражению одного из современников. Поклонник поэта с мальчишеских лет был польщен просьбой написать музыку к комедии «Клоп», которая, впрочем, не очень-то пришлась ему по душе. Но еще более озадачили конкретные пожелания. «Странное впечатление» произвела просьба написать музыку к первой части в духе «пожарных оркестров». А говоря о второй части, Маяковский «просил, чтобы она была простой, как мычание, чтобы не было никаких особенных эмоций»…

Человек в высшей степени деликатный, Шостакович в своих воспоминаниях смягчает впечатление от подобных пожеланий, которые «вначале изрядно огорошили» его. (Вспомним и такую немаловажную подробность: писаны воспоминания композитора в 1940 году, когда в соответствии с мудрыми указаниями вождя — всего лишь пятилетней давности, делалось все для восславления Маяковского.) Между тем в душе молодого композитора уже формировались иные представления о том, какой должна быть современная музыка.

И вот, в 1931 году двадцатипятилетний композитор дерзко заявил в печати о засилье халтуры в агитискусстве, причем обвинение такого рода было не только актом критики, но и самокритики. Теперь Шостакович ставил перед собой принципиально иные задачи: углубленного философского познания мира, человека, погруженного в драматические коллизии XX столетия. Великолепным выражением этой переориентации и стали опера «Леди Макбет Мценского уезда» (1932) и Четвертая симфония (1936). Как пишет Г. Орлов, автор фундаментальных монографий «Симфонии Д. Д. Шостаковича» (1951) и «Русский советский симфонизм» (1966), «это была первая великая опера и первая великая симфония, появившаяся в России после революции». Произведения оказались вершинами его внутренней свободы, — заключает искусствовед.

Вот это-то и было абсолютно неприемлемо для Сталина. Как можно допустить демонстративный отход от традиций Маяковского, последовательно обслуживавшего власть! «Правда» объявила, что опера Шостаковича не только «сумбурна», но и «абсолютно аполитична».

Представляется, что Шостакович стал жертвой тоталитаризма не только потому, что писал «неправильную» музыку. Но еще и потому, что как выдающегося композитора аттестовал его именно Горький. «Правда» должна была выступить против Шостаковича еще и потому (а может быть, уже потому), что Горький был «за».

Сталин уже выпестовал особую категорию исполнительных чиновников, которые чуяли «крамолу» за версту. А что, как не крамола — попытка уйти от выполнения нужных руководству задач общественного строительства, прикрываемая всякими там разговорчиками об эстетической специфике искусства? Статья об опере Шостаковича с более чем красноречивым названием была первой из знаменитого цикла проработочных статей 1936 года, предваряющих последующие сталинско-ждановские расправы над неугодными тенденциями в искусстве и их персональными выразителями. «Опасность такого направления в советской музыке, — провозглашала „Правда“, — ясна. Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Мелкобуржуазное „новаторство“ ведет к отрыву от подлинного искусства, от подлинной литературы».

Удар по противнику должен быть не только точным, но и массированным. Один выстрел — это все-таки один выстрел, даже если нанесен из главного орудия. Совсем другое дело — залп. Тут количество переходит в качество.

И вот в «Правде» одна за другой появляются статьи: 6

февраля — «Балетная фальшь», 20 февраля — «Какофония в архитектуре» и, наконец, 1 марта — «О художниках-пачкунах».

Что касается кинематографа, наиболее массового из искусств, — вождь еще раньше сделал его предметом персональной опеки, многие сценарии читал с карандашом в руках. Характерен такой случай. В 1934 году вышла лента М. Дубсона «Граница», восхитившая Горького и Роллана и удостоенная положительной рецензии в «Правде». Горький ставил ее выше «Чапаева», признанного картиной эталонной (был даже брошен характерный для того времени лозунг: «Создадим „Чапаева“ о колхозном строительстве!»). Реалистический фильм о жизни пограничного с СССР еврейского села очень интересен и характерами, и деталями местечкового быта, и своеобразным юмором. Фильм, однако, недолго продержался на экранах, а в 1938 году Дубсон вынужден был сменить Ленфильм на тюремную камеру. Можно было бы привести печальные примеры из опыта А. Довженко и других режиссеров…

Литература, однако, требовала особого внимания. Но вот тут возникает осложнение. Он, Горький! Печатать руководящую статью о литературе без его ведома нельзя. Будет выглядеть как явный вотум недоверия. Но и говорить с ним на эту тему трудно. Может проявить неуправляемость. Вот и приходилось пока ограничиваться выступлениями относительно частного характера. Вслед за последней из четырех статей цикла, первомартовской, «Правда» неделю спустя ударила по Булгакову. Статья о Мольере получила название в духе складывающейся на глазах тенденции: «Внешний блеск и фальшь содержания». Но Хозяин отлично понимал, что именно литература среди других видов искусства является главным источником инакомыслия.

В это время Сталин уже не ограничивался личными указаниями, вмешательствами. 17 января 1936 года был учрежден Комитет по делам искусств при СНК СССР, призванный осуществлять жесткую систему руководства художественной культурой.

Председателем Комитета был назначен Платон Керженцев, партфункционер, руководивший перед этим Всесоюзным радио. Сколь глубоко и творчески понял он свои новые функции, говорит один из первых шагов, предпринятых им. В секретной докладной записке Сталину и Молотову он сообщал о содержании беседы, проведенной им с опальным композитором. «Я ему посоветовал по примеру Римского-Корсакова поездить по деревням Советского Союза и записывать народные песни России, Украины, Белоруссии и Грузии». (Ну, как же обойтись без республики, породивший любимую песню вождя «Сулико»!)

Мало того, услужливый чиновник предложил гениальному композитору «перед тем, как он будет писать какую-нибудь оперу, или балет, приносить нам либретто и в процессе работы проверять отдельные написанные части перед рабочей или крестьянской аудиторией». (Как раз в эти времена Ильф и Петров писали в одном из своих фельетонов: «В каждом деле найдется свой дурак, который аккуратно доведет его до абсурда»).

Впрочем, через два года выяснится, что Керженцев в разгроме «формалистического театра Мейерхольда» будет недостаточно активен, а потому с позором изгнан с занимаемой должности. А на смену ему придет молодой и более смекалистый Михаил Храпченко, которого сделают позже и академиком, и лауреатом Ленинской премии…

Но вернемся к Горькому.

Он, в сущности, оказался в безвыходном положении: ему затыкали рот. К тому же он безвыездно жил в Крыму, которым правительство заменило ему Италию, и самоотверженно форсировал завершение «Жизни Клима Самгина», словно ощущая нарастающую нехватку времени…

Но играть в молчанку без конца было глупо: какие-то контакты с этим вождем, за неимением другого, поддерживать было необходимо. Тем более, что статья о Шостаковиче в «Правде» от 28 января появилась в «сопровождении» горьковских выступлений. Двадцать шестого была напечатана его статья «От „врагов общества“ — к героям труда», а сразу же после «Сумбура»…, на другой день — приветствие Р. Роллану по случаю 70-летия. Что может подумать друг у себя в Вильневе, услышав переводы всех этих публикаций из уст верной супруги Марии Павловны? Кто как не Роллан знал о его преклонении перед Шостаковичем! 17 февраля Горький пишет Сталину. Просит помочь двум изобретателям, работа которых требует внимания ввиду ее государственной значимости. Заканчивается письмо горячим одобрением успехов развернувшегося под непосредственным руководством ЦК стахановского движения.

Не то что о Шостаковиче, вообще ни о литературе, ни об искусстве — ни слова. Как будто никакой правдинской статьи вообще нет в природе!..

Между тем страсти в среде интеллигенции накалялись. Художественная общественность столицы прореагировала на статью очень активно. В справке Секретно-политического отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, подготовленной не позднее 11 февраля 1936 года, излагаются суждения писателей.

В. Гроссман (прозаик): «По моему мнению таких статей писать нельзя. Шостакович, по моим сведениям, еще крепится, к тому же за него — Европа. Но все же ему сделали незаслуженно тяжелую участь».

Андрей Платонов (прозаик): «В области искусства у нас строится все случайно, иногда на личной почве. Пример — рецензия в „Правде“: „…Ведь пьеса идет больше года, все ее вовсю расхваливали, и вдруг такой анонимный разнос. Ясно, что кто-то из весьма сильных случайно зашел в театр, послушал, ничего в музыке не понимая, и разнес. Действительно выходит дико…“»

В. Канторович (прозаик): «Я считаю, что статья о Шостаковиче — очень грозный признак. И так как там есть намеки и о „мейерхольдовщине“, и о левых трюках в поэзии, я думаю, что это начало к возврату рапповских времен. Под флагом борьбы за простоту будет создана какая-то негласная цензура еще хуже, чем РАПП».

К. Доброницкий (член ВКП(б)) (литератор): «Статья помещена Мехлисом после звонка из ЦК. Это прямая директива — бороться с формальными изысканиями… Теперь все композиторы будут писать песенки для народа. У нас если наверху скажут „а“, то внизу произнесут всю азбуку».

А. Штейнберг (поэт): «Это нельзя назвать иначе, как хулиганским наскоком, причем ужасно то, что нельзя даже защищаться».

А. Гатов (поэт и переводчик): «Редактора теперь начнут во всем видеть опасное новаторство. В литературе и искусстве будут процветать натурализм, дурная панферовщина…» (Ах, как жаль, что Горький не мог услышать из всего сказанного хотя бы этого, последнего словечка!).

Напомним еще раз, что записка о подобных умонастроениях писателей (очевидно, по доносам сексотов) поступила в ЦК не позднее 11 февраля, да еще с многозначительной пометкой начальника отдела: «Г. Ягоде доложено». На литературном небосклоне начинали сгущаться тучи тридцать седьмого года…

10 марта (а потом еще 26 и 31) пройдет общемосковское собрание «писательской общественности», на котором выступления будут звучать совсем иначе. Некоторые авторы, которых уж никак нельзя было упрекнуть в формализме, например А. Толстой, на ленинградском «антиформалистическом» собрании не без цинизма говорил: «уж

лучше я сам себя, в порядке самокритики, обругаю за формализм, чем это будут делать другие».

Как раз в это время, в начале марта 1936 года, М. Кольцов привозит к Горькому в Тессели Андре Мальро и Исаака Бабеля.

А. Мальро приехал к Горькому как представитель французского объединения писателей, чтобы обсудить с ним вопросы дальнейшей работы Международной ассоциации в защиту культуры.

Горькому было о чем поговорить с гостем. Личностью тот был явно незаурядной. Не случайно Р. Роллан в письме Горькому от 28 декабря 1934 года относит Мальро к числу писателей, «настроенных прокоммунистически» и особо выделяет его из немногочисленной пока группы единомышленников. «Наиболее блестящими (похожими на блеск стали) данными духовного вождя обладает Мальро: у него, пожалуй, не только самый мужественный талант, но и больше всего опыта отважной борьбы! Я опасаюсь только вспышек его лихорадочного темперамента „конквистадора“.

Однако переговоры с французским гостем протекали трудно. Разногласия касались „новой энциклопедии“, замысел который вынашивался на родине знаменитых энциклопедистов XVIII века. Да это и не удивительно, так как зарубежных партнеров многое не могло устроить в позиции россиян, явно лишенных свободы подхода к отбору материала, когда все в стране было подчинено идеологии.

Однако, как говорится, нет худа без добра. Французский „конквистадор“ не обошел вопроса, который наконец дал повод Горькому коснуться моментов, давно доставлявших ему душевную боль. И вот сразу после отъезда Мальро, 10 марта, он пишет письмо Сталину.

Сначала Горький подробно характеризует Мальро по собственному впечатлению и отзывам о нем Бабеля, подолгу проживавшего в Париже: „С Мальро считаются министры и… среди современной интеллигенции романских стран этот человек — наиболее крупная, талантливая и влиятельная фигура, к тому же обладающая и талантом организатора“.

„Т. Кольцов сообщил мне, — продолжает Горький, — что первыми вопросами Мальро были вопросы о Шагинян и Шостаковиче. Основная цель этого моего письма — тоже откровенно рассказать Вам о моем отношении к вопросам этим“. По этому поводу я Вам еще не надоедал, но теперь, когда нам нужно заняться объединением европейской интеллигенции, — вопросы эти должны быть поставлены и выяснены».

Надо полагать, Горький потирал от удовольствия руки,

получив, наконец, возможность высказать диктатору то, что думает о Шостаковиче и решил отказаться от разговора о Шагинян, история с которой носила хоть и скандальный, но узкоместный характер…

История же с Шостаковичем имела для Горького принципиальное значение, так как касалась самых ключевых проблем художественного творчества и его свободы, исключающей насилие над ним, огласка ее уже приобретала характер международного скандала, в чем в общем-то Сталин не мог быть заинтересован.

Вот этот-то козырной туз и спешит разыграть теперь воспрянувший разом Горький. «Вами во время выступлений Ваших, а также в статьях „Правды“ в прошлом году неоднократно говорилось о необходимости „бережного отношения к человеку“. На Западе это слышали и это приподняло, расширило симпатии к нам.

Но вот разыгралась история с Шостаковичем. О его опере были напечатаны хвалебные отзывы в обоих органах центральной прессы и во многих областных газетах. Опера с успехом прошла в театрах Ленинграда, Москвы, получила отличные оценки за рубежом. Шостакович — молодой, лет 25, человек, бесспорно талантливый, но очень самоуверенный и весьма нервный. Статья в „Правде“ ударила его точно кирпичом по голове, парень совершенно подавлен. Само собою разумеется, что, говоря о кирпиче, я имел в виду не критику, а тон критики. Да и критика сама по себе — не доказательна, „Сумбур“, — а почему? В чем и как это выражено — „сумбур“? Тут критики должны дать техническую оценку музыки Шостаковича. А то, что дала статья „Правды“, разрешило стае бездарных людей, халтуристов всячески травить Шостаковича. Они это и делают. Шостакович живет тем, что слышит, живет в мире звуков, хочет быть организатором их, создать из хаоса мелодию. Выраженное „Правдой“ отношение к нему нельзя назвать „бережным“, а он вполне заслуживает именно бережного отношения как наиболее одаренный из всех современных советских музыкантов».

Отдадим должное Горькому-дипломату: он противопоставил Сталину — «вдохновителю и организатору» статьи «Сумбур…» Сталина, провозглашающего необходимость бережного отношения к человеку. Все те гневные филиппики, которые звучат дальше, направлены словно бы в адрес «бездарных людей, халтуристов», которые, конечно же, подлежат осуждению с позиций Сталина-гуманиста, лучшего друга всех трудящихся и т. д., и т. п. Да еще перед лицом прогрессивного общественного мнения Запада в пору, когда так необходима консолидация с ним!

Сталин сам себе устроил ловушку! Нельзя же в самом деле оставлять без внимания такие статьи, поносящие интеллигенцию, когда в воздухе уже пахнет военной угрозой!..

И 9 апреля Горький выступает в «Правде» со статьей «О формализме». В ней — ни словечка одобрения руководящих указаний, ничего о повсеместно развернувшейся в стране кампании по борьбе с «антинародными» явлениями в искусстве и литературе. Как и в докладе на съезде, сделав экскурс в историю художественной мысли, к каким же выводам подводил Алексей Максимович Горький своего читателя? «Приблизительно 500 лет буржуазия проповедовала гуманизм, говорила о необходимости воспитывать в людях чувства добрые: терпения, кротости, любви к ближнему и т. д. Ныне весь этот мармелад совершенно вышел из употребления, забракован и заменен простейшей формой укрощения строптивых: строптивым рубят головы топором. Это, конечно, не лучшая форма лишения человека способности мыслить».

Вряд ли надо доказывать, что подобные пассажи имели достаточно ощутимый полемический подтекст. Сталинское письмо пошло в Крым только 17 апреля. Подрагивающими от нетерпения руками Горький распечатал конверт. Как всегда, разом скользнул по листу, улавливая общий смысл и сразу испытал чувство острого разочарования.

> Здравствуйте, дорогой Алексей Максимович!
>
> Прошу извинения, что не мог ответить на Ваши письма. Был безбожно занят, замотали меня бесконечные совещания и приемы делегаций, потом хворал гриппом, потом должен был заняться разработкой вопросов конституции СССР, потом опять хворал гриппом и т. д. и т. п. Кроме того, я свински ленив по части переписки.
>
> Как чувствуете себя? Как идет у Вас работа? Говорят, много работаете. Когда думаете приехать в Москву — до или после маевки?
>
> Что касается меня и моих друзей, — чувствуем себя хорошо, так как дела идут у нас недурно.
>
> Я здоров.
>
> Желаю Вам здоровья и бодрости.
>
> Крепко жму Вашу руку, дорогой Алексей Максимович.
>
> *И. Сталин.*

Какого угодно, но только не такого ответа ждал Горький. Было в письме что-то снисходительное, самодовольно-ерническое. «Ты ждешь-не дождешься одного? Так на, получи совсем другое!»

«Ленив по части переписки»?.. Ничего ни о письме про Шостаковича, ни даже про статью!

В праздничный день «маевки» Горький пишет ответ. В начале этого пространного послания подхватывает тему адресата, — о здоровье. А поскольку вождю «читать, конечно, некогда», информирует его о делах в литературе. «Положение в литературе нашей возбуждает у меня стыд и тревогу. Об этом я так часто говорю, что Вас уже не стану оглушать моими воплями и „скрежетом зубовным“. Приеду в Москву во второй половине мая и сделаю Вам кое-какие предложения о необходимости реорганизовать армию писателей наших, в большинстве лентяев, трусов, рвачей. Партийное руководство представлено в Союзе плохо, недостаточно грамотно, не авторитетно. Определенная линия неуловима. В „Правде“ случаются „катастрофические изменения ее литературных мнений“».

Вождь не мог не понимать, что это уже камешек в его огород. Приводил Алексей Максимович в качестве примера разноголосицу мнений по поводу пьесы «Глубокая провинция» автора знаменитой «Гренады». Сначала это был «яркий спектакль» (рецензия 17 декабря 1935 года). Но уже 27 февраля следующего года газета совершила, как говорят во флоте, «все вдруг». Абсолютно неожиданно выяснилось, что пьесе не хватает «простоты и народности» (а именно этого-то и требовала статья о «сумбуре» в музыке).

Не успел Сталин проглотить эту пилюлю, как его ожидал новый сюрприз. Оказалось, что эти-то перепады оценок в ЦО якобы и дезорганизуют литераторов, особенно молодых. И — даже очень! «Чтобы Вам вполне ясно было, о чем идет речь, — разрешите предложить образчики неряшливой и малограмотной редактуры…»

И какую же книгу выбрал для удара Алексей Максимович? Роман «Как закалялась сталь» Николая Островского.

Нехотя признав в ответном письме, что молодой литературе «нередко не хватает элементарной грамотности», вождь тем не менее подвел итог: книга Островского для нашей литературы представляет «большой и серьезный плюс». (Это при нехватке-то элементарной грамотности!)

Разве мог вождь не испытывать раздражения, чувствуя, как ему изменяет его железная логика, которой он так гордился?!

Став во главе Союза писателей, Горький видел свою задачу в том, чтобы литература, которую называют художественной, являлась именно искусством и боролся за высокий профессионализм писателей. И тут он был беспощаден. И к другим, и в первую очередь к себе.

Сталина не интересовали профессиональные тонкости. В литературе видел он главным образом орудие социальной борьбы, требовал неукоснительного следования партийным установкам. Во имя этого вполне можно было закрыть глаза на «отдельные недостатки формы».

Примирить два этих подхода было невозможно…

Весьма пространное горьковское письмо от 1 мая сопровождала дополнительная и еще более пространная записка. Перечисляя неотложные дела, Горький словно стремился доказать не только их значительность, но и невозможность их осуществления без активного участия Сталина. Сколько замечательных проектов все еще рождалось в голове этого человека, еще недавно отметившего свое 68-летие! В этом возрасте житейской мудрости Горький продолжал быть наивным, как ребенок. Он так и не понял, что больше *не нужен Сталину*. Что вождь все вопросы теперь будет решать сам, а для этого в стране установилась атмосфера прочного единомыслия. И уж тем более он так и не понял, что теперь *мешает Сталину*.

Обмениваясь последними письмами, ни тот, ни другой не могли знать, что жить писателю оставалось меньше двух месяцев. Но как только по приезде в Москву в начале июня Горький заболеет, прозорливый вождь почувствует, что Горький уйдет из жизни не позднее 18 июня. Когда на встречу с ним, вслед за Мальро, будут рваться еще два француза — вольнодумец Андре Жид и коммунист Луи Арагон. А допустить этого никак нельзя. И тогда Сталин вспомнит про баронессу Будберг…

Горький немало сделал для упрочения авторитета Сталина, для пропаганды тех методов строительства нового, которые Сталин считал единственно приемлемыми. Но Сталин никогда не ощущал в Горьком абсолютно надежного союзника. В нем всегда таилась опасность неуправляемости.

Без конца пишет и пишет свой нудный роман. И о ком? О каком-то ничтожестве Самгине. И не может выкроить время, чтобы написать о Нем, вожде, перед которым преклоняется народ и от имени которого в ужас приходят враги. Разве не Его жизнь — самый бесценный материал для создания образа положительного героя?

Не может выкроить время, хотя ему представлены все необходимые документы? Не может… Или не хочет?

Это становится уже подозрительно… Если угодно, попахивает саботажем.

Правда, книгу о Нем написал другой писатель. И какую книгу! Панегирик! «Сталин — это Ленин сегодня!» Именно такую мысль надо внушать теперь, и Анри Барбюс прекрасно справился

с этой задачей. Но саднящее, как заноза, чувство все нарастающей неудовлетворенности, в отдельные моменты доводившее почти до бешенства, не оставляло его.

ГЛАВА XXX
Костер в пепельнице, или Тайна смерти писателя

Приехал Горький из Крыма в Москву 27 мая. 1 июня, после посещения могилы сына, почувствовал себя плохо. Поднялась температура. Заболел настолько тяжело, что между 3-м и 5-м пришлось срочно созывать консилиум, в котором участвовал специально приехавший из Ленинграда профессор.

А 18 июня его не стало. В 2 часа 30 минут.

Две эти даты — 1 и 18 июня — разделяет тайна, не разгаданная до сих пор… Попытаемся же приподнять ее покров.

…О смерти в последнее время Горький думал все чаще. Нет, не боялся ее. Пытался понять ее как финал прожитой жизни.

О чем думал Горький, вспоминая прошлое? Вряд ли его мысль, как и мысль любого человека на пороге небытия, могла миновать детство.

…Одно время, незадолго до того, как пойти «в люди», в обувную лавку купца Порхунова, жил он на окраине, на Канатной. Вместе с приятелями купался в грязном пруду, яростно дрался с мальчишками. И — ловил птиц! Вот тогда-то он и начал понимать, что птица — одно из самых удивительных творений природы.

Поздней осенью, когда щеглы и снегири так охотно идут под сетку и в чапки, в оврагах около Канатной строились «усады»… Часами простаивали ребята-птицеловы, передрогшими губами подманивали красногрудых снегирей, подражая их свисту…

Алеша Пешков начал как заядлый птицелов, чтобы Горький потом стал заядлым птицелюбом. Для него, выходца из затхлой среды мещанства, закованного, как в клетку, в интересы приобретательства и накопительства, птица, более чем для других, становилась символом движения, стремительного полета, неодолимо манящего простора — символом свободы. Наверно, он не раз вспоминал беднягу-воробья, которого задушил двоюродный брат… Это одна из наиболее сильных сцен его автобиографической трилогии.

А сам он своих пернатых друзей держал, обхаживая и обильно кормя, в конечном счете ради того заветного мига, когда весенним солнечным деньком дверцы клетки распахнутся и пернатое создание, еще не веря в возможность свободы, вспрыгнет на жердочку, которую уже ничто не отгораживает от

бездонного океана неба, и, поняв наконец, что произошло, стремительно бросится в этот пьяняще бездонный океан…

На Полевой в зиму 1900 года он развел целый «птичник», заказав ряд клеток разной величины. Частенько ходил на балчуг, подолгу беседовал с птицеловами и выбирал синиц разных пород, корольков, московок, дятлов — и развел у себя целый птичий поселок. Рассаживал в разные клетки, по породам и содружествам, давал разный корм, сменял воду и чистил клетки, а весной все это пернатое население выпускал на волю…

Еще в 1893 году написал Горький аллегорию «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины». Два года спустя возникла «Песня о Соколе». А в 1899 году, здесь, в доме Курепина, создает ее новую редакцию, в которой появились слова, ставшие знаменитой формулой героизма: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни»…

Безумство храбрых… Да, нередко он проявлял его и говорил теперь об этом с чистой совестью. Нередко, но — всегда ли? Особенно — в последние годы… И не превратился ли тот же столь не любезный его сердцу помпезный особняк миллионера Рябушинского в золоченую клетку?

Когда-то он любил жечь в степи костры. Привычку эту пронес через всю жизнь. Может, и любил он больше всего огонь и птицу? Ведь костер напоминал ему прекрасную жар-птицу, рвущуюся куда-то в неведомое. А теперь ему было дозволено любоваться только одним видом костра — тем, который тихо поедал в пепельнице обгоревшие спички и окурки…

Мог вспомнить он и то, что писал еще в начале 20-х годов Роллану, гостившему у него всего какой-то год назад. «Жить очень трудно, дорогой друг, до смешного трудно. Особенно — ночами, когда устаешь читать, а спать — не можешь. Там, на родине, воют вьюги… землю засыпает снег, людей — сугробы слов. Превосходные слова, но — тоже, как снег, и не потому, что они так же обильны, а потому, что холодны. Когда фанатизм холоден, он холоднее полярного мороза».

И ему самому становилось зябко от сознания того, что и он сказал немало слов, пусть и мажорных, душеспасительных внешне, но холодных внутри.

Чувствуя приближение смерти, в июне 1936 года Горький начал пристально следить за собой, за тем, как происходит умирание. Он все еще надеялся, «выскочив», снова сесть за этот привычный для него, выше обычного — чтоб не сутулиться, — письменный стол и описать случившееся…

Сам того не желая, по разным поводам, начинал все чаще думать о смерти в последние год-два. Как-то посетил мастерскую

своего давнего знакомого, отличного живописца Нестерова. Обратил внимание на портрет «Девушка у пруда», написанный еще в 1928 году. С сочувствием отметил новый ее настрой — не монастырский, а связанный с общественной активностью личности. Однако для своего дома в Горках приобрел нестеровский же портрет «Больная девушка»… Скорее всего — безнадежно больная…

Еще раньше, пространно и заинтересованно откликаясь на письмо Каменева об издании «Биографии идей», скептически отнесся к возможности материалистически построить «биографию» «идеи бессмертия», расценил ее как идею церковную…

Не боясь смерти, понимал, однако, что она — не просто переход из бытия в небытие. Смерть не миг, когда перестает биться сердце. В сущности, начинается смерть с нежелания жить…

А вообще, его все больше волновали глобальные вопросы. Он словно силился подняться на какую-то небывалую дотоле высоту, чтобы представить Мир в целостности. Набросал на листке:

«Загадка бытия.
Человек и космос.
Искусственное ограничение количества и
качества мыслящей энергии.
Первое в космосе обиталище органической жизни».

Мысль его уносилась дальше, чем у кого-либо из современников. А вдуматься — так она была привязана к земле какой-то фатально неустранимой связью… «Искусственное ограничение количества и качества мыслящей энергии…» Не об этом ли все четыре статьи в «Правде», которые громом громыхнули в начале года? Ограничение энергии и — направление ее остатков в нужное Хозяину русло?.. И опять мысль рвалась в запредельные дали, туда, где бытие переходит в небытие…

Как-то разговорился с профессором Н. Бурденко о жизни и смерти, возможностях медицины и задачах, встающих перед ней, о необходимости создания «биологической философии человека». А в итоге свернул на традиционное: «Врач должен уметь оздоровить больную, часто патологическую психологию пациента. В этом залог успеха врача в борьбе с болезнью, которая должна уступить место здоровью, норме».

В здоровом теле — здоровый дух, говорили древние. Можно сказать и наоборот: здоровый дух — условие здоровья тела. А его дух в последнее время все больше и больше одолевали мучительные сомнения и противоречия…

Писатель исследует жизнь до последнего дыхания. Когда он совсем уже не может обогащаться новыми фактами извне, он обращает взор в глубь собственной души, вступающей на грань небытия. Карандашом на маленьких листочках, подложив книгу Е. Тарле «Наполеон», — последнюю из тысяч и тысяч, прочитанных им, — писал, не соблюдая правил пунктуации: «Вещи тяжелеют книги карандаш стакан и все кажется меньше чем было…» «Крайне сложное ощущение. Сопрягаются два процесса: вялость нервной жизни — как будто клетки нервов гаснут — покрываются пеплом и все мысли сереют.

В то же время — бурный натиск желания говорить, и это восходит до бреда, чувствую что говорю бессвязно хотя фразы еще осмысленны…»

Похоже, костер жизни догорал…

…Сколько раз может умереть человек? Что за вопрос! Рождается человек однажды, проживает одну жизнь и один раз уходит из нее… Но вот уже лет двадцать тому на Западе появилась статья под громким названием «Семь смертей Максима Горького». Принадлежит она перу вполне серьезного человека, которого весьма чтут в Польше, Г. Герлинг-Грудзинскому. Он насчитал семь вариантов истолкования кончины Горького.

Многие непроясненные обстоятельства ухода писателя породили версию о его отравлении. Постепенно она прочно утвердилась в сознании современников и потомков. Эмигрант Борис Зайцев, некогда, еще в начале века, сотрудничавший с Горьким и давно разошедшийся с ним в понимании событий в России, подчеркивал в начале 50-х годов парадоксальный характер смерти писателя: «…Горький? Буревестник? Друг Ильича? Можно ли было тогда думать, что революция, которой он так жаждал, ему же и преподнесет кубок с отравой?»

Что русское зарубежье! «Кубок с отравой» вошел в сознание людей во всем мире. И, как объясняет один из видных американистов, это обстоятельство во многом определяет тональность того пиетета, которым окружено имя Горького в массовом сознании читающей Америки наших дней.

Наиболее широкое хождение получила версия о коробке отравленных конфет, якобы присланных Сталиным и поведанная профессором Плетневым, осужденным на 25 лет лагерей и высланным на Крайний Север. Выглядит версия так (привожу ее в изложении известного художника Юрия Анненкова, автора книги «Дневники моих встреч. Цикл трагедий», изданной в 1966 году в Нью-Йорке и включающей очерк о Горьком, написанный, кстати, весьма благожелательным пером).

«Тайна смерти Горького, настигшей его в СССР в 1936 году,

остается еще не разгаданной, тем более после разоблачений по поводу несуществующих „преступных заговоров“ докторов.

…Я верю… признаниям профессора Плетнева, большого медика, который вместе с некоторыми другими докторами лечил Горького…»

«Мы лечили Горького от болезни сердца, но он страдал не столько физически, сколько морально: он не переставал терзать себя самоупреками. Ему в Советском Союзе уже нечем было дышать. Он страстно стремился назад, в Италию. На самом деле Горький старался убежать от самого себя — сил для большего протеста у него уже не было. Но недоверчивый деспот в Кремле больше всего боялся открытого выступления знаменитого писателя против режима. И, как всегда, он в нужный момент придумал наиболее действенное средство. На этот раз этим средством явилась бонбоньерка, да, красная, светло-розовая бонбоньерка, убранная яркой шелковой лентой. Одним словом — красота, а не бонбоньерка. Я и сейчас ее хорошо помню. Она стояла на ночном столике у кровати Горького, который любил угощать своих посетителей. На этот раз он щедро одарил конфетами двух санитаров, которые при нем работали, и сам съел несколько конфет. Через час у всех троих начались мучительные желудочные боли, еще через час наступила смерть. Было немедленно произведено вскрытие. Результат? Он соответствовал нашим самым худшим опасениям. Все трое умерли от яда.

Мы, врачи, молчали. Даже тогда, когда из Кремля была продиктована совершенно лживая официальная версия о смерти Горького, мы не противоречили. Но наше молчание нас не спасло. По Москве поползли слухи о том, что Горького убили. Сосо его отравил. Эти слухи были очень неприятны Сталину. Нужно было отвлечь внимание народа, отвести его в другую сторону, найти других виновников. Проще всего было, конечно, обвинить в этом преступлении врачей. Врачей бросили в тюрьму по обвинению в отравлении Горького. С какой целью врачи отравили его? Глупый вопрос. Ну, конечно, по поручению фашистов и капиталистических монополий. Конец? Конец вам известен».

Свидетельство Плетнева впервые было опубликовано в 1954 году в журнале «Социалистический вестник» в изложении журналистки Бригитты Герланд, немки по национальности. Она познакомилась с Плетневым в 1948 году, работая фельдшером лагерного лазарета под началом Плетнева. Продолжалось это несколько месяцев. По-видимому, расположившись к ней и не желая уносить тайну в могилу, престарелый профессор (а было ему в то время 78 лет) доверил ее своей сотруднице.

Касаясь свидетельства Герланд, А. Ваксберг в «Литературной

газете» ставит эту версию под сомнение. Однако отметим одну неточность в изложении самого Ваксберга: журналистка якобы «описала свою встречу» с Плетневым. И вправду получается странная картина: опасающийся за свою жизнь (сколько вокруг стукачей, «вертухаев» и т. д.) врач доверяет такую тайну мало знакомому человеку при какой-то случайной встрече (где? на пересыльном пункте? в тюрьме?). Да еще иностранке! Да еще о ком — о Сталине! Да еще при его жизни! И, согласитесь, совсем другое дело, если Герланд проработала с Плетневым несколько месяцев.

О втором, более существенном аргументе Ваксберга. Он приводит данные о том, что Плетнев был расстрелян 2 сентября 1941 года в подвалах орловской тюрьмы вместе со многими другими ни в чем не повинными людьми (погибло тогда 154 человека).

Но есть ли полная гарантия, что в начале войны, в условиях стремительного наступления немцев, велся абсолютно точный учет, кого и когда расстреляли. А может, в тех-то условиях кто-то даже и захотел оставить Плетнева как очень ценного свидетеля — кто мог знать, хоть и тот же Берия, куда и как повернется колесо войны?.. И вообще, известно много случаев, когда даты трагической гибели людей фиксировались чисто условно.

Мы столь скрупулезно отметили все возможные моменты, оставляющие хоть какую-то надежду на достоверность информации Герланд, но, увы, результат один: все звучит крайне неубедительно. И прежде всего наивен сам способ: присылка конфет, да еще смерть каких-то санитаров, не подтвержденная никем. Как тут не вспомнить пресловутый торт, присланный Сталиным Крупской!

Итак, тайна пока остается тайной.

Тем не менее версия о насильственной смерти Горького становилась все более аксиоматической. И для одного из известных филологов, Вяч. Вс. Иванова, не существовало вопроса о причастности Сталина к кончине Горького. Он попытался проанализировать причины, заставившие вождя сделать этот шаг. И носит статья характерный заголовок: «Почему Сталин убил Горького?»

Автор опирался в основном на довольно известные материалы, в том числе на «Летопись жизни и творчества Горького», выходившую давным-давно и страдающую очевидной, я бы даже сказал, кричащей неполнотой, вызванной вполне понятными обстоятельствами. Зато сын известного писателя Вс. Иванова обильно использовал бытующие в литературной среде рассказы о «тайнах Кремля», зачастую нуждающиеся в

серьезном обосновании и документальном подтверждении. Не выглядит убедительной и смелая версия о том, что Горький, прежде чем стать жертвой кремлевского тирана, якобы включился в антисталинский заговор вместе с Бухариным, Рыковым и даже Ягодой (!) — настолько резкий характер будто бы приобрела оппозиционность писателя сталинскому единовластию.

И все же появление если не этой, то другой такой же статьи и со столь же энергичным заголовком было закономерно, т. к. в том же самом журнале, «Вопросы литературы», тремя годами ранее появилась статья заведующего Архивом М. Горького при ИМЛИ В. Барахова «М. Горький. Последняя страница жизни. Факты и версии». Автор отстаивает противоположную концепцию естественной смерти Горького, вызванной общим состоянием его здоровья и заболеванием в июне 1936 года. В. Барахов опирается на изученные им неопубликованные материалы о болезни, свидетельства врачей и очевидцев, что надо поставить в заслугу исследователю. Он подвергает критике первую точку зрения (появившиеся в печати в 70–80-е годы работы Г. Герлинг-Грудзинского и французского литературоведа Мишеля Нике). Между тем ученый из Нормандии собрал и проанализировал обширный материал, характеризующий общественную атмосферу 30-х годов, литературное и политическое окружение Горького, все нарастающее расхождение сталинской и горьковской линий в развитии культуры. Но медицинскими материалами он не располагал.

Так сложились две полярные концепции. Тоннель бурили с разных концов. Но горнопроходцы разминулись, изначально намечая разные маршруты. К свету истины, как мне представляется, пробиться пока так и не удалось. Не настало ли время проанализировать и как-то свести материалы и аргументы того и другого ряда? Может быть, это — нет, не слияние (избави Бог от чисто конгломеративного смешения столь разнородных по природе материалов!), а их взаимодействие породит ту энергию, которая наконец рассеет плотную завесу, окружающую тайну века? И если все же кто-то действительно убил Горького, то кто же был этот убийца? Ведь наивно было бы воспринимать название статьи Вяч. Вс. Иванова буквально.

Впрочем, если верить упоминаемой мной уже неоднократно Берберовой, убийца вроде бы вовсе не был нужен, так как «с лета 1935 года болезни держали его в абсолютной близости от смерти», и потому-де в силе остается «гипотеза естественной смерти Горького».

Но вот один из лечивших Горького врачей, М. Кончаловский, пишет: «За два дня до смерти Горький почувствовал значительное

облегчение. Появилась обманчивая надежда, что и на этот раз его могучий организм справится с недугом».

Могучий организм… Не обмолвка ли это? Или все-таки для такого заявления есть какие-то основания?

Посетивший Горького в ноябре 1927 года, за полгода до его первой поездки в СССР, и проживший в Сорренто не день-другой, а две недели и встречавшийся с Горьким ежедневно поэт Н. Асеев так подытоживает свои впечатления: «Совсем еще молод Горький. Глядя на него, никак не дашь ему больше сорока лет. (Напомню: писателю было тогда 59. — *В.Б.)* И это не в комплимент ему, не из желания сказать приятные слова. В нем нет ничего старческого, ничего брюзгливого, одряхлевшего и обвиснувшего. Отлично он тренирован жизнью, просвежен сквозняками скитаний, закален тысячами встреч, наблюдений, опытов».

Не раз сопровождавший Горького во время прогулок художник Ф. Богородский свидетельствует: «Горький, которому в то время было шестьдесят лет, был очень легок в походке (это с больными-то легкими! — *В.Б.).* Я бы даже сказал, что его походка была изящна и напоминала спортивный шаг. Фигура Алексея Максимовича, несмотря на сутулость, была очень ладно сшита…»

Но вот Горький, приехав в СССР, посетил родной Нижний Новгород. Рядом с Балахной в 1925 году выросла одна из первых в губернии электростанций. Репортер местной газеты, ни на шаг не отходивший от него, пишет: «С удивительной энергией Горький приступает к осмотру станции. Этот 60-летний человек уже много часов провел сегодня на ногах, исходил целые километры по корпусам и цехам, обливался потом в машинных отделениях и котельных. Но по-прежнему неутомим он в своей любознательности…»

Здоровье Горького резко пошатнулось в последние два года после неожиданной и загадочной смерти сына Максима. Характерный эпизод содержится в воспоминаниях К. Тренева, навестившего Горького в Крыму в мае 1936 года. «Помню, что, изучая биологию и минералогию, я всегда видел перед собой Горького с его изумительной эрудицией, и мне часто хотелось встретиться с Алексеем Максимовичем, чтобы не ударить, как когда-то, лицом в грязь. И вот я пытался навести разговор на лежащие перед ним камни. Иные камни лежали на душе и у меня, и у моего собеседника».

Воспоминаний о Горьком — горы. Но подобного рода — считанные единицы. Иногда, впрочем, они просачиваются сквозь полупрозрачную кисею иносказания. Постоянный врач Горького Л. Левин (репрессированный позже) в газетном выступлении о смерти Горького невольно (а может быть, и вольно?) сказал

больше, чем может показаться на первый взгляд: «Алексей Максимович страдал и физически и морально. Ему нечем было дышать». Согласимся, контекст формулировки такого рода имеет смысл, далеко выходящий за рамки чисто медицинской информации. Но, отчетливо понимая, что в существующих условиях столь двусмысленная формулировка недопустима, врач тотчас добавляет: «Весь его организм испытывал острый недостаток кислорода. Нам приходилось давать ему свыше ста подушек кислорода в сутки».

Ясно, что речь идет о лечении острого заболевания. Но догадливый читатель мог понять, что «кислорода» не хватало и раньше, потому что камни нечеловеческой нагрузки легли на измученную горьковскую душу.

С самого начала болезнь Горького приобрела крайне импульсивный характер. По словам Крючкова, звонившего в Москву из Горок, где лежал писатель, положение очень скоро стало «плохим». «Но в слове „плохое“, — добавляет комендант дома на М. Никитской И. Кошенков, — не все. Я знаю Крючкова, и его голос дрожал и был надломлен. Я почувствовал, что он плачет». Другой звонок: «У нас безнадежно». Дальше: «Положение лучше, чем утром». Это — из дневниковых записей Кошенкова 3–5 июня.

А на другой день, 6 июня, о болезни любимого писателя узнала вся страна. В «Правде» появился первый бюллетень о состоянии его здоровья. Будут они печататься ежедневно, кончая роковым 18 июня.

Общеизвестно, что публикации подобного рода появляются в печати тогда, когда положение больного, в сущности, безнадежно. Болезнь же Горького, как уже говорилось, протекала крайне неровно. Часто он испытывал удушье. Однако в моменты облегчений находился в полном сознании и демонстрировал завидное самообладание. Как свидетельствует лечащий врач А. Сперанский, в такие минуты Горький «выглядел бодро, говорил с обычной своей шутливостью, посмеиваясь над непривычным для него состоянием беспомощности». «Много говорил о литературе, древних культурах, исторической их преемственности», «о французской литературе и новых именах в ней»… Но это — лишь в минуты облегчения.

8 июня в доме Горького появился сам Сталин. Приход его был совершенно неожиданным… И все же — закономерным.

Неожиданным потому, что вот уже сколько времени — больше года? — он не появлялся здесь, тогда как раньше наведывался запросто и частенько. Окружающие знали, что Горький не мог даже дозвониться до вождя — настолько

неизменно был «занят товарищ Сталин».

А закономерным потому, что, какие бы ни возникали сложности в личных отношениях (чего не бывает в жизни!), в кризисную минуту надо становиться выше этих сложностей. Вот и сейчас вождь стал выше, чтобы еще раз доказать, как ценят партия и правительство первого писателя страны и как горячо и искренне желают ему выздоровления…

Естественно, болезнь встревожила множество людей, и родные и близкие скапливались в немалом числе. Сталина это многолюдство привело в негодование. К Крючкову, отвечавшему за доступ посетителей, вождь обратился с недвусмысленной угрозой: «Вы знаете, что мы можем с вами сделать?» Петр Петрович знал это отлично, и без труда можно представить его состояние.

Сталин в крайне резкой форме приказал удалиться всем (за исключением медсестры Липочки). Всем, включая и наркома внутренних дел Ягоду, который в доме Горького был завсегдатаем: «А этот что тут шляется?»

Удалил Сталин вслед за Ягодой и женщину в черном. Бестактность ее траурного одеяния вызвала саркастическую реплику вождя: «А кто это сидит рядом с А<лексеем> М<аксимовичем> в черном? Монашка, что ли?.. Свечки только в руках не хватает!»

В возбужденном состоянии Сталин подошел к окну, распахнул форточку. В комнату хлынул свежий воздух…

А женщиной в черном была Мария Игнатьевна Будберг — третья, «невенчанная» жена Горького, которую долго с напускным целомудрием низводили до уровня секретаря. Вряд ли секретарю посвящают четырехтомный роман («Жизнь Клима Самгина»), который автор считал чуть ли не главным итогом своей художественной деятельности.

Узнав о болезни Горького, Мура мгновенно прилетела из Лондона, где проживала с Уэллсом.

Мы уже знаем, что Сталин встречался с ней раньше, получая лондонский архив. Наверное, в этой напряженной ситуации его просто подвела память… В конце концов вожди тоже люди…

Осознавал ли умирающий, Кто пришел к нему? После долгой-то размолвки? Мария Игнатьевна после смерти писателя будет говорить, что появление вождя всякий раз — а больного он навещал трижды — оказывало на Горького чудотворно оздоравливающее воздействие. «Умирал он, в сущности, 8-го, и, если бы не посещение Сталина, вряд ли бы вернулся к жизни».

А тогда, 8-го, Горький неожиданно приподнялся в постели. Сел. Взор совершенно осмысленный. И вдруг — заговорил! О

своих творческих намерениях, о работе над «Историей Гражданской войны», о развитии французской литературы… Всем своим видом и речью он словно хотел убедить кого-то, что умирать вовсе не собирается, так, прихворнул. А планы — такие неотложные и громадные.

Все были поражены. Все, включая и Сталина. Тот велел принести бутылку вина, чтоб выпить за выздоровление дорогого Алексея Максимовича.

Драматург А. Афиногенов оставил в своем дневнике такую запись:

«Будущий биограф Горького занесет ночь 8 июня в список очередных чудес горьковской биографии. В эту ночь Горький умирал. Сперанский уже ехал на вскрытие. Пульс лихорадил, старик дышал уже с перебоями, нос синел. К нему приехали прощаться Сталин и члены Политбюро. Вошли к старику, к нему уже никого не пускали, и этот приход поразил его неожиданностью. Очевидно, сразу мелькнула мысль — пришли прощаться. И тут старик приподнялся, сел на постели и начал говорить. Он говорил 15 минут о своей будущей работе, о своих творческих планах, потом опять лег и заснул и сразу стал лучше дышать, пульс стал хорошего наполнения, утром ему полегчало. Сперанский схватился за голову от виденного чуда. Так, вероятно, Христос сказал Лазарю: „Встань и ходи“. Сперанский объясняет это шоком в ту часть коры головного мозга, которая ведает дыханием и сердцем, и шок этот оказался благодетельным».

Потрясающее свидетельство! На какую невиданную концентрацию духовной и физической энергии оказался способен горьковский организм именно в этой ситуации и под ее прямым воздействием! Как велико было его желание не позволить Сталину торжествовать по случаю ухода из жизни того, кого он уже давно подвергал своей изощренной, «бархатной» тирании! Это была еще одна победа над врагом, способным в случае нужды надевать личину друга.

Гораздо более, чем история с коробкой конфет, пущенная в обращение якобы Плетневым, интересно другое, чисто медицинское соображение того же профессора о еще одном чуде — связанном с состоянием дыхательных органов писателя. Вскрытие установило, что вследствие перенесенного туберкулеза легкие очень изменились. Верхние их доли уже «не представляли из себя дыхательной поверхности», «фактически он давно уже дышал только нижними долями своих легких». И в таком состоянии, только благодаря условиям Крыма и «вниманию и любви к нему, которыми он был окружен как со стороны правительства, так и со стороны лечивших его врачей», Горький

жил и трудился — да еще как интенсивно! — целых три года.

То есть, если бы ему удалось, по его собственному выражению, «выкарабкаться» (а он был очень близок временами к этому), он еще мог бы жить не день-два, а побольше. Никто не знает сколько.

Тем временем в Москве, в Союзе писателей, развертывалась лихорадочная деятельность по поводу, казалось бы, не имеющему никакого отношения к болезни Горького. В страну собирался приехать знаменитый французский литератор Андре Жид. К его встрече готовились особенно основательно. И не только писатели.

Но возникла неожиданная сложность. В качестве непременного условия своей поездки Жид выдвигал встречу с Горьким. Но Горький же смертельно болен! Тогда Жид заявил, что визит вообще отменяется: не для участия же в похоронах поедет он в Россию!

Минуем пока вопрос, почему для Сталина визит Жида представлял особую важность, равно как и подробности переговоров с писателем: рассказ об этом впереди. Скажем только: Москва в конце концов дала добро на приезд, оговорив, что встреча с Горьким не может состояться ранее 18 июня… Восемнадцатого…

Второй раз Сталин пришел к Горькому 10-го ночью. Больной спал. Встретившая гостей Будберг (та самая, которую Сталин изгнал как «монашку») никого к Горькому не допустила.

Даже Сталина? Абсолютного диктатора? Но теперь, похоже, он уже знал, что встречает его жена Горького, оберегающая его покой (кто как не жена имеет на это полное право и даже несет такую обязанность?), и потому подчинился ее воле…

Поскольку развитие событий, как видим, выдвигает на первый план Марию Игнатьевну, попытаемся охарактеризовать ее подробнее.

Во время приезда в Советский Союз в 1989 году Берберова без обиняков заявила, что Будберг была агентом сразу двух разведок — советской и английской, полагая, что сказанное в книге достаточно убедительно подтверждает это предположение. Не опровергается в «Железной женщине» и версия о том, что была Мария Игнатьевна связана и с разведкой немецкой. Как жена секретаря русского посольства в Берлине Бенкендорфа (в первом браке; он погиб в 1917 году в своем имении) она имела достаточно широкий круг знакомств с верхушкой Германии, и ходили слухи, что была близка даже с кайзером Вильгельмом…

Во всяком случае, уже оформив в Таллине новый брак с «лоботрясом» Будбергом в январе 1922 года (с обеих сторон брак по расчету; ей это было нужно, чтобы, обретя эстонское

гражданство, получить разрешение на выезд за рубеж), она, в тайне от всех, поехала в Лондон. В это время там не было ни Уэллса, ни Локкарта, но «кое-кого», по словам В. Ходасевича, она видела…

Вернулась оттуда, преобразившись неузнаваемо. Поизносившаяся во время скитаний и ареста в Эстонии, теперь она была одета по последней моде.

В доме Горького на Кронверкском Мария Игнатьевна появилась еще в 1919 году. Этому предшествовал ее арест в Москве в 1918 году как любовницы английского разведчика Локкарта, обвиненного в организации заговора против советской власти. С Локкартом как английским подданным решили не расправляться (могли пострадать в Лондоне Литвинов и другие), но с его-то пассией в те времена расправиться могли запросто, и никто знать бы ничего не знал о ее судьбе. Однако каким-то образом ей удалось расположить к себе видного чекиста Петерса, непосредственно причастного к аресту Локкарта, и даже раньше его выйти на свободу.

Мура обладала недюжинной энергией, смелостью, предприимчивостью, знала несколько языков. Она была склонна к игре с судьбой и авантюрам, которые пробуждали в ней какой-то азарт, огонь в крови, как у карточного игрока, когда открывается заманчивая возможность сорвать крупный банк. И еще, как утверждает Берберова, Мура знала толк в сексе и умело пользовалась этим…

В глазах буржуазной интеллигенции Горький выглядел абсолютно «красным», другом Ленина. Когда ожидалось, что Юденич вот-вот возьмет Петроград, на квартиру Горького во множестве стали поступать письма, точнее, почтовые конверты, заключавшие в себе только одно: веревочку, свернутую в виде петли. Однако знакомым «буревестник революции» сплошь и рядом говорил про большевиков «они». Ну а про хлопоты за арестованных интеллигентов и говорить не приходится — он вел за них непрекращающуюся войну с Советами. Потому вовсе не исключено, что Мария Игнатьевна получила предложение стать своим человеком в доме на Кронверкском от ЧК, чтоб поставлять необходимую информацию еще тогда. Нужда в такой информации обострилась, когда в конце 1921 года рассерженный Горький уехал за границу, где в 1922 году выступил против судебного процесса над эсерами, затеянного в Москве. Тогда-то, в 1922-м, на него завели «досье» на Лубянке.

Живя в доме Горького в Италии на правах формально — секретаря, а фактически жены, Мария Игнатьевна, как пишет Берберова, периодически надолго уезжала «в Эстонию, к детям»,

хотя ее видели совсем не там, где ей полагалось быть… В Сорренто могли получить письмо с таллинским почтовым штемпелем, хотя в момент его отправления Мария Игнатьевна находилась в Берлине…

…Как бы ни вел себя Горький, Ленин не мыслил, что он уедет за границу навсегда. И Горький вряд ли стремился к этому. Уже в некоторых его частных письмах 1924 года содержатся признания о намерении вернуться домой в самое ближайшее время.

Так или иначе иметь представление об умонастроении Горького, о круге его общения властям было необходимо. Кто мог поставлять такую информацию? В условиях заграницы только человек из ближайшего окружения писателя. Перебирая всех домочадцев Горького, приходишь к выводу, что таким агентом могла стать лишь Мария Игнатьевна.

Впрочем, знать как можно больше о строптивом сочинителе кое-кто хотел и раньше, до его отъезда из Петрограда. И не только из чисто политических соображений. К этой цели стремился лютый враг Горького Григорий Зиновьев, полновластный хозяин северной столицы, учинивший однажды даже обыск в квартире на Кронверкском, в которой всегда находило приют много самого разнообразного люда, включая, например, члена императорской фамилии великого князя Гавриила Константиновича Романова.

Мог ли простить Зиновьев Горькому его независимость, гневные выпады против него, Зиновьева, а в его лице, разумеется, против советской власти, вызывающей, по мнению этого самого Алексея Максимовича, всеобщее презрение за ее отношение к «интеллигенции». И даже якобы за ее трусость! Вот уж в чем никогда нельзя было обвинить советскую власть, потому что этого никогда не могло быть в принципе!

Принудить к сотрудничеству такого человека, как Мария Игнатьевна, органам ЧК не стоило ни гроша после истории с Локкартом (обо всем Зиновьев знал детально). Мура оказалась, что называется, «на крючке». Иногда уже в ту пору она выполняла задания большевистского руководства официально. Например, работая с Уэллсом в качестве переводчицы во время его приезда из Англии (благо Мура уже стала к этому времени одной из обитательниц многокомнатной горьковской квартиры).

Нужно быть очень наивным, чтобы думать, что к «большевику» Горькому в Италии не проявляла интереса разведка Муссолини. В 1926 году выяснилось, что поступивший к Горькому на службу поваром его знакомый еще по Капри синьор Катальдо (кто бы мог подумать!) окажется сотрудником фашистской полиции, следившим в первую очередь за Горьким и Мурой. А

может быть, и наоборот… Естественно, от услуг человека, готовившего, помимо основных, еще и какие-то тайные «блюда», пришлось отказаться.

Когда Мария Игнатьевна уезжала «в Эстонию, к детям», ее маршруты и намерения безусловно интересовали власть, вызывая определенного рода подозрения. Во всяком случае, обыск в комнате Будберг в соррентском доме Горького был не случаен. Произошло это 17 сентября 1925 года. Естественно, ничего не подозревавший Горький был возмущен, направил телеграмму самому Муссолини с категорическим требованием пресечь такого рода провокации, в противном случае он угрожал покинуть Италию. Дуче ничего не оставалось, как принести великому писателю свои извинения. Тем более что при обыске не обнаружили ничего такого, что бы очень уж заинтересовало власть. Если Марии Игнатьевне Москвой и было поручено собирать какую-то информацию, то не о каких-либо «секретных объектах». Для Сталина самым главным объектом был Горький.

Впрочем, из «Железной женщины» мы узнаем, что история с обыском имела свои последствия. «Ее очередная поездка в Эстонию была прервана ее арестом: в Бреннере, на границе Италии и Австрии, ее арестовали. Она была выведена под стражей из вагона поезда, вещи ее были перерыты; ее продержали несколько часов после личного обыска в здании станции. Когда ее отпустили, многие бумаги ей возвращены не были. Кроме Горького и домашних, она никому в Сорренто не сказала об этом. Горький был в ярости и немедленно протелефонировал Керженцеву (посол СССР в Италии. — *В.Б.)* в Рим, но на этот раз не было принесено извинений и не было дано объяснений. И посол оставил просьбу Горького без последствий».

Когда Алексей Максимович заболел, Будберг прилетела из Лондона мгновенно. От кого и как узнала она о болезни Горького? Говорят, ее вызвали члены семьи. Кто именно? Первая жена Е. Пешкова, с которой он расстался более тридцати лет назад, но продолжал сохранять теплые дружеские отношения? Вряд ли. Сына к этому времени уже не было в живых. Его жена Тимоша? Тоже сомнительно. А главное, было ли получено согласие на то Алексея Максимовича? Тоже весьма сомнительно, если вспомнить свидетельство Чертковой о разрыве с ней в Крыму и нежелании Горького даже ответить на телефонный звонок… Уж не малолетние ли внучки, старшей из которых стукнуло 9 лет?

Далее. Как было получено разрешение английских властей на поездку? Обычно это не такое уж простое дело, и решение вопроса порой отнимает недели и даже месяцы. К тому же с Лондоном авиасвязь была тогда ограниченной, и Берберова даже

саркастически усмехается по этому поводу, считая прилет невероятным…

Между тем «баронесса» была весьма заинтересована в скорейшем приезде, т. к. добивалась оформления документа на право получения гонорара за зарубежные издания писателя. Но может быть, существовал кто-то, кто больше родственников был заинтересован в ее появлении? Нельзя не согласиться с В. Бараховым, который пишет: «Беспрепятственные поездки Будберг наводят на мысль о покровительстве тех, кто больше всего был озабочен изоляцией писателя»… Но уже давно известно, кто в такой изоляции был заинтересован больше всех и по чьему высочайшему распоряжению осуществлялась она, превращая дом в «золотую клетку»!

Болезнь между тем, как и в самом начале, продолжала развиваться конвульсивно, и ее максимальные перепады порождали у окружающих то проблески радостной надежды, то тягостное ожидание худшего и отчаяние.

Еще раз вспомним слова врача Кончаловского, который констатирует: «За два дня до смерти Горький почувствовал значительное облегчение. Появилась обманчивая надежда, что и на этот раз его могучий организм справится с недугом…»

В воспоминаниях Будберг, записанных сразу после смерти Горького А. Тихоновым от третьего лица, читаем: «16-го чувствовал себя хорошо, спросил М<арию> И<гнатьевну>: „Ну, кажется, на этот раз мы с вами выиграли битву?“ — „Выиграли“, — отвечала М<ария> И<гнатьевна>. Умылся, попросил есть, ел с аппетитом и просил прибавить еды, но Липа (Черткова. — *В.Б.)* сказала: „Нельзя сразу так много есть“»[69].

Будберг умолчала, однако, о том, что после, в 1945 году, вспомнила эта самая Липа: «Однажды, я только что легла, Петр будит меня, говорит, что меня зовет А<лексей> М<аксимович>. Прихожу — у него сидит М<ария> И<гнатьевна>. Отвела меня в сторону и шипит: „Уходите… уходите… я — здесь!“ И давай меня щипать, да как больно. Я терплю и виду не показываю, что больно, чтобы А<лексей> М<аксимович> не увидел. Потом вышла в столовую и заплакала, говорю Тимоше и Крючкову: „Она меня всю исщипала. Я больше к нему не пойду“. Они на меня набросились и мне говорят: „Нет, вы должны к нему идти!“ — „Липочка, я вас умоляю, — говорит Тимоша, — идите к нему“».

Почему Будберг с такой жестокостью удаляла медсестру, чтобы остаться с Горьким наедине? Во всяком случае, именно после удаления Липы положение серьезно ухудшилось. Продолжает Будберг: «Ночью уснул. Во сне ему стало плохо.

Задыхался. Часто просыпался. Выплевывал лекарство. Пускал пузыри в стакан. В горле клокотала мокрота, не мог отхаркивать. М<ария> И<гнатьевна> сказала: „А вы кашляйте… вот так“. Пробовал, но не выходило. „А вы еще попробуйте… вот так“. Наконец выплюнул мокроту. Стало легче. Пошла кровь, но это окружающих не пугало, у него всегда после кровохарканья наступало улучшение. В опасность не верили, предыдущие дни явно говорили о выздоровлении. Сон ухудшал его состояние, воля не работала. Начался бред. Сперва довольно связный, то и дело переходящий в логическую, обычную форму мышления, а потом все более бессвязный и бурный»…

Когда Черткова вновь вошла в комнату, она увидела Марию Игнатьевну стоящей у окна и упершейся в стекло лбом. Потом она выбежала в другую комнату, бросилась в слезах на диван, говоря: «Теперь я вижу, что я его потеряла… он уже не мой».

Подчас в самые трагические минуты история способна на каламбуры. «Не мой» приобретало и второй смысл. Теперь Горький действительно не мог больше вымолвить ни слова. Никогда. Никому.

Естественно, и Андре Жиду — тоже.

Когда тот, прибыв в Москву 16-го, собрался через день, как было договорено, ехать к Горькому, было уже поздно.

Большого ли труда стоило Сталину убедить Будберг сделать такой, несомненно, единственный в своем роде шаг?

Допустим на миг, что он решил не прибегать, как теперь принято говорить, к методу жесткого силового давления. Кому не ясно, что великий вождь и лучший друг писателя (как и все, Будберг очень мало знала об их расхождениях) исходил прежде всего из гуманистических соображений. Болен дорогой Алексей Максимович безнадежно. Не такой ли прискорбный вывод вытекает из бюллетеней «Правды», основанных на заключениях компетентнейших врачей? И те, кто по-настоящему любят нашего Алексея Максимовича, не могут равнодушно относиться к его невероятным мучениям. Медицина искусственно продлевает не жизнь, а именно страдания. Жалко? Ну конечно, жалко. Но разве не сам писатель сказал, что не надо унижать человека жалостью? Надо помочь Алексею Максимовичу…

Что же касается увековечивания памяти великого пролетарского писателя, партия и правительство сделают для этого все необходимое.

Сталин знал, что отношения Марии Игнатьевны и Горького фактически прекратились, и тем скорее она согласится на такой шаг. Ну, а последствия для нее лично будут самыми положительными. Официально, юридически она ведь для него

никто. Но все знают, что Алексей Максимович ее очень любил и хотел бы, чтобы ее жизнь была обеспечена за счет зарубежных гонораров. И если Мария Игнатьевна займет правильную позицию, ее включат в комиссию по разбору горьковских бумаг и, одновременно, для оформления финансовых вопросов…

Наконец, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь заподозрить женщину, которая горячо любила своего мужа?

Ну, и конечно, все рассуждения подобного рода сопровождались многозначительными паузами и пристальными гипнотизирующими взглядами из-под бровей…

Не будем гадать, о чем думала Мария Игнатьевна в ночь на семнадцатое июня. Наверное, и у «железной женщины» нервы были все же не железные и чем-то дорог был ей этот человек в прошлом… Но иного выхода она не видела. Да и искала ли?

Сталинский же план, как и все планы гениального руководителя, был продуман до мелочей. Изгнание Ягоды — отвод подозрения от спецслужб. Неузнавание Муры-«монашки» — отвод подозрения от ее участия в деле. Бутылка вина, выпитая за выздоровление Алексея Максимовича? Вождь не боится никаких отравлений. Что же касается присутствия Муры в комнате больного, то здесь все поставить на свои места было проще простого. Стоило позвонить из канцелярии Сталина запуганному до смерти Крючкову и строго конфиденциально сообщить: Иосиф Виссарионович не знал, что удаленная им женщина — жена писателя. Иосиф Виссарионович очень сожалеет о случившемся и полагает, что именно жена имеет преимущественное право находиться у постели больного, если это может ускорить его выздоровление. Передайте наилучшие пожелания Иосифа Виссарионовича уважаемой Марии Игнатьевне…

В конечном счете все прикроет обвинение в адрес врачей, которые выполняли задание презренных врагов народа, продавшихся международному империализму.

Итак, Горького не стало. Ну а Мура прожила еще много лет припеваючи. И в Советский Союз наезжала не раз. Помню, с каким нескрываемым удовольствием говорила мне другая писательская вдова и любительница пожить, Людмила Ильинична Толстая: «А мы с Марией Игнатьевной едем кататься по Волге!»

У Сталина не было никакой необходимости «убирать» Муру. Разве она решилась бы когда-нибудь признаться, что отравила Горького?

Эта версия не могла не породить поначалу множества недоумений. Но в попытках опровержения явно преобладала эмоция. «Не может быть!», «Как — ведь он посвятил ей „Жизнь Клима Самгина“»! И т. д.

Увесистой гирей, перетягивающей чашу весов в пользу версии, стала публикация выдержки из «Истории шпионажа», изданной ограниченным тиражом на Западе. В очерке Л. Колосова «Мура» (Труд, 7.02.97), читаем: «…В распоряжении Ягоды была группа врачей, которые отправляли на тот свет неугодных Сталину большевиков. Так были умерщвлены Менжинский, Куйбышев, писатель Максим Горький и его сын Максим Пешков… Что касается Максима Горького, которого очень боялся Сталин, то писатель был отравлен по указанию Ягоды одним из самых тайных его агентов, коим была любовница Горького…»

Как говорится, не успел покойник смежить веки, в доме появились люди. Позднее один из ближайших сотрудников журнала «Наши достижения», Глеб Глинка, в недавнем прошлом активный член «Перевала», оказавшийся позднее за границей, опубликовал в «Социалистическом вестнике» воспоминания, в которых воспроизвел обстоятельства того, что иначе как обыском в квартире покойного писателя не назовешь. Для этого создали группу из нескольких литераторов, под председательством редактора журнала «Наши достижения» Василия Тихоновича Бобрышева. «Работали всю ночь. И уже под утро, когда все сотрудники едва держались на ногах, с нижней полки заваленной книгами и старыми газетами этажерки была извлечена еще одна объемистая папка, с какими-то старыми черновиками, и среди них оказалась толстая тетрадь в клеенчатой обертке.

К тетради сразу потянулось несколько рук. Кто-то раскрыл ее, в начале, в середине, еще раз в середине и в конце. Через его плечи смотрели остальные. Все молчали, но чувствовалось, как комната заливается туманом страха.

— Без паники! Ни один из сотрудников не сойдет с места! — И, тяжело опустив ладонь на закрытую тетрадь, Бобрышев прибавил: — Немедленно вызываю уполномоченного НКВД! Понятно, товарищи?

На Лубянку, в кабинет следователя, вызывали по одному. Каждый дал подписку о неразглашении. Каждого предупредили, что если хоть одним словом проговорится, хотя бы собственной жене, — будет немедленно ликвидирован вместе со всем семейством».

Обнаруженная тетрадь, была дневником Горького. Полный текст этого дневника прочитали только самые ответственные работники НКВД, кое-кто из Политбюро и, уж конечно, сам Сталин.

Мемуарист пишет: «… сразу же становилось ясно, — весь дневник состоял из беспощадной и вполне объективной критики

кремлевских властелинов. На первых страницах говорилось о том, что какой-то досужий механик подсчитал, что ежели обыкновенную мерзкую блоху увеличить во столько-то тысяч раз, то получится самый страшный зверь на земле, с которым никто уже не в силах был бы совладать. При современной великой технике гигантскую блоху можно видеть в кинематографе. Но чудовищные гримасы истории создают иногда и в реальном мире подобные увеличения. По мнению автора дневника, Сталин является такой блохой, которую большевистская пропаганда и гипноз страха увеличили до невероятных размеров».

Не прошло и двух недель после разбора архива Горького, как журнал «Наши достижения» и другие журналы были закрыты, а обслуживающие их редакционные работники, включая машинисток, арестованы. «Затем, — продолжает Глинка, — начались повальные аресты всего горьковского окружения. Даже писателя Зазубрина, который, по стариковской дружбе, приходил вечерком к Горькому чайку попить, отправили в концлагерь. Письма Горького, находившиеся в руках у советских граждан, предложено было сдать в государственный архив. Тех, кто не торопился с этим делом, вызывали на Лубянку. Тогда же были арестованы врачи, лечившие Алексея Максимовича в последние годы его жизни».

Существовал ли горьковский дневник в действительности, или это еще одна легенда из многих, окружавших жизнь писателя в последние годы? Еще одна, последняя загадка, которая, возможно, никогда не будет разгадана. Нетрудно, однако, догадаться, какие сведения могли оказаться в дневнике и какую общественную ценность они могли представлять.

В том, что отношения Сталина и Горького в последние годы крайне осложнились, известно из различных источников. И пожалуй, более всего Сталин был озабочен тем, что Горький отказывался писать книгу о нем. Ну, если не книгу, то хотя бы статью для «Правды» «Ленин и Сталин». А. Орлов в «Тайной истории сталинских преступлений» пишет: «Руководители НКВД были уверены, что на этот раз Горький не сможет уклониться от заказа. Но он вновь оказался принципиальнее, чем они рассчитывали, и обманул ожидания Ягоды».

Когда же в руки наркомвнудела попал этот самый горьковский дневник, Ягода, тщательно ознакомившись с ним, выругался и буркнул: «Как волка ни корми, он все в лес смотрит!» Очевидно, не нашел в горьковских заметках ничего того, что давало бы основание надеяться на выполнение заветного желания вождя.

Смерть великого писателя была умело использована для

нагнетания атмосферы истерии в стране. Когда в 1938 году начался процесс над Бухариным, ему, среди прочих сверхфантастических обвинений, было предъявлено обвинение в смерти Горького (к чему он, разумеется, не имел никакого отношения).

Примечательно, что, осыпая обвиняемого немыслимыми оскорблениями, Вышинский использовал горьковские образы: «Это лицемерная, лживая, хитрая натура. Этот благочестиво-хищный и почтенно-злой человек, это, как говорил Максим Горький про одного из героев из галереи „Бывших людей“, — „проклятая смесь лисицы и свиньи“».

Одним из непосредственных виновников смерти Горького был объявлен лечащий врач писателя, доктор медицинских наук Л. Левин (ему вменялось в вину и убийство В. Менжинского). На суде в ответ на вопрос, почему он согласился на злодейское предложение Ягоды, которому инкриминировалась организация этих убийств, подсудимый ответил: «Психологически я объясню это какой-то трусостью, причем не за свою жизнь… Меня больше страшило то, что он (Ягода. — *В.Б.)* пригрозил разгромить мою семью». Типично сталинский прием давления, применявшийся им, как известно, неоднократно.

Другим врачом, которому также приписывалась вина за убийство Горького, был профессор Московского университета, терапевт Д. Плетнев, так же как и Л. Левин, реабилитированный посмертно. Их вина не могла быть доказана документально: история болезни найдена лишь недавно.

Одним из обвиняемых на процессе 1938 года стал и наркомвнудел Г. Ягода. Рассматривая протест Генерального прокурора СССР по делу Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, А. П. Розенгольца, М. А. Чернова, П. П. Буланова, Л. Г. Левина, И. Н. Казакова, В. А. Максимова-Диковского, П. П. Крючкова и Х. Г. Раковского, Пленум Верховного Суда единогласно отменил приговор в отношении каждого из них и прекратил дело за отсутствием в их действиях состава преступления.

В корреспонденции о Пленуме содержится и такая немаловажная информация: «По данному делу был осужден и бывший нарком внутренних дел Ягода. Протест в отношении его не приносился».

Конечно, это еще не означает полного доказательства его вины. Но весьма вероятно, что он мог по указанию Сталина совершить те или иные действия, расшатывающие здоровье Горького или прямо ведущие к его смерти.

Собственно говоря, вмешательство Ягоды в состав медицинского окружения Горького началось задолго до

приближения развязки. Так, еще в 1933 году один из врачей, наблюдавших за здоровьем писателя, был сослан на Север. Еще более показательна судьба доктора Д. Никитина. В зиму 1931–1932 годов он находился в Сорренто у Горького. После возвращения в СССР был арестован.

Вернувшись на Родину, Горький заболел воспалением легких и стал спрашивать, как найти Никитина. А тот в это время находился… в Бутырках. Его срочно переодели в домашнее, привели, насколько это было возможно, в божеский вид и доставили к Горькому. Тут он прожил полтора месяца, причем совершенно ясно, что хозяин особняка ничего не должен был знать о его аресте. Потом, когда писатель выздоровел, Никитина еще два месяца на всякий случай держали дома. А затем он снова угодил в тюрьму.

Теперь о самом способе устранения — об отравлении. Недавно опубликованы данные о смерти виднейшего психиатра и невропатолога профессора Бехтерева. Она последовала тотчас за неосторожным заявлением ученого, который сказал своим коллегам, знавшим, что его приглашали в Кремль: смотрел одного сухорукого параноика.

Он освидетельствовал Сталина на другой день после его 48-летия, 22 декабря 1927 года. 23-го вечером вместе с другими делегатами съезда психиатров и невропатологов, почетным председателем которого был избран, Бехтерев присутствовал на спектакле в Большом театре. В перерыве рядом с ним в буфете оказались какие-то люди, с которыми он ел бутерброды. Утром 24-го ему стало плохо, а вечером он скончался. Вскрытия — это при скоропостижной-то кончине человека, только что чувствовавшего себя вполне здоровым, — не производилось. Зато была произведена кремация.

Коллеги, родственники, а вслед за ними отечественные и зарубежные журналисты — все склоняются к тому, что Бехтерев был отравлен.

Некоторые историки, например доктор наук Н. Васецкий, полагают, что метод физической расправы над политическими противниками окончательно вошел в практику сталинского режима после убийства Кирова, ведь еще в 1929 году Сталин был вынужден выпустить за границу Троцкого. Согласимся, что Троцкий был фигурой слишком крупной, и его смерть в стране вызвала бы столь резкий резонанс в мире, что вред мог оказаться весомее выгоды. Секретарь Сталина Бажанов рассуждает по этому поводу так: «Гораздо более в его (Сталина. — *В.Б.)* нравах было поступить с Троцким, как, например, с Фрунзе. В сталинском распоряжении сколько угодно способов отравить Троцкого (ну, не

прямо это было бы подписано, а при помощи вирусов, культур микробов, радиоактивных веществ) и потом хоронить его с помпой на Красной площади и говорить речи». Но, заканчивает секретарь Сталина, видимо, Хозяин решил избавиться от своего врага за границей, что и было сделано руками Маркадера.

Зато фигура помельче, помощник Троцкого Склянский, по убеждению того же Бажанова, был утоплен по указанию Сталина, а вся эта акция осуществлена одним из секретарей Сталина, Каннером, совместно с Ягодой.

Основываясь на свидетельствах людей, близких Ягоде, Троцкий приводит любопытные подробности деятельности наркомвнудела, имевшего в молодости касательство к фармакологии. Кстати, совершенно не прав Бажанов, который в своих воспоминаниях заявляет категорично: «…Ягода был вовсе не фармацевтом, как гласили слухи, которые он о себе распускал, а подмастерьем в граверной мастерской старика Свердлова».

Материалы нижегородских архивов свидетельствуют, что в 1907 году после четырех классов городского училища Ягода поступил учеником к аптекарю Зулю. Ушел он из аптеки через несколько месяцев, действительно не закончив полного фармацевтического образования, но получив тем не менее определенные профессиональные навыки. А распускать самому о себе подобные слухи ему вряд ли было выгодно, и вот почему. Человек, работающий в ведомстве Ягоды, признался Троцкому, что под началом наркома действовала целая токсикологическая лаборатория, в которой в обстановке строжайшей секретности работали люди, финансировавшиеся без ограничений. У Ягоды был целый шкаф различных ядов.

В момент, когда болезнь Горького начала отступать, Сталин, по мысли Троцкого, «слегка помог разрушительной силе природы».

А поводов для того, чтобы оказать природе такого рода «помощь», в последние месяцы жизни Горького становилось все больше. Действия Алексея Максимовича приобретали странный и даже опасный, с точки зрения вождя, характер.

Через своих людей Сталин контролировал переписку Горького. Особое внимание уделялось письмам Роллану, которые перехватывал секретарь Сталина Стецкий. Из одного письма стало ясно, что писатель выражает явное недовольство порядками в стране и всячески стремится встретиться с иностранными литераторами[70]. Так, в марте 1936 года Горький настойчиво приглашал в Москву Луи Арагона…

Правда, с невозможностью собственного выезда из страны Горький как будто смирился. А поездку летом 1935 года на

международный писательский конгресс удалось предотвратить, удачно совместив с датой конгресса приезд в Москву Роллана. Вероятно, совмещение двух этих событий во времени произошло не без участия жены Роллана Кудашевой, которой, по ее собственному признанию, «манипулировал» НКВД.

Что касается Арагона, то через много лет он обратился к событиям, связанным со смертью Горького, в романе «Умерщвление» (в первой его части). По мнению исследователей, образ Антуана явно автобиографичен. В Мишеле с очевидностью просматриваются черты Михаила Кольцова (ведавшего в Союзе писателей контактами советских литераторов с заграницей). В сюжете романа важную роль играет зловещий образ убийцы, являющийся обобщенным образом сталинского террора. Однако «Умерщвление» все же художественное произведение, и принимать его за документально точное изложение реальных событий нет оснований. Да и позиция повествователя по отношению к ним не лишена двойственности.

Прямому ответу на вопрос о стимулах, побуждавших Горького к встрече с Арагоном, способствовали бы письма Горького ему и Эльзе Триоле, но судьба этих писем неизвестна. Полагают, однако, что Горьким двигали желание напрямую обратиться к мировому общественному мнению и боязнь насильственного устранения из жизни.

В высшей мере странно выглядит история другой «не-встречи» — с Андре Жидом. Сначала его торопили с отъездом из Франции: Горький болен, печатаются бюллетени… И вдруг звонок Ильи Эренбурга, вовсе озадачивающий: Горький-де не умирает, ему лучше, но… именно поэтому встреча откладывается на неопределенный срок. Болен — нельзя. Выздоравливает — снова нельзя… А потом, как мы уже знаем, А. Жиду сказали еще, что в Москву следует прибыть не раньше восемнадцатого. Словно кому-то было заранее известно роковое значение этой даты. Жид прибыл днем раньше, семнадцатого. Его встречали Кольцов и Арагон. К Горькому повезли на другой день, но это же было восемнадцатое! Так не состоялась встреча, допустить которую Хозяин не мог никоим образом. Жид в своей независимости и откровенности был куда опаснее Арагона.

Выскажу предположение, которое может показаться даже абсурдным. Книга А. Барбюса «Сталин» вышла в 1935 году и тотчас была переиздана в «Роман-газете» тиражом 300 тысяч экземпляров (о чем сообщала и зарубежная пресса). И вот в том же 1935 году в Советском Союзе Барбюс умирает. Ну, кто бы мог предположить что-либо подозрительное?.. Кстати сказать, ко времени встречи в 1935 году в СССР Роллан с удовлетворением

отмечал, что его соотечественник выглядит хорошо, бросил курить, настроен бодро.

Между тем, если вдуматься в изуверскую логику сталинских действий, можно прийти к кое-каким выводам. Во-первых, книга-панегирик написана, и главная цель Хозяином достигнута. Во-вторых, есть ли полная гарантия, что восхищавшийся Им автор не дрогнет, не проявит слабость перед лицом тех грандиозных судебных спектаклей-трагедий, которые вскоре должны были развернуться и о которых пока знал только один Главный Режиссер? Ясно, что полная гарантия тут невозможна, и даже малейший риск в таких делах должен быть исключен начисто. В-третьих, найдется ли тот, кто заподозрит, что человека, создавшего книгу-апофеоз, убирает его герой?

Но может быть, высшая «мудрость» Руководителя и состоит в том, чтобы совершать поступки, не укладывающиеся в рамки традиционно-наивных представлений, во власти которых коротают свои дни простые люди, «винтики»? Те, которые придерживаются тысячелетиями сложившихся норм. Но кто сказал, что никогда, ни в каких случаях нельзя отступать от этих норм? А если ради Великой Цели? Той самой, во имя которой рождается великая энергия?..

Думаю, после всего сказанного так называемая концепция «естественной смерти», которую не разделяет подавляющее большинство исследователей (см.: монографию Л. Спиридоновой «М. Горький: Диалог с историей», ИМЛИ, 1994), прекратила свое существование. Впрочем, на это она была обречена изначально.

Но давайте даже допустим на миг крайний вариант в ее пользу: прямые свидетельства очевидцев о болезни и смерти Горького отсутствуют, есть только чисто медицинские показания.

В какой мере можно полагаться на их полную объективность? Обратимся к обстоятельствам смерти другого выдающегося общественного и государственного деятеля Серго Орджоникидзе, последовавшей 18 февраля 1937 года. Для начала напомним, что ей предшествовало нарастание резкого недовольства Сталиным работой Наркомата тяжелой промышленности, возглавляемого товарищем Серго, — его «засорением вредителями».

В день смерти Орджоникидзе имел крайне резкий разговор по телефону со Сталиным, а потом сразу, не позавтракав, поехал в Кремль и продолжал разговор со Сталиным с глазу на глаз, длившийся несколько часов. Вернулся он в состоянии крайнего возбуждения. Затем — бурное заседание Политбюро, трудная работа по выработке резолюции. Вновь длительный, за полночь, резкий разговор со Сталиным по телефону. И наконец в ночь с 17 на 18 февраля — выстрел в кабинете Орджоникидзе.

Первыми, кто появились на его квартире, были сотрудники центрального аппарата НКВД во главе с одним из замов самого Ежова. Они констатировали, что в валявшемся на полу маузере было семь патронов, а пороховая гарь в стволе отсутствовала.

Явившийся следом Ежов, ознакомившись с составленным актом, обозвал энкаведешников «безмозглыми кретинами» и обещал с ними «отдельно разобраться». Разборка была недолгой: все участники первого обыска в квартире наркома вскоре были расстреляны.

О том, что происходило дальше, вспоминает супруга покойного Зинаида Гавриловна: «Когда „осмотр“ нашей квартиры, смахивавший на самый настоящий обыск, был в разгаре, объявился и Сталин в сопровождении всего состава политбюро и секретаря МГК ВКП(б) Никиты Хрущева. Дико было видеть, как эта молчаливая толпа переминалась у порога кабинета Серго и слушала диктовку Ежовым версии о причине смерти моего мужа „вследствие обострения болезни“. Только перед уходом Сталина, после его напоминания были, наконец, вызваны врачи».

А теперь воспроизведем отрывок из воспоминаний Л. Г. Левина, врача Кремлевской клиники, доставленного на место трагедии лишь к 17 часам.

«Первое, что я сделал, бегло осмотрев усопшего, — заявил о необходимости вскрытия. Находившийся рядом работник НКВД позвонил куда-то и сообщил об этом. А через четверть часа меня подозвали к телефону, и я услышал в трубке голос самого Ежова:

— Что вы там несете, любезный! Товарищ Сталин категорически против вскрытия! Так что не вздумайте огорчать вдову, тем более что и она — против!

И это я слышал в тот самый момент, когда здесь, рядом со мной, на диване, в полубессознательном от горя состоянии находилась супруга покойного, не подозревая, что Сталину известно ее мнение на сей счет».

Нарком здравоохранения Григорий Каминский позже запишет в дневнике: «Следом за Левиным и я потребовал досконального расследования всех обстоятельств гибели Серго Орджоникидзе. Но увы: все эти дни на меня Ежовым и его окружением оказывалось мощное давление с тем, чтобы я „без лишних разговоров“ подписал заключение неизвестного происхождения о смерти Серго „в результате паралича сердца“».

Остается напомнить читателям, что Лев Григорьевич Левин — тот самый врач, который лечил Горького в 1936 году, а в 1938 году был обвинен в его убийстве. Согласно приговору Военной коллегии Верховного суда СССР от 13 марта 1938 года, «по указанию врага народа Троцкого руководители „право-

троцкистского блока“ в 1934 году приняли решение убрать великого пролетарского писателя Максима. Горького. Этот чудовищный террористический акт было поручено организовать Ягоде, который, посвятив в цели заговора домашнего врача М. Горького — доктора Левина, а затем врача Плетнева, поручил им путем вредительских методов лечения добиться смерти М. Горького, что и было выполнено при руководящем участии в этом преступном деле доктора Левина. Активное участие в этом злодеянии принимали участники „право-троцкистского блока“ б. секретарь М. Горького — Крючков и б. секретарь НКВД — Буланов».

Кроме того Левину вменялось в вину участие в убийстве Куйбышева и сына Горького Максима.

Так о какой же, спрашивается, полной научной объективности «истории болезни» можно говорить, если «лечение» протекало в таких обстоятельствах, а «окончательный диагноз» был предопределен свыше?

Но разве того, что мы знаем о положении Горького в доме-клетке, об убийстве его сына, о все более возрастающей оппозиционности его режиму единовластия и блокированию с антисталинским крылом в партии, о сталинской тактике последовательного индивидуального «отстрела» тех, кто мешал его целям на пути к тотальному истреблению всякого инакомыслия ценой морей крови, — разве всего этого недостаточно, чтобы убедиться: Горький должен был попасть в число жертв вождя?

Доктор филологических наук, заведующий Архивом А. М. Горького при академическом институте, носящем имя писателя, центре горьковедения, совершенно игнорирует социальные истоки трагедии Горького, для него все это просто «недоказанные версии». Но разве не наивны попытки измерять накал социальных катаклизмов при помощи медицинского термометра?

Что получается теперь? Вполне «естественно» выстраивается такая логическая цепочка: ну, заболел старичок литератор, более всего известный в последнее время широкой массе как автор статей о Соловках, «Если враг не сдается…», Беломорканале… Заболел и умер. Все люди смертны. Да и за что было «убирать» такого верного режиму человека? Не о том ли говорят и великие почести, возданные ему посмертно, и троекратное посещение друга вождем во время болезни?

Так сомкнулись «академическая» теория «естественной смерти» с изобильно появлявшимися писаниями мало осведомленных, а то и попросту невежественных журналистов,

состязавшихся в том, кто побольнее ударит развенчанного основоположника соцреализма.

Теория «естественной смерти» наносила невосполнимый ущерб нравственному облику Горького. Разве не ясно: прежде чем возродить интерес к Горькому-художнику, надо дать ему возможность реабилитироваться нравственно, граждански. А он и завоевал, и выстрадал право на такую реабилитацию[71].

ГЛАВА XXXI
Французский гость умирает в Севастополе

Размышляя о том, как пропагандировать на Западе успехи социалистического строительства, Сталин особое внимание уделял роли писателей в этом деле. Из-за рубежа приезжало немало гостей: Т. Драйзер, С. Цвейг, Б. Шоу, Г. Уэллс, А. Мальро, Л. Арагон, А. Барбюс, И. Бехер, Ю. Фучик и другие, не говоря о многочисленных гостях I съезда писателей.

Разные это были люди. Коммунисты с удовольствием знакомились с тем, что им показывали. А похвалиться как-никак было чем!

Сталин с одобрением встретил книгу-панегирик о себе, великом человеке в скромной солдатской шинели. Ту, которую написал А. Барбюс и которую так и не написал этот строптивец Горький.

Приезжали и беспартийные, но прогрессивно настроенные писатели, приветствовавшие Великий Октябрь и успехи социалистического строительства (Роллан). Год назад он побывал в СССР как гость Горького, но план его поездки удалось составить таким образом, что вождь принял его раньше, чем он встретился со своим другом и мог что-либо услышать от него. А Алексей Максимович заходил слишком далеко, защищая всех этих Каменевых, Зиновьевых, не говоря уже о его любимце Бухарине.

Наконец, писатели, знаменитые не менее Роллана, а может быть, и более, но представляющие то крыло общественного мнения, которое олицетворяло так называемые «ценности» буржуазного образа жизни. Следовательно, их доброжелательные суждения о России приобретали наибольшую значительность в агитационном смысле. Да, крайне желательно, чтобы об СССР широко, правдиво, не копаясь в разном мусоре, который неизбежен в условиях великой стройки, писали люди, пользующиеся наибольшим авторитетом там.

А вот тут-то как раз дело обстояло плохо. Встреча с Бернардом Шоу ничего не дала. Уэллс говорил, что результат дискуссии со Сталиным равен нулю.

Что касается Жида, то на его приезд Сталин возлагал особые надежды, и вот почему. «Если бы для успеха СССР понадобилась моя жизнь, я бы отдал ее…» Кому могла принадлежать такая фраза? Барбюсу или Арагону? Нет, так высказался в 1932 году он,

Андре Жид! Писатель, пользовавшийся во Франции (да и только ли в ней!) огромной славой, превосходивший известностью Роллана или Мальро. В искренности его, пожалуй, сомневаться не приходилось хотя бы потому, что в конце 20-х этот изощренный интеллектуал (ставший впоследствии Нобелевским лауреатом), описывающий интимный мир человеческой души, изменил свою позицию. Он раздвинул «Тесные врата», как назвал один из ранних своих романов, и подал голос протеста против политики французских колонизаторов в странах Африки, выпустив книги «Путешествие в Конго» и «Возвращение из Чада». В порядке подготовки приезда Жида в СССР было срочно предпринято издание четырехтомного собрания его сочинений.

Переговоры с Жидом о поездке поручили начать И. Эренбургу. Соответствующее решение было принято в мае 1936 года. Первоначально отъезд назначили на 2 или 3 июня. Но, как мы уже говорили, Жид считал одной из главных (если не самой главной) целей поездки встречу с Горьким, который, оказалось, болен весьма тяжело, а значит, поездка теряет смысл.

А ведь было уже договорено, что прибудет Жид не один и отправится путешествовать по стране в сопровождении еще пяти человек, в число которых удалось включить Пьера Эрбара, редактора издававшегося в Советском Союзе журнала «Интернациональная литература».

Но вот 11 июня позвонил Эренбург и сообщил Жиду утешительную новость: Горькому лучше! Казалось бы, тем скорее и следовало воспользоваться благоприятной возможностью и вылететь в Россию! Но почему-то было сказано: да, конечно, прилет господина Жида крайне желателен, но по ряду причин предпочтительно, чтоб в Москву прибыл он не раньше 18 июня. Опять это восемнадцатое…

Жид прилетел в столицу днем раньше, и «Известия» сообщили, что первым его вопросом было: как здоровье Максима Горького? Получив туманный ответ, он начал все же готовиться к встрече. Увы, как известно, ей не суждено было состояться.

Днем раньше к писателю, успевшему расположиться в роскошном номере отеля «Метрополь», пришел возбужденный Бухарин. Однако едва он успел раскрыть рот, в дверях появился какой-то развязный человек, назвавшийся журналистом, и стал бесцеремонно вмешиваться в их беседу, сделав ее невозможной.

Тогда Бухарин попросил проводить его в прихожую и сказал там, что надеется увидеться с Жидом в самое ближайшее время. Мимолетную встречу удалось осуществить через три дня, когда Москва прощалась с Горьким. Бухарин подошел к Жиду: «Могу я к вам через час зайти в „Метрополь“?»

Пьер Эрбар, сопровождавший Жида и слышавший разговор, бросил реплику: «Готов держать пари, что это не удастся». Тут подошел Михаил Кольцов, заведовавший в Союзе писателей иностранными делами и имевший прямое касательство к приему Жида, отвел Бухарина в сторону и что-то сказал ему. Свидание с Бухариным так и не состоялось… Потерял Жид очень много. Ведь Бухарин был абсолютно горьковский человек.

Итак, в путешествие по стране отправилось шестеро. (Забегая вперед, скажем, что по разным причинам завершило его только трое.) Шестеро — это прежде всего сам Жид. Далее — упоминавшийся уже Эрбар, публиковавший в своем журнале произведения зарубежных писателей в соответствии с существовавшими в Советской стране идейными ориентациями. Джеф Ласт, совершавший четвертое путешествие в СССР и, следовательно, не вызывавший недовольства предшествующими публикациями. Литераторы Шифрин и Луи Гийу, о которых повествование Жида «Возвращение из СССР» не дает никакого представления. Говорится только, что они якобы оказались мало приспособленными к трудностям путешествия, устали от впечатлений и досрочно вернулись домой.

Замыкает компанию Эжен Даби, литератор, наиболее духовно близкий Жиду. Даби — это человек, «вышедший из народа, душой и телом преданный делу пролетариата». «Даби был очень осторожным человеком, — продолжает Жид. — Он не раз мне говорил, что всецело полагается на меня во всем, что касается разговоров, сам же всячески остерегался втягиваться в дискуссии». И вовсе не потому, что ему нечего было сказать. Скорее наоборот.

Критический взгляд Даби на происходящее в Стране Советов был известен (в том числе и Джефу Ласту, и Пьеру Эрбару) людям, наиболее связанным с советским режимом. А почему-то получалось так, что этим двоим приходилось попеременно жить в одном номере с Даби. Как будто в отеле для гостей такого уровня не могли найти трех одноместных номеров! Жид замечает: по этой причине у Даби «была возможность говорить (с ними. — *В.Б.)* чаще и более откровенно, чем со мной…».

У нас нет прямых документированных оснований обвинять собеседников Даби в чем-то предосудительном. Однако вполне логично предположить, что в рамках сложившейся в стране системы официальное лицо, каким в данном случае является Эрбар, хотя бы в общих чертах должно было информировать соответствующие инстанции об умонастроениях приезжавших в страну иностранцев. Это предположение подкрепляется тем, что Эрбар пытался в дальнейшем — и, конечно, явно не по

собственной инициативе — всячески отговорить Жида от издания его остро критической книги. При этом он стремился усилить свои позиции, чтоб давление на Жида было большим, опираясь на мнение других авторитетов. Так, он специально предпринял поездку в Испанию, чтобы заручиться поддержкой А. Мальро в том, что «несвоевременно» издавать книгу, разоблачающую сталинизм, в пору обострения войны в республиканской Испании.

Кстати, ту же роль в судьбе рукописи пытался играть и Эренбург, который, в отличие от Мальро, вообще не был знаком с текстом книги, а потому его действия вызвали особое изумление автора «Возвращения». Как мы помним, Эренбург стоял у истоков организации поездки Жида в СССР и так или иначе связан с «невстречей» Жида и Горького.

Во время пребывания трех оставшихся иностранных гостей на юге стояла страшная жара. «Мы, впрочем, не слишком от нее страдали, и ничто не предвещало несчастья с Даби», — пишет Жид. Во время пребывания в Севастополе Даби неожиданно заболел и очень скоро умер. Дальше в повествовании Жида, в целом отчетливом по умонастроению и отточенности формулировок, вкрадывается этакая туманность. «Я с возмущением протестую против домыслов, связанных с его болезнью», — пишет Жид. Чьих домыслов? В чем состоят они? Все это остается неясным. Неясность усугубляется дальнейшей фразой: «Даже недоброжелательные (к кому? — *В.Б.)* люди говорили о неверном диагнозе» (скарлатина). Жид пишет далее, что за Даби наблюдали лучшие врачи Севастополя (как будто сам Жид мог определить уровень их квалификации).

Теперь компаньонов Жида осталось только двое.

Далее Жид выражает протест и по поводу домыслов, связанных с записными книжками Даби. Их, так же, как и другие бумаги Даби, Жид передал его семье. Однако тут же следует немаловажное, но не вполне ясное дополнение: «правда, некоторое время они находились под арестом». Где? В СССР или уже во Франции? Неясно.

Свою книгу «Возвращение из СССР» Жид посвятил памяти умершего на чужбине друга: «Памяти Эжена Даби посвящаю эти страницы — отражение пережитого и передуманного рядом с ним и вместе с ним».

Между тем севастопольская кончина Даби, которому исполнилось всего 38 лет, вызвала во Франции немало толков. Часть из подобных суждений приводит и Жид. Некто Фридман даже отдает предпочтение Даби перед Жидом в смысле критичности осмысления того, что происходило в СССР, куда Даби якобы собирался еще вернуться. «Разве не осознавал бы он в

большей степени, чем Жид, что они (впечатления. — *В.Б.)* определяют не только психологический интерес? Разве бы не задумался он о том, что эти впечатления (о их недостаточности он сам мне говорил во время встречи на Черном море) могут иметь столь громкий *политический* резонанс и в такой момент?» (выделено мной. — *В.Б.)*.

По-видимому, основания для такого предпочтения Даби перед Жидом Фридман искал в биографии первого. Из рабочей семьи. Участник мировой войны. Автор очерковой книги «Парижские предместья», отличавшейся четкой классовой ориентированностью. Но особо необходимо подчеркнуть следующий момент, имеющий чрезвычайно большое значение в книге о Горьком: он буквально боготворил писателя, поднявшегося с самого дна России, признавал, что Горький сыграл огромную, решающую роль в его духовном формировании. И уж наверняка Даби попытался бы основательно разобраться в причинах его смерти и слухах об отравлении, которые сразу же получили широкое хождение. Не исключено, что по возвращении во Францию он бы высказал свое мнение на этот счет.

И хотя Ласт пытается смягчить некоторые из приведенных формулировок Фридмана и даже выражает сомнение по поводу желания Даби задержаться в СССР или вновь приехать сюда, к соображениям Фридмана стоит прислушаться.

Критичность позиции Даби и близость его взглядов взглядам Жида подтверждает и Эрбар: накануне своей смерти Даби говорил ему, что весьма озабочен тем, чтобы Жид по возвращении во Францию «высказал те опасения, которые он так часто разделял с ним во время путешествия: „Он заставит себя услышать… Люди поймут, что это говорит друг“».

Мы знаем, какую острую книгу написал Жид. В сущности, это был первый опыт критики сталинского тоталитаризма и лично Сталина как диктатора. Мы не знаем, стала бы книга Жида острее, если бы Даби оказался его соавтором или сопроводил своими самостоятельными дополнениями или, чего доброго, выпустил бы свои записки отдельным изданием.

Высвечивается одно: по мере своего пребывания в СССР делегация уменьшилась на трех человек, а один и вовсе ушел из жизни.

В сущности, это был еще один из актов политического терроризма ради нагнетания страха в стране накануне начала первого из политических процессов — процесса над Каменевым и Зиновьевым, начавшегося в самом конце пребывания Жида в стране. «Немыслимая, ужасающая растерянность», — записал он в своем дневнике. Вынесение смертного приговора осужденным

застало Жида еще в Москве, в день отъезда из столицы.

На процесс его, естественно, не приглашали. Как, естественно, не пригласили бы и Даби, останься он жив… Ну, а угодную Сталину роль «объективного наблюдателя» сыграл Лион Фейхтвангер.

Если уход Даби был насильственным, то в расчет людей, организовавших его, безусловно входило создание вокруг Жида атмосферы если не страха, то по крайней мере неуверенности, состояния тревоги, беспокойства, психологического дискомфорта. А уж отсюда рукой подать и до страха. Как ни отгоняй его рассудком, но противоположную работу проводит подсознание, инстинкт.

Откровенные опасения за свою судьбу пронизывают настроения Арагона, который не входил в группу Жида, но в России пребывал одновременно с ним и тоже собирался встречаться с Горьким по настоянию последнего. Горький еще с марта настойчиво вызывал Арагона из Франции и лично, и через Кольцова. Уже спустя годы, в 1977 году, Арагон писал, что он прибыл в Москву якобы 18 июня, т. е. в день смерти Горького. Между тем отмечено, что уже 16 числа в «Правде» появилось его интервью и, следовательно, он должен был уже находиться в столице днем или двумя раньше.

Вряд ли Арагона подвела память. Комментатор и переводчик публикации «Возвращения» в «Звезде» (1989, № 8) А. Лапченко резонно пишет: «Остается неясным, почему Л. Арагон не встретился с Горьким и почему он умолчал об этом. Все это дает основание думать, что Сталин мог принять свои меры, чтобы предотвратить встречу Горького с Л. Арагоном и А. Жидом».

Почувствовал ли какое-нибудь давление на себя Жид во время путешествия? Заподозрил ли что-нибудь неладное в связи со смертью Даби?

С уверенностью сказать трудно. А предположения могут быть разные. Возможно, изощренный интеллектуал, воспитанный на гуманитарных ценностях Запада, и помыслить не мог о тайных преступлениях Сталина и его клики, тех, о которых годы спустя поведал миру Орлов в своей книге, но которые процветали уже с начала 30-х годов. А может быть, дело обстоит иначе. Критикуя Сталина и тоталитаризм, отрицая какие-то «домыслы» по поводу смерти Даби, Жид сознательно решил не касаться скользкой темы. Ведь наверняка к концу 1936 года, когда вышло «Возвращение из СССР», до него доходили получившие широкое распространение слухи о насильственной смерти Горького. Смерти, настигшей его точно в то самое роковое 18 июня…

Вероятность насильственного устранения Эжена Даби

возрастает, если мы внимательно проанализируем аналогичные судьбы нескольких других видных иностранных деятелей. О последних годах жизни А. Барбюса и его загадочной смерти в Москве будет рассказано в книге «Беззаконная комета».

В последнее время в наших СМИ появились сведения о причастности сталинских спецслужб к уходу из жизни некоторых руководителей образовавшихся уже после войны стран т. н. социалистического лагеря. Тех, кто пользовался авторитетом в глазах международной общественности и смел «свое суждение иметь», например, героя Лейпцигского процесса Георгия Димитрова (1882–1949). Напомним, что в 1934–45 годах он жил в СССР и был даже депутатом Верховного Совета страны. (Заметим попутно, что отрицательное отношение к сносу мавзолея Димитрова в Софии выразил изгнанный из страны и лишь в конце 90-х годов вернувшийся в нее царь Болгарии Симеон II, выступив в защиту исторического подхода к вопросу о национальных ценностях.)

Еще одной «неудобной» для Сталина фигурой во вновь образовавшемся конгломерате европейских социалистических государств оказался министр иностранных дел Ян Масарик, сын первого президента Чехословацкой республики Томаша Масарика. Ян был личностью богато одаренной и яркой во всех отношениях. Формировавший новый кабинет глава правительства Клемент Готвальд возлагал большие надежды на то, что Масарик непременно войдет в него.

Но как раз накануне решающего дня, в ночь на 10 марта 1948 года, тело Масарика нашли бездыханным во внутреннем дворе здания Министерства, где он располагал квартирой. Официальная версия — самоубийство на почве нервного кризиса (выбросился из окна). Существуют, однако, убедительные данные о причастности спецслужб к устранению Масарика. Известно, что он испытывал сильнейшее и грубое давление со стороны советского руководства (во время визита замминистра иностранных дел СССР Валериана Зорина в феврале 1948 года). А еще ранее — со стороны лично Сталина в ходе переговоров в Москве в 1947 году.

Вернувшийся тогда в Прагу Масарик с нескрываемой горечью и разочарованием говорил друзьям о безвыходности своего положения: «Я уезжал в Москву министром иностранных дел суверенного государства, а вернулся лакеем Сталина». Но великий вождь, не доверявший никому, очевидно, не был уверен до конца, что «лакей» будет вести себя как надо. Лакеи из интеллектуалов всегда получаются плохие[72].

ГЛАВА XXXII
Под сенью сталинской Конституции

Через день после смерти писателя сразу в трех газетах появились публикации лечащих врачей: А. Сперанского («Последние дни жизни А. М. Горького») в «Правде», Л. Левина («Последние дни») в «Известиях» и М. Кончаловского («Последние дни А. М. Горького») в «Литературной газете». Бросается в глаза не только одновременность, как по команде, их появления и однотипность заголовков. Главное — единая направленность. М. Горький — верный слуга режима. Партия и правительство бесконечно заботились о нем. «Только то внимание и любовь к нему, которыми он был окружен как со стороны правительства, так и со стороны лечивших его врачей… могли объяснить то обстоятельство, что он прожил, и не только прожил, но и работал последние три года», — вторит газетным публикациям профессор Д. Плетнев в воспоминаниях, хранящихся в архиве.

Находившиеся непосредственно при Горьком во время его болезни особенно усердствуют в одном — в описании реакции писателя на новую Конституцию. Газету с текстом проекта Конституции прислал ему Сталин. Мемуаристы дружно заявляют, что она привела писателя в восторг. Особенно активна в этом отношении Будберг: «Очень хотел прочитать Конституцию, ему предлагали прочитать вслух, он не соглашался, хотел прочитать своими глазами. Просил положить газету с текстом Конституции под подушку в надежде прочитать „после“. Говорил: „Мы вот тут занимаемся всякими пустяками (болезнью), а там, наверное, камни от радости плачут“».

Один из врачей, Сперанский, как бы вторит ей: «С материалами и проектом новой Конституции он ознакомился еще в первые дни болезни»… (Уж не тогда ли, когда умирал? И как понимать «ознакомился»? Читал сам или ему читал кто-то? Будберг это отрицает.) Но Сперанский продолжает: Горький об этих материалах говорил «восторженно». «Задыхаясь, прерывая свою речь вынужденными паузами, он постоянно возвращался к параграфам, касающимся прав гражданина, взаимных отношений национальностей и особенно к части, ясно и навсегда сформулировавшей положение женщины. „Вот мы тут с вами пустяками занимаемся, ненужным делом, а ведь теперь в стране, может быть, камни поют“, — не раз повторял он ухаживавшим за ним лицам».

То камни от радости плачут, то они поют… То, если вновь

обратиться к мемуарам Тренева, тяжкие камни давили на горьковскую душу… Как тут не вспомнить старинное изречение: «Если бы камни могли говорить»!..

Кое-что проясняют отличающиеся наибольшей достоверностью записанные позднее воспоминания медсестры Чертковой, находившейся при Горьком неотлучно (лишь ее Сталин оставил при нем 8 июня, грубо удалив остальных). «Про то, что А.М. читал Конституцию и спрятал газету к себе под подушку, как написал Сперанский, — не помню. При мне этого не было. Если бы газета лежала под подушкой, я бы видела».

Конечно, вокруг смерти Горького нагромождено немало мифического, и тут автору книги очень выгодно было бы поставить точку: вроде бы наглядно раскрывается, так сказать, «технология» создания мифа.

Однако Горький мог говорить высокие слова о Конституции, которую он во время болезни не читал сам и не слышал от кого-либо (ну, не нелепо ли выглядела бы картина чтения этого сугубо официального документа с его казенной лексикой умирающему человеку?).

Первоначальный вариант проекта Конституции, еще до его опубликования в печати, Сталин прислал ему «месяца за четыре до его смерти», как свидетельствует навестивший его в Крыму Маршак. Говоря точнее — 12 февраля. Если верить мемуаристу, Горький говорил о проекте возвышенно: «Вот книжка, которая превосходит все наши писания… это документ величайшей взрывчатой силы».

Почему «если верить»? Да потому, что не только приведенные, но и множество других примеров говорят о явных потугах приблизить Горького к Сталину, сделать его чуть ли не робкой тенью вождя.

Но в данном случае подвергать сомнению достоверность слов Маршака не приходится. И дело вовсе не в каком-то слепом преклонении перед диктатором. Почему бы и не радоваться Документу, обещавшему стране переход к новой, гораздо более демократической форме существования? Уж Горький-то прекрасно знал, что автором основного текста Конституции является Бухарин, человек, с которым его связывали самые тесные дружеские отношения.

Оба они в конце концов оказались романтиками, идеалистами, продолжавшими верить в возможность повлиять на Сталина в достижении своих планов демократизации страны и ее культуры с опорой именно на новую Конституцию. Вот откуда многозначительная формулировка — «документ величайшей взрывчатой силы». Ни тот, ни другой не допускали мысли, что

рождается, как скажет позже Пастернак, Конституция, не рассчитанная на применение.

Наоборот, они как раз стремились сделать все, чтоб подобный документ поскорее внедрялся в жизнь, становился ее реальностью. И опираться на него в своих действиях они начали еще до его официального утверждения.

В феврале 1936 года в «Социалистическом вестнике» появилась анонимная статья, в которой сообщалось, что в России в условиях рождения новой Конституции будто бы начинает оформляться новая партия, партия интеллигенции, а возглавлять ее собираются Горький и академик Павлов[73].

Что касается Павлова, то в это время контакты престарелого, но еще весьма бодрого академика с писателем были весьма активны, причем Павлов не скрывал резко критического отношения к порядкам в стране. Он отличался, как известно, той предельной независимостью суждений, которая и должна характеризовать умонастроение подлинного интеллигента, но которая, по мнению Сталина, как раз была главным источником крамолы и подлежала беспощадному искоренению. Павлов, и ранее досаждавший властям своим радикализмом, совсем впал в немилость после убийства Кирова.

С благодарностью отвечая на одно из официальных поздравлений по случаю 85-летия, Павлов пишет: «К сожалению, я чувствую себя по отношению к нашей революции почти прямо противоположно Вам. В Вас, увлеченного некоторыми действительно огромными положительными достижениями ее, она „вселяет бодрость чудесным движением вперед нашей Родины“, меня она, наоборот, очень часто тревожит, наполняет сомнениями.

Видите ли Вы ясно, не затуманенными глазами, тоже огромные и также действительные отрицательные стороны ее! Думаете ли Вы достаточно о том, что многолетний террор и безудержное своеволие власти превращают нашу и без того довольно азиатскую натуру в позорно рабскую? Я видел и вижу постоянно много чрезвычайных примеров этого. А много ли можно сделать хорошего с рабами? Пирамиды, да; но не общее истинное человеческое счастье».

Но что там ответ на поздравление отдельного лица? Вот что изволил писать академик прямо в Совет Народных Комиссаров СССР: «Во-первых, то, что вы делаете, есть, конечно, только эксперимент и пусть даже грандиозный по отваге, как я уже и сказал, но не осуществление бесспорной насквозь жизненной правды — и, как всякий эксперимент, с неизвестным пока окончательным результатом. Во-вторых, страшно дорогой (и в

этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни.

Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком без пропусков, со всеми ежедневными подробностями — это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и бесчисленными учеными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание, я всего более вижу сходство нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий».

Когда же отправил свое письмо властям уважаемый академик? Три недели спустя после убийства Кирова! И это вместо того, чтобы присоединить свой голос к тысячам голосов, выражающих непоколебимую волю народных масс и их поддержку политики великого вождя народов! Ну ладно бы он написал одно письмо сгоряча. Но он стал обращаться в правительство вновь и вновь.

Павлов скончался месяц спустя после холодновато-учтиво-наставительного ответа Молотова. Скончался, хотя обладал отличным здоровьем, несмотря на почтенный возраст. Пользовавших его врачей во время неожиданного заболевания сменила бригада, специально присланная в Ленинград из Москвы. Один из учеников академика, его лечащий врач, профессор В. С. Галкин, утверждал, что Павлова умертвили…

Нетрудно догадаться, как мог прореагировать на сообщение о новой партии Сталин, стремившийся сосредоточить в своих руках максимально возможную единоличную власть и задумавший гигантский план устранения всех, кто мыслил (и даже мог бы мыслить!), игнорируя установки вождя. Что же касается Конституции, то она была рассчитана на общественное мнение Запада, которое, как Сталин убедился, куда больше внимания уделяет роли России в делах международных, в борьбе с нарастающей угрозой фашизма, нежели ее внутренним проблемам и конфликтам.

Наивные люди типа Бухарина и Горького думают о новой партии! Только этого Ему не хватало! Нельзя допустить не только создания партии, но даже малейшего упоминания об этом крамольном намерении в печати. Дурной пример заразителен. А уж если он прикрывается ссылками на Конституцию и прочие отголоски гнилого западного либерализма тем более!

В полной ли мере достоверны сведения о попытках создания

особой, самостоятельной партии, мы пока не знаем. Но потребность в такого рода организации для Горького стала весьма велика именно в это время, когда «Правда» перешла к открытому наступлению на него, да еще лишая возможности ответного слова! А складывать оружия он не собирался!

Горькому могло показаться, что открываются благоприятные возможности: провозглашалось вступление страны в новый период ее развития, связанный с разработкой и принятием новой Конституции. Начинали с особой силой декларироваться достижения социалистического строя, и теперь сама идея создания новых демократических структур могла кому-то, особенно на Западе (но не только там!), показаться весьма заманчивой и реальной.

Не лишено оснований и предположение о том, что о попытках создания двух партий узнали в «Соцвестнике» именно от Бухарина, выезжавшего в это время за рубеж для приобретения архива Маркса и встречавшегося с Николаевским, редактировавшим «Соцвестник».

Не исключено, впрочем, и предположение совершенно особого рода, а именно, что все это было просто провокацией, направленной и против Павлова, и против Горького, а в конечном счете и против Бухарина (вот сколько «зайцев» можно было убить одним выстрелом!).

ГЛАВА XXXIII
Резонанс

…Спустя пять лет после смерти Горького академик В. И. Вернадский записывал в своем дневнике: «Узкое. 18.VI-1941. Смерть Горького 18 июня 1936 года. Об убийстве его тогда никто не подозревал. Это „открылось“ позже, и жертвами явились Левин и Плетнев — которые „сознались“ во время процесса. Уже во время процесса мне показалось подозрительной роль Ежова — помощника Ягоды — грубо-глупым рассказом об обоях его помещения[74]. Левин, который был врачом Кремля, друг Я. В. Самойлова (ученика Вернадского. — *В.Б.),* и который в конце XIX века лечил нашу семью, мягкий и честный человек; когда его пришли арестовывать, он позвонил Ежову; тот ему сказал, чтобы он не беспокоился, и т. п.

В 1941 году, в пятилетие смерти Горького, ни в „Правде“, ни в „Известиях“, ни в „Литературной газете“ об этом „убийстве“ никто не говорил. Только Ем. Ярославский в своей статье довольно глухо упоминает».

Выдержки из дневника Вернадского были опубликованы лишь в 1988 году. Но гораздо раньше, по горячим следам позорного судилища над «антисоветским правотроцкистским блоком», был опубликован другой документ, получивший сенсационную известность и датированный 17 августа 1939 года. Это «Открытое письмо Сталину» Федора Раскольникова (полностью опубликовано в «Неделе», 1988, № 26).

Письмо-инвектива Раскольникова раскрывает всю сущность кровавой политики Сталина по отношению к партийным кадрам, руководству армией, творческой интеллигенции. «С помощью грязных подлогов вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинений знакомые вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм. Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, что М. Горький умер естественной смертью и Троцкий не сбрасывал поезда под откос.

Зная, что все это ложь, вы поощряете своих клеветников:

— Клевещите, клевещите, от клеветы всегда что-нибудь останется».

Эти слова принадлежали тому самому Раскольникову, который еще в дореволюционные студенческие времена писал Горькому и получил ответ. Чуть позже, в 1915 году, работая в «Правде», где печатались «Сказки об Италии», познакомился в Петрограде с Горьким лично, а потом они неоднократно

встречались по литературным делам, поддерживали переписку.

Как все же отечественная история наша богата парадоксами! В 1931 году Раскольников писал Горькому в Италию: «С большим удовольствием читаю я Ваши статьи в „Правде“ и „Известиях“. В особенности порадовали меня Ваши мужественные выступления, связанные с процессами вредителей. Воображаю, сколько угрожающих писем получили Вы от эмигрантской сволочи!»

Что имеет в виду Раскольников? Статью «Если враг не сдается — его уничтожают!».

Вот насколько был в ту пору силен гипноз. Вот как тогда верили самые честные люди, что классовая борьба обретает столь обостренные формы. И естественно, никто тогда и предполагать не мог, на кого потом будет направлен безжалостный сталинский карающий меч.

Суждение Раскольникова о смерти Горького нуждается в пояснении. Когда он пишет, что писатель умер естественной смертью, то тем самым хочет сказать, будто никто из обвиняемых по инспирированному делу правотроцкистского блока в смерти Горького не виноват и это клевета на невинно пострадавших. Но Раскольников, живший за рубежом и не знавший многих обстоятельств последних лет жизни Горького, дал невольный повод думать, будто в смерти Горького вообще никто не виноват. Однако сказанное нами убеждает в обратном.

А как же «обставлялась» в печати официальная версия причин горьковской смерти? Ведь устроители процесса не могли не понимать, что многие испытывают сомнения в достоверности публикуемых сведений. Чтобы закрепить в массовом сознании официальную версию и идею законности состоявшегося весной 1938 года судилища, издательством «Политическая литература» была тогда же, в 1938 году, выпущена книга «Буревестник», с характерным подзаголовком «Жизнь и смерть Максима Горького». Для нее была открыта «зеленая улица»: сдана в набор 8 июня, подписана в печать… через пять дней! Тираж — 300 тысяч экземпляров! Большой и по нынешним временам, а тогда — гигантский (тираж Собрания сочинений самого Горького был в 10 раз меньше).

Кто же автор книги? Михаил Кольцов. В ту пору едва ли не первый журналист страны, автор очерков, фельетонов, памфлетов, член редколлегии «Правды», основатель журнала «Огонек», редактор «Крокодила», член-корреспондент АН СССР, депутат Верховного Совета РСФСР.

Мало того, — и это особенно важно — Кольцов был человек, очень близкий Горькому. Вместе с ним редактировал журнал «За рубежом», осуществлял горьковские начинания — серии «Жизнь

замечательных людей», «Библиотека романов», «История молодого человека XIX в.», уникальную книгу «День мира» (1937). В книге «Буревестник» немного фотографий. Одна из них — Горький и Кольцов в Тессели.

Другая фотография — Горький и Сталин (на физкультурном параде в 1931 году).

В сущности, этой теме — Горький и Сталин — и посвящена книга. В ней две главные идеи. Первая: великий Сталин, продолжатель ленинских идей, — лучший друг Горького. Тесная и плодотворная дружба Горького с Лениным перешла «естественно и органично в такую же горячую и благодарную дружбу Горького со Сталиным». Что из того, что это не очень согласовывалось с фактами? (С Лениным Горький познакомился еще в 1905 году, многократно встречался, переписывался. Ленин гостил у него на Капри… Сталина в сознании Горького, можно сказать, тогда просто не существовало.) Подчищать историю в угодном вождю направлении стало нормой.

«Горький заново обретает свою родину — как сподвижник Сталина, как его друг, и эта дружба трех людей, Ленина — Сталина — Горького, стала историческим фактом, бросающим отсвет на почти полвека культуры нашей страны». «Частый гость в доме Горького, великий пролетарский революционер засиживался здесь до поздней ночи».

Идея вторая. «Активность Горького в общественной и государственной работе, его деятельность по сплочению международных антифашистских сил, его дружба со Сталиным не могли не встревожить фашистские, антисоветские круги».

Троцкий во время «тайной» встречи в Париже в 1934 году дает указание своему приспешнику Бессонову «о необходимости физического уничтожения Горького во что бы то ни стало». «Предложение Троцкого „устранить“ Горького доходит в Москве и до руководителей первой группы антисоветских заговорщиков — до Бухарина, Рыкова и Томского… Реализацию этого проекта „правотроцкистский блок“ поручает негодяю Ягоде».

«В мае, в результате преступных действий завербованных Ягодой врачей, Макс Пешков был умерщвлен…» Одним из врачей был Левин, «устранявший» и самого Горького как человека «очень преданного лично Иосифу Виссарионовичу Сталину…»

Итак, Горького устранили «прихвостни и агенты буржуазии», «фашистские выродки», «предатели социалистической революции», «троцкисты и правые», — Бухарин, Томский, Рыков, то есть именно те люди, которых с абсолютной бескомпромиссностью брал под защиту Горький в 1929 году, а с иными, как с Бухариным, его связывала тесная личная дружба!

Воистину цинизм Сталина-диктатора не знал предела. Видимо, из смерти Горького, последовавшей в результате его личного указания, он решил извлечь всю пользу, до последней капли.

Читая книгу «Буревестник», можно ли было не верить тогда, что все происходило именно так, а не иначе? Ведь писал сам Кольцов! Человек с биографией легендарной! Как журналист он проявлял изобретательность фантастическую, действовал порой с риском для жизни. Инкогнито проник в «царство фашиста Хорти»; в Германии навестил в тюрьме коммуниста Макса Гельца; побывал в «норе у зверя», так и назвал свой очерк о встрече и беседе с одним из руководителей белогвардейского центра, генералом Шатиловым, иллюстрированный собственноручно выполненной фотографией хозяина, «норы» (можно представить себе его ярость). Примерами подобного рода не так часто может похвастаться журналистика. Слава Кольцова еще более возросла в связи с публикацией «Испанского дневника» (1938).

Верил ли сам Кольцов в то, о чем писал в «Буревестнике»?

Однажды, вскоре после возвращения Кольцова из Испании (1 мая 1937 года), его пригласил к себе Сталин, чтобы расспросить о положении дел в стране. Михаил Ефимович решил не ударить в грязь лицом и блеснул перед вождем подробным, аргументированным, прекрасно оснащенным фактами рассказом.

Сталин слушал внимательно, настроен был благожелательно. Тем неожиданнее прозвучал его вопрос:

— У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?

— Есть, товарищ Сталин, — ответил опешивший Кольцов.

— Но вы не собираетесь из него застрелиться?

Нет, такого желания у Кольцова не возникло. Ну а вождь, он просто изволил «пошутить».

В марте 1938 года были опубликованы репортажи Кольцова с процесса «правых», где он громил подсудимых, а Бухарина назвал «убийцей с претензиями».

Потом вышел «Буревестник».

А 17 декабря 1938 года Кольцова арестовали. Возникает вопрос: целесообразно ли было осуществлять версию об устранении Горького «троцкистско-бухаринской бандой» при помощи человека, который сам стал «врагом народа»?

А Кольцова никто и не объявлял «врагом народа» публично! (В отличие, скажем, от тех, кто «убил» Горького.) Кольцов просто исчез. Именно этим словом обозначает происшедшее с Кольцовым К. Симонов, автор записок «Глазами человека моего поколения». «Самым драматическим для меня лично из всех этих событий был совершенно неожиданный и как-то не лезший ни в какие ворота арест и исчезновение Михаила Кольцова». Неожиданный, потому

что арестов среди писателей тогда больше не производилось. Но вскоре, уже в войну, стали распространяться упорные слухи о том, что Кольцова видели то на одном, то на другом участке фронта.

Писатели не верили в его вину. И тогда Сталин в ответ на запрос Фадеева, последовавший недели через две-три после ареста Кольцова и выражавший сомнение в его виновности, ознакомил Фадеева с «документами», в которых было написано и о связях с троцкистами и еще Бог знает что.

«Документы» могли пригодиться на всякий случай.

Масса же ничего не знала об этом. Читатель книги «Буревестник» вполне мог подумать в 1938 году и позже, что Кольцов снова отправился в ту же Испанию или решил заглянуть еще в какую-нибудь «нору». И никому в голову не могло прийти, что теперь ему действительно уготована «нора», из которой не суждено выбраться никогда.

А книга осталась. Она «работала».

Люди читали и негодовали. На митингах и собраниях восклицали: позор врагам народа!

Смерть убийцам великого пролетарского писателя! Если враг не сдается — его уничтожают!

Да здравствует великий вождь и учитель товарищ Сталин!

Все в том же 1938 году в идейной жизни страны произошло выдающееся событие. Вышла книга, которая получила в народе наименование — «Краткий курс», но полностью называлась так: «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Под редакцией комиссии ЦК ВКП(б)». Книга была призвана окончательно закрепить в массах представление о том, что решающую роль в борьбе за построение социалистического государства играл он, Сталин. Многие знали, а потом этот слух получил широчайшее хождение, что не только редактором, но во многом и автором ее является Сталин.

Смерти Горького вождь придавал такое большое значение, что счел необходимым даже в этом обобщающем труде обозначить ее в качестве одного из главнейших преступлений банды «бухаринско-троцкистских шпионов, вредителей, изменников Родины». Это событие было поставлено в один ряд с заговором против советской власти в первые дни октября, срывом Брестского мира, злодейским выстрелом в Ленина, убийством Кирова…

Вполне естественно, что так называемые «московские процессы» 1936–1938 годов получили широкий международный резонанс и нанесли непоправимый ущерб Советскому Союзу в глазах мирового общественного мнения. Уже параллельно

первому, 1936 года, процессу против Каменева и Зиновьева сторонниками Троцкого был организован контрпроцесс, посеявший сильное сомнение в достоверности поступавшей из Советской России информации.

Как мы уже знаем, в марте 1938 года состоялся третий, завершающий процесс, «героями» которого стали Бухарин, Рыков, Крестинский, Ягода и другие. Пресса запестрела сенсационными материалами о том, что «шпионы», «враги народа» при участии «предателя» Ягоды убили Горького, Менжинского, Куйбышева. Обвинения, предъявленные крупнейшим в недавнем прошлом руководителям партии и государства, были абсолютно нелепы и чудовищны (получалось так, что они и революцию-то делали только для того, чтобы вредить ей!).

И если газеты в 1936 году еще публиковали репортажи, проникнутые чувством недоумения и растерянности, то теперь пресса решительно сменила тон. Так, французская «Сентр» сообщила, что столь немыслимый сюжет едва ли был бы по силу такому классику фантастики и гротеска, как Эдгар По. Газета «Либерте» назвала «московские процессы» одним из самых поразительных случаев истерик и самооговора.

В Европе сильно поубавились симпатии к Советскому Союзу. А на пороге уже стоял призрак мировой войны, требовавший сплочения всех демократических сил…

Узнаем ли мы когда-нибудь всю страшную правду о тех днях? Для этого нужны документы. Но Сталин прекрасно усвоил одно неукоснительное правило: не надо оставлять следов. Есть приказ, постановление, директива… Это документы. И есть устное указание Хозяина, не требующее документальной фиксации. Более того, есть еще одно средство, совершенно уникальное! Эффективность его громадна, а ответственности — никакой. Это — намек. Намек как способ общения с понимающими. Особое его достоинство состоит в том, что потом можно будет сказать: не так поняли! — и даже разгневаться. И примерно наказать провинившегося. Это уж как подскажут обстоятельства… Важно, чтоб были исполнительные подчиненные.

Итак, Горького не стало 18 июня 1936 года. А первый политический процесс — над Зиновьевым, Каменевым и их «сообщниками» — начался в Октябрьском зале Дома союзов 19 августа.

Близился 1937 год.

Теперь Сталин мог приступать к реализации замысла грандиозной кадровой чистки, не в последнюю очередь и в писательской среде.

Отдельные аресты писателей проводились и раньше.

Например, на Украине в 1930 году арестовали несколько десятков литераторов в связи с тем, что была раскрыта «контрреволюционная организация». В 1933 году там же была арестована группа литераторов в связи с разоблачением Компартии Западной Украины, как шпионской. Были аресты в 1934 году в связи с убийством Кирова…

Но все они как бы «вписывались» в другие процессы и уже не вызывали впечатления какой-то исключительности.

К массовому истреблению писателей Сталин смог приступить в следующем, 1937 году. Меч нависал над Б. Пильняком и А. Веселым, И. Бабелем и И. Катаевым, Б. Ясенским и П. Васильевым, О. Мандельштамом и А. Воронским, Б. Корниловым и С. Третьяковым, над десятками и сотнями других прозаиков, поэтов, драматургов, критиков. Но меч не мог опуститься при Горьком. Горький мешал Сталину. И вот теперь это препятствие было устранено…

По неполным данным, тогда погибло 1000 писателей. Столько же сумело выжить в лагерях и застенках…

ГЛАВА XXXIV
Эхо выстрела Жоржа Дантеса

Мы уже знакомы с проницательным заявлением замечательного разведчика Игнатия Рейса, погибшего за рубежом от руки сталинских наймитов. Он с гневом писал в ЦК, что резонанс в обществе от политических процессов и кровавая расправа над осужденными заглушаются развертывающейся параллельно шумихой вокруг подвигов авиаторов, совершающих сверхдальние перелеты и встречаемых всенародно, папанинских рейдов на льдине, подвигов стратонавтов и т. д.

Пока не учитывалась еще одна акция общедержавного масштаба, которую великий организатор использовал в своих интересах воистину блистательно. На помощь себе он призвал… Пушкина! Дело в том, что в начале 1937 года исполнялось сто лет со дня гибели русского гения.

Еще в 1935 году вышел очередной том «Литературной энциклопедии». В огромной статье о поэте читаем: «После Октября широчайшие массы проявляют исключительный интерес к творчеству Пушкина. Пушкин становится одним из любимых поэтов Советского Союза. И в этом есть глубокая закономерность. Пролетариат является подлинным наследником значительнейших созданий культуры прошлого».

А завершается статья чрезвычайно многозначительно: «В настоящее время в связи с приближающейся столетней годовщиной смерти Пушкина… образована специальная комиссия для подготовки юбилея, в которую вместе с пушкинистами входят члены правительства».

Напомню еще раз: цитируется не передовица, хотя бы и из «Правды» (как говорится, газета живет один день), а *энциклопедия*. Можно понять, какой стратегический и политический характер носило планируемое загодя мероприятие. Это обстоятельство не преминула тотчас подчеркнуть эмигрантская пресса (все тот же «Социалистический вестник»). И действительно: юбилей Пушкина 1937 года превратился в грандиозный всенародный праздник. Он может сравниться разве что с празднованием 40-летия литературной деятельности Горького в 1932 году.

Подлежит сопоставлению, однако, не только размах, масштабы юбилеев, но и их характер. Это были события уже не чисто литературные, а государственные, политические. И связь между ними куда более прочная, чем может показаться на первый взгляд.

В высшей степени характерна запись, сделанная К. Чуковским в дневнике 10 апреля 1936 года. «Третьего дня получил приглашение… явиться в Кремль для обсуждения предстоящих пушкинских торжеств. Это ударило меня как обухом… Иду к Кремлю… И вот мы уже в длинном зале заседаний Совнаркома. Уютно и величественно. Портреты Ленина и др. вождей… Буденный, Куйбышев… Пушкин. Целый ряд подлинных пушкинских реликвий по стенам».

Заседание пушкинской юбилейной комиссии лишь на неделю опережало съезд комсомола. А спустя несколько дней, 22 апреля, в дневнике появляется еще одна запись: «Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали — счастливая. Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: „Часы, часы, он показал часы“, — и потом, расходясь, уже возле вешалок вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему… Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью…»

Мог ли кто-нибудь из находившихся в этом зале почувствовать хоть отдаленный запах кровавого 37-го?

А до смерти Горького оставалось два месяца…

Вернемся, однако, к Пушкину. Удивительно ли после сказанного выше появление в 1936 году книги «Наследие Пушкина и коммунизм»? Такая книга принадлежала к числу в высшей мере «своевременных» (по давнему выражению вождя мирового пролетариата). Она просто не могла не появиться! Написал ее В. Кирпотин. Неважно, что он не был дотоле известен как пушкинист. Гораздо важнее другое: он служил в ЦК ВКП (б) в немалой должности заведующего сектором художественной литературы. Вот тут уж государственно-заказной характер изделия был несомненен. Напомним попутно немаловажную подробность: тот же В. Кирпотин был недавно секретарем Оргкомитета Союза писателей, прилежно проводившим линию

партии и вложившим свой вклад в официальную концепцию социалистического реализма.

Здесь уже начинается горьковская половина нашего сюжета. Пушкин и Горький… Собственно говоря, сопоставление этих имен возникло давно. Оба — основоположники (разных фаз развития реализма). Оба — великие читатели, каковых больше не было на Руси…

«… О Пушкине думаю с дней моей юности. Он — мой вечный спутник, его же не отрину до последнего своего вздоха», — заявлял Горький, не зная, разумеется, при каких обстоятельствах суждено будет ему самому сделать последний вздох. Шел еще только 29-й год, и впереди была полоса активных деловых и личных контактов Горького со Сталиным.

Кстати, в том же 1929 году жизнь совершенно неожиданно напомнила о Пушкине. Было это во время поездки на Соловки. Там писатель случайно встретил свою давнюю знакомую фрейлину Данзас, состоявшую в родстве с секундантом Пушкина на последней дуэли. По ходатайству Горького фрейлина была освобождена досрочно, а вскоре, с его же помощью, выехала за границу.

Однако для тех, кто сопоставлял жизненные пути Пушкина и Горького, мотив дуэли, насильственной смерти не был актуален, и даже, как мы, надеюсь, сможем убедиться, мог бы обернуться роковой двусмысленностью. А таковой в сложившихся обстоятельствах совсем было не место.

Чем был важен и дорог советской власти Горький? Грубо говоря, своим послушанием. Это потом, годы и годы спустя, вслед за Западом, начнут утверждать, что писатель не может не быть инакомыслящим, т. е. диссидентом, обладающим только ему присущим взглядом на жизнь, на порядки в стране. Но все это будет потом.

А в конце 30-х в Советской России все должно было выглядеть идеально, и этому должен был научить опыт Горького. Писатель когда-то совершал ошибки, но мудрые руководители-политики терпеливо работали с художником, лечили его от той «невменяемости», которая, по его словам, будто бы вообще присуща людям искусства, помогали проникнуться величием тех идей, которые они, политики, несли в массы, и воспеть эти идеи силой своего таланта. Главная идея: самый совершенный общественный строй помог художнику преодолеть все трудности на пути и тем самым спас его талант, дал ему возможность расцвести, создать шедевры социалистического реализма.

Подобного рода концепцию требовалось соответствующим образом оформить, преподнести печатно, чтобы превратить в

орудие, формирующее сознание масс. Справиться достойным образом с такой задачей мог не каждый. С большим доверием читатель отнесся бы к слову того явно незаурядного художника, который сам в свое время свернул с правильного пути, но с помощью партии осознал свои ошибки и доказывает это на деле. К числу таких относился Андрей Платонов.

Что из того, что хронику «Впрок» великий вождь в год великого перелома назвал «кулацкой», а ее автора «сволочью». Теперь именно товарищ Платонов выступит в печати с программными статьями о поэте.

Прежде чем говорить о содержании статей «Пушкин — наш товарищ» и «Пушкин и Горький», отметим некоторые неожиданные моменты, сопровождавшие их публикацию. Обе они появились в журнале «Литературный критик» в 1937 году (№ 1 и 6) и сразу же послужили поводом для полемики. Критик А. Гурвич (1897–1962) в статье «Андрей Платонов» противопоставил статьи предшествующему творчеству автора, для чего, между прочим, были немалые объективные основания. Только упор в данном случае делался на «ошибки» ранних творений писателя, иные из которых квалифицировались даже как «клеветнические». А. Платонов заявлял в ответ, что его статьи свидетельствуют об «изживании дефектов прошлой работы».

Непонятливый Гурвич небезосновательно настаивал на своем и подвергал сомнению возможность крутых перемен в творчестве писателя, поскольку его манера, круг тем и идей давно сложились. Тут уж в спор пришлось вмешаться редакции. Она одернула «злорадствующего» критика, который «пытается отрезать писателю путь к перестройке»… «Мы считаем, что в рассказах А. Платонова многое ложно и чуждо нашей действительности. Но мы надеемся, что статьи его „Пушкин — наш товарищ“ и „Пушкин и Горький“ знаменуют собой коренной поворот в его творчестве» (десятилетие спустя, еще при жизни А. Платонова, правоверный А. Гурвич будет объявлен безродным космополитом).

Вообще же говоря, предметом полемики статьи А. Платонова стали не случайно. Поклонников его творчества они не могли не удивить по многим причинам. Но главная из них все же в том, что А. Платонов действительно совсем не тот, каким знал его читатель тогдашний, а уж теперешний, знакомый с «Котлованом», «Ювенильным морем», «Чевенгуром», — тем более.

Несмотря на множество глубоких мыслей и оригинальных наблюдений, концепция литературного процесса у А. Платонова в высшей степени субъективна. Как бы в угоду времени и обстоятельствам автор видит в русской литературе две

недосягаемые вершины — Пушкина и Горького. Пришедшие в литературу после Пушкина — лишь продолжатели отдельных тем и мотивов предшественника, обладавшего невиданным универсализмом. А некоторые из них широко использовали «отходы» и «бросовые земли» Пушкина. Так, Гоголь, оказывается, «написал всего лишь большое введение к пушкинской теме мертвых душ человечества». Что же касается литературы XX века, то после Л. Толстого и Чехова словесность стала «вырождаться в декадентство», но — народ резко «вмешался» и родил Максима Горького — линия Пушкина сразу была восстановлена.

Если несколько видоизменить распространенный в ту пору идеологический штамп о двух вождях революции, идея Платонова звучала в унисон ему — «Горький — это Пушкин сегодня».

Не меньше, а может быть, и больше, чем явный субъективизм в толковании историко-литературного процесса, озадачивает общественно-политическая концепция Платонова. Оказывается, в лице Горького «спасена была великая литература … от разъедания и разложения ее трупным ядом империализма».

Процитировав известное пушкинское «как труп в пустыне я лежал», писатель-критик продолжает: так «могло бы теперь, в наши дни, сказать о себе большинство человечества (Китай, Индия, Германия, Италия, Абиссиния, Польша»… А далее идет самое удивительное: «все народные, рядовые люди несоветских стран». Ну прямо собирайся в поход и освобождай несчастных! В первую очередь и очень скоро на себе это испытает Польша, когда произойдет «освобождение братских народов Западной Украины и Западной Белоруссии…»

Что же касается русской революции, то она «не только собиралась, скапливалась в глубине народа, но уже практически испытала свою силу на „врагах народа“».

Итак, критик, кажется, превзошел максимум того, что можно было сделать: Горький провозглашен гением, равным Пушкину, выразителем всего лучшего, что есть в действительности, преображенной революцией, выразителем так сказать, «мнения народного».

Служебный характер статей А. Платонова, имеющих явный привкус вульгарного социологизма, что уже отмечали с горечью современные исследователи, очевиден. Когда критик сочинял их, над его письменным столом явно нависала чья-то устрашающая тень.

Увы, статьи не изменили положение опального писателя (хотя очевидно сыграли какую-то роль в том, что он уцелел физически). В отличие от двух разбираемых нами, другие свои статьи Платонов вынужден был, как правило, подписывать

псевдонимами (Ф. Человеков, А. Фирсов). А книгу «Размышления читателя», подготовленную им в 1939 году, издать так и не удалось.

История двух этих статей — еще одна печальная иллюстрация того насилия над творческой волей, которому подвергались писатели в годы «расцвета» сталинского, тоталитаризма. Впрочем, не о себе ли самом нашел-таки способ сказать Платонов в статье «Пушкин и Горький»: «Общественное угнетение и личная, часто смертоносная, судьба заставляет людей искать и находить выход из губительного положения».

Итак, писатель сделал все от него зависящее, чтобы возвеличить Горького, внеся тем самым вклад в проведение пушкинского юбилея, как все было задумано наверху, и в посмертную канонизацию Горького. Но он раскрыл большее: показал, что и пушкинские торжества 1937 года, и почитание Горького после смерти в 1936 году — две составляющие одной идеологической кампании, и в этом плане, безусловно, главной была фигура Горького.

Даты смерти Горького и Пушкина разделяет чуть больше, чем полгода. В обществе еще продолжали ходить слухи об отравлении Горького, и Сталин прилагал максимум усилий, чтобы приглушить их и свести на нет. Теперь мы уверены в том, что Горький был умерщвлен в конце болезни. Эта тема подробно раскрыта в книге. Напомню только, что во время болезни писателя Сталин трижды приезжал к нему. Сцену трогательной заботы руководства державы о нем запечатлел один из придворных живописцев, В. Ефанов, в полотне «И. В. Сталин, В. М. Молотов и К. Е. Ворошилов у постели больного А. М. Горького». Над полотном он прилежно трудился четыре года (всю войну, — как будто не было тогда более актуальных тем!). Разумеется, сей живописный шедевр был удостоен высочайшей премии, сиречь Сталинской…

Возникает вопрос: мог ли к постели умирающего Пушкина прийти царь? Нелепо! «Наемника безжалостную руку наводит на поэта Николай», — как писал один поэт. (Хотя теперь-то мы отлично понимаем, что царь вовсе не был «вдохновителем и организатором» убийства поэта.) Но такое знание пришло десятилетия спустя. А тогда все звучало иначе: Пушкина сгубили антинародный государственный строй и его монарх. А лучший в мире строй и его мудрый вождь делали все для благополучия великого певца революции…

Для упрочения этого мифа пушкинская годовщина пришлась как нельзя более кстати. Живой Горький Сталину был не нужен. Но ему очень нужен был Горький мертвый! Из строптивца и

оппонента сделали эталон для подражания. Все должны были понять: самый совершенный в мире строй и его вождь берегли и лелеяли писателя, делали все, чтобы обеспечить невиданный взлет его гения, что якобы и произошло после его возвращения на родину.

В 1948 году, в условиях обострившегося противостояния двух политических систем, было даже задумано учредить в СССР премии, альтернативные Нобелевской: Менделеевскую — в области науки и Горьковскую — в области литературы. Почему, спрашивается, в качестве арбитра достижений научной и художественной мысли выступает такая «скромная по своему научному уровню страна, как Швеция»? Подобную функцию «должен взять на себя Советский Союз, как самая передовая страна в мире».

Кроме объективного, общенародного положительного момента пушкинский юбилей выполнял и другую, неведомую для масс, служебную роль. Он был превращен в грандиозное пропагандистское шоу, и в этом отношении, как уже говорилось, вставал рядом с такими, не имеющими прямого отношения к литературе событиями огромного размаха, как дрейф папанинской четверки, сверхдальние авиаперелеты, и прежде всего чкаловского экипажа через Северный полюс в Америку, как стахановское движение на производстве, штурм стратосферы на воздушном шаре и т. д. Все это должно было продемонстрировать, каков взлет духовной жизни в СССР…

Еще громко звучали фанфары пушкинского юбилея, а страну охватывала невиданная «кадровая революция»-37. В ходе ее пострадало множество писателей. Это были те, которые вели себя не «по-горьковски», оказались строптивыми вольнодумцами, в отличие от Алексея Максимовича, верного слуги лучшего в мире режима и личного друга товарища Сталина.

А выстрел злодея Дантеса, вновь прозвучавший, уже на всю страну, столетие спустя, помогал заглушать другие выстрелы, жертвами которых становились миллионы ни в чем не повинных людей.

ГЛАВА XXXV
Художник и система. Между Маяковским и Солженицыным

В самом начале повествования был поставлен вопрос: мог ли Горький воспеть 1937 год?

Думается, после всего сказанного в этой книге возможен один ответ: нет, до «воспевания» кровавого 1937-го он бы все же не докатился. Кривая развития шла бы (и уже шла!) иначе.

Впрочем, к 1937 году Горький отношение все же имеет. Он даже «виноват» в его приходе! Но виноват вовсе не тем, что в угоду Сталину готовил его, а тем, что сопротивлялся высшей воле, тем, что не оправдал главного стратегического расчета великого Вождя…

…Если сравнить Сталина периода подготовки к писательскому съезду и Сталина в 1935–1936 годах, то перед нами словно бы два совершенно разных человека. Один — обаятельный, с чувством юмора, считающийся с мнением других. Другой — тиран, испытывающий садистское наслаждение при виде мучений жертвы. В действительности перед нами одно лицо. Только сброшена маска.

Гнев Сталина был страшен, ведь ему пришлось так долго ждать, и его, в сущности, обманули, как мальчишку! Обвели вокруг пальца! Не то что книги, нет даже статьи! Его (Его!) посмели водить за нос, не раз прося об отсрочке!..

Теперь он окончательно убедился, что писатели вообще куда более опасный и коварный народ, чем прикидываются порой, как, к примеру, этот небожитель Пастернак. Но и другие, помельче, тоже хороши. Ими надо руководить, приучать к послушанию, а линию поведения, одну для всех, задают партийные указания. Но писателей надо еще и примерно наказывать, подавляя дух гнилого либерализма и фрондерства. Он сумеет сделать это! Он приучит всех думать, как надо.

Вообще, будь на то воля Сталина, он с наслаждением сделал бы одной из первых своих жертв Горького. Да вот только кто бы в стране поверил, что «буревестник революции», друг Ленина совершенно неожиданно обернулся врагом народа! Это после всей той пропагандистской шумихи, которая сопровождала каждый шаг Горького сразу по его возвращении в страну и которая сделала его вторым человеком в государстве!.. Шумихи, организованной и контролируемой самим же Сталиным.

Ну, и напомним еще раз самоочевидное: 1937-й пошел сразу за годом смерти Горького. При нем 1937 год не мог начаться. Вспомним и другое многозначительное суждение Роберта Конквеста: начало большого террора надо исчислять не с момента убийства Кирова, а именно со смерти Горького.

Впрочем, сколь бы ни был важен вопрос о 1937-м, дело не сводится только к нему. Когда заходит речь о художниках крупных, ключевых, пусть и совершенно разных, в чем-то даже полярных друг другу, — возникает необходимость шире взглянуть на проблему «художник и власть». Проблема эта стара как мир. Но в XX веке она стала едва ли не определяющей в развитии художественного сознания, хотя и не имеет как будто непосредственного отношения к внутреннему содержанию тончайших моментов психолога и художественного творчества.

Нет нужды напоминать общеизвестные факты многострадальной истории отечественной культуры, со всей очевидностью демонстрирующие губительное влияние власти на судьбы художников. К этой болевой проблеме можно, однако, подходить, так сказать, с двух сторон. Один подход — со стороны власти. Вывод, рождающийся при этом, неизбежно однозначен: тоталитаризму нет и не может быть никакого оправдания.

Другой подход — со стороны художника. И тут картина будет более многосоставной.

Существует воистину уникальный (и завершившийся трагически — иного быть и не могло) опыт попытки полного и добровольного подчинения художника власти. Это — Маяковский.

Новатор во всем, он полагал, что революция кладет конец извечному противостоянию художника и власти и рождает принципиально новую модель их сотрудничества. Обе ипостаси должны как бы слиться во имя решения задач государственного строительства. Есть политические властители. Но есть же и «властители дум»! Так почему же в новом обществе, провозглашающем самые справедливые принципы, не наступить этому заветному паритету?

«Моя революция!» — провозгласил Маяковский, и его громоподобный голос прозвучал, как выстрел «Авроры». Слово нового поэта не должно расходиться с делом. Поэтому футуристическое искусство провозглашается государственным и подчеркивается, что только футуризм может претендовать на столь престижную роль. «Агитатор, горлан, главарь», Маяковский приравнивает перо к штыку и отдает «Приказы по армии искусств». Ну и что, что никто не назначил его командиром? В пору революции власть берут в свои руки, как и поступили

большевики. К ним в Смольный сразу и пришел Маяковский, чтобы выпускать «Окна РОСТА». Порой новая поэзия, по его мысли, могла даже как бы состязаться с политикой по силе своего воздействия на массы.

Постепенно взрывообразная революционная романтика уступала место более спокойной, планомерной работе. Маяковский с готовностью включается в нее, чтобы выполнять задания родной партии, народного правительства. Он не видит в этом решительно ничего зазорного. С присущим ему пафосом полемического преувеличения он, Поэт милостью божьей, заявляет вдруг: «Мне наплевать на то, что я поэт,» — и добавляет, что сознательно пошел в услужение к новой власти.

Рвавшийся «в завтра, вперед», он не догадывался, какой сюрприз подстерегает его на избранном пути и какой крутой поворот сделает сам этот путь.

Кто, как не он, невиданный еще в истории поэт-новатор, отличался воистину лица не общим выраженьем? И к поддержанию этой «необщности» стремился постоянно — иначе перестал бы быть самим собой. А куда двигалась политика? К унификации. К выработке жесткой иерархии единого стиля не только мышления, но и поведения, своего рода государственного этикета. Тут нельзя было «позволить себе». В лучшем случае позволять тебе могли другие. А он, утопист-романтик, посягал на то, чтобы установить никогда еще в мире не существовавший паритет: политика и поэзия должны, как партнеры, работать на равных. Но какая же власть когда-нибудь пойдет на это?

Пришлось кровью заплатить Маяковскому за расставание с прекраснодушной иллюзией. В связи с кампанией против Пильняка и Замятина, в которой сам же принимал участие, мог бы (но не хотел) двигаться к выводу, к которому гораздо позднее, уже в связи с «делом» Бродского, придет поэт Е. Рейн: «У тех, кто нами правил, всегда была психология крепостников. Кто для них Ахматова или Шостакович? Подданные. Если совсем резко, то холопы, за которых они держали всю страну».

Сгустить драматизм финала Маяковского должно было еще одно событие, никак не укладывавшееся в его воображение и путавшее все карты. Кого должна поддерживать власть? Того, кто поддерживает ее! Оказалось, честные поэтические мозги не могли постичь логику решений, рождающихся в коридорах власти. Еще недавно, и не по собственной инициативе, писал он стихи о Горьком-эмигранте, о необходимости его возвращения. Вернувшийся Горький в упомянутой истории с Пильняком и Замятиным, как мы помним, повел себя совершенно неожиданно: один (!) встал на их защиту. И вот, как гром средь ясного неба,

публикуется постановление ЦК с осуждением… тех групп правоверных рапповцев, которые «хулигански» выступили против великого пролетарского писателя. Значит, Сталин прощает ему даже это? Значит, Сталину он нужнее всех?

Все это никак не укладывалось в воображение поэта, который, к тому же, по авторитетному свидетельству Р. Якобсона, «Горького ненавидел».

Запутавшийся в противоречиях жизни, почувствовавший несостоятельность своей концепции паритета, Маяковский еще продолжает верить в хороших вождей и предсмертную записку адресует «товарищу правительству».

Пройдут годы, и к совсем иной стилистике прибегнет в своем предсмертном письме-завещании А. Фадеев. «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии».

Президент Гонкуровской академии Эрве Базен, прозревая в недалеком будущем рождение в нашей стране «совершенно свободной литературы», говорит: «В прошлом даже лучшие советские писатели никогда не забывали об идеологических тормозах. Писатель должен находиться в оппозиции по отношению к власти — в этом его предназначение. Критика является ферментом любого общества. Служение властям, режиму обрекает творческую личность на бесплодие».

Трагедия гениального поэта — это не трагедия «любовной лодки, разбившейся о быт», как думают многие. Флагман поэзии, как знаменитый «Титаник», терпел крушение от столкновения с айсбергом тоталитарной государственности, отравившим ему счастье свободного плавания в океане поэзии.

Параллель с Маяковским поможет нам лучше понять Горького в его отношении к машине тоталитарной власти.

Многие писатели обвиняют Горького в том, что он стал верным и послушным слугой режима. Более того, не только слугой, но, пожалуй, и активным идеологом, утверждающим его во всей его античеловеческой данности. Однако, рассматривая Горького как служителя Системы, находящегося от нее едва ли не в рабской зависимости, не впадают ли такие авторы в односторонность — да простится мне резкое выражение и пусть не покажется оно ярлыком, — односторонность вульгарно-социологического толка, от которой в принципе сами же эти авторы открещиваются изо всех сил?

Уточнения любого рода при решении столь сложных проблем важны для нас не только с чисто фактологической точки зрения. В нашем случае понимание природы именно неповторимого,

индивидуально-горьковского восприятия фактов и событий должно быть важнейшим методологическим исследовательским принципом (к чему и стремился автор на протяжении всей работы).

Итак, только один из многих конкретных вопросов об индивидуально-горьковском мироощущении. Что лежит в основе, мягко говоря, странной апологетики, которой проникнут отзыв писателя о работниках ЧК, цитированный в «Архипелаге ГУЛАГ»? Имелись ли в жизни хоть какие-то объективные данные для такой оценки воспитательно-преобразующей роли органов ОГПУ? Попытаться разгадать эту загадку в определенной мере помогло нам обращение к фактам первого приезда писателя в Россию и посещение колонии, возглавляемой Макаренко. А сейчас можно высказать еще два дополнительных суждения.

Во время месячной отсидки в Нижегородском остроге еще в 1901 году Горький сделал следующее заключение: «Гуляя, наблюдаю уголовных. Ничего не делая, они здесь окончательно отвыкают от труда». А труд на свежем воздухе, пусть и в неволе, все же не тюрьма. Но конечно, крайне важно при этом, чтобы надзирающие были людьми. Начальник Нижегородского острога оказался человеком удивительным, и, как мы помним, встреча с ним и даже участие в его семейных делах оставило заметный след в памяти писателя.

И другой, более существенный момент, который, боюсь, может не встретить понимания современного читателя: ведь на него, как шквал, обрушилась страшная правда о ГУЛАГе. Никто и ничто не в силах оправдать созданную Сталиным систему бесчеловечного обращения с людьми. Но в руководство этой системой на разных этапах ее развития были все-таки вовлечены разные люди. И в разных обстоятельствах вели они себя по-разному.

Вспомним одну из таких фигур, которая уже упоминалась в главе о Соловках, — Глеба Ивановича Бокия. О нем, своем тесте, рассказывает известный писатель Л. Разгон. Во второй половине 20-х годов Бокий занимал несколько высоких должностей: член коллегии ОГПУ, НКВД и Главлита, член Верховного суда СССР. В середине 30-х он начальник 9-го управления Главного управления госбезопасности НКВД СССР, которому был подведомствен ГУЛАГ.

Как известно, власть, тем более бесконтрольная, портит человека. И современный читатель может предположить, что Бокий стал этаким палачом-садистом, каких много выведено в «лагерной» литературе. Но нет, Разгон свидетельствует, что Бокий был «милым, кротким, беспредельно скромным

человеком», добросовестно выполнявшим свой долг, как он понимал его[75]. И трудно сказать, добились бы Соловки столь впечатляющих успехов в чисто хозяйственной сфере, если бы не такие руководители, как Бокий.

В июне 1937 года его арестовали. Но обвиняли вовсе не в истреблении невинных людей, не в надругательстве над ними и превышении власти. Пришлось искать другой повод. Бокия объявили… главой масонской ложи, задачей которой было свержение советского государственного строя.

Очевидно, куратор Соловецкого лагеря принадлежал к тому слою чекистов, которые обладали определенным запасом образованности и культуры. Они настолько были пронизаны верой в справедливость идей революции, в необходимость и возможность переделки всей жизни, включая и саму человеческую натуру, что сполна отдавались осуществлению этой идеи. Иллюзорно-утопическая в своей основе, идея «перековки» человека в условиях лагеря рассматривалась ими с позиций так называемого пролетарского гуманизма. Люди «с идеями», подобные Бокию, стали все более не устраивать сталинскую верхушку своей «либеральной мягкотелостью». Нужны были теперь слепые исполнители указаний свыше, включая самые жестокие и заведомо безосновательные. На смену своим предшественникам шли ежовцы. Бокий — лишь один из многих, кто подлежал уничтожению в ходе так называемой кадровой революции.

Что касается Горького, то он был связан именно с такими людьми, и они поддерживали в нем ту же прекраснодушную веру в возможность «перековки» человека.

Принимая как аксиому тезис о зависимости личности от режима, зависимости, от которой в принципе никуда не денешься, мы порой невольно впадаем в упрощение, начиная говорить чуть ли не об одинаковой степени услужливости по отношению к режиму всех, на кого выпало несчастье оказаться в его власти.

Но в таком случае не сужаем ли мы само понятие «личность» в ее сущностных, так сказать, экзистенциально-антропологических свойствах, во всем бесконечном (слава Богу!) многообразии и богатстве этого понятия до стародавней марксистской формулы о человеке как некоей совокупности общественных отношений?

Между противоположными полюсами — бескомпромиссной борьбой с режимом (на что отваживаются одиночки, а тот же Солженицын — вообще явление феноменально-исключительное) и откровенно верноподданническим служением ему (таких тоже

было не так уж много) — оказалось множество художников, пытавшихся — с разной степенью успешности — как можно меньше отступать от правды.

Сталин прекрасно чувствовал, что писательство — сугубо индивидуальное по своей природе занятие — по этой же причине внутренне антитоталитарно. Он не верил никому и был абсолютно прав в своем неверии, так как писатели стремились использовать малейшую возможность, чтоб начинать говорить «не то, что надо». Художник, обладающий хоть искрой таланта, будет стремиться к самостоятельности и независимости от власти всегда. Оставалось одно средство удержать писателя от крамолы: страх. И Сталин блистательно использовал это незаменимое средство. Но в основном уже после смерти Горького.

Теперь он мог беспредельно и беспрепятственно усовершенствовать и использовать на практике старейший способ воздействия на искусство — метод кнута и пряника. Причем кнут сек жестоко, беспощадно, оставляя на теле искусства кровавые, незаживающие рубцы. На неугодных навешивались политические ярлыки. Начинали критиковать уже не произведения, которые могли быть несовершенны (даже гений не застрахован от неудач), а их создателей. Пожалуй, абсолютный рекорд административной грубости и публичного попрания элементарных нравственных норм — печально известный доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград».

А пряник? Пряники раздавались в виде премий. Кстати, никогда ни одно государство не знало официальных премий имени здравствующего властителя. Но ведь, пожалуй, никто, нигде и никогда не сосредоточивал в своих руках такой власти, как Сталин!

Однако чрезвычайно важно подчеркнуть следующий момент. Совершенно неверно думать, что люди искусства раз и навсегда были поделены в ту пору на «чистых» и «нечистых», «преследуемых» и «олауреаченных». Увесистые удары могли время от времени получать и те, кто был облечен высоким доверием. Так, вскоре после войны «Правда» опубликовала обширную редакционную статью о романе Фадеева «Молодая гвардия», снискавшем широчайшую популярность. Вдруг обнаружилось, что автор «сгустил краски», изображая сцены паники при эвакуации, и вообще не отразил руководящую роль партии. А ведь Фадеев был первым секретарем Союза писателей, и ему приходилось порой выполнять весьма неприятные поручения вождя. Суровой критике подверглась повесть Симонова «Дым отечества». Еще раньше, в войну, — некоторые публицистические статьи Эренбурга, дилогия А. Толстого об

Иване Грозном…

Сталин стремился поддерживать в людях искусства определенный уровень неуверенности в завтрашнем дне: чтоб ни на минуту не забывали, что есть некто, кто бдит, кто все знает, все помнит и ничего не прощает. Помимо диктата, который отвратителен сам по себе, как любая форма насилия над личностью, здесь поражает демонстративное, возведенное в систему нежелание считаться с наиочевиднейшим обстоятельством: искусство сильно своим многообразием, потому что каждый художник — индивидуальность. Искусство в целом — синтез неповторимостей. А от него требовали повторяемости, равнения на раз и навсегда установленные и утвержденные образцы (есть МХАТ, и все театры должны следовать ему — ситуация рубежа 40–50-х годов).

Вместо того, чтобы с помощью искусства осваивать многообразные способы познания действительности, Система стремилась привить самому искусству свою собственную однонаправленность, однолинейность, все более упрочивающиеся в условиях отсутствия альтернативных вариантов.

Интересные мысли о природе не только научного, но и художественного познания в их отношении к власти содержатся в письмах академика П. Капицы руководителям державы. В одном из них, направленном члену Политбюро ЦК КПСС, председателю Комитета государственной безопасности Ю. Андропову 2 ноября 1980 года, в пору так называемого «застоя», академик призывает к терпимости по отношению к индивидуальным мнениям относительно тех или иных актуальных вопросов общественной жизни.

Инакомыслие — норма внутреннего бытия крупной личности: «Чтобы появилось желание начать творить, в основе должно лежать недовольство существующим, то есть надо быть инакомыслящим». «Большое творчество требует и большого темперамента, и это приводит к резким формам недовольства, поэтому талантливые люди обычно обладают, как говорят, „трудным характером“».

Свои размышления академик Капица завершает следующим выводом: «Диалектика развития человеческой культуры лежит в тисках противоречия между консерватизмом и инакомыслием, и это происходит во все времена и во всех областях человеческой культуры».

Какое же место занимал сам Горький между двумя крайностями (борьба с режимом — служение ему)? В разное время — разное, включая и обе полярные, взаимоисключающие одна другую точки (дифирамбы чекистам и острые до крайности

письма Сталину в конце того же 1929 года). Да, вряд ли мы сыщем в нашей литературе другого писателя, чьи позиции настолько изменчивы и нестабильны. Внутренняя оппозиционность сменялась публично выраженной, подчеркнутой официозностью, что вызывало справедливый гнев и возмущение современников (от коммуниста Рютина до беспартийного Пришвина). В их сознании казенная официозность в публицистике Горького, обретавшая, кстати, зачастую какие-то стандартно-обезличенные формы, явно выходила на первый план. Но мы-то теперь знаем, что многое в подводной части айсберга имело другую природу.

Если говорить об активном горьковском противостоянии большевистскому произволу, то здесь можно выделить три периода. Первый — в пору самой революции. Тогда Горький проявлял максимум социальной активности, выступая со знаменитым циклом статей «Несвоевременные мысли». Характеризуя позицию Горького периода Гражданской войны, Твардовский в связи с заявлением Солженицына об исключении из Союза писателей делился своими мыслями в письме Жоресу Медведеву в конце декабря 1969 г.: «Многие даже обрадовались письму Солженицына, теперь можно не защищать его… А ведь нужно не по горячим письмам судить, а по литературным произведениям! Сколько было таких писем у Горького после Октябрьской революции, да не таких, а похлеще и прямо Ленину или в эмигрантские газеты. Ленин ему тоже отвечал без особых церемоний — эти письма Ленина никогда не печатали, их в такой глубокий архив запрятали, что туда не разрешают доступ ни одному литературоведу. И ведь ничего, Горького мы и теперь почитаем как основоположника советской литературы…»[76]

Второй период — 1929 год, год великого перелома. Защищая Замятина и Пильняка от преследований, без какой-либо поддержки со стороны литературной общественности, более того, один идя против течения, он обращается с резкими и мужественными письмами к Сталину, критикуя гонения на «еретиков», т. е. инакомыслящих, выступая против превращения партии в массу послушно-бессловесных существ путем привлечения в ее ряды «обозной сволочи». В этих письмах конца года великого перелома он как бы берет реванш за Соловки и тот обман, которому был подвергнут в связи с обещаниями изменить режим в лагере.

Увы, эта форма противостояния сталинизму не могла иметь сколь-нибудь широкого общественного резонанса, так как о содержании тех же писем Сталину современники попросту ничего не знали.

Наконец, третий период — примерно с рубежа 1933–1934 годов вплоть до трагической кончины писателя. Тут вообще ничто не лежит на поверхности, и именно это время давало оппонентам Горького обширный материал для критики. Поводов и в самом деле более чем достаточно, и к тому же они как будто составляют единую целостную картину. Горький и в самом деле понял: у режима нельзя добиться ничего, не идя на уступки ему.

Уступки видели все. Они лежали на поверхности. Более того, их приходилось выставлять напоказ наподобие наград, демонстрирующих верность начальству, которое постоянно ждало немедленного выражения поддержки его политики. И Горький принуждал себя идти на эту жертву сознательно. Трагизм его положения усугублялся еще и тем, что он начинал успокаивать себя, выискивая в политике правительства, так сказать, «положительные элементы», способствующие росту экономического могущества страны.

Кто скажет, что таких «элементов» не было вовсе? Другое дело, каких жертв со стороны измученных нуждой масс вновь и вновь требовали они.

Как известно, компромисс — дело коварное. Не случайно говорят: коготок увяз — всей птичке пропасть. Буревестники — не исключение. По складу своей натуры Горький вовсе не был личностью героической. Сентиментальный, он зачастую впадал в слезливую умилительность по поводу того, что казалось ему подлинным проявлением нового. Не слишком больших усилий стоило ему и убедить себя в том, что это действительно новое и передовое, растущее, как было принято говорить тогда, хотя на самом деле все зачастую оказывалось сложней. Он был «обманываться рад», полагая, что апелляция к сознанию Хозяина может иметь успех (иллюзию подобного рода особенно поддерживала сталинская «игра» с писателями в пору подготовки к съезду). Впрочем, сталинское ожидание от Горького книги о себе, вожде народов, еще раньше поставило писателя в обществе на особую, невиданную высоту и до поры требовало прощать ему то, чего Сталин не простил бы никому.

Вынуждая себя вступать в «игру» и зная сложность натуры Хозяина, Горький все же не мог представить, насколько круто, совсем не по-джентльменски мог тот изменить ее правила в нужный для себя момент. И догадаться, когда начинается игра по новым правилам, было совершенно невозможно.

Итак, горьковские уступки Сталину — у всех на виду. Сопротивление оставалось не заметным для общественности (а уж тем более когда писателя лишали права голоса, как это было в истории с публикацией открытого письма Панферова Горькому).

Между тем именно последняя пора утверждения сталинского единовластия оставляла меньше всего возможностей для сопротивления и неподчинения. Следовательно, возрастала нравственная цена каждого оппозиционного поступка. И в эту пору Горький пытался вести свою линию, чем вызвал крайнюю неудовлетворенность вождя.

У Сталина возникали весьма серьезные и имеющие вполне реальную основу опасения по поводу того, к чему может привести впредь поведение великого пролетарского писателя. Дай этим интеллигентам малейшее послабление, и они в самом деле организуют свою партию, о чем с нескрываемым удовлетворением писали в газете меньшевика Николаевского за границей! Этого еще не хватало!

И опасения порождали теперь желание не иметь больше Горького рядом.

Обращаясь к размышлениям об отношении Солженицына к Горькому, вполне естественно, приходится в первую очередь вспоминать соответствующие сцены и оценки в «Архипелаге». Все это прозвучало столь весомо и впечатляюще, что никто не задумался о том, какое место занимает Горький как идейный антипод Солженицына в его художественном мире в целом. Между тем, конечно же, не случайно и в «Раковом корпусе», и «В круге первом», и в эпопее «Красное колесо» содержатся буквально десятки упоминаний имени Горького. Для Солженицына это имя никогда не было нейтральным.

Особенно активную роль играет оно, пожалуй, в «Раковом корпусе», усиливая композиционное противостояние насквозь пропитанного духом бюрократической казенщины Русанова и Костоглодова, — образа, имеющего откровенно автобиографический характер. Но все же сцены в «Архипелаге», бесспорно, — кульминация горьковского «сюжета» в творчестве Солженицына.

Вообще, складывается впечатление, что истоки негативного отношения Солженицына к Горькому давние. И похоже, начинал-то он свою литературную деятельность, в определенной мере руководствуясь логикой внутреннего отталкивания от канонизированного классика. Чувствуя в себе немалые силы и смолоду ориентируясь на большие победы, уже ранний Солженицын сознательно вступал в неведомое постороннему глазу идейное противоборство с Горьким, без ложной скромности готовясь — чем черт не шутит! — занять в литературе место, сопоставимое с горьковским по мере общественного резонанса, но принципиально отличное в концептуальном отношении. Вот такая возникает гипотеза, и, надо полагать, филология еще

займется столь любопытной страницей биографии нашего выдающегося современника.

Гипотеза эта подкрепляется и, скажем так, ревниво-состязательным отношением Солженицына к другому классику послеоктябрьской России, Шолохову (отрицание шолоховского авторства «Тихого Дона»).

Солженицын — художник, который внес, безусловно, наибольший личный вклад в критику тоталитарного режима, сложившегося в России после революции, той культуры, которая была порождена им и призвана эстетически утвердить режим в сознании масс. Он встал у самых истоков переоценки ценностей литературы, именовавшейся советской. Совершая восхождение на ту гору, с которой видно всю местность, и, единолично достигнув ее вершины, он столкнул вниз первую глыбу. Так начался обвал. Вниз полетело все то, что не было прочно привязано к почве, к первооснове, — всякого рода пристройки и прилепки, которые лишь внешне казались незыблемыми. И вот гора стала обретать совсем иные, естественно присущие ей очертания. Разрушалась та привнесенная извне симметрия, которая придавала пейзажу привлекательность, а в глазах многих и очарование. Подвиг Солженицына трудно переоценить.

Что же касается механизма обвала, вызванного им, то он нерегулируем. И разве не могли найтись энтузиасты, которым мало сознания, что «процесс пошел», но жаждущие помочь ему и сталкивающие вниз без особого разбора то, что не заслуживало быть разбитым вдребезги и превратиться в мелкую крошку?

То, что для гения становится органической потребностью, эпигоны превращают в моду.

Солженицын воистину выстрадал моральное право на остро критическую оценку общественного поведения Горького. Он судил его высшим судом, мерками своей системы ценностей.

Согласимся, это весьма далеко от того, что несет в себе сенсационно-эпатажный лозунг поминок по всей советской литературе, обусловленный непровозглашенным формально, но объективно исходным отрицанием какой-либо внутренней суверенности художественного сознания и превращающий его лишь в проекцию официальной идеологии. Лозунг оскорбительный для многих советских писателей, которым вопреки запретам, ценой потери здоровья в борьбе с государственной и, сверх оной, партийной цензурой, а порой и ценой жизни удавалось все же говорить горькую правду о войне, судьбах нашей деревни или интеллигенции. Солженицын дал, например, высочайшую оценку повести Залыгина «На Иртыше». Или — надо ли справлять поминки по мужикам и бабам Можаева,

коего тоже высоко ценит Солженицын за правду, отстаиваемую мужественно?

И вообще, художественный и публицистический опыт Солженицына до высылки за границу не рождает ни малейших оснований, как это порой делается в нашей критике, отдавать априорное предпочтение крупным писателям, уехавшим за рубеж (В. Аксенов, И. Бродский, В. Войнович, Г. Владимов, А. Галич, В. Максимов, А. Синявский и др.), в сравнении с теми, кто остался на родине. Каждого надо оценивать, исходя из реальной весомости сделанного. И если уж на то пошло, общественное значение книг оставшихся дома писателей (будь то Ч. Айтматов, В. Дудинцев, Е. Евтушенко, Ф. Искандер, Б. Окуджава, В. Быков, А. Бек и другие) стоило бы оценивать с учетом тех разных, специфически «нашенских» трудностей, которых не было «там» («там» были свои трудности, совсем другие, и их тоже, разумеется, не следует сбрасывать со счетов).

Что касается Горького, то, думается, к нему, как и к другим художникам, оказавшимся в сходном положении, возможен и несколько иной подход, чем у Солженицына. Подход, застрахованный от болевых преувеличений, психологически вполне объяснимых, но не перестающих быть от этого преувеличениями. Подход, учитывающий все основные «составляющие», что дает возможность вывести более спокойную и объективную равнодействующую.

Солженицын и Горький вообще олицетворяют две разные модели социально-творческого бытия личности. Первый нашел в себе силы бросить дерзкий вызов системе, встать выше ее, пойти на полный разрыв с нею. Горький не очень упорно, «дипломатическим» путем (вспомним выражение Замятина) пытался утвердить возможность самостоятельного творческого самовыражения личности в рамках системы, будучи вынужден поддерживать ее. Несправедливо в своей основе стремление представить писателя только как некоего слугу системы, да еще работающего на нее из корыстных побуждений. Так сказать, поставщика крольчатины к столу властвующих удавов.

Ошибки Горького на этом пути? Иллюзии? Компромиссы? Паллиативность самой концепции положения новой литературы в обществе? Да, да и еще раз да! Но, согласимся, это вовсе не примитивная продажность, в чем многие упрекают писателя, перенося на эту, конечно же, крупную личность, представления и нормы, подходящие к людям иного масштаба.

Более того, обнаруживается и некоторое сходство в действиях обоих художников. Вспомним ставшее знаменитым Солженицыне кое письмо IV съезду писателей СССР (1967 г., опубликовано в

журнале «Нева», 1989, № 1). Среди главных его мотивов: Союз встал на путь административного диктата по отношению к многим прекрасным писателям, не защитил их от гонений. Среди преследуемых Солженицын называет Пильняка, Булгакова, Платонова. Но ведь все это как раз те писатели, которых брал под защиту, которым в кризисном 1929-м, да и позже, помогал Горький! Таким образом, Солженицын в своем письме вольно или невольно сам продолжает линию разумно-бережного отношения к талантам, которая резко выявилась в сопротивлении Горького административному диктату.

Приходит на память парадокс Пьецуха о Горьком как Солженицыне своего времени. Ну конечно, преувеличение! Ну, конечно, различия разительны во всем! И все-таки при более пристальном рассмотрении этой «связки» приходишь к выводу: ее участников нельзя рассматривать только как антиподов. Один откровенно, последовательно, шаг за шагом вел свою линию. Другой пытался поступать по-своему, иногда небезуспешно, при этом в чем-то принимая программу власти, в чем-то делая вид, что принимает ее, в действительности же тоже стремясь вести — в области культуры — свою линию.

Согласимся, в сталинские времена одно лишь последовательное публичное противостояние системе было практически невозможно. Для этого мало было обладать великим мужеством. Надо было иметь хоть маленькую надежду уцелеть физически… Надежды эти таяли, как легкий случайный снег на виноградниках Неаполя…

С новой властью нельзя не лукавить… Горький в общем-то знал, на что обрекает себя, говоря так. Видимо, в подобной гримировке он добился немалого совершенства, если еще раз вспомнить слова того же Замятина. Но «дипломат» не мог знать, к каким итоговым последствиям приведет его как художника подобное лукавство. В его общественное поведение все глубже врастает мотив своего рода игры, выполнения определенной роли ради достижения задуманного результата. Чем дальше, тем больше в ходе тяжкого полемического диалога со Сталиным он входил в противоречие с самим собой.

Так возникало новое противоречие, вряд ли еще должным образом истолкованное исследователями психологии художественного творчества, так как явилось оно именно специфическим продуктом XX века, между тем как творческий процесс разбирали обычно на опыте классической литературы. Противоречие такое.

Изображая в своих произведениях самых разных людей, писатель-реалист должен перевоплощаться в них, смотреть на

мир изнутри, их глазами, т. е. как бы переставать быть самим собой. Это — закон творчества, путь к психологической правде образа.

Но в жизни писатель не должен ни под кого «подстраиваться», играть те или иные роли, меняя одну из них на другую в зависимости от обстоятельств. Как можно меньше дипломатии! «И надо ни единой долькой не отступаться от лица. Но быть живым, живым и только! Живым и только — до конца!»

Однако, если, напротив, приходится идти на компромиссы, называть вещи не своими именами и испытывать от подобного рода «игры» саднящее чувство дискомфортности? Так «отступление от лица» может стать причиной психологического саморазрушения творческой личности. Оно может сломать ритм творческого самочувствия и стать источником трагических неудач за письменным столом.

Не происходило ли нечто подобное, когда неофициальный министр культуры шел в свой рабочий кабинет, чтобы продолжить труд над «Климом»? Тем самым, который до сих пор выдается за вершину горьковских свершений, несмотря на очевидные несовершенства и явную неудовлетворенность сделанным со стороны автора.

Если признать чудо — возникновение шедевра в условиях предельной внутренней дискомфортности, то надо его объяснять специально. А попыток такого рода даже и не предпринималось. Филологи с головой зарывались в текст, благо четырех томов для любых изысканий более чем достаточно. Но следует ли доказывать, что многое в художественном сознании носит куда более сложное, межтекстовое выражение?

Модель творческого поведения Солженицына совсем иная. Он неизменно служил и служит одному Богу. Верность ему блюдет неизменно, если надо, рискуя всем, вплоть до самой жизни. Гонимый, травимый, он был целостен как художник. В сопротивлении, в борьбе становилась высшая творческая гармония, порождающая подъем духа, порой поразительную продуктивность труда.

Наивно думать, что Солженицын «берет» лагерной темой. Он фундаментально обогащает принципы повествовательного искусства, особенно в сфере психологического анализа, проникновения в тайное тайных личности, что составляет труднейшую и важнейшую задачу творчества (Костоглодов в его преодолении страшной болезни). И, надо полагать, духовная целостность автора была одним из важнейших источников его творческих побед.

Проводя параллель Горький — Солженицын и не стремясь ни

в какой мере умалить значение подвига Солженицына, не будем все же забывать очевидного: он боролся в иных условиях, в пору оттепели, контактов с Западом, прорвавших железный занавес. В 30-е годы все выглядело бы иначе.

Но вернемся все же еще раз к солженицынской оценке Горького. Существует старинная истина: все понять — значит все простить. Нет, ее вовсе не следует причислять к разряду абсолютных. Всепрощение — не лучший способ оценки жизненных ценностей. И все же какой-то здравый смысл этот постулат в себе несет. По крайней мере его можно толковать так: не опускаясь до полного всепрощения, быть по-человечески более терпимым к людям, их слабостям, понимать, каких усилий, а то и мучений стоило им преодоление препятствий и преград на пути к избранной цели. Для нас важно не только то, каких результатов добивался и добился человек, но и какими нравственными мотивами он руководствовался при этом.

Пришла пора не только решительно отказаться от устаревших штампов и стереотипов, но идти дальше, с учетом наших новых знаний о Горьком и его эпохе.

В последние годы в литературоведении завязался разговор о принципах построения научного курса истории русской литературы XX столетия. Если говорить об объемных очертаниях этого труда, то под его сводами должны найти место сразу три кита, существовавших дотоле изолированно друг от друга: предоктябрьская литература, послеоктябрьская литература и литература русского зарубежья. Эту идею я выдвигал еще в 1974 году, но тогда она прозвучала преждевременно, так как могла нарушить дремотное благополучие застоя. (Естественно, наше конкретное представление о каждом из слагаемых к настоящему времени существенно изменилось, и в первую очередь это, разумеется, относится к зарубежью, но в принципе вопрос был поставлен уже тогда.)

Совершенно независимо от чьего-либо желания или нежелания Максим Горький со всеми его взлетами и падениями — центральная фигура уходящего в вечность XX столетия. И постичь закономерности развития художественного сознания века без обращения к нему и его наследию невозможно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О пользе помахать руками после драки, или Какие полемические вихри бушевали над головой Буревестника в последние годы

Казалось бы, сюжет нашего биографического повествования исчерпал себя, конец — делу венец. И могут сказать: надо ли ворошить угли почти угасшего костра, вспоминать те нападки на писателя, которые возникали, набирая силу, на протяжении двух десятилетий? Так сказать, на всякое чиханье не наздравствуешься, после драки кулаками не машут и т. д.

Но разговор в конце концов не только о Горьком. Разговор о нас с вами. И уроки, которые мы можем и должны извлечь из всего сказанного, носят, на мой взгляд, куда более широкий, общезначимый характер. Выросшие в условиях отсутствия свободы слова, мы оказались неспособными достойно использовать эту столь желанную свободу, когда она неожиданно обрушилась на наши головы. У некоторых, думается, при этом даже несколько «поехала крыша».

Разве свобода — это только возможность говорить все, что заблагорассудится, поскольку есть уверенность, что теперь тебе за это «ничего не будет»? Подлинная свобода, исключающая внешнее принуждение, подразумевает включение нравственной самодисциплины. Если угодно — добровольного самоограничения, ничего общего не имеющего с пресловутой самоцензурой. Я говорю о самоограничении как неотъемлемой черте подлинного профессионализма, а профессионализм — антипод анархического дилетантизма.

Свое известное философское эссе А. Герцен назвал «О дилетантизме в науке». Помнится, уже в советские времена в одном из журналов появилась статья, варьирующая герценовский заголовок: «От дилетантизма к науке». А нынче, сталкиваясь с огорчительными тенденциями в литературоведении, я понял, что пора бы всерьез поговорить о проблеме «От науки к дилетантизму».

Профессионал спокойно доказывает. Дилетант самонадеянно провозглашает. Свобода — это семь раз отмерь и один раз отрежь. Псевдосвобода — режь, не раздумывая, а измерять будем после. А то и вовсе не станем предаваться этому обременительному

занятию: мерить всегда гораздо труднее, чем отрезать.

Что же касается Горького, то не стоит предаваться эйфории, полагая, что трудная правда о нем наконец взяла верх над различного рода домыслами и невежественными обвинениями (у писателя достаточно реальных ошибок, чтобы приписывать ему мнимые). Мера непонимания трагедии Горького оказалась столь велика, корни воинствующего нигилизма — столь живучи, что побеги отживших, казалось бы, концепций опять пошли в рост.

Перенесемся на четверть века назад, чтобы воссоздать ту атмосферу, в которой господствующая идеология растила и пестовала благостный миф об основоположнике социалистического реализма.

Вспомним поездку группы советских и зарубежных литераторов на теплоходе на родину писателя в связи со столетием со дня его рождения. Макс Фриш описывает путешествие в город Горький так: «Пленум на палубе. Сидим в наушниках. Чайки. Каждый оратор говорит о Максиме Горьком одно и то же. Перевод с тринадцати языков совершенно излишен: Горький как пролетарский писатель, как основоположник социалистического реализма. Постепенно я начинаю понимать (без наушников) по-испански, по-румынски, по-португальски, по-фински, даже на языке, который не могу разгадать. Максим Горький и его конфликт с Лениным, его эмиграция после революции, Максим Горький и Сталин, писатель и государственная власть — об этом ни слова». Во время роскошного банкета вечером, продолжает свой рассказ Фриш, «некий усердный румын снова напоминает в микрофон, что Максим Горький был пролетарским писателем, является таковым и таковым останется. Пожилой господин из Праги уверяет в этом; какой-то индиец это подтверждает».

Как говорится, немало воды утекло с тех пор. И вот — на месте Буревестника, основоположника и т. д., появляется нечто противоположное. О Горьком, о его драматической судьбе, возникло множество суждений, принадлежащих зачастую людям, к изучению жизни и творчества писателя непосредственного отношения не имеющим.

Казалось бы, все нормально: откровенно заговорили те, кому раньше попросту затыкали рот кляпом казенной официозности. Однако пьянящая атмосфера свободы многим вскружила головы, а бумага, как известно, все терпит…

«Жаль советскую литературу, — восклицает в „Курантах“ некая М. Волина. — Алексея Максимовича не жаль!.. Место себе М. Горький выхлопотал неподалеку от друга своего Железного Иосифа, на крови».

Волиной вторит Ю. Гончаров: «Горький, как и другие немногие небескультурные большевики, нес не культуру, а цивилизацию, оказываясь конкистадором в родной стране, — нес огнем и мечом, а не Словом».

В заключение еще один пассаж, вовсе уж никому не ведомой И. Путлиной: «Он (М. Горький. — *В.Б.)* искренне заблуждался, искренне каялся, менял позиции, возможно, искренне подписывал приговоры» (?!).

От развенчивания Горького-идеолога переходят к развенчиванию Горького-художника. Автор совсем иного ранга и уровня, нежели цитированные выше, В. Пьецух, тем не менее полагает, что «вообще, значение писателя Горького сильно преувеличено». Относится это и к ранним произведениям, «исполненным подросткового пафоса, замешанным на аллегории, отдающей в восемнадцатое столетие, построенным на материале (? — *В.Б.)* из жизни животных и босяков», и к «нравоучительным пьесам, точно специально рассчитанным на школьные хрестоматии», — вплоть до «нуднейшего Клима Самгина…»

«Тем более удивительна, — заключает писатель, — его небывалая популярность, скоропалительная слава всероссийская, европейская, а после и мировая, свалившаяся на Алексея Максимовича Бог весть по какой причине…»

К мифу о «свалившейся на Горького мировой славе» был причастен и такой авторитет, как Иван Бунин. Гораздо раньше, чем наши критики, а именно в 1936 году, он назвал мировую славу Горького «совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств…».

Однако стоит копнуть малость поглубже, как дутой оказывается не слава Горького, а досужая легенда о ней. Славу невиданную, небывалую, фантастическую — не знаю уж какие еще эпитеты искать — словом, такую, какой не имел ни один писатель в мире, Горькому не «организовывал» никто. А выражалась она уже на стыке веков в несметном количестве критических и биографических публикаций. Только в одном 1902 году критическая статья либо в газете, либо в журнале появлялась каждый день! Подсчитано, что с сентября 1902 по декабрь 1904 на русском и иностранных языках вышло свыше ста книг о Горьком. Целая библиотека! Насколько известно, тогда еще паблисити не регулировалось структурами вроде отдела культуры ЦК или КГБ…

Ну а уж за границей-то и вовсе никто не мог насильно побуждать издателей печатать неугодных авторов.

Время все расставляет по своим местам, и, если следовать логике горьковских оппонентов, кривая популярности писателя — ложной популярности! — должна была бы пойти вниз позднее. Обратимся, однако, к статистике и возьмем наугад цифры изданий советских писателей за границей хотя бы за пятилетие, с 1976 по 1980 год. Лидерами тут можно считать М. Шолохова и Ч. Айтматова: их книги выходили соответственно 74 и 72 раза. Дальше следуют В. Маяковский и Ю. Трифонов (51), А. Толстой (48), В. Распутин (41), В. Быков (27), С. Есенин (26). А Горький? Горький издавался 313 раз. Надо полагать, цифра эта не нуждается в комментариях.

Разумеется, приведенные данные никого не лишают права высказываться о Горьком критически. Но все же вряд ли можно считать оправданным уничижительный тон иных современных выступлений. На вопрос: «Что есть советская литература и есть ли она?» — В. Войнович отвечает без колебаний: «Многое из литературы, к которой можно приложить этот эпитет, надо отправить, да она уже отправлена на свалку… Взять Горького, например, „Мать“ — это просто плохой, глупый, примитивный роман».

Что и говорить, роман не лишен крупных недостатков. Но — глупый, примитивный? Надо полагать, борьба в прошлом с тоталитарным режимом все же не дает права переступать ту черту, за которой бескомпромиссность превращается в грубость и прямолинейность, тем более что разносные оценки не сопровождаются никакими аргументами.

В бездоказательности, напротив, никак не упрекнешь Б. Можаева, выступившего в популярном журнале с пространной статьей по поводу печально известной брошюры М. Горького «О русском крестьянстве», изданной в Берлине в 1922 году. Ну конечно же, многие суждения писателя о крестьянстве, перерастающие в обобщенные характеристики русского национального характера, грешат совершенно очевидной односторонностью, и тут с Можаевым невозможно не согласиться (хотя опять-таки все это было сказано оппонентами Горького семь десятилетий назад). Но все же многие полемические суждения Б. Можаева слишком «размашисты».

Еще в 1974 году на Западе вышла книга, рядом с которой по степени ее беспощадной правдивости вряд ли встанет еще какое-нибудь творение XX века. Это «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына. Особую силу придает книге сочетание глубины и масштабности чисто исторического исследования, основанного на огромном фактическом материале, с субъективно-индивидуальным опытом автора. Читателям, вероятно,

запомнилось не только колоритное описание посещения Горьким Соловков в 1929 году, но и тот беспощадный и, как уже говорилось в начале книги, совершенно несостоятельный по существу приговор: «…Сталин убивал его зря, из перестраховки: он воспел бы и 37-й год». Приговор воистину убийственный, особенно если учесть гигантский авторитет, который обрел уже к тому времени писатель во всем мире.

Через два года журнал «Континент», публикуя статью польского критика Густава Герлинг-Грудзинского «Семь смертей Максима Горького», дал, прямо на глянцевой обложке, следующую врезку: «Сегодня в Советском Союзе — в очень трудных условиях, не всегда еще во всем успешно — начал работать неофициальный „суд истории“. Включить „дело Горького“ в повестку дня этого суда — важная задача русской интеллигенции».

Прозвучал призыв в 1976 году. «Континент» был тогда мало доступен в нашей стране не только широкому читателю, но даже и специалисту-филологу. Проявляя трогательную заботу об идеологическом целомудрии народонаселения державы, соответствующие ведомства старались понадежнее упрятать такого рода продукцию на дальние полки спецхранов. При всем служебном рвении с задачей этой справлялись они лишь частично. Авторитет журнала среди читающей публики был очень высок.

И призыв к «суду истории» был услышан. Как мы понимаем теперь, был он смелым призывом к правде, к освобождению общественной мысли от идеологических подтасовок и искажений. Тех подтасовок и искажений, которые превращали Горького в безгрешного носителя рафинированных коммунистических идей.

Однако историк литературы должен будет отметить одну своеобразную особенность этого суда. Упоминавшаяся уже статья Герлинг-Грудзинского, содержащая много суровых критических слов о Горьком, вовсе не имела, так сказать, априорного осудительного уклона. В ней прямо говорилось о том, что, возвращаясь на родину в 1928 году, Горький имел благие намерения повлиять в лучшую сторону на протекавшие в ней процессы, что он не собирался поступаться при этом перед властями своим человеческим и профессиональным достоинством.

К сожалению, потом случилось нечто странное. Этот достаточно трезвый тон оппозиционного «Континента» был утрачен многими авторами отечественных, тогда еще вполне социалистических изданий, и мы уже видели в начале главы, до каких нелепостей доходили иные из них.

Увы, формулировки тех, кто брал на себя функции обвинителей на суде истории, были, мало сказать, решительны. Порой — безапелляционно приговорны. Писатель, в ту пору народный депутат СССР, Б. Васильев в обширной статье «Люби Россию в непогоду» рассматривает Горького как послушного воплотителя государственной доктрины, прикрывавшего своим авторитетом зарождение и утверждение официально-стандартизированного искусства, нареченного «социалистическим реализмом». Васильев заявляет: «Горький по возвращении (на родину. — *В.Б.)* ни разу не поднял голоса в защиту народа, в защиту культуры, правды, справедливости, закона, хотя все происходило на его глазах».

Ну а если выступил Алексей Максимович в защиту отдельного человека, то это уже не имеет отношения к выступлениям в защиту народа?

Юлия Николаевна Данзас, в недавнем прошлом фрейлина императрицы Александры Федоровны, увлекавшаяся религиозно-философскими вопросами столь серьезно, что в 1917 году была назначена профессором Петербургского университета, попала на те самые Соловки. Горький встретил свою давнюю знакомую со столь невыгодной биографией во время посещения островов, откуда Данзас была освобождена благодаря его хлопотам. А потом он помог ей, оставшейся без всяких средств к существованию, получить литературную работу, а затем и выехать за границу.

Данзас — профессор, бывшая фрейлина, представитель высшего слоя российской культуры… Но вот пример совсем скромный, рядовой. Пишет Наталья Леонидовна Граве, дочь нижегородского поэта второй половины XIX столетия Леонида Григорьевича Граве, в Нижегородскую архивную комиссию тотчас после смерти писателя.

«Грустно мне от того, что умер Алексей Максимович Горький… Так печально, что я не могу побывать в Нижнем, зайти в музей Алексея Максимовича. Мне так хотелось, чтобы в Литературном Горьковском музее был портрет отца моего, которого Горький помнил и о котором так тепло отзывался… Пока был Горький жив, у меня была какая-то надежда. Ушел честный, отзывчивый, глубокий человек, испытавший в жизни много тяжелого, горького и потому умевший заглянуть и понять истерзанную душу другого…»

Жил Горький — жила надежда…

Очевидно, позицию надо основывать на фактах. И чем полнее знание фактов, тем лучше. Но, положа руку на сердце, копаться в фактах — дело нудное, затяжное. Возможны «современные,

интегральные» способы объяснения противоречий в душе художника. И вот тот же Васильев пишет, что «в каждом крупном таланте скрываются Христос и Антихрист».

Пока еще не вполне ясно, как конкретно можно применить подобную очень современную методологию к характеристике природы таланта, но важно, что сказано смело, раскованно, без оглядки на всякие там догмы и стереотипы. Правда, на приоритет Б. Васильеву претендовать не придется. Его лет на тридцать опередил И. Сургучев статьей «Горький и дьявол». «…Путь Горького был страшен: как Христа в пустыне, дьявол возвел его на высокую гору и показал все царства земные и сказал:

— Поклонись, и я все тебе дам.

И Горький поклонился.

И ему, среднему, в общем, писателю, был дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Лев Толстой, ни Достоевский. У него было все: и слава, и деньги, и женская лукавая любовь».

…Беломорканал был вторым, после Соловков, пунктом общественного обвинения Горькому. И наконец, третий — это статья, сразу обратившая на себя внимание подчеркнутой агрессивностью заголовка: «Если враг не сдается — его уничтожают».

Право же, каждого из трех этих деяний вполне достаточно, чтоб скомпрометировать человека в глазах общества. Ну а когда соединяются они все вместе… Представилось, что Горький сам убил себя.

Нетрудно понять тех писателей, которые выступали в печати с осуждением Горького. Едва ли не первым сделал это В. Ерофеев в повести «Москва-Петушки». Среди многочисленных литературных цитат, щедро вводимых автором в повествование, вставленное в негативный контекст выражение «безумство храбрых» вовсе не является мимолетно-проходным. Либо упоминание имени Горького и его образов, либо развернутое полемическое отступление-эссе о нем, каприйском жителе, — все это в поэме встречается несколько раз. Так что Горькому «повезло» здесь гораздо больше, нежели какому-то другому литератору.

Ф. Искандер в аллегорической философской сказке-притче «Кролики и удавы» изобразил некоего придворного воспевателя буревестника, своими призывами облегчающего удавам расправу над несчастными кроликами. И. Золотусский без каких-либо оговорок объявил Горького 30-х годов страшным человеком.

Этот критический ряд усиливали публикации, к которым по разным причинам не имел своевременного доступа наш

читатель, — от впервые обнародованных дневниковых записей столь разных художников, как З. Гиппиус, К. Чуковский, М. Пришвин, до мемуаров И. Бунина, В. Ходасевича и других эмигрантов.

Казалось бы, произошло то, что предрекал один из критиков вскоре после революции 1905 года: конец Горького. Вывод такой как будто подтверждается призывом одного из писателей изъять книги «проштрафившегося» из школьного обучения.

К чему приводит крайность экстремистского отрицания, можно судить по следующей информации: «Варварским способом расправились с библиотекой бывшего парткома КПСС на Челябинском тракторном заводе. Идеологически вредные книги порвали и сожгли. В большой костер, разведенный силами отдела рационализации и изобретательства (!), попали также Горький, А. Фадеев и другие»[77].

Дружный хор оппонентов Горького заглушал авторитетные мнения совсем иного рода. Б. Пастернак, например, восторженно называл Горького «океаническим человеком». А как не вспомнить суждение М. Цветаевой, полагавшей, что Нобелевскую премию следовало бы присудить не Бунину, а Горькому. «Премия Нобеля. 26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина. Уклониться — изъявлять протест. Я не протестую, я только не согласна, ибо несравненно больше Бунина: и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее — Горький. Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи. Но так как это политика… король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому…»

Многочисленным заявлениям хулителей Горького можно противопоставить лишь отдельные суждения в его пользу, принадлежащие нашим современникам: Л. Аннинскому, Е. Евтушенко, С. Залыгину…[78] Но пожалуй, лишь Е. Евтушенко характеризует позицию Горького в целом, находя обобщающий образ-метафору. В серии миниатюр «Русские гении» он пишет: «Цыганок, когда пороли Алешу, незаметно подставлял под розги свою руку, чтобы облегчить удары, отчего вся рука вспухла. Горький столько раз подставлял не то что руку, а душу свою, когда били русскую интеллигенцию, так что вся душа распухла. Сейчас модно обвинять Горького и за социалистический реализм, и даже за сталинские лагеря.

Горький сам в последние годы жизни был заключенным. Ни купленным, ни слепым он не был». Поэт делится своей догадкой о том, что Горький просил Сталина отпустить его снова в Италию, чтобы поведать миру страшную правду, с которой он столкнулся в стране, и потому оплачивал своим вынужденным молчанием и приветствиями возможность вырваться из-за позолоченной

персонально для него колючей проволоки.

И те, кто призывал оградить школьников от Горького, и те, что предавали огню его книги, забыли (а многие, может быть, и не знали), что реальный опыт правозащитной деятельности писателя в годы Гражданской войны был взят на вооружение теми мужественными людьми, которые решительно выступали в защиту свободы творчества и инакомыслия еще в 60-е годы, почти за десять лет до начала кампании против Горького. Вспомним замечательный документ общественной мысли 60-х — письмо Лидии Чуковской Шолохову по поводу его речи на XXIII съезде партии, письмо, написанное по горячим следам события, 25 мая 1966 года, но, естественно, увидевшее свет лишь годы и годы спустя (см. ее книгу «Процесс исключения». М., 1990).

Резко осуждая А. Синявского и Ю. Даниэля за публикацию своих произведений на Западе, Шолохов выразил неудовлетворенность «мягкостью» приговора и вспомнил времена Гражданской войны, когда при борьбе с «контрой» не проявляли излишней щепетильности, обращаясь к закону, а руководствовались больше «революционным правосознанием».

«Именно в „памятные годы“, т. е. с 1917 по 1922, когда бушевала Гражданская война и судили по „правосознанию“, — пишет в своем замечательном письме Чуковская, — Алексей Максимович Горький употребил всю силу своего авторитета не только на то, чтобы спасти писателей от голода и холода, но и на то, чтобы выручать из тюрем и ссылок. Десятки заступнических писем были написаны им, и многие литераторы вернулись благодаря ему к своим рабочим столам. Традиция эта — традиция заступничества — существует в России не со вчерашнего дня, и наша интеллигенция вправе ею гордиться…»

При всем различии критиков Горького объединяют два обстоятельства: благородный гражданский гнев и количественная одинаковость исходного материала для осуждения: все те же три кита — Соловки, Беломорканал, «Если враг не сдается…». Что же касается знаменитого цикла «Несвоевременных мыслей», то его вроде бы можно отодвинуть на задний план, потому что речь в нем ведется об ином, более раннем периоде.

И тут вновь приходится повторить: о жизни Горького конца 20-х и в 30-е годы знают страшно мало, и выдвинутые обвинения во многом обусловлены этим незнанием.

В последнее время взгляд критики стал заметно меняться: налицо стремление к большей трезвости, объективности и к отходу от тех убийственных ярлыков, которые наклеивались на Горького в 70–80-е годы.

Теперь на сцене в России и за рубежом поставлено множество

спектаклей по пьесам Горького, вызывающих заинтересованный отклик. Появилось немало ценных публикаций. А спокойных, деловых упоминаний о нем в прессе множество, их нынче никто не стыдится… В конце концов можно любить или не любить произведения Горького, но нельзя не признать: перед нами уникальное явление в культуре XX столетия по масштабам проделанной работы, по влиянию на развитие общественно-эстетического сознания (влиянию, скажем прямо, неоднозначному). Так что всякий раз, когда мы говорим о Горьком, мы заводим речь о чем-то гораздо большем, являющемся какой-то частью нашего сегодняшнего бытия.

Гораздо более радикально, чем в России, изменилась картина мирового общественного мнения о Горьком. Духом вдумчивого анализа, лишенного какой-либо предвзятости, сочувствием к трагической судьбе писателя пронизаны книги о нем, выпущенные специалистами, годы и годы посвятившими изучению его биографии и творчества: Гейра Хьетсо (Норвегия), Цецилии фон Штудниц и Армина Книгге (Германия), Ирвина Уайла (США). Отнюдь не отличается априорным обличительством и монография немецкого исследователя Ханса Гюнтера «Социалистический сверхчеловек: Максим Горький и советский героический миф» (1993).

В конце 1994 года на польском телеэкране был показан многосерийный фильм французских кинематографистов «Чудовище — портрет Сталина», созданный в 1989 году. Хороший антитоталитарный фильм. Но вот в одной из серий всего на несколько секунд мелькнули две фигуры: Сталин и Горький. На трибуне Мавзолея. Улыбающиеся. О чем-то мирно беседующие. Ну, друзья — водой не разольешь. А Сталин — сплошное обаяние!

В плену иллюзии о несокрушимой дружбе Сталина и Горького до сих пор, как свидетельствует французский фильм, пребывают миллионы, и, разумеется, не только в Польше.

В июне 1995 года известный публицист, работающий на радио «Свобода», Борис Парамонов посвятил Горькому специальную передачу. Вообще говоря, «Русские вопросы», историко-культурная программа, которую постоянно ведет Б. Парамонов, на мой взгляд, одна из лучших рубрик «Свободы». Это впечатление сложилось у меня потому, что в течение двух лет жизни за рубежом я практически ежедневно слушал «Свободу».

Однако на сей раз взяться за перо заставило меня совсем иное чувство огорчения и досады. Передачу «Еще раз о Максиме Горьком» я прослушал четырежды (последний раз в четверг, 15 июня 1995 г.). И чем дальше, тем активнее становилось это чувство. Обычно избирающий уверенную позицию, что

называется, на острие атаки, на сей раз уважаемый автор оказался в роли задремавшего в арьергардной повозке воина, который, пробудившись неожиданно и не успев разобраться, «какое тысячелетье на дворе», бросился в бой.

Предметом своего полемического экскурса на сей раз Б. Парамонов избрал сборник «Неизвестный Горький», выпущенный Институтом мировой литературы в конце 1994 года, а поводом для выступления послужила рецензия на него в «Литгазете» 17 мая 1995 года. Собственно говоря, с Б. Парамоновым трудно не согласиться, когда он утверждает, что принципиального переворота в наших представлениях о Горьком сборник не производит. Отдельные публикации, сколь бы ни были они любопытны и многочисленны, в конце концов погоды еще не делают. Сейчас, как никогда, нужно обстоятельное, объективное, где надо — бескомпромиссно критическое научное исследование-биография (а может быть, и не одно), которое бы опиралось на всю сумму известных ныне фактов, анализировало бы головоломный порой механизм причинно-следственных связей между ними. Пока о возможности появления такого труда что-то ничего не слышно. (От чего сие зависит? Об атмосфере, сложившейся в горьковедении, мог бы состояться разговор особый.)

Но вернемся к Б. Парамонову и критикуемому им сборнику. Прослушав передачу, приходишь к выводу, что не только рецензия на него, но и сам сборник — лишь повод для пропаганды критиком своей давней точки зрения. Какой именно — об этом чуть ниже. А пока немного в развитие тезиса об арьергардности позиции нашего автора.

Б. Парамонов, как известно, вещает из Нью-Йорка. Но относительно всякой истины, в том числе той, что «большое видится на расстоянии», можно сказать, что она относительна. Если руки не доходят до наших публикаций о Горьком (среди коих, грешен, есть и мои), то почему бы не поинтересоваться, как дело обстоит в тех же Штатах? Между тем профессор Нью-Йоркского же университета Виталий Вульф утверждает, что в Америке существует своего рода преклонение перед Горьким.

Известный немецкий ученый Вольфганг Казак, автор знаменитого «Энциклопедического словаря русской литературы с 1917 года», в одном из интервью раскрывает природу наших ошибок: «Одно из худших и непреодоленных свойств советской системы — человека (а следовательно, и писателя) то ли без умолку хвалить, то ли без остатка проклинать… Со стороны литературоведов было бы правильно, открывая то негативное, что мы знаем, например, за Горьким или А. Н. Толстым,

одновременно ссылаться на положительное…»

Блестящий ниспровергатель пороков советской системы, Б. Парамонов оказался в плену именно «одного из худших и нисколько не преодоленных свойств советской системы…» Характерный пример. Горький обвиняется в беспринципности, двоедушии. Опираясь на В. Ходасевича, критик сообщает, что в середине 20-х годов Горький собирался было послать резкий протест против изъятия из библиотек неугодных большевикам книг и даже пригрозить отказом от советского подданства, однако не сделал этого. Что было, то было. Однако, с моей точки зрения, куда более важно другое свидетельство В. Ходасевича в том же мемуарном источнике. «…Кроме умирающего Ленина, ненавидел весь Кремль… Недаром Троцкий осмеливался открыто, в печати называть его контрреволюционером». К. Чуковский, которого Б. Парамонов зачисляет в свои союзники, вспоминает, что про большевиков Горький говорил — «они».

Но такие факты Б. Парамонова не устраивают, потому что работают против его концепции. Дело, однако, еще глубже. Б. Парамонов в принципе не согласен с В. Ходасевичем, т. к. полагает, что из понятия «весь Кремль» надо исключить по крайней мере одного человека. И человек этот… Сталин! Тот, кто еще в 1917 году грубейшим образом одернул Горького, автора статьи в «Новой жизни» и ее редактора, объявив его по существу политическим мертвецом.

Б. Парамонов выдвигает очень смелый тезис: Сталин Горькому гораздо ближе, чем Ленин, т. к. куда более последовательно, не считаясь ни с какими нормами, реализовал программу большевистского насилия над жизнью. Критик не просто хочет сблизить имена Сталина и Горького, превратив писателя в послушного слугу античеловеческого режима. Он идет дальше, стараясь выдать Горького за некую зловредную нравственно-психологическую аномалию, за идеолога человеконенавистничества, считавшего культуру средством агрессивного насилия над жизнью.

Б. Парамонов полемист опытный, он ухватывается за одно из самых сложных, внутренне противоречивых положений горьковской философии человека: ориентацию на его «перевоспитание» и даже усовершенствование его психофизической структуры. Провозгласив в начале столетия «Человек — это звучит гордо!», Горький с течением времени приближался к выводу о несовершенстве человека как создания природы (наследование дурных привычек и пороков, подверженность болезням, наконец, бессилие перед лицом смерти, часто явно преждевременной). Говоря о трагизме

человеческого бытия на Земле, одиночестве в космическом пространстве, он мечтал о поисках путей духовного и физического оздоровления человека (выступил инициатором создания Всесоюзного института экспериментальной медицины).

Все это невозможно без поисков науки, без экспериментов. И вот тут Б. Парамонов восклицает на весь мир: «Позор! Это философия Освенцима!» В доказательство он ссылается на письмо Горького Ольге Скороходовой. В письме ей от 3 января 1933 года действительно говорится, что «необходим эксперимент над самим человеком, необходимо на нем самом изучить… вообще все процессы его организма».

Возникает вопрос: что же за «подозрительная» особа — Скороходова, с которой, как с единомышленницей, восторженно делится своими «человеконенавистническими» идеями писатель?

Ольга Ивановна Скороходова — слепоглухонемая от рождения. Воспитывалась в Харьковском институте дефектологии, где научилась говорить, читать и писать. Ее письмо Горький называет «одним из тех великих чудес, которые являются достижениями нашего разума, свободно и бесстрашно исследующего явления природы»… В другом письме, расценивая личность необычного корреспондента как «символ победоносной энергии человеческого разума», Горький называет саму Скороходову «объектом изумительно удачного, научно важного *эксперимента*», осуществленного в институте. Что тут античеловеческого? И разве не во имя торжества Человеческого над негативными явлениями природного процесса была написана той же Скороходовой книга «Как я воспринимаю окружающий мир»? Спрашивается, при чем тут Освенцим?

Да и вообще столь ли уж предосудительно в принципе вмешательство экспериментирующего человеческого разума, стремящегося познать тайны природы, в естественное самодвижение жизни? Разве не экспериментировал над собой бывший соратник Горького по каприйской группе Богданов (Малиновский), возглавивший после революции Институт переливания крови и погибший вследствие поставленного над собой опыта? Сколько экспериментов ставили на себе люди, рискуя жизнью, при освоении водной, воздушной стихий, Космоса! А трансплантация сердца и других органов? Искусственное оплодотворение как исправление ошибки природы? Да и сам Горький, лежа на смертном одре, пытался следить за процессами, протекающими в его организме, и заносил результаты наблюдений на бумагу дрожащей от слабости рукой…

Не лишенный противоречий и изъянов, горьковский подход к человеку есть порождение его пытливой, ударяющейся порой в

крайности собственной мысли, и холодное «высококвалифицированное» палачество Сталина тут вовсе ни при чем.

Придется подробно остановиться и на статье, в которой с неожиданной для середины 90-х годов тенденциозностью освещается в целом жизнь Горького в 20–30-е годы, а сам он объявляется ни много ни мало человеком, предавшим свой народ.

Главы из книги В. Шенталинского «Воскресшее слово» («Новый мир», 1995, № 3–4), изданной в Париже в 1993 году, не могут не вызвать повышенного интереса читателя. Построена на материале секретных архивов КГБ и Прокуратуры СССР. Повествует о трагических судьбах И. Бабеля и М. Булгакова, П. Флоренского и Б. Пильняка, О. Мандельштама и А. Платонова… И вдруг этот ряд завершается… М. Горьким! Официоз, послушное орудие в руках власти и т. д. и т. п. Как же он-то, Буревестник, залетел в эту компанию? Ведь опять же совсем недавно раздавались ультрарадикальные призывы «потеснить» его из разряда классиков советской эпохи, а именно преследуемых, поставить наконец на место недавних «генералов».

Повествование В. Шенталинского отчетливо делится на два пласта: автобиографический рассказ о том, как по его инициативе создавалась при Союзе писателей «Всесоюзная комиссия по литературному наследию репрессированных и погибших писателей» (декабрь 1988 г.), с каким трудом приходилось «пробивать» идею в писательском Союзе и особенно «наверху». Гражданская активность автора вызывает глубокое уважение. Без его открытий разговор о многих писательских судьбах оказался бы теперь неполон.

Второй пласт публикации — об одном писателе, по выражению В. Шенталинского, «без биографии». И это — о Горьком. «В многочисленных изданиях, посвященных ему, повторяется один и тот же набор хрестоматийных, тщательно процеженных данных… Отношения Горького с современниками искажены, некоторые люди вообще изъяты из его жизни». «Словом, Горький — эта всемирная знаменитость — едва ли не самый неизвестный советский писатель».

Из опубликованных фрагментов книги с бесспорной очевидностью вытекает вывод: сразу после революции «великий пролетарский писатель» сделался объектом постоянного надзора ЧК. На Лубянке на него было заведено особое досье, включившее множество документов, свидетельствующих, с каким пристальным вниманием следили власти за каждым шагом писателя, контролировали его контакты с современниками, перлюстрируя переписку, составляя особые обзоры наиболее

«крамольных» публикаций, анализируя донесения сексотов… Особый интерес вызывают у спецслужб профессиональные устремления писателя, его взгляды, отношения с врагами советской власти. Целая индустрия изучения малейших проявлений инакомыслия!

Значительны показания судебного процесса 1938 года, в ходе которого выяснилось немало подробностей, проливающих свет на поведение лиц из ближайшего окружения Горького, например, таящие загадку ответы подсудимого Ягоды на вопросы прокурора, в которых звучит угроза разоблачения чего-то такого, что могло бы нарушить весь ход грандиозного спектакля (то есть причастность к ним самого Хозяина).

Повторю важные и приводившиеся уже выше сведения о М. Будберг. Через третье лицо, без расписки неоднократно получала она от Ягоды крупные суммы в иностранной валюте. Не знаменательно ли, что из восьми «заложенных» Крючковым в качестве участников антисоветского заговора в живых осталась только одна она? Все это убедительно подтверждает категорическое утверждение Н. Берберовой о связи «железной женщины» с советской разведкой.

Важное место занимают в книге новые материалы о смерти сына Горького Максима и роли в его устранении Крючкова и лечащего врача А. И. Виноградова.

В. Шенталинский не ограничивается публикацией новых документов. Стремясь придать повествованию определенную целостность, если угодно — сюжетность, он двигается к обобщениям, как увидим ниже, весьма кардинальным. А для этого ему, естественно, приходится в большом количестве использовать результаты усилий других исследователей. Кстати сказать, как раз жанру «дневника» (а именно под такой рубрикой публикуется «Воскресшее слово») ничуть не помешали бы ссылки на какие-то работы горьковедов — ведь занимались они не только наведением пресловутого хрестоматийного глянца.

Между тем, скажем прямо, не так уже мало в публикации случаев, выдающих почерк неспециалиста. «Роман „Мать“, первый шедевр соцреализма, высоко ценил Ленин». Кто не знает, что Ленин назвал книгу «своевременной»? Но чуждый самолюбованию, автор «Матери» в общеизвестном очерке признается, что это был единственный комплимент, который высказал Ленин, и тотчас он заговорил о недостатках книга. Хорош «шедевр».

Неверно, что в 1929 году Горькому не удалось выступить в защиту травимых рапповцами литераторов. Единственный из писателей, он в печати мужественно встал на защиту Е. Замятина

и Б. Пильняка. А опубликовать не удалось вторую статью, «Все о том же», еще более острую. Но вовсе не потому, что этому препятствовали «Авербахи». Запрет был наложен на куда более высоком, чем вожди РАПП, уровне. На подобные «частности» (а я указал не на все из них) можно было бы не обращать внимания, если б они не открывали дорогу к упущениям куда более крупным, создающим превратное представление о личности писателя, тех намерениях, которыми он руководствовался.

«…Многослойное окружение все глуше отгораживало Горького от внешнего мира, от реальной жизни. Но ведь он и не пытался разорвать его, принимая предложенную ему „нишу“ без сопротивления. Тем более что кольцо это удобно и приятно камуфлировалось то под лавровый венок, то под юбилейный пирог». Тут все решительно противоречит реальному положению вещей, подлинному характеру Горького. Трудно назвать писателя, который бы не то что с придирчивостью, порой просто с жестокой, гипертрофированной самокритичностью относился к своему творчеству. Запах «лаврового венка» не только не кружил ему голову, но был противен, а вкус «юбилейного пирога» вызывал тошнотворную реакцию. Пытался разорвать кольцо! Протестовал! «„Ураган чествований“ крайне смущает меня. Написал „юбилейному комитету“, чтоб он этот шум прекратил, если хочет, чтоб я в мае приехал» (письмо от 30 дек. 1927 г.). Увы, слишком плотным и умело организованным было окружение…

Я завершаю подготовку обширного тома мемуаров современников о Горьком, в котором представлен весь спектр мнений о нем, включая самые злобные. Читатель найдет в книге множество подтверждений подлинного поведения Горького в этой ситуации, буквально травмированного юбилейным славословием, равно как и во многих других случаях, трактуемых нелюбознательными критиками превратно.

«…На широко разрекламированном Первом съезде советских писателей, собственно, только довели до сведения общества то, что уже давно решили и продумали до мелочей в кабинете Сталина и горьковской столовой»… Что, и доклад Бухарина о поэзии был такой «мелочью»? Тот самый, в котором пальма первенства отдавалась Пастернаку и подвергался критике Маяковский? Теперь хорошо известно, что докладчик, бывший глава антисталинской оппозиции, разгромленной в 1929 г., и спасенный Горьким, был утвержден вопреки воле Сталина и благодаря настойчивости Горького.

Но все это пока цветики. А вот и ягодки. «…Стерилизовалось уже само сознание писателя, его превращали в некоего зомби —

автомат, удобный в обращении». «Буревестник превращен в подсадную утку, используется как ловушка для инакомыслящих». «…Предал свой народ, благословил тиранию»…

Что и говорить, более тяжелые обвинения трудно себе представить. А вызваны они известной горьковской поездкой на Соловки (см. гл. 2). Совсем иначе расценивает этот визит человек, не по слухам и легендам знакомый с Соловками, а побывавший там не по своей воле, один из интеллигентнейших людей нации, академик Д. С. Лихачев. Он говорит о компромиссе Горького с властью, обещавшей вследствие визита писателя облегчить режим. Горький выполнил условие, палачи — нет. Можно, конечно, в наше время проявлять непримиримость и к компромиссу, но достойно ли его смешивать с тем, чего гнусней нет на свете, — с предательством?

…Сломленный человек, ставший послушным орудием в руках властей, заболевший той болезнью, «которая, прогрессируя, приведет в конце концов Горького к полному перерождению, превратит из защитника и вдохновителя угнетенных в защитника и вдохновителя угнетателей»… Как говорится, комментарии излишни! Аргументы же В. Шенталинский пускает в ход старые, заезженные. Продолжал восхвалять Сталина… Историками давно доказано, что это превратилось в ритуальную норму поклонения вождю и далеко не всегда раскрывало подлинное отношение к нему… Не протестовал против жестокого закона… Прежде всего мы не знаем содержания многих бесед Горького со Сталиным. Е. Замятин, например, убежден, что в процессе имевших одно время тесных личных контактов с Хозяином Горький в немалой мере способствовал смягчению диктаторского режима в стране. Не протестовал публично? Где и как это мог сделать Горький или кто-либо на его месте в такой стране? Публиковать протест за границей? Равносильно самоубийству. Горький не боялся смерти (хотя и много думал о ней издавна). Но он очень не хотел отправляться на тот свет преждевременно — «Я намерен очень долго жить» (1927), — чтобы реализовать свою программу развития культуры в стране, рассчитанную на все возрастающий профессионализм, отлучение бездарей, прикрывающихся партийным билетом, самоуверенных дилетантов. «Надо прекословить», — внушал он молодому Ю. Герману, и сам делал это, но не по-мальчишески, а как дипломат (по характеристике того же Замятина). Дипломат поневоле. И достаточно тонкий. Но вот только смысл и природу этой дипломатии не выудить из готовых цитат. Их надо искать в подтексте, в сопоставлении самых разнообразных фактов и документов.

И еще один, последний конкретный пример, который с

особой наглядностью свидетельствует: беда В. Шенталинского в том, что, вводя новые важные факты, отнюдь не подтверждающие его суперкатегорические выводы, он начисто игнорирует другие факты и мнения, которые его прокурорские обвинения опровергают. «Сегодня мы можем сказать определенно: это выдумки или заблуждение, что Горький сопротивлялся насилию и стал бы помехой в 1937 году, за что-де Сталин его и убрал».

Позволительно спросить: кто это «мы»? В сие понятие явно не входит, к примеру, авторитетнейший историк, автор всемирно известной книги «Большой террор» Роберт Конквест, которого трудно заподозрить в особом пристрастии к Горькому, но еще более — в наивном дилетантизме. На основании многолетних изысканий он со всей категоричностью ученого утверждает, что большой террор начался не после убийства Кирова, а после смерти Горького (и не мог начаться при нем).

Немного о смерти Горького; В. Шенталинский касается и этой тайны. В недрах Лубянки ему удалось отыскать историю болезни писателя. Но совершенно непонятно, какие основания дает она для того, чтобы ставить под сомнение попытки Ягоды через Крючкова устранить Горького раньше, всячески нарушая его режим. И разве не ясно, что покушаться на здоровье и жизнь второго человека в государстве кто-либо мог лишь с санкции Первого?

Свою книгу В. Шенталинский писал на рубеже 80–90-х годов, когда наступал «пик» длившегося два десятилетия разоблачительства по отношению к Горькому, и, увы, отдал этому нигилистическому поветрию немалую дань. К счастью, как уже говорилось, в последнее время за рубежом и в нашей стране картина стала заметно меняться.

Но при этом (что весьма огорчительно) корни у сорняка дилетантизма оказались куда более глубокими, а выживаемость его в условиях в общем-то существенно изменившегося к лучшему климата — высокой до изумления.

Мне уже приходилось касаться переписки Горького со Сталиным в связи с публикацией ее в «Новом мире» в 1997–98 годах. Последний раздел переписки, охватывающий 1934–35 годы, после той критики, которая прозвучала в том же «Новом мире», они отдали в журнал «Новое литературное обозрение». Здесь он и увидел свет в № 40 за 1999 год.

Сеанс шоковой терапии начинается сразу же. Называется статья «Великий гуманист», но сногсшибательный поворот традиционной теме придает эпиграф «Предательская рука Горького легла на плечи русской литературы». А. Бем.

Как говорится, скажи мне, кто твой друг… Не

осчастливившая горьковедческую науку фундаментальными открытиями, Т. Дубинская находит в лице А. Бема (1886–1945) союзника, к горьковедению вообще не имеющему никакого отношения. Эмигрант, А. Бем стал известен преимущественно своими работами о Достоевском. О современной русской литературе писал «Письма», не брезгуя сотрудничеством в таких изданиях, как газета «Руль» И. Гессена.

Так кто же все-таки Горький: великий гуманист или предатель русской литературы? И если он сочетает то и другое, то как же ему это удается?

Отдадим должное автору статьи: в дальнейшем она избегает всякой двусмысленности. Ее мышление отличает воистину строевая, армейская четкость. Да-да, нет-нет, что сверх того, то от лукавого:

«Планы Горького и Сталина совпадали». «Пришло время сказать, что публицистика Горького „сталинского периода“ была столь же лжива, как и вся(!?) советская периодика». В процессе эволюции Горький превращался «в типично советского крупного чиновника от литературы». «В сочетании „пролетарский гуманизм“ слово „пролетарский“ есть синоним слова „сталинский“». «Горький все знал».

Между тем категорический тезис о «всезнайстве» Горького подвергается в литературе аргументированному опровержению: «Горький не знал, как знаем мы теперь… что „секретные документы“ относительно „вредительства“ — это фальсификация». Кому же принадлежит сие важное утверждение, опровергающее Т. Дубинскую? Той же Т. Дубинской! Только одно содержится на с. 230, а другое на с. 238. Воистину, правая рука и так далее.

Г-жа Дубинская не только отважно дискредитирует Горького, но еще и «редактирует» его в выгодном для себя духе. Касаясь судьбы «Промпартии», Горький пишет Сталину: «Я, разумеется, за высшую меру»… Ох, уж это коварное многоточие! В действительности мысль Горького звучит совершенно иначе, если не обрывать ее произвольно и тенденциозно.

Да, конечно, он за «высшую меру» «вредителям». Но лучше все же оставить «негодяев» на земле… Ну, а сам процесс над ними «поставлен» «замечательно, даже гениально».

Позвольте, о чем речь? — спросит читатель. О премьере спектакля или «о полной гибели всерьез»? Ну разве не звучит плохо скрытая насмешка по поводу шпиономании, столь характерной для сталинского тоталитаризма: «Гуляют люди с бомбами по Лубянской площади с утра до вечера — и никто их не видит!»

Будучи верна себе и своим догматическим установкам, Т. Дубинская стремится сделать все, чтобы дискредитировать Горького не только как писателя, но и как личность: «…Горький понял, принял и не нарушил „правила игры“ на протяжении всего своего сотрудничества со сталинским режимом… Горький находился в подчиненном положении, что давало возможность руководителю государства беззастенчиво использовать его в своих интересах. Горький соглашался „продавать лицо“… И делал это вполне успешно, „ловко играя словами, занимаясь казуистикой“»…

Метафизическое мышление — это оперирование статичными величинами. Ему совершенно чужд историзм как важнейший принцип познания. И абсолютно прав был Вольтер, сказавший: презрение к диалектике не остается безнаказанным.

Только один пример (из целого ряда ему подобных). Т. Дубинская выставляет Ф. Панферова как невинную жертву горьковского сговора со Сталиным в 1934 году. Но как дело обстояло в действительности? В год великого перелома (1929) Сталин в одном из выступлений расхвалил роман «Бруски» за правильное, «партийное» отражение коллективизации. Однако весной 1934 года в расчете на расположение Горького перед съездом писателей Сталин «сдал» своего протеже Горькому, и тот с убийственной убедительностью продемонстрировал чудовищную языковую безвкусицу «Брусков». Дело, однако, этим не кончилось. Съезд прошел не так, как надо, Горький повел себя иначе, чем рассчитывал Сталин. Началась пора конфронтации, прямого наступления Сталина на Горького. И вот третий, финальный этап сюжета «Горький — Сталин — Панферов». Приходится повторить уже приводившиеся мной факты. 28 января 1935 года, аккурат в день открытия VII Всесоюзного съезда Советов, «Правда» публикует «Открытое письмо А. М. Горькому» с резкой критикой общепризнанного литературного лидера. Кто автор? Читатель догадался: Панферов!

Горький тотчас пишет обстоятельный ответ. Но… ему отказывают в публикации! Проще говоря, затыкают рот. Ему, второму лицу в стране! Но Т. Дубинская трактует ситуацию в присущей ей манере: «Горький промолчал» (?!).

Вот какие процессы скрываются за фактами, если их исследовать во взаимосвязи, в динамике, а не манипулировать ими и уж тем более не искажать или фальсифицировать в пользу своей «концепции».

Наш автор не допускает и мысли, что Горький был способен в 30-е годы на какое-то развитие, что он, пусть и не без труда, и не всегда успешно, преодолевал свои противоречия и ошибки, что в

нем нарастало скрытое от поверхностного взгляда, но все более последовательное сопротивление крайностям сталинского режима и вождь прекрасно понимал это. Что и привело в конце концов к насильственному «устранению» опального литератора. Кстати, трагического финала горьковской судьбы Т. Дубинская не касается вовсе, т. к. это не укладывается в прокрустово ложе ее концепции. Да и зачем вождю было устранять верного сталиниста, исполнительного чиновника от литературы (вроде А. Жданова или А. Щербакова)?

Тем не менее очевидно: работа у горьковедов впереди огромная. Интересы дела требуют скорейшей публикации новых документов, преодоления пережитков как дилетантизма, так и кастовости, номенклатурной амбициозности ради подлинного коллективного объединения тех, кто любит горьковедение в себе, а не себя в горьковедении.

* * *

…Оливы пахнут горько. Жесткий лист,
Нагретый солнцем знойного полудня,
Насытил воздух масляной отравой.
И тусклое деревьев серебро
Одето едким голубым туманом.
Не хочется дышать и трудно думать.
А думать — есть о чем.

М. Горький. 20-е годы, Италия

* * *

Вот одно — заключительное — раздумье.

…Он стоит на высоком постаменте — сутоловатый, в длинном плаще, — такой, каким прибыл сюда, на площадь Белорусского вокзала, в мае 1928 года.

Надпись на пьедестале: «Великому русскому писателю Максиму Горькому от правительства Советского Союза. 10 июня 1951 г.»

Как раз к 15-летию со дня смерти…

Сей монумент воздвигало сталинское правительство, то самое, которое и отправило писателя в «лучший мир».

Еще одно подтверждение той великой лжи, которая

внедрялась в наше сознание в течение десятилетий. Мы так привыкли к ней, что и не замечаем, что это ложь.

Никакое правительство не имеет право воздвигать памятники, демонстрируя тем самым особую приверженность усопших Руководству. Сегодня избранное народом правительство у власти, завтра — ушло в отставку. Так во всем цивилизованном мире. Но только не в сталинской империи.

Памятники ставят народы и государства. Не подчеркивая, впрочем, этого особо.

Я не призываю сносить монумент. Избави Бог. (И так мы в этом деле наломали дров предостаточно.) Я не призываю воспользоваться зубилом и молотком, чтобы уничтожить слова, за которыми великая историческая ложь и трагедия.

Просто надо поставить рядом небольшой стенд с надписью:

> «Великий русский писатель Максим Горький
> 1868–1936»

Тем самым мы сотрем последний слой грима, искусственно наложенный на его облик рукой Хозяина.

И вот к такому стенду я мысленно кладу эту книгу как венок памяти нашего великого соотечественника и моего земляка, жизнь которого была насильственно прервана 60 лет назад.

1989 — август 1996 г.

Нижний Новгород — Москва — Быдгощ (Польша) — Москва

ИЛЛЮСТРАЦИИ

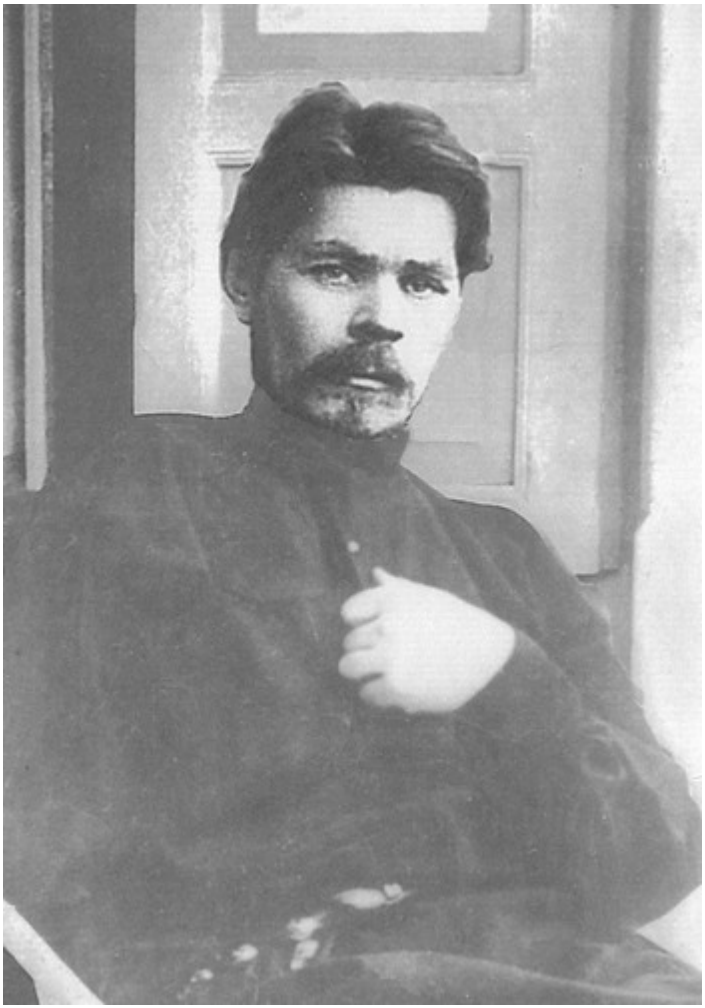
М. Горький. 1916, Петроград

М. Горький и Ф. Шаляпин

Литературно-художественный кружок «Среда»: С. Скиталец, Л. Андреев, М. Горький, Н. Телешов, Ф. Шаляпин, И. Бунин, Е. Чириков

М. Горький

В. Ленин и М. Горький на II конгрессе Коминтерна, 1920



М. Горький в годы первой русской революции

М. И. Будберг (1892–1974)

Е. П. Пешкова (1878–1965)

М. Ф. Андреева (1868–1953)

Первый после длительного перерыва приезд М. Горького в Советскую Россию в мае 1928

Белорусско-Балтийский вокзал

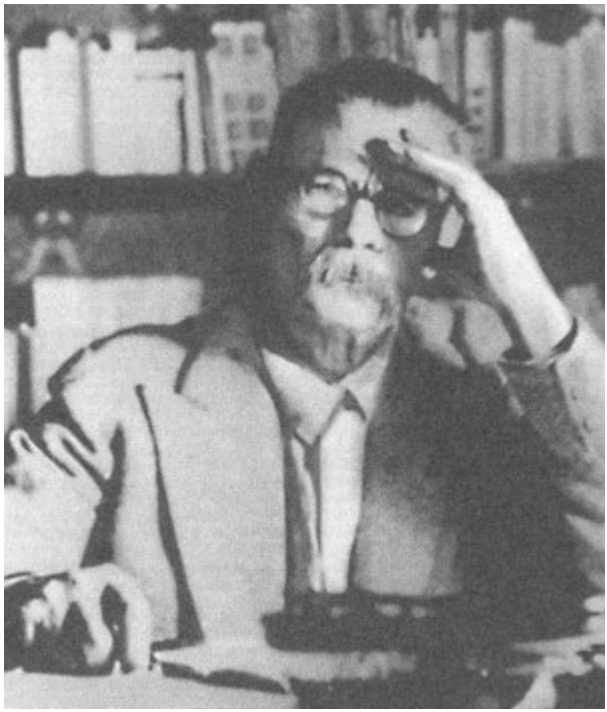
Горький в гриме, июнь 1928

И. В. Сталин

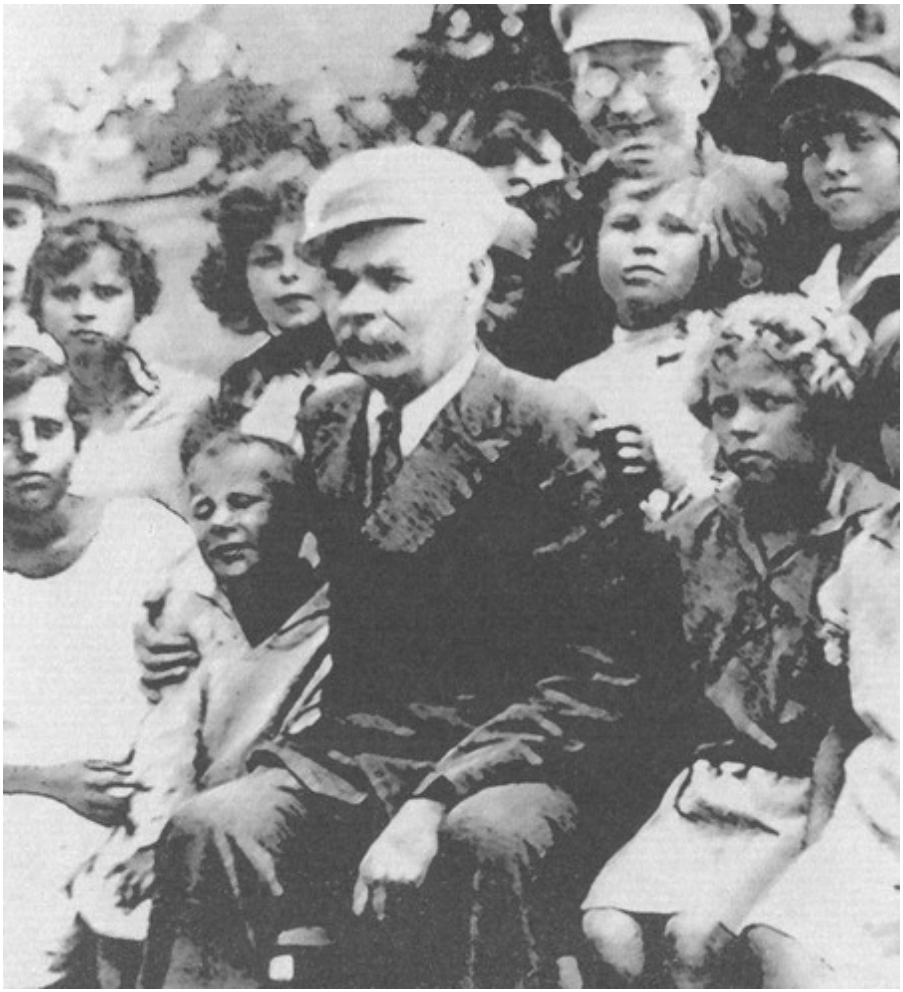
М. Горький и начальник одной из детских колоний, чекист М. С. Погребинский во время поездки по Союзу, 1929

«Отбор молодняка из соцвредэлемента». Из альбома, подаренного М. Горькому чекистами Соловецкого лагеря

Воспитанник детской колонии



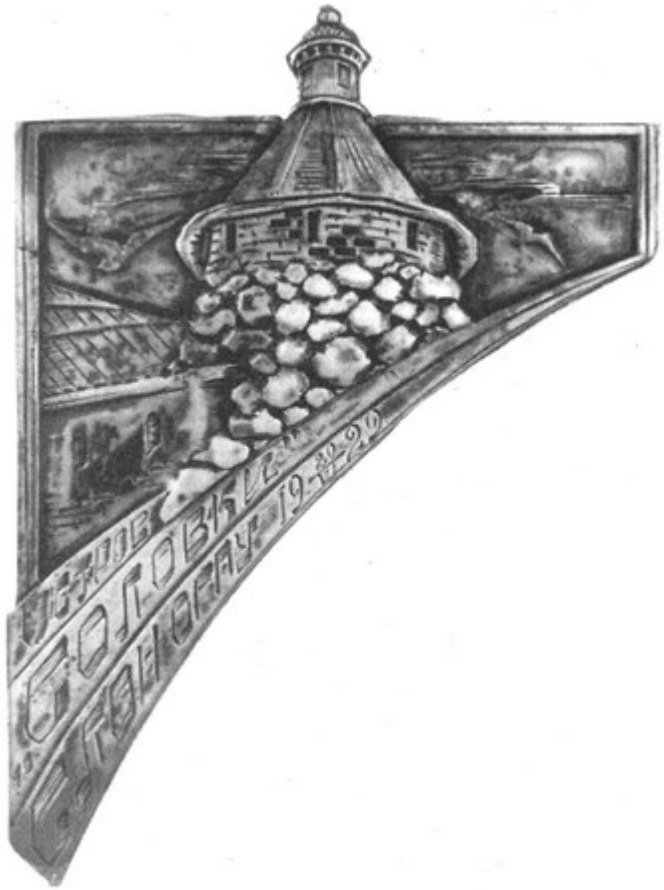
М. Горький за рабочим столом



М. Горький и А. С. Макаренко среди воспитанников Куряжской колонии, 1928

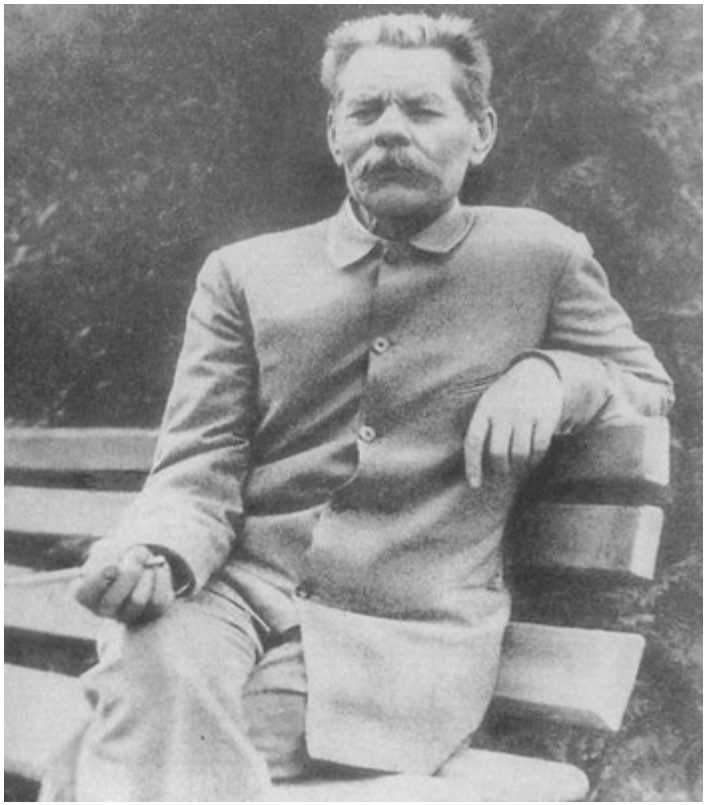
Строительство Беломорканала

Соловецкий театр. Сцена из спектакля «Троцкий за границей»



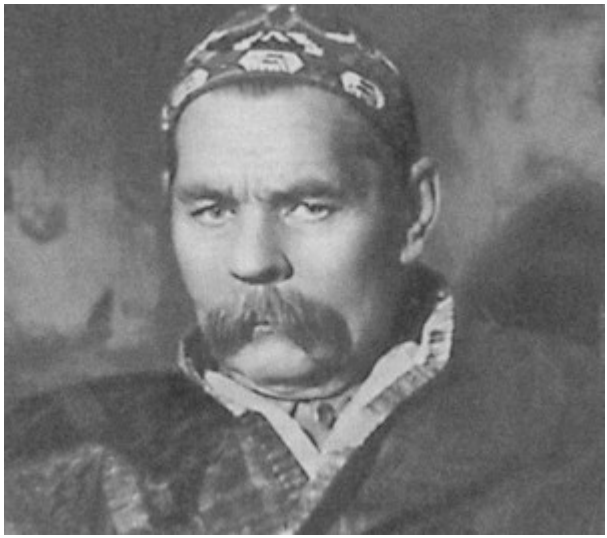
Украшение обложки альбома, подаренного М. Горькому администрацией Соловецкого лагеря Надпись: «Остров Соловки. СЛОН. ОГПУ.19–20.6. 29»

Соловки



М. Горький в Морозовке, 1928

М. Горький у бюста Данте на вилле Масса, в Италии, 1924



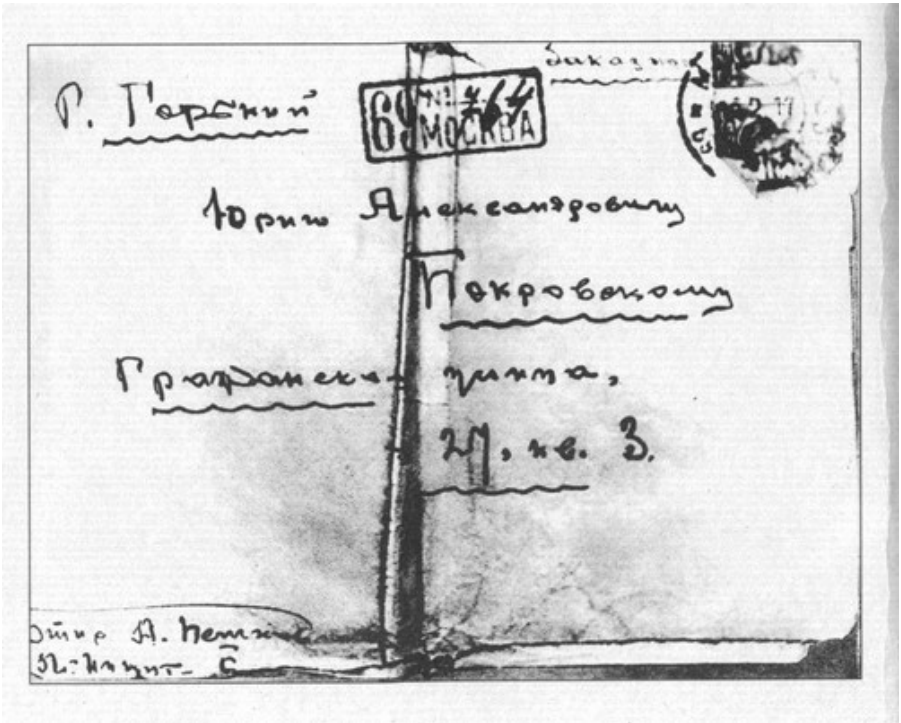
М. Горький в Италии

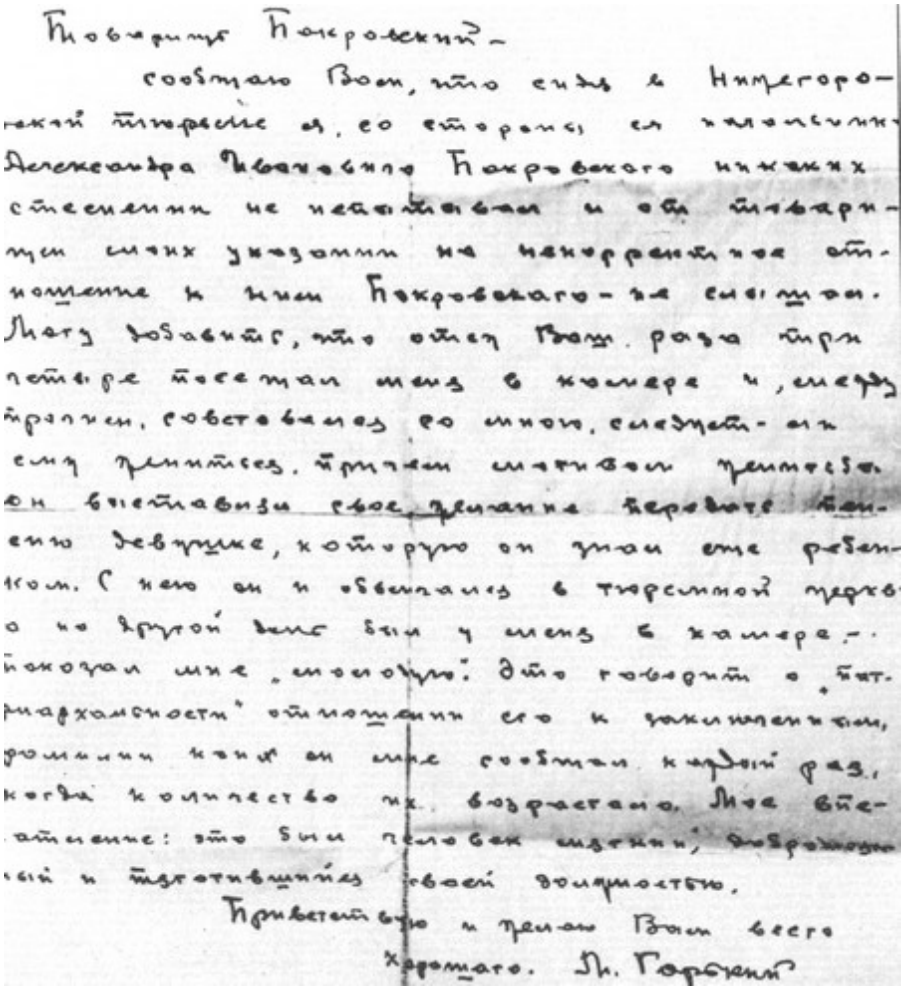
Ю. П. Анненков. Портрет М. Горького, 1920

М. Горький, 1921 Дружеский шарж Дени

А. И. Покровский, начальник Нижегородского острога, в котором Горький отбывал заключение в 1901 г.

и его жена — А. А. Покровская





Товарищу Покровскому –

сообщаю Вам, что сижу в Нижегородской тюрьме и, со стороны ее начальника Александра Ивановича Покровского никаких стеснений не испытываю и об этом товарищу сих указаний на некорректное отношение к ним Покровского – не имеется. Могу добавить, что один раз в три недели посещал меня в камере и, между прочим, советовался со мною, следовать ли ему принятому, принятым мотивам принятого он выставил свое желание перевести племянницу девушку, которую он знал еще ребенком. С нею он и обвенчался в тюремной церкви. В ней другой день был у меня в камере – показал мне „именную" [illegible] этом „патриархальности" отношении его к заключенным, о которых мне сообщал каждый раз, когда количество их возрастало. Мое впечатление: это был человек мягкий, добродушный и сочувствующий своей должности.

Приветствую и желаю Вам всего хорошего. М. Горький

Ответ М. Горького Ю. А. Покровскому

Сын бывшего начальника Нижегородского острога Ю. А. Покровский, искавший защиты у М. Горького в 1934 г.

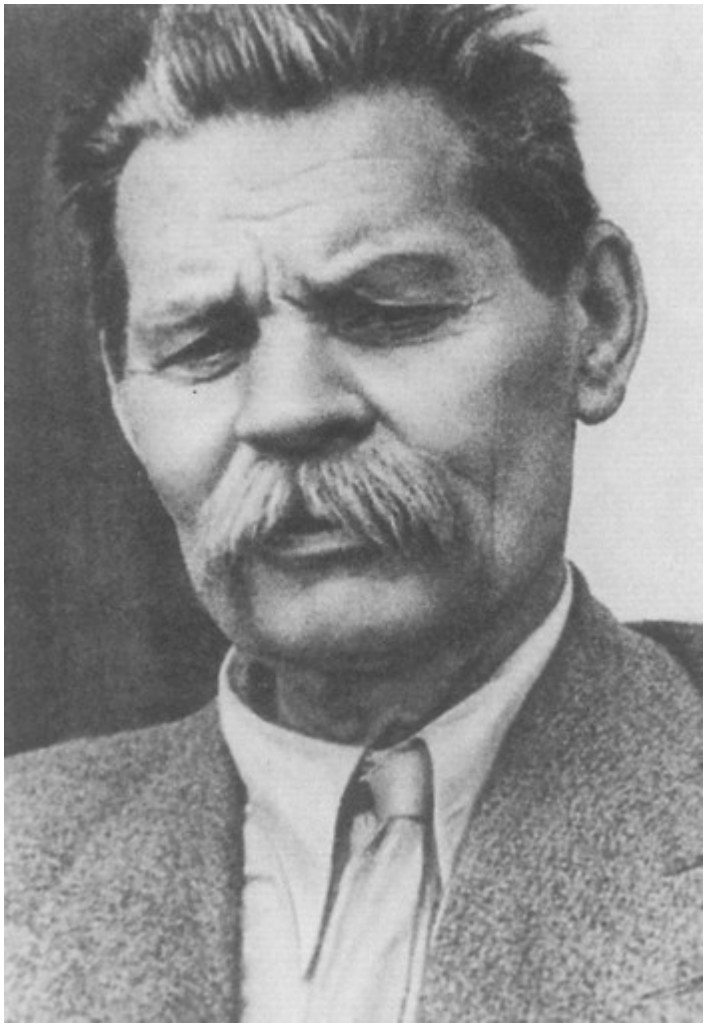
М. Горький с женой Е. П. Пешковой и детьми — Максимом и Катей,1903

Максим Пешков в годы Гражданской войны

М. Горький среди летчиков, 1931

Нарком внутренних дел Г. Г. Ягода

М. Горький и Г. Бокий в питомнике с соболятами. Соловки, 1929 Публикуется впервые



М. Горький, 1934

С. М. Киров

М. Горький и С. Киров

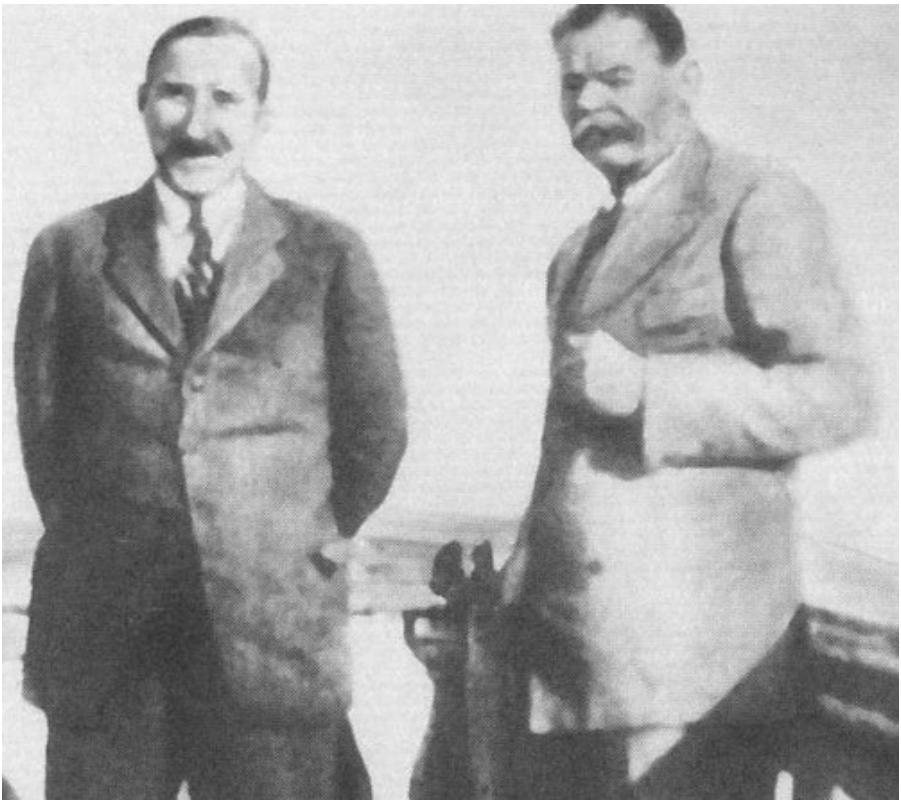
Рисунок Ю. Анненкова

М. Горький с внучками Марфой и Дарьей

М. Горький среди пионеров

М. Горький на I съезде писателей

А. Толстой, М. Горький, Ф. Шаляпин в Италии



М. Горький и Стефан Цвейг на вилле Il Sorrito в Италии, 1932

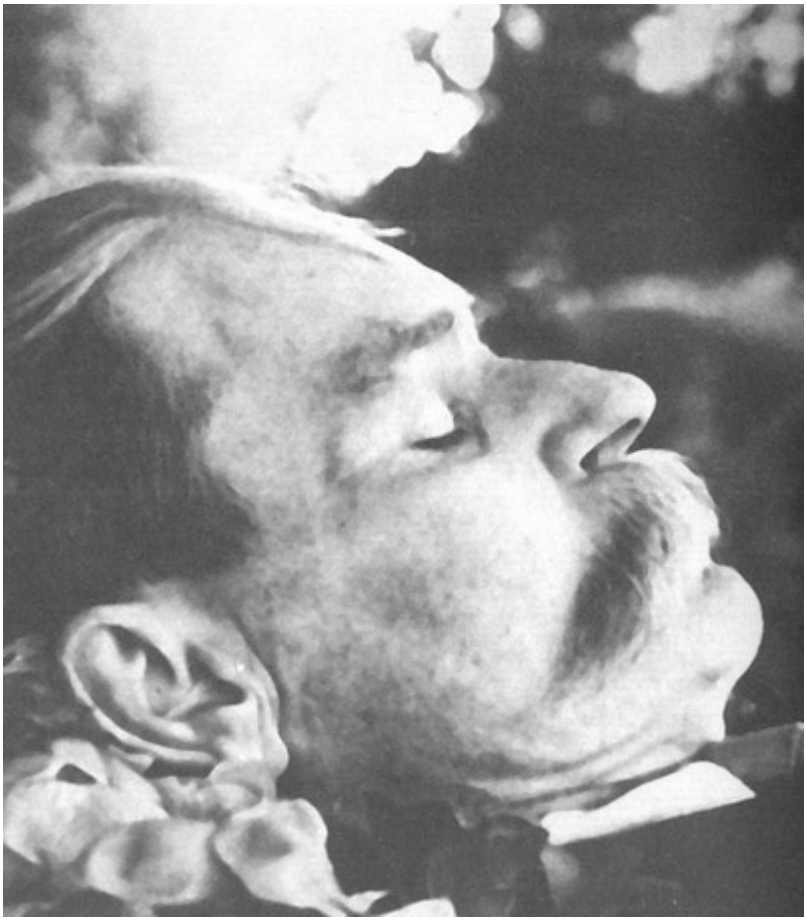
М. Горький и Р. Роллан. Горки, 1935

М. Горький и И. Сталин, 1931

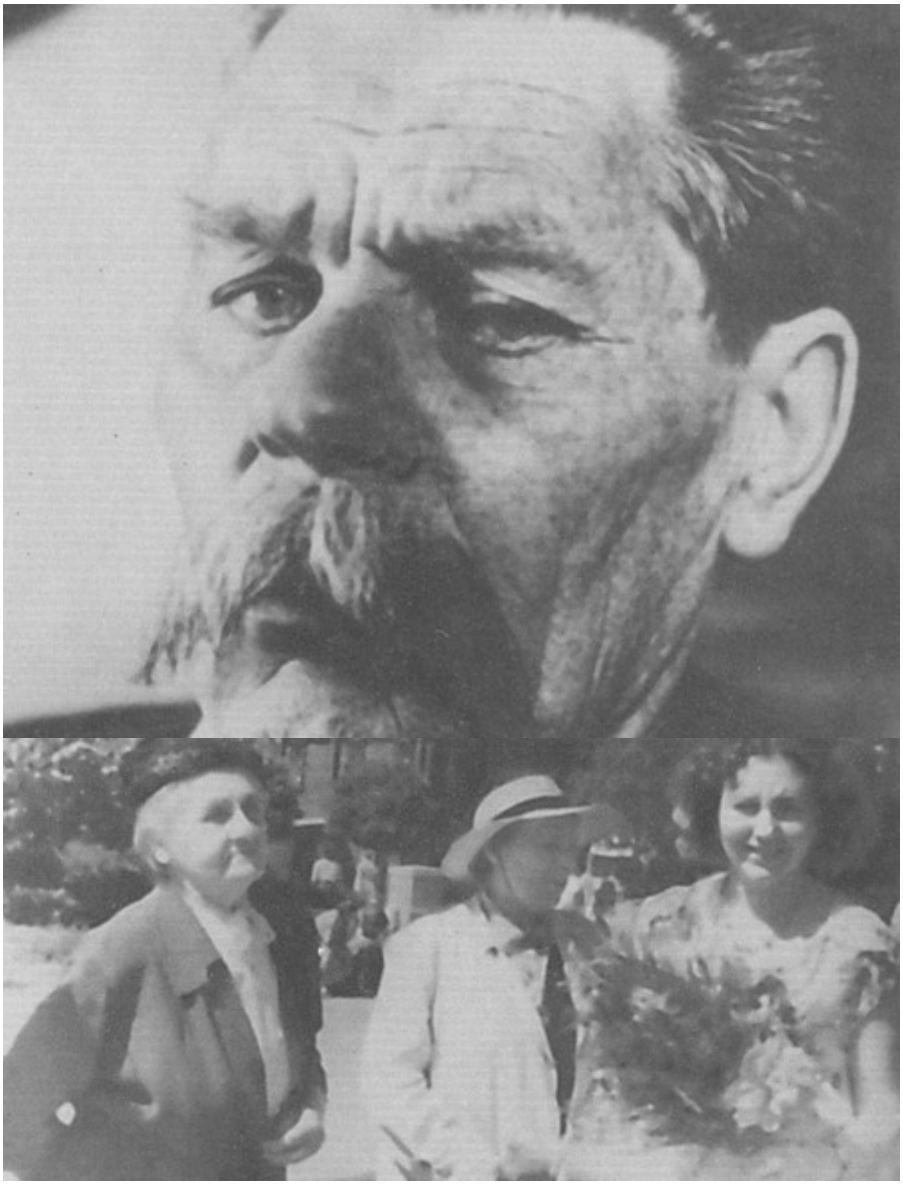
1 мая 1934 Горький, Молотов, Сталин

М. Горький, А. Микоян, К. Ворошилов, Ем. Ярославский на слете комсомольцев Красной Пресни, 1929

М. Горький и К. Федин в Горках, 1934



М. Горький скончался 18 июня 1936 года. Врачи констатировали, что смерть наступила в результате продолжительной болезни. Однако по Москве сразу же поползли слухи, что М. Горького отравили



Е. П. Пешкова в Н. Новгороде на Горьковских чтениях в 1960 г. Справа — покойная Н. Д. Баранова (Абкина), которой посвящена книга

notes

Примечания

1

Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного исследования. Том 2. М., 1989, с. 58.

2

Жак Нуаре. Письмо в Соловки. «Руль», 1929, 4 июля.

3

Десятилетний срок заключения.

4

Руководитель работ.

5

Бревен.

«Руль», 1928, 17 января.

7

Подробный критический анализ откровенно тенденциозного истолкования А. Солженицыным жизненной позиции Горького в связи с его поездкой на Соловки («он бы воспел (!?) и 37-й год»), использования слухов и легенд (пресловутая история с «расстрелянным» мальчиком) содержится в моей статье «Все ли дозволено Юпитеру, или К истории одних преждевременных похорон» («Кулиса», № 6, приложение к «Независимой газете» от 27 марта 1998 года), а также в книге «Максим Горький — подлинный или мнимый». М., 2000, с. 91–103.

8

Кстати, как недавно установила Н. Примочкина, вскоре в связи с публикацией партийного постановления от 23 апреля 1932 года Горький весьма решительно критиковал формулировку о ликвидации РАППа, сказав, что «ликвидировать» — жестокое слово.

«Известия ЦК КПСС», 1989, № 1, с. 239.

Подробнее об этом: Л. Флейшман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз. Горький и дело эсеров. «Дружба народов», 1990, № 12.

11

Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИНД). Ф. 17, он. 60, ед. хр. 141.

12

Там же.

13

Касторский С. Горький — художник. М. — Л., 1963, с. 31.

14

Тагер Е. Творчество Горького советской эпохи. М., 1964, с. 271.

15

М. Волина опубликовала очерк «Первая жена Горького» («Столица», 1991, № 41–42), о героине горьковского рассказа «О первой любви», имеющего автобиографический характер. Опираясь на мемуары самой О. Каминской, она задает вопрос: «… почему не издают мемуары Каминской? Почему… мемуары до сих пор томятся в Архиве Горького?» Приходится напоминать очеркистке, что воспоминания О. Каминской «томятся» вовсе не в Архиве Горького, а… на страницах сборника «А. М. Горький нижегородских лет», выпущенного на родине писателя полтора десятилетия назад тиражом 15 тысяч экземпляров. Другой героиней того же рассказа была дочь О. Каминской О. Ф. Ивина-Лошакова, которая, если верить Волиной, «тоже написала об Алексее Максимовиче, и ее воспоминания тоже не увидели света». В действительности эти воспоминания тоже «томятся» на страницах того же сборника, а в совокупности мемуары матери и дочери занимают в книге 60 страниц.

16

Архив А. М. Горького. Письмо от 13 сентября 1921 г. ПГ-рл–10–33–1.

17

Архив А. М. Горького. Письмо А. Б. Халатову от 7 апреля 1928 г. ПГ-ря–48–15–111.

18

Архив А. М. Горького. Письмо от 23 июня 1926 г. ПР-рл-10–33–3.

19

«Рассвет». Чикаго, 1928, 28 июля.

20

Архив А. М. Горького. КГ-Н, 83а–1–34.

21

Там же.

22

Архив АМ. Горького. Письмо АМ. Горькому от 2 июля 1927 г. КГ-ОД 1–28–10.

23

«Дни», 1928, 30 марта.

24

Отдел рукописей ИРЛИ, ф. 592, № 35.

25

«Руль», 1928, 8 апреля.

«Руль», 1928, 30 марта.

27

Архив А. М. Горького. КГ-П-83-а-Г50.

28

«Руль», 1928, 12 июня.

29

В августе 1928 года, в связи с поездкой Сталина на отдых и лечение, газеты писали о том, что престиж его сильно упал, что он может вообще оставить власть, а на пост Генсека противники выставляют кандидатуру Бухарина. Одна из статей называлась весьма красноречиво: «Закат Сталина?» («Рассвет», 1928, 22 августа).

«Руль», 1928,1 июля.

31

Благополучное путешествие. Передовая статья. — «Руль», 14 октября 1928 г.

32

РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 60, ед. хр. 175.

33

Письмо Г. Крумина и А. Халатова М. Горькому от 14 ноября 1928 г. Архив А. М. Горького, КГ-Н-83а-1–27.

«На литературном посту», 1929, № 1, с. 36.

Там же, 1929, № 7, с. 52.

«Известия ЦК КПСС», 1989, № 3, с. 184–185.

37

К. Ломунов. Антифашистская пьеса Горького. В кн. Горьковский альманах, год 1946. М., 1948, с. 71.

38

См.: М. Горький и советская печать. Архив А. М. Горького. Т. X, кн. I. М., 1964, с. 247. Подлинник: Архив А. М. Горького. ПГ-рл-48–15–80.

39

См.: Р. Медведев. О Сталине и сталинизме. «Знамя», 1989, № 4, с. 193.

Архив А. М. Горького. Кг-П 83а-1–121.

41

Архив А. М. Горького. КГ-П-83а-1–116.

42

Там же. КГ-П-83а-1–106.

43

Там же.

44

«Рассвет», 1928, 23 июля. Автор корреспонденции отмечает далее, что Горький также «носится со своими старыми планами — перекинуть мостик между властью и интеллигенцией — планы как нельзя более своевременные в дни шахтинского процесса».

45

А. Н. Тихонов (псевдоним Серебров) (1880–1956), литератор, издатель.

Базаров (подл. фамилия Руднев В. А.) (1874–1939), социал-демократ, философ.

См.: «Октябрь», 1992, № 6.

Опечатка. Следует: мифа.

49

Горький М. Несвоевременные мысли. Статьи 1917–1918 гг. Составление, введение и примечание Г. Ермолаева. М., 1971, с. 58–59.

Об этих событиях подробнее см.: Д. Мельников, Л. Черная. Империя смерти. М., 1989.

51

См.: Фирсов Ф. Сталин и проблема политики единого фронта. «Политическое образование», 1989, № 1, с. 78.

Там же, с. 81.

53

Архив А. М. Горького. КГ-рзн, 8–22–1.

54

Впервые опубликовано мною в газете «Советская Башкирия», 1963, 10 февраля.

55

Уточненные данные см. в статье «Сколько делегатов XVII съезда партии голосовало против Сталина?». «Известия ЦК КПСС», 1989, № 7, с. 114.

Замятин Евгений. Сочинения. М., 1988, с. 357.

57

Ход собрания воспроизводится по воспоминаниям Н. Н. Накорякова, хранящимся в Архиве А. М. Горького. МОГ, 10–13–3.

Примочкина Н. «Донкихоты большевизма». Максим Горький и Николай Бухарин. — «Свободная мысль», 1993, № 4, с. 67.

«Вопросы литературы», 1989, № 2, с. 155.

Переписка 1929–1933,— «Новый мир», 1997 № 9, с. 167–192; 1998, № 9, с. 156–178. 1934–1936 — НЛО, 1999, № 40, с. 251–296.

Существует, впрочем, в литературных кругах версия, что произнесенное Горьким — это лишь часть доклада, а дальше предполагался конкретный разговор о писателях и произведениях, но разговор этот не устроил начальство и потому не состоялся.

Бялик Б. О Горьком. Статьи. М., 1947, с. 143.

Бялик Б. О Горьком. Статьи. М., 1947, с. 143.

Бугаенко П. А. А. В. Луначарский и советская литературная критика. Саратов, 1972, с. 268–269.

Трифонов Н. А. А. В. Луначарский и советская литература. М., 1974, с. 484.

Заметим, что первый раздел статьи «Литературные забавы», содержавший размышления о фашизме, был одновременно напечатан 14 июля 1934 года в газетах «Правда», «Известия», «Литературная газета» и «Литературный Ленинград».

Трухан Г. А. Путь к тоталитаризму. 1917–1919 гг. М., 1994, с. 160.

См.: «Вопросы литературы», 1992, вып. 1, с. 111.

69

А именно в это время за воротами дома развертывалась тоже своего рода «битва». Явившийся неожиданно милиционер заставил дворников вместо доставки кислорода убирать улицу. Ни раньше, ни позже! А следом возник представитель архитектурного управления с документами на право занять дом Горького. См.: Спиридонова Л. «М. Горький: диалог с историей». М., 1994, с. 293.

Редактор журнала «Интернациональная литература» Пьер Эрбар высказывается решительнее. По его сведениям, Горький будто бы засыпал Сталина резкими протестами, заявлял, что его терпение истощилось и что он хочет начистоту поговорить с А. Жидом.

Статья В. Барахова в «ВЛ» заканчивается так: «Нельзя не согласиться с призывом французского исследователя Мишеля Нике к советским коллегам активнее включиться в работу по изданию неопубликованного наследия Горького…» Пожелание вполне актуальное. Все еще лежит на полке Архива том переписки Роллана и Горького, в то время как французское издание этой книги я получил от проф. Жана Перюса еще в Н. Новгороде в 1990 г. Что до Нике, то не мешало бы прислушаться к его критическому замечанию по поводу какого-то особого, как ему сказали, «режима» Архива, который может не разрешать публиковать отдельные фрагменты воспоминаний (в частности, о смерти А. Барбюса в воспоминаниях И. Гронского). См. альманах «Минувшее», № 10, с. 65.

72

О том, что Я. Масарик не покончил с собой, а был убит, подробно в статье В. Ярошевского «Господин Сталин, мне остается только умереть». — Известия, 4 апреля 1998 г.

73

К борьбе за демократию // «Социалистический вестник», 1936, 10 февраля, № 3. См. также: Бухарин об оппозиции Сталину. Интервью с Б. И. Николаевским // «Социалистический вестник». Сборник, 1965, № 4.

М. Булгаков писал в романе «Мастер и Маргарита», создававшемся в эти годы: «И вот он велел своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом».

Ваксберг А. Масон, зять Масона // «Литературная газета», 1990, 26 декабря.

Медведев Ж. Десять лет после «Одного дня Ивана Денисовича» // «Подъем», 1991, № 6, с. 113–114.

77

Комсомольская правда, 1992, 16 января. Обзор негативных суждений о Горьком сделан мной в статьях «Убиваемый трижды» / «Литературные новости», 1992, декабрь, № 19; см. также «Уточнения» / Там же. 1993, февраль, № 24/. «Новые маршруты старого критического парохода» / «Книжное обозрение», 1993, январь, № 4/. Остается пожалеть, что с подобными, вероятно, более аргументированными, обзорами не выступил кто-то из профессиональных горьковедов раньше. И не без закономерной иронии звучит заголовок интервью с профессором из США Ирвином Уайлом, с которым я имел удовольствие познакомиться на конференции в ИМЛИ в марте 1993 года: «Американец защищает Максима Горького» (газета «Мы», 1993, июнь).

Кстати, С. Залыгин очень интересно высказался о Горьком именно как о художнике: «Думаю, по-новому будет читаться и Горький. Он интересен совершенно необыкновенным стилем. Так, как говорит со мной, читателем, Горький, не говорит никто». — «Правда», 1990, 16 февраля.